

МЕМУАРЫ ПОД ГРИФОМ

<СЕКРЕТНО>

ПАВЕЛ СУДОПЛАТОВ



РАЗВЕДКА И КРЕМЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ ОПАСНОГО
СВИДЕТЕЛЯ

Annotation

Павел Судоплатов – один из тех немногих разведчиков, кого по праву называют легендарными. Спектр выполненных им заданий был чрезвычайно широк. Начиная от организации ликвидации проживавшего в Мексике Льва Троцкого и заканчивая имитацией заинтересованности Москвы в сепаратных переговорах с Берлином осенью 1941 года.

Судьба распорядилась так, что к моменту завершения написания этой книги Павел Судоплатов, один из руководителей самостоятельных центров военной и внешнеполитической разведки Советского Союза, остался единственным свидетелем и непосредственным участником противоборства спецслужб и зигзагов во внутренней и внешней политике Кремля в период 1930–1950 годов.

Несмотря на репрессии в довоенные и послевоенные годы, Павлу Судоплатову, находившемуся в заключении 15 лет, в силу причудливого стечения обстоятельств и несомненного везения, удалось выжить и записать ряд воспоминаний, связанных с противоречивым и трагическим развитием событий того времени.

- [Павел Судоплатов](#)

- - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
-

Павел Судоплатов

Разведка и Кремль. Воспоминания опасного свидетеля

Хотим мы того или не хотим, но проходит время, и то, что еще вчера было Великой Государственной Тайной, теряет свою исключительность и секретность в силу крутых поворотов в истории государства и становится общим достоянием – было бы желание знать правду.

Судьба распорядилась так, что к моменту завершения этой книги я, один из руководителей самостоятельных центров военной и внешнеполитической разведки Советского Союза, остался единственным свидетелем противоборства спецслужб и зигзагов во внутренней и внешней политике Кремля в период 1930–1950 годов.

Несмотря на репрессии в довоенные и послевоенные годы, мне, находившемуся в заключении 15 лет, в силу причудливого стечения обстоятельств и несомненного везения, удалось выжить и записать ряд воспоминаний, связанных с противоречивым и трагическим развитием событий того времени.

Дела разведки и контрразведки никогда не были в почете у руководящих кругов России. Однако при тоталитарном правлении они порой приобретали существенное значение в действиях властей. Собственная популярность меня как профессионала занимает меньше всего, но после распада СССР, как мне представляется, прежде всего в силу беспринципной грызни и борьбы за власть в стране, я считаю своим долгом рассказать людям правду о том, что было на самом деле в 30–50-е годы, чтобы они поняли логику трагических и героических событий в истории нашей Родины. Мотивы преступных репрессий, в которых повинны руководство страны и органы безопасности, были связаны не только с личными амбициями Сталина и других «вождей», но и с той борьбой за власть, которая постоянно шла внутри их окружения. Эту борьбу всегда умело прикрывали громкими лозунгами – «борьба с уклонами» в правящей партии «ускоренного строительства коммунизма», «борьба с врагами народа», «борьба с космополитами», «перестройка». А в итоге жертвами всех этих кампаний всегда оказывались миллионы ни в чем не повинных людей.

Для меня это основная тема книги. Уверен, она очень расходится с мифом о побудительных мотивах действий так называемых «консервативных» или «демократических» кругов бывшего кремлевского руководства.

Я считаю необходимым также обратить внимание на то, что мои воспоминания ни в коей мере не претендуют на роль научно-исторического повествования. Это субъективный взгляд очевидца на то, как работали механизмы, приводившие в действие политическую машину СССР, как удалось создать ценой колоссальных жертв могущественное государство, в известной мере определившее развитие мировых событий в 30-е и 50-е годы, ставшее сверхдержавой, державшее в страхе не только своих граждан, но и весь мир. Его сила была в ликвидации нищеты и разрухи, охвативших страну после гражданской войны, в глубокой вере в правоту великой социальной революции XX века. Именно поэтому, симпатизируя СССР, его

напрямую и косвенно поддерживали великие умы современного мира – Нильс Бор, Энрико Ферми, Роберт Оппенгеймер, Альберт Эйнштейн и другие.

В жестоком противоборстве СССР и западного мира заложена главная причина взаимной нетерпимости во всех событиях внутренней и внешней политики нашей страны.

У меня нет никаких сомнений, как бы это ни оспаривали сегодня, что правящие круги Запада не только ненавидели наше государство, но и на всем протяжении его истории делали все, что было в силах, для его гибели. Вынужденный союз США, Англии и СССР в борьбе с гитлеризмом в годы войны также не был передышкой в их противоборстве. «Холодная война» продолжалась, просто быстрое поражение СССР в борьбе с Германией было невыгодно Западу, опасавшемуся за свое мировое господство. Вплоть до декабря 1991 года делалось все для ослабления СССР. И сейчас мы испытываем мучительные переживания в связи с переходом в новую стадию противоборства и сотрудничества со странами Запада, которые все равно будут базироваться на исторической роли России как одной из сверхдержав современности. Однако сейчас, в отличие от прошлых лет, речь не идет о выживании нашего государства.

Наследие СССР надежно гарантирует допустимые повороты и зигзаги, делает нас мощным партнером в переговорах на международной арене. Конечно, внутренняя нестабильность в стране, провалы в экономической политике неизбежно заставляют правящие круги и ныне – в который раз – возлагать ответственность за допущенные ошибки на прошлое руководство. Отсюда постоянная неприязнь, перерастающая порой в ненависть к тем, кто своей реальной работой внес вклад в тот базис современного развития, который остается до сих пор несокрушимым фактором гордости и престижа Родины.

Соблюдая военную присягу, я молчал, пока существовал Советский Союз. Когда деятельность советской разведки и ряд аспектов внешней политики СССР перестали быть секретными после известных событий 1991 года, и все то, чему я верно служил, перестало существовать, я не мог и не имел права дальше молчать. К сожалению, у меня не было иного выхода, как издать воспоминания первоначально на Западе, так как отечественные издатели намерены были их опубликовать только после консультации в «компетентных инстанциях». Я искренне благодарен Дж. и Л. Шехтерам, которые сделали литературную запись моих воспоминаний и помогли им увидеть свет.

В создании настоящей книги мне оказали большую поддержку мои боевые товарищи, с которыми я делил все трудности нашей сложной и опасной работы. Считаю своим долгом особо поблагодарить за моральную помощь в издании этой книги бывшего начальника советской внешней разведки Л.В. Шебаршина, ветеранов органов госбезопасности С.А. Ананьина, П.И. Массю, А.Н. Рылова, И.А. Щорса, Ю.А. Колесникова, З.В. Зарубину, А.Ф. Камаеву-Филоненко, писателя – публициста К.А. Столярова.

Глава 1

Боевое крещение

Я родился в 1907 году на Украине, в городе Мелитополе, расположенном в богатом фруктами регионе и в то время насчитывавшем около двадцати тысяч жителей. Мать у меня русская, а украинцем был мой отец – разнорабочий, пекарь, булочник, повар, официант. Как и всех детей – а нас в семье было пятеро, – меня крестили в русской православной церкви на день Петра и Павла. Мое начальное образование включало в себя изучение Нового и Ветхого Завета и основ русского языка, поскольку в царское время преподавание украинского в школах запрещалось. Пользовались им лишь в качестве разговорного. До десяти лет, пока не умер отец, у меня было самое обычное детство. После его смерти заботы о семье легли на плечи матери и старшей сестры. В год смерти отца произошла революция, власть взяли большевики.

Поначалу жизнь в городе мало в чем изменилась, и все текло по-заведенному. Однако, как только подошли к концу запасы продовольствия, начался хаос, сопровождавшийся бандитским террором. У нашей семьи не было никакой собственности, мы арендовали двухкомнатную квартиру в маленьком одноэтажном доме, принадлежавшем домовладельцу Хроленко. Мое восприятие событий того времени можно считать типичным для семей с низким достатком, которым нечего было терять. Вполне естественно, я всей душой поверил, прочтя написанную Бухариным «Азбуку революции», что общественная собственность будет означать построение справедливого общества, где все будут равны, а страной будут управлять представители крестьянства и рабочего класса в интересах простых людей, а не помещиков и капиталистов.

Мой старший брат Николай вступил в Красную Армию в 1918 году – через два года он стал бойцом в отряде ЧК. За год до этого, в двенадцатилетнем возрасте, я убежал из дому и присоединился к красноармейскому полку, который вскоре был вынужден покинуть Мелитополь. Наш полк разгромили белые, и лишь небольшим группам бойцов удалось влиться в подразделения 44-й стрелковой дивизии Красной Армии в районе Киева. Поскольку к тому времени я уже окончил начальную школу и умел читать, меня определили в роту связи. Позднее я принимал участие в боях под Киевом. В 1921 году, когда мне исполнилось четырнадцать, сотрудники Особого отдела дивизии попали в засаду, устроенную украинскими националистами, и многие из них погибли. В то время мы сражались в основном не с белогвардейцами, а с войсками украинских националистов, предводительствуемыми Петлюрой и Коновальцем, командиром корпуса «Сечевые стрельцы». Когда началась гражданская война, украинские националисты провозгласили независимую республику и в январе 1919 официально объявили войну России и украинскому большевистскому руководству. (В 30-х, а затем еще раз в 40-х годах я также принимал непосредственное участие в борьбе с украинскими националистами.) Борьба эта фактически завершилась лишь в январе 1992 года, после того как украинское правительство в изгнании и весь остальной мир признали президента Кравчука законным главой суверенного государства Украина.

В Особом отделе, понесшем тяжелые потери, срочно потребовался телефонист и шифровальщик. Так я был послан на работу в органы безопасности. Это и было началом моей службы в ВЧК-КГБ.

В дивизии, где я служил, вместе с нами сражались поляки, австрийцы, немцы, сербы и даже китайцы. Последние были очень дисциплинированы и дрались до последней капли крови. Борьба шла жестокая, и случалось, что целые деревни оказывались уничтоженными украинскими националистами и бандформированиями: всего в ходе гражданской войны на Украине погибло свыше миллиона человек. Мое поколение вскоре привыкло к жестокостям этой войны, потерям и лишениям. Мы считали все это вполне естественным. В состоянии войны страна находилась с 1914 года, и трагедия России заключалась в том, что до самого конца гражданской войны, то есть до 1922 года, создать стабильное общество, опирающееся на нормальные, гуманные ценности, не представлялось возможным.

Опыт, приобретенный при выполнении обязанностей телефониста, а затем шифровальщика, оказался полезным. Я печатал документы с грифом «секретно», посылавшиеся командованию, и расшифровывал телеграммы, которые мы получали непосредственно от главы ВЧК Феликса Дзержинского из Москвы.

1921 год стал переломным в моей жизни. Дивизия была переведена в Житомир. Главной задачей нашего Особого отдела была помощь местному ЧК в проникновении в партизанское подполье украинских националистов, руководимых Петлюрой и Коновальцем. Их вооруженные банды устраивали диверсии против органов Советской власти на местах. Возглавлявшим ЧК Погажевичу и Савину удалось установить диалог с партизанскими руководителями и провести с ними неофициальные переговоры. Мое руководство встретилось с ними в Житомире на явочной квартире. Я как младший сотрудник на подхвате должен был проживать в доме, где находилась явочная квартира, и обслуживать переговоры. Опыт общения с главарями формирований украинских националистов, являвшимися, по существу, настоящими хозяевами в своей округе, помог мне в дальнейшем, когда я стал оперативным работником госбезопасности. На своей собственной шкуре испытал я, каково иметь дело с заговорами в подполье.

Война с украинскими националистами продолжалась почти два года и закончилась компромиссом – их главари приняли амнистию, которую дало им правительство Советской Украины. Произошло это лишь после того, как кавалерийский отряд в две тысячи сабель, посланный Коновальцем в Житомир, был окружен частями Красной Армии и сдался. Банда Коновальца потерпела сокрушительное поражение. В этих боях погиб мой старший брат Николай, служивший в погранвойсках на польской границе. Я же подал рапорт о переводе в Мелитополь, чтобы быть поближе к семье и иметь возможность помогать ей.

В течение последних трех лет пребывания в Мелитополе я был младшим оперативным работником в окружном отделе ГПУ и отвечал за работу осведомителей, действовавших в греческом, болгарском и немецком поселениях. В 1927 году я получил повышение и был переведен в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, где стал работать в ГПУ УССР. Именно там, в Харькове, я встретился со своей будущей женой, Эммой Кагановой: мне было двадцать, ей на два года больше

– она приехала на Украину из белорусского города Гомеля.

Эмма была способной, и ей удалось поступить в гимназию, где для евреев существовала ограничительная норма. Она окончила несколько классов гимназии и позднее стала работать секретарем-машинисткой у Хатаевича, секретаря гомельской губернской организации большевиков. Когда ее начальника перевели в Одессу, где он возглавил партийную организацию, она последовала за ним. Именно в Одессе Эмма и перешла в местное ГПУ. Ей поручили вести работу среди проживавших в городе немецких колонистов. Голубоглазая блондинка, она говорила на близком к немецкому идише и вполне могла сойти за немку.

В Харьков ее перевели за год до того, как я туда перебрался. Эмма занимала в ГПУ УССР более весомое положение, чем такой новичок, каким я тогда был. Как образованной и привлекательной женщине, к тому же начитанной и чувствовавшей себя вполне свободно в обществе писателей и поэтов, ей доверили руководить деятельностью осведомителей в среде украинской творческой интеллигенции – писателей и театральных деятелей. Мы встретились с ней на службе, и меня поразили ее красота и ум. Отец Эммы, сплавщик леса, умер, когда ей было всего десять лет. Она начала работать и одна содержала всю семью, где было восемь детей. Так что у нас с Эммой было много общего: и я, и она являлись опорой для семьи и должны были в силу обстоятельств рано повзрослеть.

Несмотря на то, что вся наша жизнь была заполнена работой, жена побудила меня заняться изучением права в Харьковском университете. Но мне, правда, удалось побывать всего на десяти лекциях и сдать один экзамен – по экономической географии. На большее у меня просто не хватило времени. Мой рабочий день начинался в десять часов утра и заканчивался в шесть вечера с коротким перерывом на обед. После этого начинались встречи с осведомителями на явочных квартирах. Они продолжались с половины восьмого вечера до одиннадцати. Затем я возвращался на службу, чтобы доложить начальству о полученных мною оперативных материалах.

По ленинскому декрету от 1922 года ГПУ должен был стать основным источником информации для всех уровней советского руководства. Еще и сегодня руководство страны получает ежемесячные доклады о положении в государстве от органов госбезопасности по линии их агентуры. Подобного рода доклад включает изложение внутренних трудностей и недостатков в работе различных организаций, предприятий и учреждений. По заведенному при Сталине порядку встречаться со своим осведомителем в дневное время было не положено. Вот почему мы встречались по вечерам. Было известно, что Сталин засиживается допоздна, и мы работали в таком же режиме.

По иронии судьбы отделение информации нашего отдела возглавлял бывший царский офицер Козельский, происходивший из обедневшей дворянской семьи. Хотя этот человек и служил в царской армии, его симпатии к большевикам, проявившиеся в годы революции, позволили ему завоевать наше доверие. В 1937 году он покончил самоубийством, чтобы избежать ареста во время кампании чисток...

Для меня Эмма была идеалом настоящей женщины, и в 1928 году мы

поженились, хотя официально зарегистрировали наш брак лишь в 1951 году. Так жили многие из моих товарищей, годами не оформляя своего брака.

Между тем работа шла своим чередом, и я получил новое – весьма необычное, но весьма важное – задание, которое совместно контролировалось руководителями ОГПУ и партийными органами. Моя новая должность называлась комиссар спецколонии в Прилуках для беспризорных детей. После гражданской войны подобного рода колонии ставили своей целью покончить с беспризорностью детей-сирот, которых голод и невыносимые условия жизни вынуждали становиться на путь преступности. На содержание этих колоний каждый чекист должен был отчислять десять процентов своей заработной платы. При них создавались мастерские и группы профессиональной подготовки: трудовой деятельности ребят придавалось тогда решающее значение. Завоевав доверие колонистов, мне удалось организовать фабрику огнетушителей, которая вскоре начала приносить доход.

Благодаря положению моей жены в украинских партийных кругах я дважды встречался с Косиором, тогдашним секретарем ЦК Коммунистической партии Украины. Эти встречи проходили на квартире Хатаевича, куда нас приглашали в качестве гостей. Особое впечатление на меня производило то, как оба руководителя смотрели на будущее Украины. Экономические проблемы и трагедию коллективизации они рассматривали как временные трудности, которые следует преодолевать всеми возможными средствами. По их словам, необходимо было воспитать новое поколение, абсолютно преданное делу коммунизма и свободное от всяких обязательств перед старой моралью. Наибольшее внимание следовало уделять развитию и поддержке новой украинской интеллигенции, враждебно относящейся к националистическим идеям. Потребовались еще шестьдесят лет и развал Советского Союза, чтобы стало очевидным: нужно было проявить по крайней мере терпимость и постараться понять противную сторону, а не стремиться во что бы то ни стало ее уничтожить.

Нам с женой льстило, что такие люди как Косиор и Хатаевич разговаривают с нами как со своими товарищами по партии, хотя оба мы были тогда комсомольцами. Кандидатами в члены партии мы стали позднее.

В 1933 году глава украинского ГПУ Балицкий был назначен заместителем председателя общесоюзного ОГПУ. Переезжая в Москву на новую работу, он взял с собой нескольких сотрудников, в том числе и меня. Я получил в управлении кадров центрального аппарата госбезопасности должность старшего инспектора, курировавшего перемещение по службе и новые назначения в Иностранном отделе (закордонной разведке) ОГПУ.

В то время я начал часто сталкиваться по работе с Артузовым, тогдашним начальником Иностранного отдела, и его заместителем Слуцким. В 1933 году Кулинич, офицер, отвечавшая за оперативное наблюдение и борьбу с украинской эмиграцией на Западе, подала рапорт об отставке по состоянию здоровья. Узнав, что я родом с Украины и имею опыт работы в местных условиях, Артузов предложил эту должность мне. К тому времени Эмма также перевелась в Москву и получила назначение в Секретно-политический отдел. С 1934 года в ее обязанности входила работа с сетью осведомителей в только что созданном Союзе писателей и в среде

творческой интеллигенции.

После трагического убийства советского дипломата Майлова во Львове, совершенного террористом ОУН Лемеком в 1934 году, председатель ОГПУ Менжинский издал приказ о разработке плана действий по нейтрализации террористических акций украинских националистов. Украинское ГПУ сообщило, что ему удалось внедрить в подпольную военную организацию украинских националистов в изгнании (ОУН) своего проверенного агента – Лебеда. Это было крупным достижением.

Слуцкий, к тому времени начальник Иностранного отдела, предложил мне стать сотрудником-нелегалом, работающим за рубежом. Сначала это показалось мне нереальным, поскольку опыта работы за границей у меня не было, и я ничего не знал об условиях жизни на Западе. К тому же мои знания немецкого, который должен был мне понадобиться в Германии и Польше, где предстояло работать, равнялись нулю.

Однако чем больше я думал об этом предложении, тем более заманчивым оно мне представлялось. И я согласился. После чего сразу приступил к интенсивному изучению немецкого языка – занятия проходили на явочной квартире пять раз в неделю. Опытные инструкторы обучали меня также приемам рукопашного боя и владению оружием. Исключительно полезными для меня были встречи с заместителем начальника Иностранного отдела ОГПУ – НКВД Шпигельгласом. У него был большой опыт работы за границей в качестве нелегала – в Китае и Западной Европе. В начале 30-х годов в Париже «крышей» ему служил рыбный магазин, специализировавшийся на продаже омаров, расположенный возле Монмартра.

После восьми месяцев обучения я был готов отправиться в свою первую зарубежную командировку в сопровождении Лебеда, «главного представителя» ОУН на Украине, а в действительности нашего тайного агента на протяжении многих лет. Лебедь с 1913 по 1918 год просидел вместе с Коновальцем в лагере для военнопленных под Царицыным. В гражданскую войну он стал заместителем Коновальца и командовал пехотной дивизией, сражавшейся против частей Красной Армии на Украине. После отступления Коновальца в Польшу в 1920 году Лебедь был направлен им на Украину для организации подпольной сети ОУН. Но там его арестовали. Выбор перед ним был простой: или работать на нас, или умереть.

Лебедь стал для нас ключевой фигурой в борьбе с бандитизмом на Украине в 20-х годах. Его репутация в националистических кругах за рубежом оставалась по-прежнему высокой: Коновалец рассматривал своего представителя как человека, способного провести подготовительную работу для захвата власти ОУН в Киеве в случае войны. От Лебеда, которому мы разрешали выезжать на Запад в 20-х и 30-х годах по нелегальным каналам, нам и стало известно, что Коновалец лелеял планы захвата Украины в будущей войне. В Берлине Лебедь встречался с полковником Александром, предшественником адмирала Вильгельма Канариса на посту руководителя германской разведслужбы в начале 30-х годов, и узнал от него, что Коновалец дважды виделся с Гитлером, который предложил, чтобы несколько сторонников Коновальца прошли курс обучения в нацистской партийной школе в

Лейпциге.

Я ехал за границу как «племянник» Лебеда, якобы для помощи в его работе. Моя жена была переведена в Иностраннный отдел НКВД для того, чтобы через нее я мог поддерживать связь с Центром. Она должна была выступать в роли студентки из Женевы, что позволило ей время от времени встречаться с агентами в Западной Европе. С этой целью она прошла специальный курс.

Лебедь не знал о том, что на нас работает еще один агент, Полуведько, главный представитель Коновальца в Финляндии. Он жил по фальшивому паспорту в Хельсинки, организуя контакты между украинскими националистами в изгнании и их подпольной организацией в Ленинграде. Оуновцы прятали свои архивы в Ленинграде, в знаменитой библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Хотя мы и знали это, обнаружить архивы удалось лишь после окончания второй мировой войны, в 1949 году.

Я выехал в Хельсинки в сопровождении Лебеда. Лебедь передал меня на попечение Полуведько и тут же возвратился в Харьков через Москву. Полуведько, ничего не знавший о моей истинной работе, регулярно посылал обо мне отчеты в НКВД через Зою Воскресенскую-Рыбкину, отвечающую за связь с ним. Мне надо было дать Центру знать, что со мной все в порядке, и, как условились заранее, я написал записку своей «девушке», а затем порвал ее и бросил в корзинку для бумаг. Выступив в роли моего невольного помощника, Полуведько собрал обрывки и передал их Зое. А на каком-то этапе Полуведько вообще предложил меня убрать, о чем сообщал в одном из своих донесений, но, к счастью, решение этого вопроса зависело не от него. В Финляндии (а позднее и в Германии) я жил весьма скудно: у меня не было карманных денег, и я постоянно ходил голодный. Полуведько выделял мне всего десять финских марок в день, а их едва хватало на обед – при этом одну монетку надо было оставлять на вечер для газового счетчика, иначе не работали отопление и газовая плита. На тайных встречах между нами, расписание которых было определено перед моим отъездом из Москвы, Зоя Рыбкина и ее муж Борис Рыбкин, резидент в Финляндии, руководивший моей разведдеятельностью в этой стране, приносили бутерброды и шоколад. Перед уходом они просматривали содержимое моих карманов, чтобы убедиться, что я не взял с собой никакой еды: ведь это могло провалить нашу «игру».

После двух месяцев ожидания в Хельсинки прибыли связные от Коновальца – Грибивский («Канцлер») из Праги и Андриевский из Брюсселя. Мы отправились в Стокгольм пароходом.

При посадке мне вручили фальшивый литовский паспорт. Когда прибыли в Стокгольм, всех пассажиров собрали в столовой, и официант начал раздавать прошедшие пограничный контроль паспорта. Поначалу он отказался вернуть мне мой паспорт, заявив, что фото явно не соответствует оригиналу. Действительно, паспорт был на имя Сциборского, члена Центрального руководства ОУН, украинского активиста, с его фотографией. К счастью, тут вмешался возмущенный Полуведько, пригрозивший официанту и заставивший его вернуть мне документ. После недели пребывания в Стокгольме мы отправились в Германию, где никаких неприятностей с тем же паспортом у меня уже не было. В июне 1936 года прибыли в

Берлин, и там я встретился с Коновальцем, который расспрашивал меня обо всем с большим пристрастием. Наша встреча проходила на квартире, находившейся в здании музея этнографии и предоставленной ему германской разведслужбой. В сентябре меня послали на три месяца в нацистскую школу в Лейпциге. Во время учебы я имел возможность познакомиться с оуновским руководством. Слушателей школы, естественно, интересовала моя личность. Однако никаких проблем с моей «легендой» не возникало.

Мои беседы с Коновальцем становились между тем все серьезнее. В его планы входила подготовка административных органов для ряда областей Украины, которые предполагалось освободить в ближайшем будущем, причем украинские националисты должны были выступать в союзе с немцами. Я узнал, что в их распоряжении уже имеются две бригады, в общей сложности около двух тысяч человек, которые предполагалось использовать в качестве полицейских сил в Галиции (части Западной Украины, входившей тогда в Польшу) и в Германии.

Оуновцы всячески пытались вовлечь меня в борьбу за власть, которая шла между двумя их главными группировками: «стариков» и «молодежи». Первых представляли Коновалец и его заместитель Мельник, а «молодежь» возглавляли Бандера и Костарев. Моей главной задачей было убедить их в том, что террористическая деятельность на Украине не имеет никаких шансов на успех, что власти немедленно разгромят небольшие очаги сопротивления. Я настаивал на том, что надо держать наши силы и подпольную сеть в резерве, пока не начнется война между Германией и Советским Союзом, а в этом случае немедленно их использовать.

Особенно тревожили террористические связи этой организации, в частности, договоренность с хорватскими националистами и участие в убийстве югославского короля Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту. Для меня было открытием, что все эти террористы финансируются абвером – разведывательной и контрразведывательной службой вермахта. Полной неожиданностью явилась для меня и новость, что убийство польского министра генерала Перацкого в 1934 году украинским террористом Мацейко было проведено вопреки приказу Коновальца, и стоял за этим Бандера, соперничавший с последним за власть. Бандера стремился к контролю над организацией, играя на естественной неприязни украинцев к Перацкому, который нес ответственность за репрессии против украинского меньшинства в Польше. Коновалец рассказал мне, что к этому времени между Польшей и Германией был подписан договор о дружбе, так что немцев никоим образом не устраивали любые враждебные акции по отношению к полякам. Они были так взбешены, что выдали Бандеру, скрывавшегося в Германии. Убийца генерала, Мацейко, сумел скрыться.

Дело обстояло следующим образом. Мацейко планировал убить Перацкого, взорвав гранату, но она по каким-то причинам не взорвалась, и он застрелил польского министра. За ним тут же бросилась толпа людей. Мацейко сумел проскочить перед идущим трамваем, который отсек его от преследователей, забежал в подъезд первого же дома, поднялся на площадку 7-го этажа, там сбросил плащ и шляпу, выкинул револьвер и, неузнанный, спокойно вышел на улицу. Польская

контрразведка установила засаду на всех явочных квартирах украинских националистов в Варшаве, но он не появился ни на одной из них. Ночь он провел со своей подружкой, тоже украинской террористкой Чемеринкой. Именно она организовала его побег через Карпаты в Чехословакию, использовав свои связи в чешской полиции.

В Чехословакии ОУН имела мощную поддержку со стороны властей. У президента Бенеша были с Коновальцем личные отношения еще со времен первой мировой войны. Однако, когда ОУН «вышла из-под контроля» властей и осуществила убийство Перацкого, эти отношения ухудшились.

Несмотря на эмоциональное выступление Бандеры на суде в защиту дела украинского национализма, он и другие организаторы были приговорены к смертной казни через повешение. Однако давление Германии на польские власти в конце концов спасло им жизнь. Смертный приговор заменили тюрьмой. Немцы после захвата Польши тут же выпустили Бандеру на свободу. И между двумя группировками украинских националистов закипела кровавая междоусобная война.

В общении со своими коллегами по нацистской партийной школе я держался абсолютно уверенно и независимо: ведь я представлял головную часть их подпольной организации на Украине, в то время как они являлись всего лишь эмигрантами, существовавшими на немецкие подачки. Я имел право накладывать вето на их предложения, поскольку выполнял инструкции своего «дяди» («вуйко»). Если что-то в их высказываниях мне не нравилось, достаточно было просто сказать: «Вуйко не велел!».

Именно таким образом я отверг предложение о моей встрече с полковником Лахузенем из штаб-квартиры абвера. Вступать в прямые контакты с германской разведкой было бы рискованно, так как немцы могли попытаться принудить меня к сотрудничеству. Снова и снова приходилось мне повторять свои возражения по поводу встречи с кем-либо из абвера.

Однажды, когда мы гуляли с Коновальцем, к нам подошел уличный фотограф и сфотографировал нас, передав пленку Коновальцу, заплатившему за это две марки. Я возмутился. Было ясно, что мое берлинское окружение хочет иметь фотографию в своем досье, чтобы потом, когда им понадобится, они могли разыскать меня. Тогда же, на улице, я выразил свой недвусмысленный протест Коновальцу. Было бы непростительной ошибкой, если такая фотография оказалась бы в руках у немцев, заявил я ему, нисколько не сомневаясь, что именно это и было его истинной целью. Коновалец попытался как-то меня успокоить. По его словам, не было ничего предосудительного в том, что какой-то уличный фотограф, зарабатывающий себе на жизнь, сфотографировал нас вдвоем, прогуливающимися по берлинской улице.

Позднее я убедился, что был прав. В годы войны СМЕРШ захватил двух лазутчиков в Западной Украине, у одного из них была эта фотография. Когда его спросили, зачем она ему нужна, он ответил: «Я не имею понятия, кто этот человек, но мы получили приказ ликвидировать его, если обнаружим».

Я сумел войти в доверие к Коновальцу, передав ему содержимое одного конфиденциального разговора. Как-то Костарев и еще несколько молодых

украинских националистов, слушателей нацистской партийной школы, стали говорить, что Коновалец слишком стар, чтобы руководить организацией, и его следует использовать лишь в качестве декоративной фигуры. Когда они спросили мое мнение, я возмущенно ответил:

– Да кто вы такие, чтобы предлагать подобное? Наша организация не только полностью доверяет Коновальцу, но и регулярно получает от него поддержку, а о вас до моего приезда сюда мы вообще ничего не слышали.

Когда я рассказал об этом Коновальцу, лицо его побледнело. Позже Костарев был уничтожен. Не думаю, что это случайное совпадение.

В Центре было решено, что, как только я прибуду в Германию, мне следует проявлять полную самостоятельность и не поддерживать никаких контактов ни с нашей резидентурой, ни с нелегалами. Коновалец взял меня под свою опеку и частенько навещал: мы вдвоем бродили по городу. Однажды он даже повел меня на спектакль в Берлинскую оперу, но в целом развлечений в моей жизни там было не так уж много. Украинская община была очень бедной, и о том, чтобы позволить себе какую-либо роскошь, не могло быть и речи. Если вас приглашали на чай, то сахар принято было приносить с собой. Украинцы, с которыми я общался, наивно полагали, что могут помочь финансировать ООН за счет доходов какой-нибудь гуталиновой фабрики, которой владели их родственники в Польше. Они буквально жаждали войны Германии с Польшей и СССР как освобождения из-под ига «национального угнетения».

Коновалец привязался ко мне и даже предложил, чтобы я сопровождал его в инспекционной поездке в Париж и Вену с целью проверки положения дел в украинских эмигрантских кругах, поддерживавших его. У него были деньги, полученные от немцев, и это позволяло ему играть роль лидера могущественной организации.

В Париже мы остановились в разных отелях. Во время нашего пребывания в городе проходила всеобщая забастовка, и все рестораны оказались закрытыми, так что Коновалец повез меня обедать в... Версаль. Не работало и метро, и нам пришлось взять такси, кстати, весьма дорогое. Я был под огромным впечатлением от Парижа и остаюсь его поклонником до сегодняшнего дня.

Центр был осведомлен о том, что мы с Коновальцем намеревались провести в Париже три недели, и решил воспользоваться этой возможностью, чтобы организовать мне встречу с моим курьером. Согласно инструкции из Москвы мне надлежало по возможности выйти на такую встречу в Париже и позднее в Вене. Для этого я должен был дважды в неделю появляться между пятью и шестью вечера на углу Плас де Клиши и Бульвара де Клиши. Курьер должен был быть мне лично известен, но имя его мне не раскрывали – таковы были «правила конспирации»: им мог оказаться кто угодно. В первое же свое появление на условленном месте я увидел... собственную жену, одетую по последней моде: она сидела за столиком кафе на улице и медленно попивала черный кофе. В ту минуту я был обуреваем самыми разнородными чувствами. Усилием воли мне удалось заставить себя удостовериться, что за мной нет никакой слежки, и лишь после этого я приблизился

к Эмме. Мне сразу же стало совершенно ясно: место для randevу выбрано крайне неудачно, так как сновавшая вокруг толпа не давала возможности проверить, есть ли за тобой «хвост» или нет.

Опыт моей работы в Харькове против польской агентуры научил меня, что почти во всех провалах виноват был неудачный выбор места встречи. Взяв себя в руки, я на плохом немецком попросил разрешения сесть рядом за столик. Мы оба были крайне напряжены. Эмма, когда я подсел к ней, осведомилась, все ли у меня в порядке.

– Хотя ты и потерял в весе, но выглядишь, по-моему, превосходно, – добавила она с улыбкой. – Да и выбрит на сей раз прекрасно.

Это ее замечание явно намекало на то, что дома, в России, я частенько брился через день.

Посидев немного за столиком, мы незаметно удалились: это кафе было чересчур открыто для посторонних глаз. Идя по направлению к бульвару, мы заметили двух жандармов, явно направлявшихся в нашу сторону. Повинуясь внутреннему инстинкту, мы тотчас перешли улицу, чтобы избежать встречи с полицией. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, насколько это было глупо.

Недорогой отель, в котором остановилась Эмма (вполне подходящий для студентки, проводящей свои каникулы в Париже), находился всего в нескольких кварталах от места нашей встречи. Хотя я и был в восторге от встречи с женой, которую не видел почти год, мне было страшно подвергать ее хотя бы малейшему риску из-за свидания со мной. Мы обнялись, и я тут же сказал, чтобы она передала Центру мое требование: ни при каких обстоятельствах Эмма не должна быть моей связной. Я ведь не относился к числу тех, кто живет на Западе постоянно, так что с полной уверенностью мог утверждать: все мои контакты внимательнейшим образом изучаются и анализируются как разведкой украинских националистов, так и немцами. И если немецкая или даже французская контрразведка будет иметь основания считать, что Эмма связана со мной, то ее наверняка схватят и подвергнут допросу с пристрастием. Вот почему я велел ей немедленно возвращаться в Швейцарию, а оттуда – домой. Я должен был так поступить, чтобы избавиться от беспокойства за ее судьбу и чувствовать себя в безопасности. Эмма тут же заверила меня, что уедет в Берн незамедлительно. Я информировал ее о положении дел в украинских эмигрантских кругах и о той значительной поддержке, которую они получали от Германии. Особенно любопытной показалась ей информация, касавшаяся раздоров внутри украинской организации: я рассказал Эмме о своей предполагавшейся поездке с Коновальцем в Вену и убедительно просил ее не появляться там в качестве курьера возле Шенбруннского дворца – места предполагавшейся встречи.

Во время нашего пребывания в Париже Коновалец пригласил меня посетить вместе с ним могилу Петлюры, после разгрома частями Красной Армии бежавшего в столицу Франции, где в 1926 году он и был убит. Коновалец боготворил этого человека, называя его «нашим знаменем и самым любимым вождем». Он говорил, что память о Петлюре должна быть сохранена. Мне было приятно, что Коновалец

берет меня с собой, но одна мысль не давала покоя: на могилу во время посещения положено класть цветы. Между тем мой кошелек был пуст, а напоминать о таких мелочах Коновальцу я не считал для себя возможным. Это было бы просто бестактно по отношению к человеку, занимавшему столь высокое положение, хотя, по существу, заботиться о цветах в данном случае надлежало ему, а не мне. Что делать? Всю дорогу до кладбища меня продолжала терзать эта мысль.

Мы прошли через все кладбище и остановились перед скромным надгробием на могиле Петлюры. Коновалец перекрестился – я последовал его примеру. Некоторое время мы стояли молча, затем я вытащил из кармана носовой платок и завернул в него горсть земли с могилы.

– Что ты делаешь?! – воскликнул Коновалец.

– Эту землю с могилы Петлюры отвезу на Украину, – ответил я, – мы в его память посадим дерево и будем за ним ухаживать.

Коновалец был в восторге. Он обнял меня, поцеловал и горячо похвалил за прекрасную идею. В результате наша дружба и его доверие ко мне еще более укрепились.

Коновалец рассказал мне, что один из его помощников, Грибивский, подозревается в сотрудничестве с чехословацкой контрразведкой, и попросил, чтобы я встретился с ним и попытался его прощупать. После убийства в Варшаве генерала Перацкого украинскими националистами чехи оперативно, за один день, захватили все явки украинской организации в Праге и забрали многие досье, находившиеся в ведении Грибивского. Эту историю я уже знал. Мой близкий друг и коллега Каминский, бывший за два года до меня в Германии в качестве нелегала, пытался завербовать Грибивского, якобы от имени словацкой полиции, для работы осведомителем, хотя на самом деле речь шла о работе на нас. Грибивский, со своей стороны, предполагал захватить Каминского во время назначенной встречи, но тот, увидев слежку, избежал ловушки, вовремя успев вскочить в проходивший трамвай. Коновалец совершенно правильно подозревал, что Каминский является вовсе не словацким, а советским агентом, и я, зная это, решительно возражал против моей встречи с Грибивским, заявив, что его, возможно, контролируют большевики (в конце концов он мог специально сделать вид, что не сумел захватить Каминского), а поэтому контакты с ним могут засветить меня и привести к провалу моей миссии здесь.

После нашего приезда в Вену я отправился на заранее определенное место встречи, где застал моего куратора и наставника по работе в Москве Зубова. Это был опытный разведчик, и я всегда стремился получить от него как можно больше знаний. Я подробно информировал его о деятельности Коновальца и сообщил, что на завтра намечен наш поход в оперу. Зубову удалось купить билет на тот же спектакль – он сидел прямо за нами и мог слышать все, о чем мы разговаривали с моим спутником. Выходя из театра, я нарочно налетел на Зубова в толпе зрителей и даже извинился за то, что толкнул его. В сущности, это была глупая детская выходка.

Из Вены я возвратился в Берлин, где в течение нескольких месяцев шли

бесплезные переговоры о возможном развертывании сил подполья на Украине в случае начала войны. В этот период я дважды ездил из Германии в Париж, встречаясь там с лидерами украинского правительства в изгнании. Коновалец предостерег меня в отношении этих людей: по его словам, их не следовало воспринимать серьезно, поскольку в реальной действительности все будут решать не эти господа, протиравшие штаны в парижских кафе, а его военная организация.

Тем временем мой «дядя», Лебедь, используя свои связи, прислал через Финляндию распоряжение о моем возвращении на Украину, где меня должны были оформить радистом на советское судно, регулярно заходившее в иностранные порты. Это давало бы мне возможность поддерживать постоянную связь между подпольем ОУН на Украине и националистическими организациями за рубежом. Коновальцу идея пришлась по душе, и он согласился с моим возвращением в Советский Союз.

С фальшивыми документами в сопровождении Сушко, заместителя Коновальца (Коновалец хотел убедиться, что я благополучно пересек границу), через Финляндию я добрался до советско-финской границы. Сушко привел меня туда, где, казалось, можно было безопасно перейти границу, проходившую здесь по болоту. Тем не менее, как только я приблизился к самой границе, меня перехватил финский пограничный патруль. Я был арестован и посажен в тюрьму в Хельсинки. Там меня допрашивали в течение месяца. Я объяснял им, что являюсь украинским националистом и стремлюсь возвратиться в Советский Союз, выполняя приказ своей организации.

Весь этот месяц атмосфера в Центре была весьма напряженной, поскольку Зоя Рыбкина сообщила из Хельсинки о моем возвращении. Чтобы узнать, что со мной произошло, на границу выехали Зубов и Шпигельглас. Все считали, что скорее всего меня ликвидировал Сушко.

По истечении трех недель после моего ареста официальному украинскому представителю в Хельсинки Полуведько поступил запрос от финской полиции и офицеров абвера о некоем украинце, пытавшемся пробраться в Советский Союз. Между абвером и финской разведкой существовало соглашение о контроле над советской границей – любые перебежчики проверялись ими совместно. В конце концов меня передали Полуведько, который сопровождал меня до Таллинна. Там мне выдали еще один фальшивый литовский паспорт, а в советском консульстве оформили краткосрочную туристическую визу для поездки в Ленинград. На сей раз с пересечением границы не было никаких проблем: пограничник проштемпелевал мой паспорт, а затем мне удалось улизнуть от интуристского гида, ожидавшего меня в Ленинграде. Уверен, что это вызвало настоящий переполох в отделении Интуриста, и милиция наверняка была поставлена на ноги, чтобы разыскать пропавшего в городе литовского туриста.

Успешная командировка в Западную Европу изменила мое положение в разведке. О результатах работы было доложено Сталину и Косиору, секретарю ЦК Коммунистической партии Украины, а также Петровскому, председателю Верховного Совета республики. В кабинете Слуцкого, где я докладывал в деталях о своей поездке, меня представили двум людям: один из них был Серебрянский,

начальник Особой группы при наркоме внутренних дел – самостоятельного и в то время мне неизвестного Центра закордонной разведки органов безопасности, а другой, по-моему, Васильев, – сотрудник секретариата Сталина. Ни того, ни другого я прежде не знал.

Позднее меня наградили орденом Красного Знамени, который вручил мне глава государства М.И. Калинин. Вместе со мной в Кремле орден Красного Знамени получил и Зарубин, только что возвратившийся из нелегальной поездки в Западную Европу, почти в то же самое время, что и я. Мы встретились с ним тогда в первый раз. Позднее мы сблизились, и эта дружба продолжалась всю жизнь, хотя он был значительно старше меня.

Во время дружеского ужина в честь Зарубина и меня на квартире Слуцкого мне пришлось выпить – второй раз в жизни – стопку водки. Впервые это случилось в Одессе, когда мне было пятнадцать лет. Хотя я и был физически здоровым человеком, врачи определили, что мне противопоказаны алкогольные напитки крепостью выше двенадцати градусов. Однако Слуцкий и Шпигельглас приказали принять «норму» за боевой орден, и на следующий день я лежал пластом. Реакция организма была ужасной: нестерпимая головная боль и рвота.

Весь 1937-й и часть 1938-го года я неоднократно выезжал на Запад в качестве курьера. Крышей для меня служила должность радиста на грузовом судне. Встретившись с Коновальцем, я ужаснулся, услышав, что ОУН передала немцам дезинформацию о том, что ряд командиров Красной Армии из числа украинцев – Федько, Дубовой и др. (позднее все они были ликвидированы Сталиным) – выражали свои симпатии делу украинских националистов. Люди Коновальца выдумывали подобные истории, чтобы произвести впечатление на немцев и получить от них как можно больше денег. Позднее мне довелось прочесть в украинской эмигрантской прессе, что такие красные командиры как Дубовой, Федько и ряд других якобы делили свою лояльность между советской властью и украинским национализмом. Коновалец решился сообщить мне об этом, поскольку знал, что как организатор украинского подполья я смогу узнать правду.

Когда в 1937 году я сообщил об этом Шпигельгласу, он высказал предположение, что контакты Дубового и других командиров с украинскими националистами и немцами не были невозможными. Думаю, что Шпигельглас просто хотел прикрыть меня на случай, если бы я передал эту неприятную для нашего руководства информацию – ведь судьба этих командиров уже была предрешена.

В ноябре 1937 года, после празднования двадцатилетия Октябрьской революции, я был вызван вместе со Слуцким к Ежову, тогдашнему наркому внутренних дел. Я встретился с ним впервые, и меня буквально поразила его неказистая внешность. Вопросы, которые он задавал, касались самых элементарных для любого разведчика вещей и звучали некомпетентно. Чувствовалось, что он не знает самих основ работы с источниками информации. Более того, похоже, что его вообще не интересовали раздоры внутри организации украинских эмигрантов. Между тем Ежов был и народным комиссаром внутренних дел, и секретарем Центрального комитета партии. Я искренне считал, что просто не в состоянии

оценить те интеллектуальные качества, которые позволили этому человеку занять столь высокие посты. Хотя к этому времени я и был уже весьма опытным профессионалом в разведслужбе, но в том, что касалось карьеры в высших эшелонах власти, оставался наивным человеком: ведь те руководители, с которыми я сталкивался до сих пор, такие как Косиор и Петровский, возглавлявшие компартию Украины, были высокоинтеллектуальными людьми с широким кругозором.

Выслушав мое сообщение относительно предстоящих встреч с украинскими националистами, Ежов внезапно предложил, чтобы я сопровождал его в ЦК. Я был просто поражен, когда наша машина въехала в Кремль, допуск в который имел весьма ограниченный круг лиц. Мое удивление еще больше возросло после того, как Ежов объявил, что нас примет лично товарищ Сталин. Это была моя первая встреча с вождем. Мне было тридцать, но я так и не научился сдерживать свои эмоции. Я был вне себя от радости и едва верил тому, что руководитель страны захотел встретиться с рядовым оперативным работником. После того как Сталин пожал мне руку, я никак не мог собраться, чтобы четко ответить на его вопросы. Улыбнувшись, Сталин заметил:

– Не волнуйтесь, молодой человек. Докладывайте основные факты. В нашем распоряжении только двадцать минут.

– Товарищ Сталин, – ответил я, – для рядового члена партии встреча с вами – величайшее событие в жизни. Я понимаю, что вызван сюда по делу. Через минуту я возьму себя в руки и смогу доложить основные факты вам и товарищу Ежову.

Сталин, кивнув, спросил меня об отношениях между политическими фигурами в украинском эмигрантском движении. Я вкратце описал бесплодные дискуссии между украинскими националистическими политиками по вопросу о том, кому из них какую предстоит сыграть роль в будущем правительстве. Реальную угрозу, однако, представлял Коновалец, поскольку он активно готовился к участию в войне против нас вместе с немцами. Слабость его позиции заключалась в постоянном давлении на него и возглавляемую им организацию со стороны польских властей, которые хотели направить украинское национальное движение в Галиции против Советской Украины.

– Ваши предложения? – спросил Сталин.

Ежов хранил молчание. Я тоже. Потом, собравшись с духом, я сказал, что сейчас не готов ответить.

– Тогда через неделю, – заметил Сталин, – представьте свои предложения.

Аудиенция окончилась. Он пожал нам руки, и мы вышли из кабинета.

Вернувшись на Лубянку, Ежов тут же дал мне указание немедленно приступить к работе вместе со Шпигельгласом над нашими предложениями. На следующий день Слуцкий, как начальник Иностранного отдела, направил подготовленную записку Ежову. Это был план интенсивного внедрения в ООН, прежде всего на территории Германии. Для этого было, в частности, предложено послать трех сотрудников украинского НКВД в качестве слушателей в нацистскую партийную школу. Нам казалось необходимым вместе с ними послать для подстраховки одного

подлинного украинского националиста, желательно при этом не слишком сообразительного. Ежов не задал ни одного вопроса и только сказал, что товарищ Сталин дал указание посоветоваться с товарищами Косиором и Петровским, у которых могут быть свои соображения. Мне надлежало немедленно выехать в Киев, переговорить с ними и на следующий день вернуться в Москву.

Наша беседа проходила в кабинете Косиора, где присутствовал и Петровский. Оба они проявили интерес к предложенной нами двойной игре. Однако больше всего их заботило предполагавшееся тогда провозглашение независимой Карпатской Украинской республики. Ровно через неделю после моего возвращения в Москву Ежов в одиннадцать вечера вновь привел меня в кабинет к Сталину. На этот раз там находился Петровский, что меня не удивило. Всего за пять минут я изложил план оперативных мероприятий против ОУН, подчеркнув, что главная цель – проникновение в абвер через украинские каналы, поскольку абвер является нашим главным противником в предстоящей войне.

Сталин попросил Петровского высказаться. Тот торжественно объявил, что на Украине Коновалец заочно приговорен к смертной казни за тяжчайшие преступления против украинского пролетариата: он отдал приказ и лично руководил казнью революционных рабочих киевского «Арсенала» в январе 1918 года.

Сталин, перебив его, сказал:

– Это не акт мести, хотя Коновалец и является агентом германского фашизма. Наша цель – обезглавить движение украинского фашизма накануне войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть. – Тут же он обратился ко мне с вопросом: – А каковы вкусы, слабости и привязанности Коновальца? Постарайтесь их использовать.

– Коновалец очень любит шоколадные конфеты, – ответил я, добавив, что, куда бы мы с ним ни ездили, он везде первым делом покупал шикарную коробку конфет.

– Обдумайте это, – предложил Сталин.

За все время беседы Ежов не проронил ни слова. Прощаясь, Сталин спросил меня, правильно ли я понимаю политическое значение поручаемого мне боевого задания.

– Да, – ответил я и заверил его, что отдам жизнь, если потребуется, для выполнения задания партии.

– Желаю успеха, – сказал Сталин, пожимая мне руку.

Мне было приказано ликвидировать Коновальца.

После моей встречи со Сталиным Слуцкий и Шпигельглас разработали несколько вариантов операции.

Первый из них предполагал, что я застрелю Коновальца в упор. Правда, его всегда сопровождал помощник Барановский, кодовая кличка которого «Пан инженер». Найти момент, когда я останусь с Коновальцем один на один, почти не представлялось возможным.

Второй вариант заключался в том, чтобы передать ему «ценный подарок» с вмонтированным взрывным устройством. Этот вариант казался наиболее приемлемым: если часовой механизм сработает как положено, я успею уйти.

Сотрудник отдела оперативно-технических средств Тимашков получил задание изготовить взрывное устройство, внешне выглядевшее как коробка шоколадных конфет, расписанная в традиционном украинском стиле. Вся проблема заключалась в том, что мне предстояло незаметно нажать на переключатель, чтобы запустить часовой механизм. Мне этот вариант не слишком нравился, так как яркая коробка сразу привлекла бы внимание Коновальца. Кроме того, он мог передать эту коробку постоянно сопровождавшему его Барановскому.

Используя свое прикрытие – я был зачислен радистом на грузовое судно «Шилка», – я встречался с Коновальцем в Антверпене, Роттердаме и Гавре, куда он приезжал по фальшивому литовскому паспорту на имя господина Новака. Литовские власти в 30-е годы регулярно снабжали функционеров ОУН фальшивыми загранпаспортами.

Игра, продолжавшаяся более двух лет, вот-вот должна была завершиться. Шла весна 1938 года, и война казалась неизбежной. Мы знали: во время войны Коновалец возглавит ОУН и будет на стороне Германии.

По пути, отправляясь на встречу с Коновальцем, я проверил работу сети наших нелегалов в Норвегии, в задачу которых входила подготовка диверсий на морских судах Германии и Японии, базировавшихся в Европе и используемых для поставок оружия и сырья режиму Франко в Испании. Возглавлял эту сеть Эрнст Волльебер, известный мне в то время под кодовым именем «Антон». Под его началом находилась, в частности, группа поляков, которые обладали опытом работы на шахтах со взрывчаткой. Эти люди ранее эмигрировали во Францию и Бельгию из-за безработицы в Польше, где мы и привлекли их к сотрудничеству для участия в диверсиях на случай войны. Мне было приказано провести проверку польских подрывников. Волльебер почти не говорил по-польски, однако мой западно-украинский диалект был вполне достаточен для общения с нашими людьми. С группой из пяти польских агентов мы встретились в норвежском порту Берген. Я заслушал отчет об операции на польском грузовом судне «Стефан Баторий», следовавшем в Испанию с партией стратегических материалов для Франко. До места своего назначения оно так и не дошло, затонув в Северном море после возникшего в его трюме пожара в результате взрыва подложенной нашими людьми бомбы.

Волльебер произвел на меня сильное впечатление. Немецкий коммунист, он служил в Германии на флоте, возглавлял восстание моряков против кайзера в 1918 году. Военный трибунал приговорил его к смертной казни, но ему удалось бежать сначала в Голландию, а затем в Скандинавию. Позднее он был арестован шведскими властями, и гестапо тотчас потребовало его выдачи. Однако он получил советское гражданство, так что его высылка из Швеции в оккупированную немцами Норвегию не состоялась. Уже после Пакта Молотова-Риббентропа, в 1939 году, он приезжал в Москву и получил приказание продолжать подготовку диверсий в неизбежной войне с Гитлером. Организация Волльебера сыграла важную роль в норвежском

Сопrotивлении. Волльвебер и его люди, вернувшиеся в Москву в 1941–1944 годах, помогли нам в вербовке после начала войны немецких военнопленных для операций нашей разведки.

После окончания войны Волльвебер некоторое время возглавлял министерство госбезопасности ГДР. В 1938 году в связи с конфликтом, который возник у него с Хрущевым, Ульбрихт сместил Волльвебера с занимаемого поста. А произошло следующее. Волльвебер рассказал Серову, тогдашнему председателю КГБ, о разногласиях среди руководства ГДР, считая их проявлением прозападных настроений, противоречивших линии международного коммунистического движения. Серов сообщил об этом разговоре Хрущеву. А тот на обеде, сопровождавшемся обильной выпивкой, сказал Ульбрихту:

– Почему вы держите министра госбезопасности, который сообщает нам об идеологических разногласиях внутри вашей партии? Это же продолжение традиции Берии и Меркулова, с которыми Волльвебер встречался в сороковых годах, когда приезжал в Москву.

Ульбрихт понял, что следует делать, и немедленно уволил Волльвебера за «антипартийное поведение». Он умер, будучи в опале, в 60-е годы.

В конце концов взрывное устройство в виде коробки конфет было изготовлено, причем часовой механизм не надо было приводить в действие особым переключателем. Взрыв должен был произойти ровно через полчаса после изменения положения коробки из вертикального в горизонтальное. Мне надлежало держать коробку в первом положении в большом внутреннем кармане своего пиджака. Предполагалось, что я передам этот «подарок» Коновальцу и покину помещение до того, как мина сработает.

Шпигельглас сопровождал меня в кабинет Ежова, который лично захотел принять меня перед отъездом. Когда мы вышли от него, Шпигельглас сказал:

– Тебе надлежит в случае провала операции и угрозы захвата противником действовать как настоящему мужчине, чтобы ни при каких условиях не попасть в руки полиции.

Фактически это был приказ умереть. Имелось в виду, что я должен буду воспользоваться пистолетом «Вальтер», который он мне дал.

Шпигельглас провел со мной более восьми часов, обсуждая различные варианты моего ухода с места акции. Он снабдил меня сезонным железнодорожным билетом, действительным на два месяца на всей территории Западной Европы, а также вручил фальшивый чехословацкий паспорт и три тысячи американских долларов, что по тем временам было большими деньгами. По его совету я должен был обязательно изменить свою внешность после «ухода»: купить шляпу, плащ в ближайшем магазине.

Перед отплытием из Мурманска я прочел в «Правде», что Слуцкий скоропостижно скончался от сердечного приступа. Это была для меня большая потеря. Я глубоко уважал его как опытного руководителя разведки. В чисто человеческом плане он неизменно проявлял внимание ко мне и к Эмме. Этот

человек имел большие заслуги. Именно ему в свое время удалось похитить в Швеции технический секрет производства шарикоподшипников. Для нашей промышленности это имело важнейшее значение. Слуцкого наградили и орденом Красного Знамени. Вместе с Никольским (позднее известным как Орлов), начальником отделения экономической разведки, в 1930-м или 1931 году они встречались со шведским спичечным королем Иваром Крюгером. Шантажируя его тем, что мы наводним западные рынки нашими дешевыми спичками, они потребовали для советского правительства отступную сумму в триста тысяч американских долларов. Прием сработал, деньги были получены.

Я самым внимательным образом изучил все возможные маршруты побега в тех городах, где могла произойти наша встреча с Коновальцем. Для каждого из них у меня имелся детально разработанный план. Однако перед последней поездкой на встречу с Коновальцем возникли неожиданные проблемы. В ответ на мой звонок из Норвегии он вдруг предложил, чтобы мы встретились в Киле (Германия), или я прилетел бы к нему в Италию на немецком самолете, который он за мной пришлет. Я ответил, что не располагаю временем: хотя капитан судна и являлся членом украинской организации, но мне нельзя на сей раз отлучаться во время стоянок больше чем на пять часов. Тогда мы договорились, что встретимся в Роттердаме, в ресторане «Атланта», находившемся неподалеку от центрального почтамта, всего в десяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Прежде чем сойти на берег в Роттердаме, я сказал капитану, который получил инструкции выполнять все мои распоряжения, что если не вернусь на судно к четырем часам дня, ему надлежит отплыть без меня. Тимашков, изготовитель взрывного устройства, сопровождал меня в этой поездке и за десять минут до моего ухода с судна зарядил его. Сам он остался на борту судна. (Позже Тимашков стал начальником отдела оперативной техники, именно он сконструировал магнитные мины: одной из них был убит немецкий гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе. Это произошло в 1943 году, а после окончания второй мировой войны он служил советником у греческих партизан во время гражданской войны.)

23 мая 1938 года после прошедшего дождя погода была теплой и солнечной. Время без десяти двенадцать. Прогуливаясь по переулку возле ресторана «Атланта», я увидел сидящего за столиком у окна Коновальца, ожидавшего моего прихода. На сей раз он был один. Я вошел в ресторан, подсел к нему, и после непродолжительного разговора мы условились снова встретиться в центре Роттердама в 17.00. Я вручил ему подарок, коробку шоколадных конфет, и сказал, что мне сейчас надо возвращаться на судно. Уходя, я положил коробку на столик рядом с ним. Мы пожали друг другу руки, и я вышел, сдерживая свое инстинктивное желание тут же броситься бежать.

Помню, как, выйдя из ресторана, свернул направо на боковую улочку, по обе стороны которой располагались многочисленные магазины. В первом же из них, торговавшем мужской одеждой, я купил шляпу и светлый плащ. Выходя из магазина, я услышал звук, напоминавший хлопок лопнувшей шины. Люди вокруг меня побежали в сторону ресторана. Я поспешил на вокзал, сел на первый же поезд, отправлявшийся в Париж, где утром в метро меня должен был встретить человек, лично мне знакомый. Чтобы меня не запомнила поездная бригада, я сошел на

остановке в часе езды от Роттердама. Там, возле бельгийской границы, я заказал обед в местном ресторане, но был не в состоянии притронуться к еде из-за страшной головной боли. Границу я пересек на такси – пограничники не обратили на мой чешский паспорт ни малейшего внимания. На том же такси я доехал до Брюсселя, где обнаружил, что ближайший поезд на Париж только что ушел. Следующий, к счастью, отходил довольно скоро, и к вечеру я был уже в Париже. Все прошло без сучка и задоринки. В Париже меня, помню, обманули в пункте обмена валюты на вокзале, когда я разменивал сто долларов. Я решил, что мне не следует останавливаться в отеле, чтобы не проходить регистрацию: голландские штампы в моем паспорте, поставленные при пересечении границы, могли заинтересовать полицию. Служба контрразведки, вероятно, станет проверять всех, кто въехал во Францию из Голландии.

Ночь я провел, гуляя по бульварам, окружавшим центр Парижа. Чтобы убить время, пошел в кино. Рано утром, после многочасовых хождений, зашел в парикмахерскую побриться и помыть голову. Затем поспешил к условленному месту встречи, чтобы быть на станции метро к десяти утра. Когда я вышел на платформу, то сразу же увидел сотрудника нашей разведки Агаянца, работавшего третьим секретарем советского посольства в Париже. Он уже уходил, но, заметив меня, тут же вернулся и сделал знак следовать за ним. Мы взяли такси до Булонского леса, где позавтракали, и я передал ему свой пистолет и маленькую записку, содержание которой надо было отправить в Москву шифром. В записке говорилось: «Подарок вручен. Посылка сейчас в Париже, а шина автомобиля, на котором я путешествовал, лопнула, пока я ходил по магазинам». Агаянец, не имевший никакого представления о моем задании, проводил меня на явочную квартиру в пригороде Парижа, где я оставался в течение двух недель.

В газетах не было ни строчки об инциденте в Роттердаме. Однако эмигрантские русские газеты всю писали о будущей судьбе Ежова: по их мнению, он обречен как очередная жертва кампании чисток. Читая это, я не мог не смеяться про себя: «До чего же глупы все эти статьи. Ведь всего два месяца назад этот человек желал мне успеха в выполнении задания, и к тому же я сам видел, что товарищ Станин полностью ему доверяет».

Из Парижа я по подложным польским документам отправился машиной и поездом в Барселону. Местные газеты сообщали о странном происшествии в Роттердаме, где украинский националистический лидер Коновалец, путешествовавший по фальшивому паспорту, погиб при взрыве на улице. В газетных сообщениях выдвигались три версии: либо его убили большевики, либо соперничающая группировка украинцев, либо, наконец, его убрали поляки – в отместку за гибель генерала Перацкого.

Судьбе было угодно, чтобы Барановский, прибывший через час после взрыва в Роттердам из Германии на встречу с Коновальцем, был арестован голландской полицией, которая подозревала его в совершении этой акции, но когда его доставили в госпиталь и показали тело убитого, он воскликнул: «Мой фюрер!» – и этого, в купе с железнодорожным билетом, оказалось достаточно, чтобы убедить полицию в его полной невинности.

На следующий день после взрыва голландская полиция в сопровождении Барановского произвела проверку экипажей всех советских судов, находившихся в роттердамском порту. Они искали человека, запечатленного на фото, которое было в их распоряжении. Это была та самая фотография, сделанная уличным фотографом в Берлине. Барановскому было известно, что Коновалец собирался встретиться с курьером-радистом с советского судна, появившимся в Западной Европе. Однако он вовсе не был уверен, что это именно я. Голландская полиция знала о телефонном звонке Коновальцу из Норвегии и, естественно, подозревала, что звонил его агент. Правда, никто не знал наверняка, с кем именно Коновалец встречался в тот роковой день. Когда произошел взрыв на улице, рядом с ним никого не было. Его личность оставалась не выясненной полицией до позднего вечера, тогда как мое судно «Шилка» давно уже покинуло роттердамскую гавань.

В Испании я оставался в течение трех недель как польский доброволец в составе руководимой НКВД интернациональной партизанской части при республиканской армии.

Глава 2

События в Испании

Во время пребывания в Барселоне я впервые встретился с Рамоном Меркадером дель Рио, молоденьким лейтенантом, только что возвратившимся после выполнения партизанского задания в тылу франкистов. Обаятельный молодой человек – в ту пору ему исполнилось всего двадцать лет. Его старший брат, как мне рассказали, героически погиб в бою: обвязав себя гранатами, он бросился под немецкий танк, прорвавшийся к позициям республиканцев. Их мать Каридад также пользовалась большим уважением в партизанском подполье республиканцев, показывая чудеса храбрости в боевых операциях. Тогда я и не подозревал, какое будущее уготовано Меркадеру: ведь ему было суждено ликвидировать Троцкого, причем операцией этой должен был руководить именно я.

В течение 1936–1939 годов в Испании шли, в сущности, не одна, а две войны, обе не на жизнь, а на смерть. В одной войне схлестнулись националистические силы, руководимые Франко, которому помогал Гитлер, и силы испанских республиканцев, помощь которым оказывал Советский Союз. Вторая, совершенно отдельная война шла внутри республиканского лагеря. С одной стороны, Сталин в Советском Союзе, а с другой – Троцкий, находившийся в изгнании: оба хотели предстать перед миром в качестве спасителей и гарантов дела республиканцев, чтобы тем самым стать в авангарде мирового коммунистического движения.

В Испанию мы направляли как своих молодых, неопытных оперативников, так и опытных инструкторов-профессионалов. Эта страна сделалась своего рода полигоном, где опробовались и отработывались наши будущие военные и разведывательные операции. Многие из последующих ходов советской разведки опирались на установленные в Испании контакты и на те выводы, которые мы сумели сделать из своего испанского опыта. Да, республиканцы в Испании потерпели поражение, но люди, работавшие на Советский Союз, стали нашими постоянными союзниками в борьбе с фашизмом. Когда гражданская война в этой стране завершилась, стало ясно: в мире не остается больше места для Троцкого.

В Испании же произошла и моя новая встреча с Эйтингоном, одним из видных руководителей советской разведки в 20-50-е годы. С ним я познакомился еще пять лет назад, когда он возглавлял 1-е отделение (нелегальная разведка) Иностранного отдела. В Испании Эйтингон, майор госбезопасности, отвечал за ведение партизанских операций в тылу франкистов и внедрение агентуры в верхушку фашистского движения. Его псевдоним в Испании был «Генерал Котов», а в Центре он проходил под именами «Том» и «Пьер». Именно Эйтингон, выполняя инструкции Центра, организовал в 1938 году мое возвращение в Москву. Он сопровождал меня до Гавра и посадил на борт советского судна. До сих пор помню, как он выглядел: посмотришь на него и подумаешь, что это обычный французский уличный торговец – без галстука, в неизменном кепи, которое он носил даже в жару.

Наум Исаакович Эйтингон родился 6 декабря 1899 года в Белоруссии, в городе Шклов, неподалеку от Гомеля, откуда была родом моя жена. На Лубянке и среди

друзей его звали Леонид Александрович, так как в 20-х годах еврей-чекисты брали себе русские имена, чтобы не привлекать излишнего внимания к своей национальности как осведомителей и информаторов из кругов дворянства и бывшего офицерства, так и коллег, с которыми они работали.

Семья Эйтингонов принадлежала к самым бедным слоям общества, однако в Европе у них были весьма состоятельные родственники.

Эйтингон вступил в ряды партии эсеров в 1917 году. Годом позже в возрасте девятнадцати лет он пошел в Красную Армию и вскоре был направлен на работу в ЧК. В 1919 году его назначили заместителем председателя ЧК Гомельской области. Он вышел из партии эсеров и присоединился к большевикам в 1920 году. Карьера Эйтингона началась тогда, когда он принял активное участие в подавлении восстания белогвардейских офицеров в Гомеле, во время которого им удалось ненадолго захватить город.

Дзержинский заметил молодого чекиста и послал его руководить ЧК в Башкирии для подавления бандитизма. Там в бою с местными бандитами он был ранен в ногу и частенько жаловался мне впоследствии на боли в ноге. В 1921 году его направили в Москву в военную академию, где он учился вместе с будущими военными военачальниками. Помню, он показывал мне фотографии, запечатлевшие его с Чуйковым, впоследствии маршалом, защитником Сталинграда.

По завершении учебы в военной академии Эйтингона направили на работу в Иностраннный отдел ОГПУ. Европейская родня отказалась выполнить его просьбу прислать необходимые рекомендации, бумаги и деньги для поездки в Западную Европу. А это могло быть его легальным прикрытием для оперативной работы. В результате Эйтингона послали в Китай в качестве резидента ОГПУ: сначала в Шанхай (там он работал совместно с сетью Разведупра Красной Армии, включавшей также как одного из агентов Рихарда Зорге), а затем в Пекин и Харбин. Эйтингону удалось добиться освобождения группы советских военных советников, захваченных китайскими националистами в Маньчжурии. Столь же успешно провел он и другую операцию, сорвав попытку агентов Чан Кайши захватить советское консульство в Шанхае. После этого его отозвали в Москву. На короткое время в 1930 году Эйтингон становится заместителем Серебрянского, начальника Особой группы при председателе ОГПУ. Этот самостоятельный и независимый от Иностранного отдела разведывательный Центр был создан Менжинским, преемником Дзержинского, в 1926 году как параллельная разведывательная служба для глубокого внедрения агентуры на объекты военно-стратегического характера и подготовки диверсионных операций в Западной Европе и Японии в случае войны. С этой целью Эйтингон ездил из Китая в США (Калифорнию) для организации там агентурной сети. В 1932 году Эйтингона перевели в Иностраннный отдел, руководимый Артузовым, а позднее Слуцким, в качестве начальника отделения, координировавшего работу нелегальных резидентур. Наряду с этим он отвечал также за изготовление поддельных паспортов для тайных операций за рубежом.

Когда мы впервые встретились с ним в Москве в 1933 году, я был новым инспектором в отделе кадров. В ту пору мы не были особенно близки, поскольку он занимал более высокое положение, чем я. В его лице я видел опытного руководителя

разведки, уважаемого за успехи в работе и профессиональное мастерство, поэтому ему была поручена работа с нелегалами – святая святых в нашем деле. В те годы этой работе придавалось важнейшее значение, поскольку резидентур под дипломатическим прикрытием было у нас относительно немного. Мы стремились к тому, чтобы наши агенты в случае провала не могли навести западные спецслужбы на советские полпредства за рубежом.

Красивое лицо Эйтингона и его живые карие глаза так и светились умом. Взгляд пронзительный, волосы, густые и черные как смоль, шрам на подбородке, оставшийся после автомобильной аварии (большинство людей принимало его за след боевого ранения), – все это придавало ему вид бывшего человека. Он буквально очаровывал людей, наизусть цитируя стихи Пушкина, но главным его оружием были ирония и юмор. Пил он мало – рюмки коньяка хватало ему на целый вечер. Я сразу же обратил внимание на то, что этот человек несколько не похож на высокопоставленного спесивого бюрократа. Полное отсутствие интереса к деньгам и комфорту в быту у Эйтингона было просто поразительным. У него никогда не было никаких сбережений, и даже скромная обстановка в квартире была казенной.

Помню, я как-то раз принес ему личное дело молодого чекиста, служившего возле польской границы, с просьбой по возможности перевести его на работу в качестве одного из сотрудников отделения, которым Эйтингон руководил. В деле находилась записка заместителя начальника отдела украинского ГПУ, рекомендовавшего его для службы в Польше недалеко от того места, где тот жил и работал. Эйтингону не хотелось посылать этого молодого человека в Польшу, рядом с границей, где того могли узнать. И он прокомментировал это так: «Если этого парня, не имеющего никакого опыта, поймают при обычной проверке, то чья голова тогда полетит? Если я стану слушать подобные рекомендации, надо будет завести специальную корзину для собирания голов».

Я решил, что вопрос закрыт и ему не хочется, чтобы его беспокоили по поводу устройства этого человека. Но неожиданно Эйтингон сам позвонил Минскеру, возглавлявшему отделение по Дальнему Востоку, и предложил ему взять на работу этого сотрудника.

Следующая наша встреча, оперативная, была уже в Испании, откуда он нелегально переправлял меня во Францию в 1938 году после ликвидации Коновальца. Эйтингона послали в Испанию двумя годами раньше в качестве заместителя резидента, отвечавшего за партизанские операции, включая диверсии на железных дорогах и аэродромах. После того как Никольский, наш резидент в Испании (под именем Александр Орлов), в июле 1938 года исчез, Эйтингон стал резидентом. Я не мог не оценить искусства, с которым он адаптировался к местным условиям.

После того как в 1939 году в гражданской войне в Испании победил Франко, Эйтингон перебрался во Францию, где несколько месяцев реорганизовывал и восстанавливал все то, что осталось от его агентурной сети, и поддерживал связь с Гаем Берджесом – одним из членов кембриджской группы, проходившим под кодовым именем «Девушка». Затем Берджес был передан на связь Горскому – резиденту НКВД в Англии. Примерно в то же время Эйтингону удалось привлечь к

сотрудничеству с советской разведкой племянника главы испанской фашистской партии Примо де Ривейры, друга Гитлера. До 1942 года он был важным источником информации о планах Франко и Гитлера. В 1938 году Центр был буквально взбешен бегством нашего резидента в Испании Орлова. Вскоре мы узнали, что он сбежал, боясь ареста. Однако Эйтингон предложил, несмотря на измену Орлова, продолжать контакты с членами кембриджской группы, поскольку Орлов, проживая в Соединенных Штатах, не мог выдать своих связей с этими людьми без риска подвергнуть себя судебному преследованию. В 1934–1933 годах Орлов жил в Англии по фальшивому американскому паспорту, поэтому если бы американская контрразведка проверила кембриджскую группу, то Орлов мог не получить американское гражданство и был бы депортирован из США. Более того, всплыли бы нежелательные для него факты: террористические операции под его руководством и с его участием против троцкистов и агентов НКВД, подозреваемых в двойной игре в Испании.

В 1941 году Эйтингон был направлен в Турцию и пробыл там почти весь 1942 год под именем Леонида Наумова. Там он готовил покушение на Франца фон Папена, тогдашнего германского посла в Турции. По слухам, фон Папен должен был возглавить правительство Германии в случае отстранения Гитлера от власти генералами вермахта. Это открывало путь к сепаратному миру между Германией, Англией и США. Попытка покушения оказалась неудачной – наш агент-болгарин нервничал, и бомба взорвалась раньше времени у него в руках. В результате сам он погиб, а фон Папен отделался лишь легкими царапинами.

В последующие годы моя жена и Эйтингон, как выяснилось, оказались настроенными куда более реалистично в оценке наших порядков, чем я. Я помню, Леонид часто говорил, к примеру, что партия больше не является отрядом единомышленников, преданных социалистическим идеям и принципам справедливости, а стала всего лишь машиной для управления страной. Сначала его шутки в адрес руководства страны расстраивали меня, но затем я привык к ним и стал понимать, насколько он прав, полагая, что наши лидеры ставили свои собственные корыстные интересы выше интересов народа и советского государства. Жена, однако, всегда одергивала Эйтингона, едва он начинал жаловаться на раздутые привилегии кремлевского руководства. «С одной стороны, – говорила она, – я согласна с тобой. Слишком много людей пользуются ими, и в большинстве ни за что, и уж конечно, не за свой тяжелый труд. Не забывай, однако, что и ты, и твоя семья получали льготы и так же, как и мы, не думали отказываться от них».

В последние годы своей жизни Эйтингон был женат на Пузыревой, единственной женщине – сотруднице КГБ, награжденной британским орденом.

Эйтингон вторично был арестован вместе со мной на волне, последовавшей за отстранением Берии от власти в 1953 году, и освобожден только в 1964-м. Эйтингон скончался в 1981 году, не будучи реабилитированным – официально он считался просто выпущенным на свободу преступником. Лишь в апреле 1992 года семья получила свидетельство о его посмертной реабилитации.

Леонид был по-настоящему одаренной личностью и, не стань он разведчиком, наверняка преуспел бы на государственной службе или сделал бы научную карьеру.

До сих пор в памяти живет шутка: «При нашей системе есть лишь одна, впрочем, тоже не гарантированная, возможность не закончить свои дни в тюрьме. Надо не быть евреем или генералом госбезопасности».

В 1992 году дочь Эйтингона Светлана позвонила мне по телефону и попросила принять свою дальнюю родственницу из Англии, которая приехала в Москву собирать материалы для книги об Эйтингонах. Во время нашей встречи в мае 1992 года я узнал от нее, что ветви «клана» Эйтингонов можно найти в Белоруссии, Москве, Нью-Йорке и Лейпциге. Однако родственники, которые переехали из Европы в Америку и пользовались особыми льготами по торговле меховыми изделиями из Советского Союза, не играли никакой роли в профессиональной карьере Эйтингона, и он не поддерживал контактов с ними даже после освобождения из Владимирской тюрьмы.

Сообщения, появившиеся ранее на Западе, в которых Эйтингону приписывалась важная роль в проведении операции похищения в 1937 году в Париже генерала Миллера, руководителя РОВСа (Российский Общевоинский Союз), не соответствуют действительности. Похищен он был при участии эмигрировавшего в Париж генерала Скоблина (кодовая кличка «Фермер»), действовавшего под непосредственным руководством Шпигельгласа. Скоблину удалось заманить Миллера на явочную квартиру НКВД, где якобы должна была состояться его встреча с офицерами германской разведки. Там он и был задержан. В связи с исчезновением Миллера французские власти заявили решительный протест советскому послу во Франции, настаивая на том, что тот был на самом деле похищен и доставлен на борт советского судна. Они даже угрожали послать свой эсминец для перехвата в море советского судна. Наш посол Суриц категорически отверг все обвинения, предупредив французов, что они понесут ответственность, если мирное советское судно будет остановлено и обыскано ими в международных водах. В любом случае, по словам посла, генерала Миллера там все равно не найдут. В результате советское судно не было задержано и благополучно проделало свой путь от Гавра до Ленинграда. Миллер был доставлен в Москву, где его допрашивали, он отказался подписать обращение к белой эмиграции о прекращении борьбы с советской властью, был судим и расстрелян в 1939 году на Лубянке. Его похищение наделало в то время много шума. То, что генерала удалось обезвредить, привело к развалу всей организации бывших царских офицеров, сорвав планы их сотрудничества с немцами в войне против нас.

Скоблин бежал из Парижа в Испанию на самолете, заказанном для него Орловым (когда Орлов в 1938 году бежал, он сохранил золотое кольцо Скоблина в качестве доказательства своей причастности к этому делу). Сам Скоблин погиб во время воздушного налета на Барселону в период гражданской войны в Испании. Его женой была известная русская певица Надежда Плевицкая, поддерживавшая связь с НКВД. Она не подозревала, что Шпигельглас руководил операцией по захвату Миллера, и считала его другом своего мужа. Она только знала, что Шпигельглас («Дуглас») был связан с советскими представителями и поддерживал их материально. Ее арестовали во Франции за соучастие в похищении Миллера и приговорили к двадцати годам каторжных работ. Она умерла в тюрьме в 1944 году. Если бы Скоблин проводил эту операцию, как пишут некоторые «знатоки» истории

нашей разведки, с ведома немцев, то Плевицкая была бы освобождена ими, или, во всяком случае, немцы обязательно попытались бы ее использовать, чтобы выйти на связи нашей разведки во Франции.

Но возвратимся к событиям 1938 года. Получив мое послание из Парижа об успешном проведении операции по ликвидации Коновальца, Шпигельглас вызвал к себе мою жену и сказал: «Андрей (моя кодовая кличка) находится в безопасности. Он видел, как люди бросились к месту происшествия, и ему стало все ясно. Ведь в Западной Европе никто не побежит ради того, чтобы посмотреть на лопнувшую поблизости автомобильную шину».

В июле 1938 года судно, на котором я находился, пришвартовалось в ленинградском порту. Я тут же выехал ночным поездом в Москву. На вокзале меня встречали Пассов, только что назначенный вместо Слуцкого, Шпигельглас и моя жена. Меня поздравляли и обнимали. Надо ли говорить, как я был счастлив возвратиться в Москву к прежней жизни. Я считал ликвидацию Коновальца оправданной со всех точек зрения и гордился тем, что при взрыве не пострадали невинные люди. Ни у абвера, ни у организации украинских националистов не было улик, чтобы раскрыть истинные причины гибели Коновальца. Конечно, они могли подозревать курьера или связника, прибывшего на встречу в Роттердам, но в их руках не было никаких доказательств.

Было еще важное обстоятельство, убеждавшее меня, что дело выполнено правильно. Те националистические лидеры, с которыми я сталкивался в Берлине и Варшаве, принадлежали к так называемым «прозападным» украинцам, они уже плохо владели родным языком, мешая украинские слова с немецкими, и мне часто приходилось поправлять их. Эти люди, как я искренне считал, были обречены самой историей. Полностью отрезанные от реальной жизни на Украине, они не понимали сущности и силы советской системы. Не знали они и о подъеме украинской литературы и искусства. Образование свое они получили в основном в Вене или Праге. Украинская культура и язык в польской Галиции в то время безжалостно подавлялись местными властями. Регулярно следя за периодикой, они, тем не менее, не могли объяснить разницы между колхозами и совхозами или понять взаимоотношения различных государственных и общественных организаций, отвечавших за социальную политику на Украине. Они утверждали, что их взгляды имеют поддержку среди сельского населения и потребкооперации, не зная, что в действительности потребкооперация на селе уже давно стала неотъемлемым атрибутом колхозного строя.

На следующий день рано утром я был вызван к Берии, новому начальнику Главного управления государственной безопасности НКВД, первому заместителю Ежова. До этого о Берии я знал только, что он возглавлял ГПУ Грузии в 20-х годах, а затем стал секретарем ЦК Коммунистической партии Грузии. Пассов, сменивший Слуцкого на посту начальника Иностранного отдела, отвел меня в кабинет Берии рядом с приемной Ежова. Моя первая встреча с Берией продолжалась, кажется, около четырех часов. Все это время Пассов хранил молчание. Берия задавал мне вопрос за вопросом, желая знать обо всех деталях операции против Коновальца и об ОУН с начала ее деятельности.

Спустя час Берия распорядился, чтобы Пассов принес папку с литерным делом «Ставка», где были зафиксированы все детали этой операции. Из вопросов Берии мне стало ясно, что это высококомпетентный в вопросах разведывательной работы и диверсий человек. Позднее я понял: Берия задавал свои вопросы для того, чтобы лучше понять, каким образом я смог вписаться в западную жизнь.

Особенное впечатление на Берию произвела весьма простая на первый взгляд процедура приобретения железнодорожных сезонных билетов, позволивших мне беспрепятственно путешествовать по всей Западной Европе. Помню, как он интересовался техникой продажи железнодорожных билетов для пассажиров на внутренних линиях и на зарубежных маршрутах. В Голландии, Бельгии и Франции пассажиры, ехавшие в другие страны, подходили к кассиру по одному – и только после звонка дежурного. Мы предположили, что это делалось с определенной целью, а именно: позволить кассиру лучше запомнить тех, кто приобретал билеты. Далее Берия поинтересовался, обратил ли я внимание на количество выходов, включая и запасной, на явочной квартире, которая находилась в пригороде Парижа. Его немало удивило, что я этого не сделал, поскольку слишком устал. Из этого я заключил, что Берия обладал опытом работы в подполье, приобретенным в закавказском ЧК.

Одет он был, помнится, в весьма скромный костюм. Мне показалось странным, что он без галстука, а рукава рубашки, кстати, довольно хорошего качества, закатаны. Это обстоятельство заставило меня почувствовать некоторую неловкость, так как на мне был прекрасно сшитый костюм: во время своего краткого пребывания в Париже я заказал три модных костюма, пальто, а также несколько рубашек и галстуков. Портной снял мерку, а за вещами зашел Агаянц и отослал их в Москву дипломатической почтой.

Берия проявил большой интерес к диверсионному партизанскому отряду, базировавшемуся в Барселоне. Он лично знал Василевского, одного из партизанских командиров – в свое время тот служил под его началом в контрразведке грузинского ГПУ. Берия хорошо говорил по-русски с небольшим грузинским акцентом и по отношению ко мне вел себя предельно вежливо. Однако ему не удалось остаться невозмутимым на протяжении всей нашей беседы. Так, Берия пришел в сильное возбуждение, когда я рассказывал, какие приводил аргументы Коновальцу, чтобы отговорить его от проведения ОУН террористических актов против представителей советской власти на Украине. Я возражал ему, ссылаясь на то, что это может привести к гибели все украинское националистическое подполье, поскольку НКВД быстро нападёт на след террористов. Коновалец же полагал, что подобные акты могут совершаться изолированными группами. Это, настаивал он, придаст им ореол героизма в глазах местного населения, послужит стимулом для начала широкой антисоветской кампании, в которую вмешаются Германия и Япония.

Будучи близоруким, Берия носил пенсне, что делало его похожим на скромного совслужащего. Вероятно, подумал я, он специально выбрал для себя этот образ: в Москве его никто не знает, и люди, естественно, при встрече не фиксируют свое внимание на столь ординарной внешности, что дает ему возможность, посещая явочные квартиры для бесед с агентами, оставаться неузнанным. Нужно помнить,

что в те годы некоторые из явочных квартир в Москве, содержащихся НКВД, находились в коммуналках. Позднее я узнал: первое, что сделал Берия, став заместителем Ежова, это подключил на себя связи с наиболее ценной агентурой, ранее находившейся в контакте с руководителями ведущих отделов и управлений НКВД, которые подверглись репрессиям.

Я получил пятидневный отпуск, чтобы навестить мать, которая все еще жила в Мелитополе, а затем родителей жены в Харькове. Предполагалось, что, возвратясь в Москву, я получу должность помощника начальника Иностранного отдела. Шпигельглас и Пассов были в восторге от моей встречи с Берией и, провожая меня на Киевском вокзале, заверили, что по возвращении в Москву на меня будет также возложено непосредственное руководство разведывательно-диверсионной работой в Испании.

Во время поездки жена рассказала мне о трагических событиях, которые произошли в стране и в органах безопасности. Ежов провел жесточайшие репрессии: арестовал весь руководящий состав контрразведки НКВД в 1937-м, в 1938 году репрессии докатились и до Иностранного отдела. Жертвами стали многие наши друзья, которым мы полностью доверяли и в чьей преданности не сомневались. Мы думали тогда, что это стало возможным из-за преступной некомпетентности Ежова, которая становилась очевидной даже рядовым оперативным работникам.

Здесь мне хотелось бы привести факт, который при всей его важности не упоминается в книгах, посвященных истории советских спецслужб. До прихода Ежова в НКВД там не было подразделения, занимавшегося следствием, то есть следственной части. Оперработник при Дзержинском (а также и Менжинском), работая с агентами и осведомителями курируемого участка, должен был сам вести следствие, допросы, готовить обвинительные заключения. При Ежове и Берии была создана специальная следственная часть, которая буквально выбивала показания у арестованных о «преступной деятельности», не имевшие ничего общего с реальной действительностью. Оперативные работники, курировавшие конкретные объекты промышленности и госаппарата, имели более или менее ясные представления о кадрах этих учреждений и организаций. Пришедшие же по партпризыву, преимущественно молодые без жизненного опыта кадры следственной части, с самого начала оказались вовлеченными в порочный круг. Они оперировали признаниями, выбитыми у подсудимых. Не зная азов оперативной работы, проверки реальных материалов, они оказались соучастниками преступной расправы с невинными людьми, учиненной по инициативе высшего и среднего звена руководства страны. Как результат, возникла целая волна арестов, вызванных воспаленным воображением следователей и выбитыми из подсудимых «свидетельствами». Все мы надеялись, что с назначением Берии в декабре 1938 года наркомом внутренних дел, ввиду его высокого профессионализма и в связи с известным постановлением ЦК, допущенные перегибы будут выправлены. Понятно, что эта надежда была наивной, но мы искренне верили тогда в порядочность и безусловную честность наших непосредственных руководителей. Мы знали, к примеру, что Слуцкий и Шпигельглас отправляли из Москвы и устраивали на жительство жен и детей некоторых наших коллег, подвергшихся аресту, чтобы они, в

свою очередь, не стали жертвами репрессий.

Из поездки я вернулся в Москву немало озадаченный слухами о творившихся на Украине жестокостях, о которых мы слышали от своих родственников. Я никак не мог заставить себя поверить, к примеру, что Хатаевич, ставший к тому времени секретарем ЦК компартии Украины, был врагом народа. Косиор, якобы состоявший в контакте с распущенной Коминтерном компартией Польши, был арестован в Москве. Подлинной причиной всех этих арестов, как я думал тогда, были действительно допущенные ими ошибки. В частности, Хатаевич во время массового голода дал согласие на продажу муки, составлявшей неприкосновенный запас на случай войны. За это в 1934 году он получил из Москвы выговор по партийной линии. Может быть, думал я, он совершил еще какую-нибудь ошибку в этом же роде. Повторяю снова: увы, я был наивен.

В Москве Пассов и Шпигельглас сообщили, что меня ожидает новое назначение... должность помощника начальника Иностранного отдела. Это назначение, однако, подлежало еще утверждению ЦК партии, поскольку речь шла о руководящей должности, входившей в номенклатуру. И хотя приказа о моем новом назначении не последовало, фактически с августа по ноябрь 1938 года я исполнял эти обязанности.

Начало моей новой работы нельзя было назвать удачным. Я быстро понял, что мой начальник Пассов не имел никакого опыта оперативной работы за границей. Для него вопросы вербовки агентов на Западе и контакты с ними были настоящей «терра инкогнита». Он полностью доверял любой информации, полученной от агентуры, и не имел представления о методах проверки донесений зарубежных источников. Опыт его оперативной работы в контрразведке и в области следственных действий против «врагов народа» не мог ему помочь. Я был просто в ужасе, узнав, что он подписал директиву, позволяющую каждому оперативному сотруднику закордонной резидентуры использовать свой собственный шифр и в обход резидента посылать сообщения непосредственно в Центр, если у него могли быть причины не доверять своему непосредственному начальнику. Лишь позднее стало понятным, почему такого рода документ появился на свет. На Пленуме ЦК партии в марте 1937 года от НКВД потребовали «укрепить кадры» Иностранного отдела. Преступность этого требования заключалась в том, что им прикрывалось желание руководства страны избавиться от ставшего неудобным старого руководства органов советской разведки.

В 1936 году испанские республиканцы согласились сдать на хранение большую часть испанского золотого запаса общей стоимостью более полумиллиарда долларов в Москву. Осенью 1938 года Агаянц прислал в Центр из Парижа телеграмму, в которой сообщал, что в Москву отослано далеко не все испанское золото, драгоценные металлы и камни. В телеграмме указывалось, что якобы часть этих запасов была разбазарена республиканским правительством при участии руководства резидентуры НКВД в Испании.

О телеграмме немедленно доложили Сталину и Молотову, которые приказали Берии провести проверку информации. Однако когда мы обратились к Эйтингону, резиденту в Испании, за разъяснением обстоятельств этого дела, он прислал в ответ

возмущенную телеграмму, состоявшую почти из одних ругательств. «Я, – писал он, – не бухгалтер и не клерк. Пора Центру решить вопрос о доверии Долорес Ибаррури, Хосе Диасу, мне и другим испанским товарищам, каждый день рискующим жизнью в антифашистской войне во имя общего дела. Все запросы следует переадресовать к доверенным лицам руководства ЦК французской и испанской компартий Жаку Дюкло, Долорес Ибаррури и другим. При этом надо понять, что вывоз золота и ценностей проходил в условиях боевых действий».

Телеграмма Эйтингона произвела большое впечатление на Сталина и Берия. Последовал приказ: разобраться во взаимоотношениях сотрудников резидентуры НКВД во Франции и Испании.

Я получил также личное задание от Берии ознакомиться со всеми документами о передаче и приеме испанских ценностей в Гохран СССР. Но легче было это сказать, чем сделать, поскольку разрешение на работу с материалами Гохрана должен был подписать Молотов. Его помощник между тем отказывался подавать документ на подпись без визы Ежова, народного комиссара НКВД, – подписи одного Берии тогда было недостаточно. В то время я был совершенно незнаком со всеми этими бюрократическими правилами и передал документ Ежову через его секретариат. На следующее утро он все еще не был подписан. Берия отругал меня по телефону за медлительность, но я ответил, что не могу найти Ежова – его нет на Лубянке. Берия раздраженно бросил:

– Это не личное, а срочное государственное дело. Пошлите курьера к Ежову на дачу, он нездоров и находится там.

Его непочтительный тон в адрес Ежова, кандидата в члены Политбюро, несколько озадачил и удивил меня.

Вместе с курьером нас отвезли на дачу наркома в Озеры, недалеко от Москвы. Выглядел Ежов как-то странно: мне показалось, что я даю документ на подпись либо смертельно больному человеку, либо человеку, пьянствовавшему всю ночь напролет. Он завизировал бумагу, не задав ни одного вопроса и никак не высказав своего отношения к этому делу. Я тут же отправился в Кремль, чтобы передать документ в секретариат правительства. Оттуда я поехал в Гохран в сопровождении двух ревизоров, один из которых, Верен зон, был главным бухгалтером ЧК – НКВД еще с 1918 года. До революции он занимал должность ревизора в Российской страховой компании, помещение которой занял Дзержинский.

Ревизоры работали в Гохране в течение двух недель, проверяя всю имевшуюся документацию. Никаких следов недостачи ими обнаружено не было. Ни золото, ни драгоценности в 1936–1938 годах для оперативных целей резидентами НКВД в Испании и во Франции не использовались. Именно тогда я узнал, что документ о передаче золота подписали премьер-министр Испанской республики Франциско Ларго Кабальеро и заместитель народного комиссара по иностранным делам Крестинский, расстрелянный позже как враг народа вместе с Бухариным после показательного процесса в 1938 году.

Золото вывезли из Испании на советском грузовом судне, доставившем сокровища из Картахены, испанской военно-морской базы, в Одессу, а затем

поместили в подвалы Госбанка. В то время его общая стоимость оценивалась в 318 миллионов долларов. Другие ценности, предназначенные для оперативных нужд испанского правительства республиканцев с целью финансирования тайных операций, были нелегально вывезены из Испании во Францию, а оттуда доставлены в Москву – в качестве дипломатического груза.

Испанское золото в значительной мере покрыло наши расходы на военную и материальную помощь республиканцам в их войне с Франко и поддерживавших его Гитлером и Муссолини, а также для поддержки испанской эмиграции. Эти средства пригодились и для финансирования разведывательных операций накануне войны в Западной Европе в 1939 году.

Однако вопрос о золоте после разоблачений Орлова в 1953–1954 годах получил новое развитие. Испанское правительство Франко неоднократно поднимало вопрос о возмещении вывезенных ценностей. О судьбе золота меня и Эйтингона допрашивали работники разведки КГБ в 1950–1960 годах, когда мы сидели в тюрьме. В итоге, как мне сообщили, «наверху» в 1960-е годы было принято решение – компенсировать испанским властям утраченный в 1937 году золотой запас поставкой нефти в Испанию по клиринговым ценам.

В июле 1938 года, накануне побега Орлова, нашего резидента в Испании, циркулировали слухи о том, что он вскоре заменит Пассова на посту руководителя разведки НКВД. Однако арест его зятя, Кацнельсона, заместителя наркома внутренних дел Украины, репрессированного в 1937 или 1938 году, испугал Орлова.

Настоящая фамилия Орлова-Никольского – Фельдбин, он же «Швед» или «Лева» в материалах оперативной переписки. На Западе, впрочем, он стал известен как Александр Орлов. Я встречался с ним и на Западе, и в Центре, но мимоходом. Тем не менее, считаю важным остановиться на этой фигуре подробнее, так как именно его разоблачения в 50-х и 60-х годах в значительной мере способствовали пониманию характера репрессий 37-го года в Советском Союзе. Кстати, вопреки его утверждению, Орлов никогда не был генералом НКВД. На самом деле он имел звание майора госбезопасности, специальное звание, приравненное в 1945 году к рангу полковника. В начале 30-х годов Орлов возглавлял отделение экономической разведки Иностранного отдела ОГПУ, был участником конспиративных контактов и связей с западными бизнесменами и сыграл важную роль в вывозе новинок зарубежной техники из Германии и Швеции в Союз.

Вдобавок Орлов был еще и талантливым журналистом. Он не был в Москве, когда шли аресты и расправы в 1934–1937 годах, но его книжная версия этих событий была принята публикой как истинная. Некоторые из наших авторов даже используют эту версию еще и сегодня для описания зверств сталинского режима. Конечно, в том, что им написано, немало правды, но надо помнить: этот человек был не слишком осведомлен о реальных событиях.

Орлов отлично владел английским, немецким и французским языками. Он весьма успешно играл на немецком рынке ценных бумаг. Им написан толковый учебник для высшей спецшколы НКВД по привлечению к агентурному сотрудничеству иностранцев. Раиса Соболев, ближайшая подруга моей жены,

ставшая известной писательницей Ириной Гуро, в 20-х годах работала в экономическом отделе ГПУ под его началом и необычайно высоко его ценила. Из числа своих осведомителей Орлову удалось создать группу неофициальной аудиторской проверки, которая выявила истинные доходы нэпманов. Этой негласной ревизионной службой Орлова руководил лично Слуцкий, в то время начальник экономического отдела, который затем, став руководителем Иностранного отдела, перевел Орлова на службу в закордонную разведку. В 1934–1935 годах Орлов был нелегальным резидентом в Лондоне, ему удалось закрепить связи с известной теперь всему миру группой: Филби, Макклин, Берджес, Кэрнкросс, Блант и др.

В августе 1936 года он был послан в Испанию после трагического любовного романа с молодой сотрудницей НКВД Галиной Войтовой. Она застрелилась прямо перед зданием Лубянки, после того как Орлов покинул ее, отказавшись развестись со своей женой. Слуцкий, его близкий друг, немедленно выдвинул его на должность резидента в Испании перед самым назначением Ежова наркомом внутренних дел в сентябре 1936 года. Орлову поручались ответственные секретные задания, одним из которых была успешная доставка золота Испанской республики в Москву. За эту дерзкую операцию он был повышен в звании. Газета «Правда» сообщала о том, что старший майор госбезопасности Никольский награждается орденом Ленина за выполнение важного правительственного задания. В том же номере газеты сообщалось, что майор госбезопасности Наумов (в действительности – Эйтингон) награждается орденом Красного Знамени, а капитан госбезопасности Василевский – орденом Красной Звезды.

Орлова весьма уважал также и Шпигельглас. Он часто посещал Испанию и рассказывал мне о том, что находившийся там Орлов прекрасно справлялся с заданиями по вербовке важной агентуры.

Кстати, Орлов сыграл видную роль в ликвидации руководителя испанских троцкистов Андрея Нина. Нин за участие в мятеже троцкистов в Барселоне был арестован республиканскими властями, а потом похищен Орловым из тюрьмы и убит неподалеку от Барселоны. Затем Орлов написал антитроцкистский памфлет, распространив его от имени Андрея Нина, и создал принятую официальными властями версию о содействии немецких спецслужб побегу Нина из-под стражи. Эта акция нанесла серьезный урон престижу троцкистского движения в Испании. Об успешных дезинформационных действиях Орлова и ликвидации троцкистов в Испании Ежов непосредственно докладывал Сталину.

В июле 1938 года Шпигельглас, как намечалось заранее, должен был встретиться с Орловым на борту советского судна в бельгийских территориальных водах для получения регулярного отчета. Шпигельглас подозревал, что у французской и бельгийской спецслужб имеются основания задержать его, так как годом раньше арестовали некоторых его агентов, оказавшихся замешанными в похищении белогвардейского генерала Миллера. По этой причине Шпигельглас боялся сойти на берег. Орлов же боялся совсем другого: он подозревал, что свидание на судне подстроено, чтобы захватить его и арестовать. На встречу со Шпигельгласом он так и не явился.

Орлов скрылся, и лишь в ноябре нам стало известно, что он объявился в

Америке. До того, как это произошло, я подписал так называемую «ориентировку» по его розыску, которую надлежало передать по нашим каналам во все резидентуры. В этом документе содержалось полное описание Орлова и его привычек, а также описание жены и дочери, которых в последний раз видели вместе с ним во Франции. В ориентировке указывалась причина возможного исчезновения Орлова и его семьи – похищение их одной из спецслужб: британской, германской или французской. В особенности я подчеркивал тот факт, что Орлов был известен французским и британским властям как эксперт советской делегации, участвовавший, притом дважды, в работе Международного комитета за невмешательство в гражданскую войну в Испании. Другой причиной могла быть его измена: из сейфа резидентуры в Барселоне исчезло шестьдесят тысяч долларов, предназначенных для оперативных целей. Его исчезновение беспокоило нас еще и потому, что Орлов был хорошо осведомлен о нашей агентурной сети в Англии, Франции, Германии и, конечно, в Испании.

В ноябре 1938 года меня вызвал Берия и, давая указания, неожиданно распорядился прекратить дальнейший розыск Орлова. Возобновить поиски я должен был лишь по его прямому указанию. Орлов, оказывается, направил из Америки письмо лично Сталину и Ежову, в котором свое бегство объяснял тем, что опасался неизбежного ареста на борту советского судна.

В письме также говорилось, что в случае попыток выяснить его местопребывание или установить за ним слежку он даст указание своему адвокату обнародовать документы, помещенные им в сейф в швейцарском банке. В них содержалась информация о фальсификации материалов, переданных Международному комитету за невмешательство в гражданскую войну в Испании. Орлов также угрожал рассказать всю историю, связанную с вывозом испанского золота, его тайной доставкой в Москву со ссылкой на соответствующие документы. Это разоблачение поставило бы в неловкое положение как советское правительство, так и многочисленных испанских беженцев, поскольку советская военная поддержка республиканцев в гражданской войне считалась официально бескорыстной. Плата, полученная нами в виде золота и драгоценностей, была окружена тайной. Орлов просил Сталина не преследовать его пожилую мать, оставшуюся в Москве, и если его условия будут приняты, он не раскроет известную ему зарубежную агентуру и секреты НКВД, которые он знает.

Я не верю, что причина, по которой Орлов не выдал кембриджскую группу или обстоятельства похищения генерала Миллера, заключались в его лояльности по отношению к советской власти. Речь шла просто о выживании.

В августе 1938 года я впервые узнал о похищениях и ликвидации троцкистов и перебежчиков, проводившихся О ГПУ– НКВД в Европе в 30-х годах. В этой связи заслуживает некоторых уточнений дело Рейсса (настоящая фамилия Порецкий), разведчика-нелегала, засланного в Западную Европу. Им были получены большие суммы денег, за которые он не смог отчитаться, и Рейсс опасался, что может стать жертвой репрессий. Он взял деньги, предназначенные для оперативных целей, и скрылся. Деньги он положил в один из американских банков. Перед своим побегом в 1937 году Рейсс написал письмо в советское полпредство во Франции, в котором

осуждал Сталина. Это письмо появилось затем в одном из троцкистских изданий и стало для него роковым, хотя из досье Рейсса было видно, что он никогда не симпатизировал ни самому Троцкому, ни какой-либо из групп, которые его поддерживали. Тем не менее, после появления в троцкистской печати этого письма Рейссу заочно был вынесен смертный приговор.

Рейсс вел довольно беспорядочный образ жизни, и агентурная сеть Шпигельгласа в Париже весьма скоро засекала его. Ликвидация была выполнена двумя агентами: болгаринцем (нашим нелегалом) Афанасьевым и его шурином Правдиным в Швейцарии. Они подсели к нему за столик в маленьком ресторанчике в пригороде Лозанны. Рейсс с удовольствием выпивал с двумя болгарями, прикинувшись бизнесменами. Афанасьев и Правдин имитировали ссору с Рейссом, вытолкнули его из ресторана и, запихнув в свою машину, увезли. В трех километрах от этого места они расстреляли Рейсса, оставив труп на обочине дороги.

Я принял Афанасьева и Правдина на явочной квартире в Москве, куда они вернулись после выполнения задания. Вместе с ними был и Шпигельглас, который их курировал. Афанасьев и Правдин были награждены орденами. По специальному правительственному постановлению мать Правдина, проживавшая в Париже, получила пожизненную пенсию. Афанасьев стал офицером разведки и прослужил до 1953 года, а Правдин поступил на работу в Издательство иностранной литературы в Москве, где работал до своей смерти в 1970 году. По-моему, следует уточнить: слухи о том, что Сергей Эфрон, муж поэтессы Марины Цветаевой, был одним из тех, кто навел НКВД на Рейсса, является чистым вымыслом. Эфрон, работавший на НКВД в Париже, не располагал никакими сведениями о местонахождении Рейсса.

Другой эпизод, также требующий комментариев, касается Атабекова. В 20-х годах Атабеков был резидентом ОГПУ в Стамбуле. Он стал перебежчиком из-за своей близости к Блюмкину, которого обвинили в сочувствии взглядам Троцкого. Полагают, что сыграла свою роль и его любовь к дочери британского разведчика в Стамбуле. Испытывая отчаянную нужду в деньгах, Атабеков написал и опубликовал на Западе две книги. Он также был замешан в темных махинациях с кавказскими эмигрантами, которым обещал контрабандой переправлять спрятанные ими семейные сокровища из Советского Союза.

Сообщалось, что Атабеков пропал в Пиренеях на границе с Испанией. На самом деле его ликвидировали в Париже, заманив на явочную квартиру, где он должен был якобы договориться о тайном вывозе бриллиантов, жемчуга и драгоценных металлов, принадлежащих богатой армянской семье. Армянин, которого он встретил в Антверпене, был подсадной уткой. Он-то и заманил Атабекова на явочную квартиру, сыграв на его национальных чувствах. Там на квартире его уже ждали боевик, бывший офицер турецкой армии, и молодой нелегал Коротков, в 40-е годы ставший начальником нелегальной разведки МГБ СССР. Турок убил Атабекова ножом, после чего его тело запихнули в чемодан, который выкинули в реку. Труп так никогда и не был обнаружен.

Турок и Коротков провели еще одну террористическую операцию в 1938 году. Эйл Таубман, молодой агент с кодовым именем «Юнец», выходец из Литвы, сумел

войти в доверие к Рудольфу Клементу, возглавлявшему троцкистскую организацию в Европе и являвшемуся секретарем так называемого IV Интернационала. В течение полутора лет Таубман работал помощником Клемента. Как-то вечером Таубман предложил Клементу поужинать с его друзьями и привел его на квартиру на бульваре Сен-Мишель, где уже находились Турок и Коротков. Турок заколол Клемента, тело положили в чемодан, затем бросили в Сену. Оно было найдено и опознано французской полицией, но к этому времени Таубман, Коротков и Турок находились уже далеко от Парижа.

В Москве их ждали награды, а я должен был позаботиться об их будущей работе. Турок стал «хозяином» явочной квартиры в Москве. Таубман сменил фамилию на «Семенов» и был послан на учебу в Институт химического машиностроения. Позднее он перешел на службу в органы госбезопасности.

Следующий эпизод связан с судьбой одного из перебежчиков в 30-х годах, Кривицкого. Офицер военной разведки Кривицкий, бежавший в 1937 году и объявившийся в Америке в 1939-м, выпустил книгу под названием «Я был агентом Сталина». В феврале 1941 года его нашли мертвым в одной из гостиниц Вашингтона. Предполагалось, что он был убит НКВД, хотя официально сообщалось, что это самоубийство. Существовала, правда, ориентировка о розыске Кривицкого, но такова была обычная практика по всем делам перебежчиков.

В Разведупре Красной Армии и НКВД, конечно, не жалели о его смерти, но она, насколько мне известно, не была делом наших рук. Мы полагали, что он застрелился в результате нервного срыва, не справившись с депрессией.

Глава 3

Годы репрессий

Когда погибает перебежчик или кто-либо из политических деятелей, тут же начинают выдвигать самые разные версии ухода человека из жизни. Наиболее естественная причина смерти или логически объяснимый мотив убийства зачастую остаются погребенными под напластованиями лжи из-за недомолвок и взаимного сведения счетов.

Классическим примером в этом отношении является смерть Кирова, ленинградского партийного руководителя, убитого в 1934 году.

Киров был убит Николаевым. Жена Николаева, Мильда Драуле, работала официанткой при секретариате Кирова в Смольном. Естественно, охрана пропускала Николаева в Смольный по партбилету. Кстати говоря, по партбилету можно было войти в любую партийную инстанцию, кроме ЦК ВКП(б). В Смольном, как и в других обкомах, не было системы спецпропусков для членов партии, и Николаеву требовалось только предъявить свой партбилет, чтобы попасть туда, куда был запрещен вход посторонним.

От своей жены, которая в 1933–1935 годах работала в НКВД в секретном политическом отделе, занимавшемся вопросами идеологии и культуры (ее группа, в частности, курировала Большой театр и Ленинградский театр оперы и балета, впоследствии театр им. С.М. Кирова), я узнал, что Сергей Миронович очень любил женщин, и у него было много любовниц как в Большом театре, так и в Ленинградском. (После убийства Кирова отдел НКВД подробно выяснял интимные отношения Сергея Мироновича с артистками.) Мильда Драуле прислуживала на некоторых кировских вечеринках. Эта молодая привлекательная женщина также была одной из его «подружек». Ее муж Николаев отличался неуживчивым характером, вступал в споры с начальством и в результате был исключен из партии. Через свою жену он обратился к Кирову за помощью, и тот содействовал его восстановлению в партии и устройству на работу в райком. Мильда собиралась подать на развод, и ревнивый супруг убил «соперника». Это убийство было максимально использовано Сталиным для ликвидации своих противников и развязывания кампании террора. Так называемый заговор троцкистов, жертвой которого якобы пал Киров, с самого начала был сфабрикован самим Сталиным. Сталин, а за ним Хрущев и Горбачев, исходя из своих собственных интересов и желая отвлечь внимание от очевидных провалов руководства страной, пытались сохранить репутацию Кирова как рыцаря без страха и упрека. Коммунистическая партия, требовавшая от своих членов безупречного поведения в личной жизни, не могла объявить во всеуслышание, что один из ее столпов, руководитель ленинградской партийной организации, в действительности запутался в связях с замужними женщинами.

Официальные версии убийства, опубликованные в прессе, представляют собой вымысел от начала до конца. Сталинская версия заключалась в том, что Николаеву помогали руководители ленинградского НКВД Медведь и Запорожец по приказу

Троцкого и Зиновьева. Для Сталина смерть Кирова создавала удобный миф о тайном заговоре, что позволило ему обрушиться с репрессиями на своих врагов и возможных соперников. Хрущевская же версия такова: Кирова убил Николаев с помощью Медведя и Запорожца по приказу Сталина. Но документы показывают, что Запорожец, считавшийся ключевой фигурой среди заговорщиков и якобы связанный с Николаевым по линии НКВД, в то время сломал ногу и находился на лечении в Крыму. Возникает вопрос: мог ли один из руководителей, готовивших заговор, отсутствовать так долго в самый решающий период трагических событий?

Хрущев, подчеркивая тот факт, что многие партийные руководители упрашивали Кирова выставить свою кандидатуру на пост Генерального секретаря на XVII съезде партии, обвинял Сталина в том, что, узнав о существующей оппозиции, решил ликвидировать Кирова. Для Хрущева подобная версия давала возможность выставить еще одно обвинение в длинном списке преступлении Сталина. Документов и свидетельств, подтверждающих причастность Сталина или аппарата НКВД к убийству Кирова, не существует. Киров не был альтернативой Сталину. Он был одним из непреклонных сталинцев, игравших активную роль в борьбе с партийной оппозицией, беспощадных к оппозиционерам и ничем в этом отношении не отличавшимся от других соратников Сталина.

Версия Хрущева была позднее одобрена и принята Горбачевым как часть антисталинской кампании. Скрывая истинные факты, руководители пытались спасти репутацию коммунистической партии, искали фигуры, популярные в партии, которые якобы противостояли вождю. Создавался миф о здоровом ядре в ЦК во главе с Кировым в противовес Сталину и его единомышленникам.

Вся семья Николаева, Мильда Драуле и ее мать, были расстреляны через два или три месяца после покушения. Мильда и ее семья, невинные жертвы произвола, не были реабилитированы до 30 декабря 1990 года, когда их дело всплыло на страницах советской прессы.

Высшие чины НКВД, особенно те, кто был осведомлен о личной жизни Кирова, знали: причина его убийства – ревность обманутого мужа. Но никто из них не осмеливался даже заговорить об этом, так как версию о заговоре против партии выдвинул сам Сталин, и оспаривать ее было крайне опасно.

До убийства Кирова Сталина нередко можно было встретить на Арбате в сопровождении Власика – начальника личной охраны и двух телохранителей. Он часто заходил к поэту Демьяну Бедному, иногда посещал своих знакомых, живших в коммунальных квартирах. Сотрудники НКВД и ветераны, имевшие значок «Почетный чекист», на котором изображены щит и меч, и удостоверение к нему, могли беспрепятственно пройти на Лубянку; они имели право прохода всюду, кроме тюрем. Вся эта система была немедленно изменена: убийство Кирова явилось предлогом для ужесточения контроля, который никогда уже больше не ослабевал.

Спекуляции по поводу смерти Кирова продолжались и в 60-х годах. Я помню анонимные письма, утверждавшие, что действительный убийца сумел скрыться. Дмитрий Ефимов, министр госбезопасности Литвы в 40-х годах, после войны рассказывал мне, что получил приказ искать убийцу Кирова, якобы скрывающегося

в небольшом литовском городке. Его сотрудникам удалось найти автора анонимного письма, послужившего сигналом к поискам. Им оказался алкоголик. Однако расследование этого анонимного сигнала проводилось под непосредственным наблюдением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

Заключение Комиссии партконтроля об обстоятельствах смерти Кирова так и не было опубликовано. Только после того, как в июле 1990 года известная комиссия по репрессиям была распущена, прокуратура направила надзорный протест в Верховный Суд СССР по вопросу посмертной реабилитации членов семьи Николаева. Дело закрыли лишь 30 декабря 1990 года, когда все члены семьи Николаева были официально реабилитированы Верховным Судом СССР. Постановление суда отмечало, что никакого заговора с целью убийства Кирова не существовало, и все «соучастники» Николаева являлись просто знакомыми Кирова или свидетелями его эксцессов.

Но даже тогда, при этой системе так называемого правового государства, ни Медведь, ни Запорожец реабилитированы не были, и с них не сняты обвинения в государственной измене, включая заговор с целью убийства Кирова и сотрудничество с немецкой и латышской разведкой. В чем же причина? Она в том, что прокуратура попросту боялась поднимать этот вопрос, поскольку Медведь и Запорожец считаются виновными в репрессиях, совершенных в ранний период сталинских чисток.

Среди историков партии давно бытовало мнение, что роман Мильды Драуле с Кировым закончился смертельным исходом из-за ревности ее мужа, Николаева, известного своей неуравновешенностью и скандальным характером. Если бы обнародовали это мнение, то на всеобщее обозрение была бы выставлена неприглядная картина личной жизни Кирова, и тем самым нарушено святое правило партии – никогда не приоткрывать завесы над личной жизнью членов Политбюро и не копаться в их грязном белье.

4 ноября 1990 года газета «Правда» опубликовала новые материалы КГБ и прокуратуры по расследованию дела Кирова, где утверждалось, что его убийство носило сугубо личный характер, хотя не раскрывались подробности и мотивы преступления. «Правда» даже не упомянула имени Мильды Драуле. В публикации содержалось обвинение в адрес Яковлева, оставившего пост председателя партийной комиссии по расследованию сталинских репрессий, который якобы тормозил реабилитацию семьи Николаева и невинных людей, обвинявшихся в том, что они принимали участие в заговоре.

Возмущенный Яковлев ответил через ту же газету («Правда» от 28 января 1991 года), что он до сих пор верит в существование заговора с целью убийства Кирова и нескольких версий, как это убийство замыслилось. При этом Яковлев не упомянул ни о Мильде Драуле, ни о якобы имевшей место попытке выдвинуть Кирова взамен Сталина Генеральным секретарем на XVII съезде партии.

В книге «Сталин: триумф и трагедия» Дмитрий Волкогонов ссылается на слухи о романе Мильды Драуле с Кировым, но отвергает их как клеветнические. Материалы, показывающие особые отношения между Мильдой Драуле и Кировым,

о которых я узнал от своей жены и генерала Райхмана, в то время начальника контрразведки в Ленинграде, содержались в оперативных донесениях осведомителей НКВД из ленинградского балета. Балерины из числа любовниц Кирова, считавшие Драуле своей соперницей и не проявившие достаточной сдержанности в своих высказываниях на этот счет, были посажены в лагерь за «клевету и антисоветскую агитацию».

...Имя Кирова и память о нем были священны. В глазах народа Киров был идеалом твердого большевика, верного сталинца, и, конечно же, только враги могли убить такого человека. Я тогда ни на минуту не сомневался в необходимости охранять престиж правящей партии и не открывать подлинных фактов, касавшихся убийства Кирова. Мы, чекисты, неофициально назывались людьми, взявшими на себя роль чернорабочих революции, но все же при этом испытывали самые противоречивые чувства. В те дни я искренне верил – продолжаю верить и сейчас, – что Зиновьев, Каменев, Троцкий и Бухарин были подлинными врагами Сталина. В рамках той тоталитарной системы, частью которой они являлись, борьба со Сталиным означала противостояние партийно-государственной системе советского государства. Рассматривая их как наших врагов, я не мог испытывать к ним никакого сочувствия. Вот почему мне казалось, что даже если обвинения, выдвинутые против них, и преувеличены, это, в сущности, мелочи. Будучи коммунистом-идеалистом, я слишком поздно осознал всю важность такого рода «мелочей» и с сожалением вижу, что был не прав.

Сознательно или бессознательно, но мы позволили втянуть себя в работу колоссального механизма репрессий, и каждый из нас обязан покаяться за страдания невинных. Масштабы этих репрессий ужасают меня. Давая сегодня историческую оценку тому времени, времени массовых репрессий – а они затронули армию, крестьянство и служащих, – я думаю, их можно уподобить расправам, проводившимся в царствование Ивана Грозного и Петра Первого. Недаром Сталина называют Иваном Грозным XX века. Трагично, что наша страна имеет столь жестокие традиции.

Сталин манипулировал делом Кирова в своих собственных интересах, и «заговор» против Кирова был им искусно раздут. Он сфабриковал «грандиозный заговор» не только против Кирова, но и против самого себя. Убийство Кирова он умело использовал для того, чтобы убрать тех, кого подозревал как своих потенциальных соперников или нелояльных оппонентов, чего он просто не мог перенести. Сначала в число «заговорщиков» попали знакомые Николаева, затем – семья Драуле, после чего настала очередь Зиновьева и Каменева, первоначально обвиненных в моральной ответственности за это убийство, а потом в его непосредственной организации. Коллег и знакомых Николаева причислили к зиновьевской оппозиции. Затем Сталин решил отделаться от Ягоды и тех должностных лиц, которые знали правду. Они тоже оказались притянутыми к заговору и были уничтожены. Позднее Ягоду сделали главным организатором убийства Кирова и, как рассказывал мне Райхман, Сталин, боявшийся разглашения личных мотивов «теракта» Николаева, даже распорядился установить негласный надзор за вдовой Кирова до самой ее кончины.

В подобной обстановке сказать правду о Кирове было немислимо. Никто в верхних эшелонах власти не мог помешать Сталину использовать это убийство в своих целях. Впоследствии дело Кирова замалчивалось в угоду политическим соображениям или использовалось для того, чтобы отвлечь внимание общественности от ухудшавшегося экономического и политического положения. Каждое новое расследование, подчиненное требованиям политической конъюнктуры, только плодило ложь, еще больше затрудняя для будущих поколений возможность реконструировать действительные события.

Я убежден: убийство Кирова было актом личной мести, но обнародовать этот факт означало нанести вред партии, являвшейся инструментом власти и примером высокой морали для советских людей. До сегодняшнего дня истину продолжают скрывать, и Киров остается символом святости для приверженцев старого режима.

В 1938 году атмосфера была буквально пронизана страхом, в ней чувствовалось что-то зловещее. Шпигельглас, заместитель начальника закордонной разведки НКВД, с каждым днем становился все угрюмее. Он оставил привычку проводить воскресные дни со мной и другими друзьями по службе. В сентябре секретарь Ежова, тогдашнего главы НКВД, застрелился в лодке, катаясь по Москве-реке. Это для нас явилось полной неожиданностью. Вскоре появилось озадачившее всех распоряжение, гласившее: ордера на арест без подписи Берии, первого заместителя Ежова, недействительны. Ходили слухи, что Берия уменьшительно-ласково называл Ежова «мой дорогой Ежик» и имел обыкновение похлопывать его по спине, однако его дружеское поведение было чисто показным. На Лубянке люди казались сдержанными и уклонялись от любых разговоров. В НКВД работала специальная проверочная комиссия из ЦК.

Мне ясно вспоминаются события, которые вскоре последовали. Наступил ноябрь, канун октябрьских торжеств. И вот в 4 часа утра меня разбудил настойчивый телефонный звонок: звонил Козлов, начальник секретариата Иностранного отдела. Голос звучал официально, но в нем угадывалось необычайное волнение.

– Павел Анатольевич, – услышал я, – вас срочно вызывает к себе первый заместитель начальника Управления госбезопасности товарищ Меркулов. Машина уже ждет вас. Приезжайте как можно скорее. Только что арестованы Шпигельглас и Пассов.

Жена крайне встревожилась. Я решил, что настала моя очередь.

На Лубянке меня встретил сам Козлов и проводил в кабинет Меркулова. Тот приветствовал меня в своей обычной вежливой, спокойной манере и предложил пройти к Лаврентию Павловичу. Нервы мои были напряжены до предела. Я представил, как меня будут допрашивать о моих связях со Шпигельгласом. Но как ни поразительно, никакого допроса Берия учинять мне не стал. Весьма официальным тоном он объявил, что Пассов и Шпигельглас арестованы за обман партии, и что мне надлежит немедленно приступить к исполнению обязанностей начальника Иностранного, то есть отдела закордонной разведки. Я должен буду докладывать непосредственно ему по всем наиболее срочным вопросам. На это я

ответил, что кабинет Пассова опечатан, и войти туда я не могу.

– Снимите печати немедленно, а на будущее запомните: не морочьте мне голову такой ерундой. Вы не школьник, чтобы задавать детские вопросы.

Через десять минут я уже разбирал документы в сейфе Пассова. Некоторые были просто поразительны. Например, справка на Хейфеца, тогдашнего резидента в Италии. В ней говорилось о его связях с элементами, симпатизирующими идеологическим уклонам в Коминтерне, где тот одно время работал. Указывалось также на подозрительный характер его контактов с бывшими выпускниками Политехнического института в Йене (Германия) в 1926 году. До сих пор помню резолюцию Ежова на справке: «Отозвать в Москву. Арестовать немедленно».

Следующий документ – представление в ЦК ВКП(б) и Президиум Верховного Совета о награждении меня, Судоплатова Павла Анатольевича, орденом Красного Знамени за выполнение важного правительственного задания за рубежом в мае 1938 года, подписанное Ежовым. Тут же находился и неподписанный приказ о моем назначении помощником начальника Иностранного отдела. Я отнес эти документы Меркулову. Улыбнувшись, он, к моему немалому удивлению, разорвал их прямо у меня на глазах и выкинул в корзину для бумаг, предназначенных к уничтожению. Я молчал, но в душе было чувство обиды – ведь меня представляли к награде за то, что я действительно, рискуя жизнью, выполнил опасное задание. В тот момент я не понимал, насколько мне повезло: если бы был подписан приказ о моем назначении, то я автоматически согласно Постановлению ЦК ВКП(б) подлежал бы аресту как руководящий оперативный работник аппарата НКВД, которому было выражено политическое недоверие.

Позднее в кабинете, где я работал, зазвонил телефон. Это был Киселев, помощник Маленкова в Центральном комитете. Он возмущенно принялся выговаривать мне за задержку в передаче средств из специальных фондов, предназначавшихся для финансирования тайных операций Коминтерна в Западной Европе. Еще больше он был взбешен тем, что на заседании Испанской комиссии в Центральном комитете не было представителя от НКВД. Я постарался объяснить ему, что не знаю ни о каких фондах и не в курсе того, кто именно занимается их передачей. «А на совещании в ЦК, – сказал я, – от НКВД никто не присутствовал потому, что Пассов и его заместитель только что арестованы как враги народа». К этому я добавил, что приступил к исполнению своих обязанностей всего два часа назад. Киселев швырнул трубку.

За три недели своего пребывания в качестве исполняющего обязанности начальника отдела я смог узнать структуру и организацию проведения разведывательных операций за рубежом. В рамках НКВД существовали два подразделения, занимавшиеся разведкой за рубежом. Это Иностраный отдел, которым руководили сначала Трилиссер, потом Артузов, Слуцкий и Пассов. Задача отдела – собирать для Центра разведанные, добытые как по легальным (через наших сотрудников, имевших дипломатическое прикрытие или работавших в торговых представительствах за рубежом), так и по нелегальным каналам. Особо важными были сведения о деятельности правительств и частных корпораций, тайно финансирующих подрывную деятельность русских эмигрантов и белогвардейских

офицеров в странах Европы и в Китае, направленную против Советского Союза. Иностраный отдел был разбит на отделения по географическому принципу, а также включал подразделения, занимавшиеся сбором научно-технических и экономических разведданных. Эти отделения обобщали материалы, поступавшие от наших резидентур за границей – как легальных, так и нелегальных. Приоритет нелегальных каналов был вполне естествен, поскольку за рубежом тогда было не так уж много советских дипломатических и торговых миссий. Вот почему нелегальные каналы для получения интересовавших нас разведданных были столь важны.

В то же время существовала и другая разведывательная служба – Особая группа при наркоме внутренних дел, непосредственно находящаяся в его подчинении и глубоко законспирированная. В ее задачу входило создание резервной сети нелегалов для проведения диверсионных операций в тылах противника в Западной Европе, на Ближнем Востоке, Китае и США в случае войны. Учитывая характер работы, Особая группа не имела своих сотрудников в дипломатических и торговых миссиях за рубежом. Ее аппарат состоял из двадцати оперработников, отвечавших за координирование деятельности закордонной агентуры. Все остальные сотрудники работали за рубежом в качестве нелегалов. В то время, о котором я веду речь, число таких нелегалов составляло около шестидесяти человек. Вскоре мне стало ясно, что руководство НКВД могло по своему выбору использовать силы и средства Иностранного отдела и Особой группы для проведения особо важных операций, в том числе диверсий и ликвидации противников СССР за рубежом.

Особая группа иногда именовалась «Группа Яши», потому что более десяти с лишним лет возглавлялась Яковом Серебрянским. Именно его люди организовали в 1930 году похищение главы белогвардейского РОВСа в Париже – генерала Кутепова. До революции Серебрянский был членом партии эсеров. Он принимал личное участие в ликвидации чинов охраны, организовавших еврейские погромы в Могилеве (Белоруссия). «Группа Яши» создала мощную агентурную сеть в 20–30-х годах во Франции, Германии, Палестине, США и Скандинавии. Агентов они вербовали из коминтерновского подполья, тех, кто не участвовал в пропагандистских мероприятиях, и чье членство в национальных компартиях держалось в секрете. В ноябре 1938 года Серебрянский в числе руководителей НКВД оказался под арестом – его приговорили к смертной казни, но не расстреляли. В 1941 году, после того как началась война, он был освобожден и по моей инициативе стал начальником отделения, занимавшегося вербовкой агентуры по глубинному оседанию в странах Западной Европы и США.

В 1946 году министром госбезопасности был назначен Абакумов, и Серебрянскому пришлось выйти в отставку, так как в 1938 году именно Абакумов вел его дело и, применяя зверские пытки, выбил ложные показания. Естественно, Серебрянский не мог оставаться на работе с приходом нового министра. Он вышел в отставку в звании полковника и получал пенсию. После смерти Сталина его вернули на службу и назначили одним из моих заместителей в связи с планом расширения разведывательно-диверсионных операций. Это было при Берии, в апреле 1933 года, а в октябре того же года он был арестован вместе с женой во второй раз – теперь ему ставилось в вину участие в так называемом бериевском заговоре с целью убийства членов Президиума Центрального комитета партии. Скончался он в тюрьме в 1936

году во время очередного допроса и был посмертно реабилитирован в 1971-м при Андропове, узнавшем о судьбе Серебрянского во время подготовки первого учебника по истории советской разведки, которую начали писать по его указанию.

Лишь в 1963 году я узнал, что действительно стояло за кардинальными перестановками и чисткой в рядах НКВД в последние месяцы 1938 года. Полную правду об этих событиях, которая так никогда и не была обнародована, рассказали мне Мамулов и Людвигов, возглавлявшие секретариат Берии, – вместе со мной они сидели во Владимирской тюрьме. Вот как была запущена фальшивка, открывшая дорогу кампании против Ежова и работавших с ним людей. Подстрекаемые Берией, два начальника областных управлений НКВД из Ярославля и Казахстана обратились с письмом к Сталину в октябре 1938 года, клеветнически утверждая, будто в беседах с ними Ежов намекал на предстоящие аресты членов советского руководства в канун октябрьских торжеств. Акция по компрометации Ежова была успешно проведена. Через несколько недель Ежов был обвинен в заговоре с целью свержения законного правительства. Политбюро приняло специальную резолюцию, в которой высшие должностные лица НКВД объявлялись «политически неблагонадежными». Это привело к массовым арестам всего руководящего состава органов безопасности, и мне действительно повезло, что приказ Ежова о моем повышении остался неподписанным в сейфе у Пассова.

В декабре 1938 года Берия официально взял в свои руки бразды правления в НКВД, а Деканозов стал новым начальником Иностранного отдела. У него был опыт работы в Азербайджанском ГПУ при Берии в качестве снабженца. Позднее в Грузии Деканозов был народным комиссаром пищевой промышленности, где и прославился своей неумеренной любовью к роскоши. Сдавая дела, я, как исполнявший обязанности начальника отдела, объяснил ему некоторые особенности нашей агентурной работы в Западной Европе, США и Китае. Но Деканозов, не дослушав меня до конца, распорядился, чтобы я проследил за вещами бежавшего Орлова, которые были отправлены из Барселоны в Москву. Мне надлежало доставить их в его кабинет – он хотел лично ознакомиться с ними.

На следующий день Берия представил Деканозова сотрудникам разведслужбы. Официальным и суровым тоном Берия сообщил о создании специальной комиссии во главе с Деканозовым по проверке всех оперативных работников разведки. Комиссия должна была выяснить, как разоблачаются изменники и авантюристы, обманывающие Центральный комитет партии. Берия объявил о новых назначениях Гаранина, Фитина, Леоненко и Лягина. Он также подчеркнул, что все остающиеся сотрудники будут тщательно проверены. Новые руководители пришли в разведку по партийному набору. Центральный комитет наводнил ряды НКВД партийными активистами и выпускниками Военной академии им. Фрунзе. Что касается меня, то я был понижен до заместителя начальника испанского отделения. Подобным же образом поступили и с другими ветеранами разведслужбы, которые также были понижены в должности до помощников начальников отделений.

Берия в беседе с каждым сотрудником, присутствовавшим на встрече, пытался выведать, не является ли он двойным агентом, и говорил, что под подозрением сейчас находятся все. Моя жена была одной из четырех женщин – сотрудников

разведслужбы. Нагло смерив ее взглядом, Берия спросил, кто она такая: немка или украинка. «Еврейка», – к удивлению Берии, ответила она. С того самого дня жена постоянно предупреждала меня, чтобы я опасался Берии. Предполагая, что наша квартира может прослушиваться, она придумала для него кодовую кличку, чтобы мы не упоминали его имени в своих разговорах дома. Она называла его князем Шадиманом по имени героя романа Антоновской «Великий Моурави», который пал в борьбе за власть между грузинскими феодалами. Дальновидность моей жены в отношении судьбы Берии и ее постоянные советы держаться подальше от него и его окружения оказались пророческими.

После представления нового руководства у Берии последовало партсоборание – это был следующий этап кампании. На нем мой сослуживец, которого я знал по Харькову, Гукасов, армянин, неожиданно предложил партийному бюро рассмотреть мои подозрительные связи. Он сказал, что меня перевел в Москву враг народа Балицкий. Он обвинил меня также в том, что я поддерживал дружеские отношения с другими недавно разоблаченными врагами народа – Шпигельгласом, Раисой Соболев и ее мужем, Ревзиным, Яриковым, заместителем нашего резидента в Китае, известным своими саркастическими остротами о выполнении пятилеток (мне вспоминается одна из них: «В четвертом завершающем блат является решающим»).

Партийное бюро создало комиссию по моему делу. Один из моих близких знакомых, Гессельберг, начальник фотолаборатории (он отвечал за благонадежность фотокорреспондентов, которые снимали Сталина), задавал глупейшие вопросы и утверждал, что я защищаюсь как «типичный троцкистский двурушник».

Я не держу зла ни на Гукасова, ни на Гессельберга.

...Три года спустя Гукасов, будучи советским консулом в Париже, проснулся, когда гестаповцы штурмом брали здание, где он находился. Наш шифровальщик Марина Сироткина начала сжигать кодовые книги, а когда один из гестаповцев сорвал со стены портрет Сталина, Гукасов использовал это как предлог, чтобы начать драку. Его жестоко избили, но за это время все шифры были уничтожены. Гукасова немцы депортировали в Турцию для обмена на сотрудников германской дипломатической миссии в Москве. Позднее Гукасову поручили руководить отделом по разработке экспатриантов и эмигрантов. Он скончался в Москве в 1956 году.

...Гессельберг подготовил проект решения партбюро под диктовку Деканозова. В нем предлагалось исключить меня из рядов коммунистической партии за связь с врагами народа и неразоблачение Шпигельгласа. Характерно, что в этом документе Слуцкий, хотя он умер в феврале года и был похоронен со всеми полагающимися почестями, также фигурировал как враг народа.

Партбюро приняло это решение при одном воздержавшемся. Фитин, недавно назначенный на должность заместителя начальника Иностранного отдела, воздержался, потому что, по его словам, я был ему абсолютно неизвестен. Его честность и порядочность, весьма необычные в тех обстоятельствах, не повредили его карьере. В 1939 году он стал начальником Иностранного отдела закордонной разведки и умер естественной смертью в 1971 году.

Партбюро в декабре 1938 года приняло решение исключить меня из партии. Это

решение должно было утвердить общее партийное собрание разведслужбы, назначенное на январь 1939 года, а пока я приходил на работу и сидел у себя в кабинете за столом, ничего не делая. Новые сотрудники не решались общаться со мной, боясь скомпрометировать себя. Помню, начальник отделения Гаранин, беседуя со своим заместителем в моем присутствии, переходил на шепот, опасаясь, что я могу подслушать. Чтобы чем-нибудь заняться, я решил пополнить свои знания и стал изучать дела из архива, ожидая решения своей участи.

Я чувствовал себя подавленным. Жена также сильно тревожилась, понимая, что над нами нависла серьезная угроза. Мы были уверены, что на нас уже есть компромат, сфабрикованный и выбитый во время следствия у наших друзей. Но я все-таки надеялся, что, поскольку был лично известен руководству НКВД как преданный делу работник, мой арест не будет санкционирован. В те годы я жил еще иллюзией, что по отношению к члену партии несправедливость может быть допущена лишь из-за некомпетентности или в силу простой ошибки, особенно если решение его участи зависело от человека, стоящего достаточно высоко в партийной иерархии и пользующегося к тому же полной поддержкой Сталина.

Зная, что в отношении меня совершается страшная несправедливость, я думал обратиться в Комиссию партконтроля Центрального комитета с просьбой разобраться в моем деле, но жена считала, что надо подготовить письмо на имя Сталина, которое она сама отправит, а если нас обоих арестуют, отправит моя мать.

Когда арестовывали наших друзей, все мы думали, что произошла ошибка. Но с приходом Деканозова впервые поняли, что это не ошибки. Нет, то была целенаправленная политика. На руководящие должности назначались некомпетентные люди, которым можно было отдавать любые приказания. Впервые мы боялись за свою жизнь, оказавшись под угрозой уничтожения нас нашей же собственной системой. Именно тогда я начал размышлять над природой системы, которая приносит в жертву людей, служащих ей верой и правдой.

Еще один из моих друзей, Петр Зубов, тоже стал жертвой и попал в ту же мясорубку. В 1937 году он был назначен резидентом в Праге. Впервые за время своей службы в разведке он работал под дипломатическим прикрытием. Зубов встретился с президентом Эдуардом Бенешем и по указанию Сталина передал последнему десять тысяч долларов, поскольку Бенеш не мог воспользоваться своими деньгами для организации отъезда из Чехословакии в Великобританию близких и нужных ему людей. Расписка в получении денег была дана Зубову секретарем чехословацкого президента. Сам Бенеш бежал в Англию в 1938 году. Зубов отлично справился с заданием. Британские и французские власти не имели ни малейшего представления о наших связях с лицами, выехавшими из Чехословакии. Спустя полгода после того, как Бенеш покинул Прагу, Зубова отозвали в Москву и арестовали по личному приказу Сталина.

Причина ареста заключалась в том, что Бенеш – через Зубова – предложил Сталину, чтобы Советский Союз субсидировал в 1938 году переворот, направленный против правительства Стоядиновича в Югославии, для того, чтобы установить там военный режим и ослабить таким образом давление на Чехословакию. Бенеш просил сумму в двести тысяч долларов наличными для сербских офицеров, которые

должны были устроить переворот. Получив эту сумму из Центра, Зубов выехал в Белград, чтобы на месте ознакомиться с положением. Когда он убедился, что офицеры, о которых шла речь, были всего лишь кучкой ненадежных авантюристов, и ни на какой успешный заговор рассчитывать не приходилось, он был потрясен и отказался выплатить им аванс. Вернувшись в Прагу с деньгами, он доложил в Центр о сложившейся ситуации. Сталин пришел в ярость: Зубов посмел не выполнить приказ. На зубовской телеграмме с объяснением его действий Сталин собственноручно написал: «Арестовать немедленно». (Я видел эту телеграмму в 1941 году, когда мне показали дело Зубова.)

Встреча с Зубовым в коридоре 7-го этажа на Лубянке в первый же день его возвращения из Чехословакии обрадовала меня: партбюро со дня на день должно было поставить на собрании вопрос о моем исключении из партии, и я надеялся на его поддержку, так как он пользовался большим авторитетом в Иностранном отделе. Мы условились повидаться на следующий день, но он не пришел. Я решил, что он просто избегает контактов со мной, но Эмма встретила его жену на улице и узнала об его аресте. Я понятия не имел, в чем именно его обвиняют: то были времена, когда можно было только внимательно присматриваться к происходящему и стараться не терять надежды.

И тут произошло неожиданное. Собрание, назначенное на январь, которое должно было утвердить мое исключение из рядов партии, отложили. Вскоре Ежов, отстраненный от обязанностей народного комиссара еще в декабре минувшего года, был арестован. Делом Ежова, как я узнал позже, лично занимались Берия и один из его заместителей, Богдан Кобулов. Много лет спустя Кобулов рассказал мне, что Ежова арестовали в кабинете Маленкова в Центральном комитете. Когда его вели на расстрел, он пел «Интернационал».

Я по-прежнему считаю Ежова ответственным за многие тяжкие преступления – больше того, он был еще и профессионально некомпетентным руководителем. Уверен: преступления Сталина приобрели столь безумный размах из-за того, в частности, что Ежов оказался совершенно непригодным к разведывательной и контрразведывательной работе.

Чтобы понять природу ежовщины, необходимо учитывать политические традиции, характерные для нашей страны. Все политические кампании в условиях диктатуры неизменно приобретают безумные масштабы, и Сталин виноват не только в преступлениях, совершавшихся по его указанию, но и в том, что позволил своим подчиненным от его имени уничтожать тех, кто оказывался неугоден местному партийному начальству на районном и областном уровнях. Руководители партии и НКВД получили возможность решать даже самые обычные споры, возникавшие чуть ли не каждый день, путем ликвидации своих оппонентов.

Конечно, в те дни я еще не знал всего, но чтобы иметь основания опасаться за свою жизнь, моих знаний было достаточно. Исходя из логики событий, я ожидал, что меня арестуют в конце января или в крайнем случае начале февраля 1939 года. Каждый день я являлся на работу и ничего не делал – сидел и ждал ареста. В один из мартовских дней меня вызвали в кабинет Берии, и неожиданно для себя я услышал упрек, что последние два месяца я бездельничаю. «Я выполняю приказ,

полученный от начальника отделения» – сказал я. Берия не посчитал нужным как-либо прокомментировать мои слова и приказал сопровождать его на важную, по его словам, встречу. Я полагал, что речь идет о встрече с одним из агентов, которого он лично курировал, на конспиративной квартире. В сентябре 1938 года я дважды сопровождал его на подобные мероприятия. Между тем машина доставила нас в Кремль, куда мы въехали через Спасские ворота. Шофер остановил машину в тупике возле Ивановской площади. Тут я внезапно осознал, что меня примет Сталин.

Глава 4

Ликвидация Троцкого

Вход в здание Кремля, где работал Сталин, был мне знаком по прошлым встречам с ним. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и пошли по длинному безлюдному коридору, устланному красным ковром, мимо кабинетов с высокими дверями, какие бывают в музеях. Нас с Берией пропустил тот же офицер охраны, который дежурил и тогда, когда меня приводил сюда Ежов. Сейчас он приветствовал уже не Ежова, а Берия: «Здравия желаю, товарищ Берия!».

Берия открыл дверь, и мы вошли в приемную таких огромных размеров, что стоявшие там три письменных стола выглядели совсем крошечными. В приемной находились трое: двое в кителях того же покроя, что и у Сталина, и один в военной форме. Берия приветствовал невысокий, казавшийся с виду коренастым человек в зеленом кителе, голос которого звучал тихо и бесстрастно. (Уже потом я узнал, что это был Поскребышев, начальник секретариата Сталина.) Мне показалось, что в этой комнате было правилом полное отсутствие внешних проявлений каких бы то ни было эмоций. И действительно, таков был неписанный и раз навсегда утвержденный Сталиным и Молотовым порядок в этом здании.

Поскребышев ввел нас в кабинет Сталина и затем бесшумно закрыл за нами дверь.

В этот момент я испытывал те же чувства, что и в прежние встречи со Сталиным: волнение, смешанное с напряженным ожиданием, и охватывающий всего тебя восторг. Мне казалось, что биение моего сердца могут услышать окружающие.

При нашем появлении Сталин поднялся из-за стола. Стоя посередине кабинета, мы обменялись рукопожатиями, и он жестом пригласил нас сесть за длинный стол, покрытый зеленым сукном. Рабочий стол самого Сталина находился совсем рядом в углу кабинета. Краем глаза я успел заметить, что все папки на его столе разложены в идеальном порядке, над письменным столом – портрет Ленина, а на другой стене – Маркса и Энгельса. Все в кабинете выглядело также, как в прошлый раз, когда я здесь был. Но сам Сталин казался другим: внимательным, спокойным и сосредоточенным. Слушая собеседника, он словно обдумывал каждое сказанное ему слово, похоже, имевшее для него особое значение. И собеседнику просто не могло прийти в голову, что этот человек мог быть неискренним.

Было ли так на самом деле? Не уверен. Но Берия Сталин действительно выслушал с большим вниманием.

– Товарищ Сталин, – обратился тот к нему, – по указанию партии мы разоблачили бывшее руководство закордонной разведки НКВД и сорвали их вероломную попытку обмануть правительство. Мы вносим предложение назначить товарища Судоплатова заместителем начальника разведки НКВД, с тем, чтобы помочь молодым партийным кадрам, мобилизованным на работу в органах, справиться с выполнением заданий правительства.

Сталин нахмурился. Он по-прежнему продолжал держать трубку в руке, не

раскуривая ее. Затем чиркнул спичкой (жест, знакомый всем, кто смотрел хоть один журнал кинохроники) и пододвинул к себе пепельницу. Он ни словом не обмолвился о моем назначении, но попросил Берия вкратце рассказать о главных направлениях разведывательных операций за рубежом. Пока Берия говорил, Сталин встал из-за стола и начал мерить шагами кабинет, он двигался медленно и совершенно неслышно в своих мягких кавказских сапогах.

Хотя Сталин ходил, не останавливаясь, мне казалось, он не ослабил свое внимание, наоборот, стал более сосредоточен. Его замечания отличались некоторой жесткостью, которую он и не думал скрывать. Подобная резкость по отношению к людям, приглашенным на прием, была самой, пожалуй, типичной чертой в его поведении, составляя неотъемлемую часть личности Сталина – такую же, как оспины на его лице, придававшие ему суровый вид.

По словам Берии, закордонная разведка в современных условиях должна изменить главные направления своей работы. Ее основной задачей должна стать не борьба с эмиграцией, а подготовка резидентур к войне в Европе и на Дальнем Востоке. Гораздо большую роль, считал он, будут играть наши агенты влияния, то есть люди из деловых правительственных кругов Запада и Японии, которые имеют выход на руководство этих стран и могут быть использованы для достижения наших целей во внешней политике. Таких людей следовало искать среди деятелей либерального движения, терпимо относящихся к коммунистам. Между тем, по мнению Берии, левое движение находилось в состоянии серьезного разброда из-за попыток троцкистов подчинить его себе. Тем самым Троцкий и его сторонники бросали серьезный вызов Советскому Союзу. Они стремились лишить СССР позиции лидера мирового коммунистического движения. Берия предложил нанести решительный удар по центру троцкистского движения за рубежом и назначить меня ответственным за проведение этих операций. В заключение он сказал, что именно с этой целью и выдвигалась моя кандидатура на должность заместителя начальника Иностранного отдела, которым руководил тогда Деканозов. Моя задача состояла в том, чтобы, используя все возможности НКВД, ликвидировать Троцкого.

Возникла пауза. Разговор продолжил Сталин.

– В троцкистском движении нет важных политических фигур, кроме самого Троцкого. Если с Троцким будет покончено, угроза Коминтерну будет устранена.

Он снова занял свое место напротив нас и начал неторопливо высказывать неудовлетворенность тем, как ведутся разведывательные операции. По его мнению, в них отсутствовала должная активность. Он подчеркнул, что устранение Троцкого в 1937 году поручалось Шпигельгласу, однако тот провалил это важное правительственное задание.

Затем Сталин посуровел и, чеканя слова, словно отдавая приказ, проговорил:

– Троцкий должен быть устранен в течение года, прежде чем разразится неминуемая война. Без устранения Троцкого, как показывает испанский опыт, мы не можем быть уверены, в случае нападения империалистов на Советский Союз, в поддержке наших союзников по международному коммунистическому движению. Им будет очень трудно выполнить свой интернациональный долг по дестабилизации

тылов противника, развернуть партизанскую войну.

– У нас нет исторического опыта построения мощной индустриальной и военной державы одновременно с укреплением диктатуры пролетариата, – продолжил Сталин, и после оценки международной обстановки и предстоящей войны в Европе он перешел к вопросу, непосредственно касавшемуся меня. Мне надлежало возглавить группу боевиков для проведения операции по ликвидации Троцкого, находившегося в это время в изгнании в Мексике. Сталин явно предпочитал обтекаемые слова вроде «акция» (вместо «ликвидация»), заметив при этом, что в случае успеха акции «партия никогда не забудет тех, кто в ней участвовал, и позаботится не только о них самих, но и обо всех членах их семей».

Когда я попытался возразить, что не вполне подхожу для выполнения этого задания в Мексике, поскольку совершенно не владею испанским языком, Сталин никак не прореагировал.

Я попросил разрешения привлечь к делу ветеранов диверсионных операций в гражданской войне в Испании.

– Это ваша обязанность и партийный долг – находить и отбирать подходящих и надежных людей, чтобы справиться с поручением партии. Вам будет оказана любая помощь и поддержка. Докладывайте непосредственно товарищу Берии и никому больше, но помните: вся ответственность за выполнение этой акции лежит на вас. Вы лично обязаны провести всю подготовительную работу и лично отправить специальную группу из Европы в Мексику. ЦК санкционирует подставлять всю отчетность по операции исключительно в рукописном виде.

Аудиенция закончилась, мы попрощались и вышли из кабинета. После встречи со Сталиным я был немедленно назначен заместителем начальника разведки. Мне был выделен кабинет на седьмом этаже главного здания Лубянки под номером 755 – когда-то его занимал Шпигельглас.

Жена была обеспокоена моим быстрым повышением по службе в 1938 году. Она предпочитала, чтобы я оставался на незаметной должности, и была права, так как травля меня началась именно из-за этого, хотя назначение носило сугубо временный характер. Я был не врагом народа, а врагом завистливых коллег – таков был заурядный мотив для травли в годы чисток.

Новое назначение не оставляло времени на длительные раздумья о кампании против меня, которая чуть было не стоила мне жизни. Головокружительная скорость, с которой развивались события, увлекла меня за собой. Партийное собрание так и не рассмотрело мое персональное дело. Через два дня после беседы в Кремле мне сообщили, что партбюро пересмотрело свое решение об исключении меня из партии и вместо этого вынесло выговор с занесением в учетную карточку за потерю бдительности и неразоблачение вражеских действий бывшего руководства Иностранного отдела.

На следующий день, как только я пришел в свой новый кабинет, мне позвонил из дома Эйтингон, недавно вернувшийся из Франции.

– Павлуша, я уже десять дней как в Москве, ничего не делаю. Оперативный

отдел установил за мной постоянную слежку. Уверен, мой телефон прослушивается. Ты ведь знаешь, как я работал. Пожалуйста, доложи своему начальству: если они хотят арестовать меня, пусть сразу это и делают, а не устраивают детские игры.

Я ответил Эйтингону, что первый день на руководящей должности и ни о каких планах насчет его ареста мне неизвестно. Тут же я предложил ему прийти ко мне, затем позвонил Меркулову и доложил о состоявшемся разговоре. Тот, засмеявшись, сказал:

– Эти идиоты берут Эйтингона и его группу под наружное наблюдение, а не понимают, что имеют дело с профессионалами.

Через десять минут по прямому проводу мне позвонил Берия и предложил: поскольку Эйтингон – подходящая кандидатура для известного мне дела, к концу дня он ждет нас обоих с предложениями.

Когда появился Эйтингон, я рассказал о замысле операции в Мексике. Ему отводилась в ней ведущая роль. Он согласился без малейших колебаний. Эйтингон был идеальной фигурой для того, чтобы возглавить специальную нелегальную резидентуру в США и Мексике. Подобраться к Троцкому можно было только через нашу агентуру, осевшую в Мексике после окончания войны в Испании. Никто лучше его не знал этих людей. Работая вместе, мы стали близкими друзьями. Приказ о ликвидации Троцкого не удивил ни его, ни меня: уже больше десяти лет ОГПУ – НКВД вели против Троцкого и его организации настоящую войну.

Вынужденный покинуть Советский Союз в 1929 году, Троцкий сменил несколько стран (Турцию, Норвегию и Францию), прежде чем обосновался в 1937 году в Мексике. Еще до своей высылки он, по существу, проиграл Сталину в борьбе за власть и, находясь в изгнании, прилагал немалые усилия для того, чтобы расколоть, а затем возглавить мировое коммунистическое движение, вызывая брожение в рядах коммунистов, ослабляя нашу позицию в Западной Европе и в особенности в Германии в начале 30-х годов.

По предложению Эйтингона операция против Троцкого была названа «Утка». В этом кодовом названии слово «утка», естественно, употреблялось в значении «дезинформация»: когда говорят, что «полетели утки», имеется в виду публикация ложных сведений в прессе.

Леонид знал нашу агентурную сеть в Соединенных Штатах и Западной Европе, так что был в состоянии реально представить, на кого из агентов мы можем с уверенностью положиться. К сожалению, Марию де Лас Эрас, нашего лучшего агента «Патрию», которую мы сумели внедрить в секретариат Троцкого еще во время его пребывания в Норвегии, и которая была с ним в Мексике, необходимо было немедленно отозвать. Ее планировал использовать Шпигельглас в 1937–1938 годах, но бегство Орлова, хорошо ее знавшего, разрушило этот план. Мы не могли рисковать и оказались правы. Не исключено, что вынужденный временный отказ от боевой операции в Мексике обусловил трагическую участь Шпигельгласа. Он слишком много знал и перестал быть нужным.

Судьба Марии де Лас Эрас оказалась легендарной. Во время Великой Отечественной войны ее забросили на парашюте в тыл к немцам, где она сражалась

в партизанском отряде Героя Советского Союза Медведева. После войны она активно работала в агентурной сети КГБ в Латинской Америке, выполняла обязанности радиста. В общей сложности Мария де Лас Эрас была нелегалом более двух десятков лет. В СССР она возвратилась только в 70-х в звании полковника, а умерла в 1988 году.

Через два месяца после своего бегства в Америку Орлов написал анонимное письмо Троцкому, предупреждая о том, что разрабатываются планы покушения на него, и осуществлять эту акцию будут люди из его окружения, приехавшие из Испании. В то время мы не знали о письме Орлова с этим предостережением, но вполне допускали, что Орлов может пойти на подобную акцию.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы использовать завербованную Эйтингоном агентуру среди троцкистов в Западной Европе и в особенности в Испании. Эйтингон, например, лично завербовал лидеров испанских троцкистов братьев Руанов. У него на связи находились симпатизировавшие Троцкому бывшие анархисты, министры республиканского правительства Испании Гаодосио Оливеро и Фредерико Амундсени. Однако Эйтингон настоял на том, чтобы использовать тех агентов в Западной Европе, Латинской Америке и США, которые никогда не участвовали ни в каких операциях против Троцкого и его сторонников. В соответствии с его планом необходимо было создать две самостоятельные группы. Первая группа – «Конь» под началом Давида Альфаро Сикейроса, мексиканского художника, лично известного Сталину, ветерана гражданской войны в Испании. Он переехал в Мексику и стал одним из организаторов мексиканской компартии. Вторая – так называемая группа «Мать» под руководством Каридад Меркадер. Среди ее богатых предков был вице-губернатор Кубы, а ее прадед являлся испанским послом в России. Каридад ушла от своего мужа, испанского железнодорожного магната, к анархистам и бежала в Париж с четырьмя детьми в начале 30-х годов. На жизнь ей приходилось зарабатывать вязанием. Когда в 1936 году в Испании началась гражданская война, она вернулась в Барселону, вступила в ряды анархистов и была тяжело ранена в живот во время воздушного налета. Старший сын Каридад погиб (он бросился, обвязавшись гранатами, под танк), а средний, Рамон, воевал в партизанском отряде. Младший сын Луис приехал в Москву в 1939 году вместе с другими детьми испанских республиканцев, бежавших от Франко, дочь оставалась в Париже. Поскольку Рамон был абсолютно неизвестен среди троцкистов, Эйтингон, в то время все еще находившийся в Испании, решил послать его летом 1938 года из Барселоны в Париж под видом молодого бизнесмена, искателя приключений и прожигателя жизни, который время от времени материально поддерживал бы политических экстремистов из-за своего враждебного отношения к любым властям.

К 1938 году Рамон и его мать Каридад, оба жившие в Париже, приняли на себя обязательства по сотрудничеству с советской разведкой. В сентябре Рамон по наводке братьев Руанов познакомился с Сильвией Агелоф, находившейся тогда в Париже, и супругами Розмерами, дружившими с семьей Троцкого. Следуя инструкциям Эйтингона, он воздерживался от любой политической деятельности. Его роль заключалась в том, чтобы иногда помогать друзьям и тем, кому он симпатизировал, деньгами, но не вмешиваться в политику. Он не интересовался делами этих людей и отвергал предложения присоединиться к их движению.

Был у нас и еще один важный агент под кодовой кличкой «Гарри» – англичанин Моррисон, не известный ни Орлову, ни Шпигельгласу. «Гарри» работал по линии Особой группы Серебрянского и сыграл ключевую роль в похищении в декабре 1937 года архивов Троцкого в Европе. (По моей подсказке этот архив был затребован Дмитрием Волкогоновым и использован им в его книге «Троцкий», 1992.) «Гарри» также имел прочные связи в седьмом округе управления полиции Парижа. Это помогло ему раздобыть для нас подлинные печати и бланки французской полиции и жандармерии для подделки паспортов и видов на жительство, позволявших нашим агентам оседать во Франции.

Эйтингон считал, что его агенты должны действовать совершенно независимо от наших местных резидентур в США и Мексике. Я с ним согласился, но предупредил, что мы не сможем перебазировать всех нужных людей из Западной Европы в Америку, полагаясь лишь на обычные источники финансирования. По нашим прикидкам, для перебазирования и оснащения групп необходимо было иметь не менее трехсот тысяч долларов. Для создания надежного прикрытия Эйтингон предложил использовать в операции свои личные семейные связи в США. Мы изложили наши соображения Берии, подчеркнув, что в окружении Троцкого у нас нет никого, кто имел бы на него прямой выход. Мы не исключали, что его резиденцию нам придется брать штурмом. Раздосадованный отзывом агента «Патрии» из окружения Троцкого, согласившись на использование личных связей Эйтингона, Берия неожиданно предложил нам использовать связи Орлова, для чего мы должны обратиться к нему от его имени. Орлов был известен Берии еще по Грузии, где командовал пограничным отрядом в 1921 году. Эйтингон решительно возражал, и не только по личным мотивам: в Испании у него с Орловым были натянутые отношения. Он считал, что Орлов, будучи профессионалом, участвовавшим в ликвидациих перебежчиков, наверняка не поверит нам, независимо от чьего имени мы к нему обратимся. Более того, заметив слежку или любые попытки выйти на него, он может поставить под удар всех наших людей. Скрепя сердце Берия вынужден был с нами согласиться. В результате переданный мне Берией приказ инстанции гласил: оставить Орлова в покое и не искать никаких связей с ним.

Берия был весьма озабочен тем, как использовать свои старые личные связи в оперативных делах. По линии жены Нины у Берии были два знаменитых родственника Гегечкори: один – убежденный большевик, его именем назвали район в Грузии, другой, живший в изгнании в Париже, – министр иностранных дел в меньшевистском правительстве Грузии. (Позднее это явилось основанием для обвинения, сфабрикованного против Берии, в том, что он через свою родню связан с империалистическими разведками.) Наша резидентура во Франции была буквально завалена его директивами по разработке грузинской эмиграции, в особенности меньшевиков, правительство которых в изгнании находилось в Париже.

Мне помнится, какие-то грузинские князья долго морочили нам голову слухами о невероятных сокровищах, якобы спрятанных в тайниках по всей нашей стране.

Из тогдашнего разговора с нами Берия, однако, понял, что нам действительно понадобится новая агентурная сеть, которая исключила бы возможность

предательства. Он сказал, чтобы мы начали действовать, не беспокоясь о финансовой стороне дела. После того как будет сформирована группа, он хотел добавить в нее нескольких агентов, известных ему лично.

Берия распорядился, чтобы я отправился вместе с Эйтингоном в Париж для оценки группы, направляемой в Мексику. В июне 1939 года Георг Миллер, австрийский эмигрант, занимавший пост начальника отделения «паспортной техники», снабдил нас фальшивыми документами. Когда мы уезжали из Москвы, Эйтингон как ребенок радовался тому, что одна из его сестер, хроническая брюзга, не пришла на вокзал проводить его. В их семье существовало суеверное убеждение, что любое дело, которое она благословляла своим присутствием, заранее обречено на провал. Из Москвы мы отправились в Одессу, а оттуда морем в Афины, где сменили документы и на другом судне отплыли в Марсель.

До Парижа добрались поездом. Там я встретился с Рамоном и Каридад Меркадер, а затем, отдельно, с членами группы Сикейроса. Эти две группы не общались и не знали о существовании друг друга. Я нашел, что они достаточно надежны, и узнал, что еще важнее, – они участвовали в диверсионных операциях за линией фронта у Франко. Этот опыт наверняка должен был помочь им в акции против Троцкого. Я предложил, чтобы Эйтингон в течение месяца оставался с Каридад и Рамоном, познакомил их с основами агентурной работы. Они не обладали знаниями в таких элементарных вещах как методы разработки источника, вербовка агентуры, обнаружение слежки или изменение внешности. Эти знания были им необходимы, чтобы избежать ловушек контрразведывательной службы небольшой группы троцкистов в Мексике, но задержка чуть не стала фатальной для Эйтингона.

Я вернулся в Москву в конце или середине июля, а в августе 1939 года Каридад и Рамон отплыли из Гавра в Нью-Йорк. Эйтингон должен был вскоре последовать за ними, но к тому времени польский паспорт, по которому он прибыл в Париж, стал опасным документом. После немецкого вторжения в Польшу, положившего начало второй мировой войне, его собирались мобилизовать во французскую армию как польского беженца или же интернировать в качестве подозрительного иностранца. В это же время были введены новые, более жесткие ограничения на зарубежные поездки для поляков, так что Эйтингону пришлось уйти в подполье.

Я возвратился в Москву, проклиная себя за задержку, вызванную подготовкой агентов, но, к сожалению, у нас не было другого выхода. Мы проинструктировали нашего резидента в Париже Василевского (кодовое имя «Тарасов»), работавшего генеральным консулом, сделать все возможное, чтобы обеспечить «Тома» (так Эйтингон проходил по оперативной переписке) соответствующими документами для поездки в Америку. Василевскому потребовался почти месяц, чтобы выполнить это задание. Пока суд да дело, он поместил Эйтингона в психиатрическую больницу, главным врачом которой был русский эмигрант. По моему указанию Василевский использовал связи Моррисона, чтобы раздобыть «Тому» поддельный французский вид на жительство. Теперь «Том» стал сирийским евреем, страдающим психическим расстройством. Естественно, он был непригоден к военной службе, а документ давал ему возможность находиться во Франции и мог быть использован для получения заграничного паспорта. Василевский был уверен, что паспорт подлинный

(французский чиновник получил соответствующую взятку), но все же оставалась проблема получения американской визы.

Наша единственная связь с американским консульством осуществлялась через респектабельного бизнесмена из Швейцарии – в действительности это был наш нелегал Штейнберг. Однако тут возникла дополнительная трудность. Он отказался возвращаться в Москву, куда его отзывали в 1938 году. В письме он заявлял о своей преданности, но говорил, что боится чистки в НКВД. Василевский послал для встречи с ним в Лозанне офицера-связника, нашего нелегала Тахчианова. Его подстраховывал другой нелегал, Алахвердов. Во время встречи Штейнберг готов был застрелить связника, боясь, что это убийца. В конце концов он согласился устроить визу для сирийского еврея: он не узнал Эйтингона на фотографии в паспорте – тот отрастил усы и изменил прическу. Через неделю Штейнберг достал визу, и наш посланец вернулся с ней в Париж.

Эйтингон прибыл в Нью-Йорк в октябре 1939 года и основал в Бруклине импортно-экспортную фирму, которую мы использовали как свой центр связи. И самое важное, эта фирма предоставила «крышу» Рамону Меркадеру, обосновавшемуся в Мексике с поддельным канадским паспортом на имя Фрэнка Джексона. Теперь он мог совершать частые поездки в Нью-Йорк для встреч с Эйтингоном, который снабжал его деньгами.

Постепенно в Мексике нашлось прикрытие и для группы Сикейроса. У нас было два нелегала-радиста, но, к несчастью, радиосвязь была неэффективной из-за плохого качества оборудования. Эйтингоном были разработаны варианты проникновения на виллу Троцкого в Койякане, пригороде Мехико. Владелец виллы, мексиканский живописец Диего Ривера, сдал ее Троцкому. Группа Сикейроса планировала взять здание штурмом, в то время как главной целью Рамона, не имевшего понятия о существовании группы Сикейроса, было использование своего любовного романа с Сильвией Агелоф для того, чтобы подружиться с окружением Троцкого.

Рамон был похож на нынешнюю звезду французского кино Алена Делона. Сильвия не устояла перед присущим ему своеобразным магнетизмом еще в Париже. Она ездила с Рамоном в Нью-Йорк, но он старался держать ее подальше от Эйтингона. Случалось, Эйтингон наблюдал за Рамоном и Сильвией в ресторане, но ни разу не был ей представлен.

В троцкистских кругах Рамон держался независимо, не предпринимая никаких попыток завоевать их доверие «выражением симпатии к общему делу». Он продолжал разыгрывать из себя бизнесмена, «поддерживающего Троцкого в силу эксцентричности своего характера», а не как преданный последователь.

Группа Сикейроса имела план комнат виллы Троцкого, тайно переправленный Марией де Лас Эрас до того, как ее отозвали в Москву. Она дала характеристику телохранителей Троцкого, а также детальный анализ деятельности его небольшого секретариата. Эта весьма важная информация была отправлена мною Эйтингону.

В конце 1939 года Берия предложил усилить сеть наших нелегалов в Мексике. Он привел меня на явочную квартиру и познакомил с Григулевичем (кодовое имя

«Юзик»), приехавшим в Москву после работы нелегалом в Западной Европе. Он был известен в троцкистских кругах своей политической нейтральностью. Никто не подозревал его в попытке внедриться в их организацию. Его присутствие в Латинской Америке было вполне естественным, поскольку отец Григулевича владел в Аргентине большой аптекой.

Григулевич прибыл в Мексику в январе 1940 года и по указанию Эйтингона создал третью, резервную сеть нелегалов для проведения операций в Мексике и Калифорнии. Он сотрудничал с группой Сикейроса. Григулевичу удалось подружиться с одним из телохранителей Троцкого, Шелдоном Хартом. Когда Харт 23 мая 1940 года находился на дежурстве, в предрассветные часы в ворота виллы постучал Григулевич. Харт допустил непростительную ошибку – он приоткрыл ворота, и группа Сикейроса ворвалась в резиденцию Троцкого. Они изрешетили автоматными очередями комнату, где находился Троцкий. Но, поскольку они стреляли через закрытую дверь и результаты обстрела не были проверены, Троцкий, спрятавшийся под кроватью, остался жив.

Харт был ликвидирован, поскольку знал Григулевича и мог нас выдать. Инцидент закончился арестом лишь Сикейроса, что дало хорошее прикрытие для продолжения действий Григулевича и Меркадера, все еще не знавших о существовании друг друга.

Покушение сорвалось из-за того, что группа захвата не была профессионально подготовлена для конкретной акции. Эйтингон по соображениям конспирации не принимал участия в этом нападении. Он бы наверняка скорректировал действия нападавших. В группе Сикейроса не было никого, кто бы имел опыт обысков и проверок помещений или домов. Членами его группы были крестьяне и шахтеры с элементарной подготовкой ведения партизанской войны и диверсий.

Эйтингон передал по радио кодированное сообщение о провале операции. Сообщение поступило к нам с некоторым опозданием, потому что оно шло через советское судно, находившееся в Нью-Йоркской гавани, оттуда шифрограмма по радио ушла в Париж к Василевскому. Он передал ее в Москву, но не придавал сообщению особого значения, поскольку не знал шифра. В результате Берия и Сталин узнали о неудавшемся покушении из сообщения ТАСС. Не помню точной даты, очевидно, это было майским воскресеньем 1940 года. Меня вызвали на дачу к Берии – за мной прислали его машину. На даче были гости: Серов, тогдашний нарком внутренних дел Украины, и Круглов, заместитель Берии по кадрам. Когда я вошел, они обедали.

Берия, судя по всему, не хотел обсуждать наше дело в их присутствии. Он жестом отослал меня в сад, где росли субтропические растения, посаженные им в надежде, что они сумеют выжить в суровом московском климате. Садам занимались его жена Нина, агроном по образованию, и сын Сергей. Берия представил меня им и прошел со мной в дальний угол сада. Он был взбешен. Глядя на меня в упор, он начал спрашивать о составе одобренной мною в Париже группы и о плане уничтожения Троцкого. Я ответил, что профессиональный уровень группы Сикейроса низок, но это люди, преданные нашему делу и готовые пожертвовать ради него своими жизнями. Я ожидаю подробного отчета из Мексики по

радиоканалам через день-два. После нашего разговора мы вернулись в столовую, и Берия приказал мне немедленно возвращаться на работу и информировать его сразу же, как только я узнаю о дальнейших событиях.

Через два дня я получил из Парижа краткий отчет Эйтингона и доложил Берии. Эйтингон сообщал, что он готов, при одобрении Центра, приступить к осуществлению альтернативного плана – использовать для ликвидации Троцкого основного из наших агентов-«аутсайдеров» – Меркадера. Для выполнения этого плана необходимо было отказаться от использования Меркадера как нашего агента в окружении Троцкого и не внедрять новых: арест агента, пытавшегося убить Троцкого, мог означать провал всей агентурной сети, связанной непосредственно с Троцким и его окружением. Я почувствовал, что подобное решение ни я, ни Эйтингон не могли принять самостоятельно. Оно могло быть принято только Берией и Сталиным. Внедрение агентов в троцкистские группы за рубежом являлось одним из важных приоритетов в работе советской разведки в 1930–1940 годах. Как можно было иначе получить информацию о том, что будет происходить в троцкистских кругах после убийства Троцкого?

Будут ли троцкисты обладать силой и представлять угрозу для СССР без своего лидера? Сталин регулярно читал сообщения, приходившие от нашего агента, который сумел проникнуть в штат троцкистской газеты, издававшейся в Нью-Йорке. От него мы получали информацию о планах и целях их движения и строили соответственно свою деятельность по борьбе с троцкизмом. Нередко Сталин имел возможность читать троцкистские статьи и документы еще до того, как они публиковались на Западе.

Ныне в угоду политической конъюнктуре деятельность Троцкого и его сторонников за границей в 1930–1940 годах сводят лишь к пропагандистской работе. Но это не так. Троцкисты действовали активно: организовали, используя поддержку лиц, связанных с абвером, мятеж против республиканского правительства в Барселоне в 1937 году. Из троцкистских кругов в спецслужбы Франции и Германии шли «наводящие» материалы о действиях компартий в поддержку Советского Союза. О связях с абвером лидеров троцкистского мятежа в Барселоне в 1937 году сообщил нам Шульце-Бойзен, ставший позднее одним из руководителей нашей подпольной группы «Красная капелла». Впоследствии, после ареста, гестапо обвинило его в передаче нам данной информации, и этот факт фигурировал в смертном приговоре гитлеровского суда по его делу.

О других примерах использования абвером связей троцкистов для розыска скрывавшихся в 1941 году в подполье руководителей компартии Франции докладывал наш резидент в Париже Василевский, назначенный в 1940 году уполномоченным исполкома Коминтерна.

Я изложил все это Берии. Сначала он никак не прореагировал. Я вернулся к себе в кабинет и стал ждать...

Ждать мне пришлось недолго. Всего через два часа я был вызван на третий этаж к Берии.

– Идемте со мной, – бросил он мне.

На этот раз мы поехали к Сталину на ближнюю дачу, находившуюся в получасе езды к западу от Москвы. Первая часть встречи была весьма недолгой. Я доложил о неудачной попытке Сикейроса ликвидировать Троцкого, объяснив, что альтернативный план означает угрозу потерять антитроцкистскую сеть в Соединенных Штатах и Латинской Америке после уничтожения Троцкого.

Сталин задал всего один вопрос:

– В какой мере агентурная сеть в Соединенных Штатах и Мексике, которой руководит Овакимян, задействована в операции против Троцкого?

Я ответил, что операция Эйтингона, которому даны специальные полномочия самостоятельно вербовать и привлекать людей без санкции Центра, совершенно независима от Овакимяна, чья разведывательная деятельность под прикрытием нашей фирмы «АМТОРГ» осуществляется вне связи с акцией против Троцкого.

Сталин подтвердил свое прежнее решение, заметив:

– Акция против Троцкого будет означать крушение всего троцкистского движения. И нам не надо будет тратить деньги на то, чтобы бороться с ними и их попытками подорвать Коминтерн и наши связи с левыми кругами за рубежом. Приступите к выполнению альтернативного плана, несмотря на провал Сикейроса, и пошлите телеграмму Эйтингону с выражением нашего полного доверия.

Я подготовил текст телеграммы и добавил в конце: «Павел шлет наилучшие пожелания».

«Павел» было кодовым именем Берии.

Когда в 1953 году меня арестовали, следователи, просматривая материалы операции «Утка» в моих рабочих документах, хранившихся в сейфе, спросили, кто скрывался под именем «Павел». Я не счел нужным подчеркивать, что Эйтингона высоко ценил Берия, который к этому времени был арестован и расстрелян, и сказал, что это мое имя, добавленное для подтверждения подлинности посылаемого сообщения.

Время было уже позднее, одиннадцать вечера, и Сталин предложил Берии и мне остаться на ужин. Помню, еда была самая простая. Сталин, подшучивая над тем, что я не пью, предложил мне попробовать грузинского вина пополам с шипучей водой «Лагидзе». Эта вода ежедневно доставлялась ему самолетом из Грузии. Вопреки тому, что пишут об этом сейчас, Сталин вовсе не был в ярости из-за неудачного покушения на Троцкого. Если он и был сердит, то хорошо маскировал это. Внешне он выглядел спокойным и готовым довести до конца операцию по уничтожению своего противника, поставив на карту судьбу всей агентурной сети в окружении Троцкого.

Позже Эйтингон рассказал мне, что Рамон Меркадер сам вызвался выполнить задание, используя знания, полученные им в ходе партизанской войны в Испании. Во время этой войны он научился не только стрелять, но и освоил технику рукопашного боя. Учитывая, что наши люди в то время не имели в своем распоряжении специальной техники, Меркадер был готов застрелить, заколоть или убить врага, нанеся удар тяжелым предметом. Каридад дала сыну свое

«благословение». Когда Эйтингон и она встретились с Рамоном, чтобы проанализировать систему охраны на вилле Троцкого и выбрать орудие убийства, то пришли к выводу, что лучше всего использовать нож или малый ледоруб альпиниста: во-первых, их легче скрыть от охранников, а во-вторых, эти орудия убийства бесшумны, так что никто из домашнего окружения не успеет прибежать на помощь. Физически Рамон был достаточно силен.

Важно было также выдвинуть подходящий мотив убийства, с тем чтобы скомпрометировать Троцкого и таким образом дискредитировать его движение. Убийство должно было выглядеть как акт личной мести Троцкому, который якобы отговаривал Сильвию Агелоф выйти замуж за Меркадера. Если бы Меркадера схватили, ему надлежало заявить, что троцкисты намеревались использовать пожертвованные им средства в личных целях, а вовсе не на нужды движения, и сообщить, что Троцкий пытался уговорить его войти в международную террористическую организацию, ставившую своей целью убийство Сталина и других советских руководителей.

Зимним вечером, в начале 1969 года, я встретился с Рамоном Меркадером на квартире Эйтингона, потом мы пошли обедать в ресторан Дома литераторов в Москве. С момента нашей последней встречи минуло почти три десятилетия. И только теперь Рамон смог рассказать мне во всех подробностях о том, что произошло 20 августа 1940 года.

На встрече со своей матерью и Эйтингоном на явочной квартире в Мехико последний, по словам Рамона, предложил следующее: в то время как Меркадер будет находиться на вилле Троцкого, сам Эйтингон, Каридад и группа из пяти боевиков предпримут попытку ворваться на виллу. Начнется перестрелка с охранниками, во время которой Меркадер сможет ликвидировать Троцкого.

– Я, – сказал мне Меркадер, – не согласился с этим планом и убедил его, что один приведу смертный приговор в исполнение.

Вопреки тому, что писалось о самом убийстве, Рамон не закрыл глаза перед тем как ударить Троцкого по голове небольшим острым ледорубом, который был спрятан у него под плащом. Троцкий сидел за письменным столом и читал статью Меркадера, написанную в его защиту. Когда Меркадер готовился нанести удар, Троцкий, поглощенный чтением статьи, слегка повернул голову, и это изменило направление удара, ослабив его силу. Вот почему Троцкий не был убит сразу и закричал, призывая на помощь. Рамон растерялся и не смог заколоть Троцкого, хотя имел при себе нож.

– Представьте, ведь я прошел партизанскую войну и заколол ножом часового на мосту во время гражданской войны в Испании, но крик Троцкого меня буквально парализовал, – объяснил Рамон.

Когда в комнату вбежала жена Троцкого с охранниками, Меркадера сбили с ног, и он не смог воспользоваться пистолетом. Однако в этом, как оказалось, не было необходимости. Троцкий умер на следующий день в больнице.

– Меня сбил с ног рукояткой пистолета один из охранников Троцкого. Потом мой адвокат использовал этот эпизод для доказательства того, что я не был

профессиональным убийцей. Я же придерживался версии, что мною руководила любовь к Сильвии, и что троцкисты растрачивали средства, которые я жертвовал на их движение, и пытались вовлечь меня в террористическую деятельность, – сказал мне Меркадер. – Я не отходил от согласованной версии: мои действия вызваны чисто личными мотивами.

По нашему первоначальному плану предполагалось, что Троцкий будет убит без шума, и Рамон сумеет незаметно уйти – ведь Меркадер регулярно посещал виллу, и охрана хорошо его знала. Эйтингон и Каридад, ждавшие Рамона в машине неподалеку от виллы, вынуждены были скрыться, когда в доме начался явный переполох. Сперва они бежали на Кубу, где Каридад, используя свои семейные связи, сумела уйти в подполье. Григулевич бежал из Мехико в Калифорнию – там его мало кто знал.

Первое сообщение пришло к нам в Москву по каналам ТАСС. Затем, неделей позже, кодированное радиосообщение с Кубы прислал Эйтингон, снова через Париж. Мне было официально объявлено, что людьми Эйтингона и их работой наверху довольны, но участники операции будут награждены только после возвращения в Москву. Что касается меня, то я был слишком занят в этот момент нашими делами в Латвии, чтобы дальше думать о деле Троцкого. Берия спросил меня, удалось ли Каридад, Эйтингону и Григулевичу спастись и надежно спрятаться. Я ответил, что у них хорошее укрытие, неизвестное Меркадеру. Арестовали Меркадера как Фрэнка Джексона, канадского бизнесмена, и его подлинное имя власти не знали в течение шести лет.

Рамон также напомнил мне, что я дал ему и его матери на встрече в Париже совет: если кого-нибудь из вас схватят, начинайте в тюрьме голодовку, но при этом постарайтесь не возбудить у своих тюремщиков ненужных подозрений. Сперва ешьте с каждым разом все меньше и меньше, готовясь к полному отказу от пищи. В конце концов они начнут искусственное кормление, и период следствия растянется на неопределенно долгое время, а страсти поостынут. Это то, что вам будет нужно.

Меркадер продолжал голодовку два или три месяца, во время следствия утверждал, что он один из обозленных сторонников Троцкого. Его дважды в день избивали сотрудники мексиканских спецслужб – и так продолжалось все шесть лет, пока не удалось раскрыть его истинное имя. К тому же его все это время держали в камере, где не было окна.

Берия объявил мне о решении не жалеть никаких средств для защиты Меркадера. Адвокаты должны были доказать, что убийство совершено на почве склок и внутреннего разброда в троцкистском движении. Эйтингон и Каридад получили приказ оставаться в подполье. Полгода они провели на Кубе, а затем морем отправились в Нью-Йорк, где Эйтингон использовал свои знакомства в еврейской общине для того, чтобы раздобыть новые документы и паспорта. Вместе с Каридад он пересек Америку и приехал в Лос-Анджелес, а потом в Сан-Франциско. Эйтингон воспользовался возможностью возобновить контакты с двумя агентами, которых он и Серебрянский заслали в Калифорнию в начале 30-х годов, и те взяли на себя обязанности связных с нелегальной агентурной сетью, которая добывала американские ядерные секреты с 1942 по 1943 год. В феврале 1941 года

Эйтингон и Каридад на пароходе отплыли в Китай. В мае 1941 года, перед самым началом Великой Отечественной войны, они возвратились в Москву из Шанхая по Транссибирской магистрали.

Личность Меркадера спецслужбам удалось установить лишь после того, как в 1946 году на Запад перебежал один из видных деятелей Испанской компартии, находившийся до своего побега в Москве. Кстати, этот человек приходился дальним родственником Фиделю Кастро. За утечку информации часть вины несет Каридад. Во время войны мать Рамона эвакуировали из Москвы в Ташкент, где она жила с 1941 по 1943 год. Именно там она рассказала своему знакомому о том, что Троцкого убил Рамон. Каридад была убеждена, что сказанное он будет держать в секрете.

После окончания второй мировой войны Каридад неоднократно пробовала добиться освобождения Рамона, предлагала даже найти для него жену, но Сталин выступил против этого плана, поскольку личность Рамона все еще привлекала к себе большое внимание. Каридад ездила в Мексику, затем в Париж, предпринимала все меры для досрочного освобождения сына.

Когда в Мексику из испанских полицейских архивов доставили досье Меркадера, личность его была установлена, отпираться стало бессмысленно. Перед лицом неопровержимых улик Фрэнк Джексон признал, что на самом деле является Рамоном Меркадером и происходит из богатой испанской семьи. Но он так и не признался, что убил Троцкого по приказу советской разведки. Во всех своих открытых заявлениях Меркадер неизменно подчеркивал личный мотив этого убийства.

Условия содержания Рамона в тюрьме после разглашения перебежчиком его настоящего имени сразу улучшились, и ему даже разрешали время от времени совершать вылазки в Мехико, где он мог обедать в ресторане вместе со своим тюремщиком. Женщина, присматривавшая за Рамоном в тюрьме, влюбилась в него и теперь навещала еженедельно. Позднее он женился на ней и привез ее с собой в Москву, когда был освобожден из тюрьмы 20 августа 1960 года. В тюрьме он отсидел двадцать лет.

До 1960 года Рамон никогда не бывал в Москве. Здесь жила в 1939–1942 годах его невеста, которая умерла от туберкулеза.

В Москве Меркадер был принят председателем КГБ Шелепиным, вручившим ему Звезду Героя Советского Союза. Однако когда некоторое время спустя Меркадер попросил о встрече с новым председателем КГБ Семичастным, ему было отказано. По специальному решению ЦК партии и по личному ходатайству Долорес Ибаррури (Пасионарии) Меркадера приняли на работу старшим научным сотрудником Института марксизма-ленинизма в Москве. Кроме того, им с женой предоставили государственную дачу в Кратове, под Москвой. Меркадер получал деньги от ЦК и от КГБ. В сумме это равнялось пенсии генерал-майора в отставке. Однако его отношения с КГБ оставались довольно напряженными в течение всех 60-х годов: он не переставал требовать сначала от Шелепина, а затем от Семичастного, чтобы Эйтингон и я были немедленно освобождены из тюрьмы. Он поднимал этот вопрос и перед Долорес Ибаррури, и перед Суловым. Старейший член Политбюро Сулов

не был тронут этим заступничеством, более того, в гневном раздражении по поводу того, что Меркадер позволил себе обратиться лично к нему, заявил Меркадеру: «Мы решили для себя судьбу этих людей раз и навсегда. Не суйте нос не в свои дела».

Сначала Меркадер жил в гостинице «Ленинградская» возле Ленинградского вокзала, а затем получил четырехкомнатную квартиру без всякой обстановки недалеко от станции метро «Сокол». Из тех, кто когда-то был связан с Меркадером по работе, единственным не подвергшимся репрессиям оставался Василевский, хотя его и исключили из партии. Он вступился за Меркадера – и тому для его новой квартиры была предоставлена мебель. Жена Меркадера Рокелья Мендоса работала диктором в испанской редакции Московского радио. В 1963 году они усыновили двоих детей: мальчика Артура двенадцати лет и девочку Лауру шести месяцев. Их родители были друзьями Меркадера. Отец, участник гражданской войны в Испании, бежал после поражения республиканцев в Москву, а позднее, вернувшись на родину в качестве агента-нелегала, был схвачен франкистами и расстрелян. Мать умерла в Москве во время родов.

Меркадер был профессиональным революционером и гордился своей ролью в борьбе за коммунистические идеалы. Он не раскаивался в том, что убил Троцкого, и в разговоре со мной сказал:

– Если бы пришлось заново прожить сороковые годы, я сделал бы все, что сделал, но только не в сегодняшнем мире. Никому не дано выбирать время, в котором живешь.

В середине 70-х Меркадер уехал из Москвы на Кубу, где был советником у Кастро. Скончался он в 1978 году. Тело его было тайно доставлено в Москву. Вдова Меркадера пыталась связаться со мной, но в то время меня не было в Москве. На траурной церемонии присутствовал Эйтингон. Похоронили Меркадера на Кунцевском кладбище. Там он и покоится под именем Рамона Ивановича Лопеса, Героя Советского Союза.

Мне совершенно ясно, что сегодняшние моральные принципы несовместимы с жестокостью, характерной и для периода борьбы за власть, которая следует за революционным переворотом, и для гражданской войны. Сталин и Троцкий противостояли друг другу, прибегая к преступным методам для достижения своих целей, но разница заключается в том, что в изгнании Троцкий противостоял не только Сталину, но и Советскому Союзу как таковому. Эта конфронтация была войной на уничтожение. Сталин, да и мы не могли относиться к Троцкому в изгнании просто как к автору философских сочинений. Тот был активным врагом советского государства.

Жизнь показала, что ненависть Сталина и руководителей ВКП(б) к политическими перерожденцам и соперникам в борьбе за власть была оправданной. Решающий удар по КПСС и Советскому Союзу был нанесен именно группой бывших руководителей партии. При этом первоначальные узкокорыстные интересы борьбы за власть эти деятели маскировали заимствованными у Троцкого лозунгами «борьбы с бюрократизмом и господством партаппарата».

Сын Троцкого, Лев Седов, носивший фамилию матери, находился под нашим

постоянным наблюдением. Он являлся главным организатором троцкистского движения в Европе после того, как в 1933 году приехал в Париж из Турции.

Мы располагали в Париже двумя независимыми друг от друга агентурными выходами на него. В одной ведущую роль играл Зборовский (подпольная кличка «Этьен», он же «Тюльпан»). О нем подробно написал Волкогонов. Другую возглавлял Серебрянский. Зборовский навел нас на след архивов Троцкого, а Серебрянский, используя полученную информацию, захватил эти архивы, спрятанные в Париже, и тайно доставил их в Москву. Он сделал это с помощью своего агента «Гарри», находившегося в Париже, и агента, работавшего во французской полиции.

В книге «Троцкий» Волкогонов утверждает, будто архивы были вывезены Зборовским, тогда как на самом деле тот даже понятия не имел, как была использована добытая им информация. Волкогонов также пишет, что Зборовский помог убить Седова, находившегося в то время во французской больнице. Сын Троцкого, как известно, действительно скончался в феврале 1938 года при весьма загадочных обстоятельствах, после операции аппендицита.

Доподлинно известно лишь то, что Седов умер в Париже, но ни в его досье, ни в материалах по троцкистскому интернационалу я не нашел никаких свидетельств, что это было убийство. Если бы Седова убили, то кто-то должен был бы получить правительственную награду или мог на нее претендовать. В то время, о котором идет речь, было много обвинений в адрес разведслужбы, которая якобы приписывала себе несуществующие лавры за устранение видных троцкистов, однако никаких подробностей или примеров при этом не приводилось. Принято считать, что Седов пал жертвой операции, проводившейся НКВД. Между тем Шпигельглас, докладывая Ежову о кончине Седова в Париже, упомянул лишь о естественной причине его смерти. Ежов, правда, комментировал сообщение словами: «Хорошая операция! Неплохо поработали, а?». Шпигельглас не собирался спорить с наркомом, который постарался приписать заслугу «убийства» Седова своему ведомству и лично доложил об этом Сталину. Это способствовало тому, что НКВД стали считать ответственным за смерть Седова.

Когда мы с Эйтингоном обсуждали у Берии план ликвидации Троцкого, об устранении его сына ни разу не упоминалось. Легко предположить, конечно, что Седов был убит, но лично я не склонен этому верить. И причина тут самая простая. Троцкий безоговорочно доверял сыну, поэтому за ним велось плотное наблюдение с нашей стороны, и это давало возможность получать информацию о планах троцкистов по засылке агентов и пропагандистских материалов в Советский Союз через Европу. Его уничтожение привело бы к потере нами контроля за информацией о троцкистских операциях в Европе.

После ликвидации Троцкого часть агентуры, завербованной Эйтингоном, и другие привлеченные к его сети лица, действовавшие в Соединенных Штатах и Мексике, присоединились к нелегалам, не задействованным в операции против Троцкого. Эта расширенная сеть агентуры впоследствии сыграла важную роль в выходе на круги ученых, работавших над американской атомной бомбой. Наши нелегалы с фальшивыми документами, не занимавшие никаких официальных

должностей, обосновались в США еще в конце 20-х и начале 30-х годов. Их главной задачей было поступить на такую работу, где можно иметь доступ к научно-технической информации и военно-стратегическим перевозкам на случай войны с Японией.

В конце 20-х – начале 30-х годов Эйтингон и Серебрянский были посланы в Соединенные Штаты для вербовки китайских и японских эмигрантов, которые могли нам пригодиться в военных и диверсионных операциях против Японии. К этому времени японцы успели захватить центральные и северные районы Китая и Маньчжурию, и мы опасались предстоявшей войны с Японией. Одновременно Эйтингон внедрил двух агентов для длительного оседания – польских евреев, которых ему удалось привезти в США из Франции.

Эйтингон также должен был дать оценку потенциальным возможностям американских коммунистов в интересах нашей разведки. По его весьма дельному предложению, не следовало вербовать агентов из членов компартии, а имело смысл сконцентрировать внимание на тех, кто, не будучи в ее рядах, выражал сочувствие коммунистическим идеям.

Эйтингон действовал параллельно с Ахмеровым, который, несмотря на серьезные возражения Эйтингона, все-таки женился на племяннице Эрла Браудера, основателя американской компартии. Операции в Соединенных Штатах и создание там сети нелегалов не входили в число важнейших целей Кремля, поскольку в то время получение разведывательных данных из Нового Совета не влияло на принимаемые Москвой решения. Эйтингон, однако, поручил нескольким своим агентам следить за американской политикой в отношении Китая. Ему, в частности, удалось найти журналистов из журнала «Амерэйша», которые впоследствии сформировали лобби, влиявшее на американскую линию дипломатии в Азии.

Одним из завербованных Эйтингоном агентов был весьма известный японский живописец Мияги, позднее вошедший в группу Рихарда Зорге в Японии. Эйтингон и мой хороший друг Иван Винаров (советник по разведке при Георгии Димитрове в 40-х годах) вступили в контакт с Зорге в Шанхае в конце 20-х годов. Информация Зорге рассматривалась как довольно ценная на протяжении всех 30-х годов, правда, с оговоркой, что и немцы, и японцы считают его двойным агентом.

Наш агент «Друг» – генеральный консул Германии в Шанхае – часто встречался с Зорге в 1939–1941 годах. Он отмечал его широкую осведомленность об обстановке на Дальнем Востоке, не догадываясь о работе Зорге на Разведуправление Красной Армии, и подчеркивал прочные, солидные связи Зорге с немецкой военной разведкой.

В 1932 году Эйтингон покинул Калифорнию и возвратился в Советский Союз через Шанхай. Его назначили заместителем Серебрянского, но они не сработались, и Эйтингон перешел на руководящую работу в Иностраннный отдел ОГПУ.

В период обострения международной обстановки в канун вступления в войну Америки разведывательную работу по линии НКВД на Восточном побережье США возглавлял Хейфец. Ранее он работал в Коминтерне. Его отец являлся одним из организаторов американской компартии. Хейфец лично знал многих видных

американских коммунистов. Учитывая коминтерновский опыт, его направили в начале 30-х годов на работу в разведку НКВД. Он организовал нелегальные группы в Германии и Италии в середине 30-х годов, выступая в роли индийского студента, обучающегося в Европе. На самом деле Хейфец был евреем, но из-за своей смуглой кожи выглядел как настоящий эмигрант из Азии, несмотря на голубые глаза. В Соединенных Штатах в левых кругах он был известен как господин Браун.

Находясь до этого в Италии, Хейфец познакомился с молодым Бруно Понтекорво, тогда студентом, учившимся в Риме. Хейфец рекомендовал Понтекорво связаться с Фредериком Жолио-Кюри, выдающимся французским физиком, близким к руководству компартии Франции. В дальнейшем именно Понтекорво стал тем каналом, через который к нам поступали американские атомные секреты от Энрико Ферми.

Хейфецу повезло: в 30-х годах он не был репрессирован. Его отозвали в Москву, и хотя в ноябре 1938 года Ежов дал указание об его аресте, оно не было выполнено. Вскоре Хейфеца направили в Соединенные Штаты, на Западное побережье, для активизации разведывательной работы.

Перед Хейфецом была поставлена задача установления прочных связей с агентурой «глубокого оседания», созданной Эйтингоном для использования в случае войны между Советским Союзом и Японией. Первоначальный план заключался в том, чтобы создать сеть нелегалов в американских портах по примеру Скандинавии для уничтожения судов со стратегическим сырьем и топливом для Японии. Не зная о японских намерениях атаковать Юго-Восточную Азию или Перл-Харбор, мы предполагали, что они сначала начнут военные действия против нас.

Помощнику Хейфеца в консульстве Сан-Франциско Ляпину, инженеру, выпускнику Ленинградского судостроительного института, было дано специальное задание получить данные о технологических новинках на предприятиях Западного побережья. Основная задача, поставленная перед ним, – сбор материалов по американским военно-морским судостроительным программам. Я помню одно из его донесений. В нем говорилось о большом интересе, который проявлялся американцами к программе строительства авианосцев. Лягину также удалось завербовать агента в Сан-Франциско, давшего нам описание устройств, разрабатывавшихся для защиты судов от магнитных мин.

Чтобы не вызывать подозрений, Лягин воздерживался от любых контактов с американскими прокоммунистическими кругами. Однако в Сан-Франциско он проработал недолго. Его отозвали в Москву и выдвинули на должность заместителя начальника закордонной разведки НКВД. Ему было всего тридцать два года. Во время немецкой оккупации он был послан нами в качестве резидента-нелегала на немецкую военно-морскую базу в Николаев на Черном море. Ему удалось провести ряд диверсий на базе. Гестапо в конце концов захватило его и радиста группы. Лягин отказался бежать из тюрьмы, так как не мог оставить арестованного вместе с ним раненого радиста. Они были расстреляны. В 1945 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Оставшемуся в Сан-Франциско Хейфецу удалось, получив ориентировку от

Эйтингона, выйти на внедренных ранее двух агентов «глубокого оседания». Оба они вели обычную, неприметную жизнь рядовых американцев: один – зубного врача, другой – владельца предприятия розничной торговли. Оба были еврейскими эмигрантами из Польши. Врач-стоматолог, известный лично Серебрянскому, в свое время получил от нас деньги, чтобы окончить медицинский колледж во Франции и стать дипломированным специалистом. Оба этих человека были внедрены на случай, если бы их услуги понадобились нам, будь то через год или через десять лет. Потребность в них возникла в 1941–1942 годах, когда эти люди неожиданно оказались близки к коммунистически настроенным членам семьи Роберта Оппенгеймера – главного создателя американской атомной бомбы.

Глава 5

Пакт молотова – Риббентропа

В мае 1937 года была арестована группа Тухачевского из восьми человек, составлявших цвет советского военного командования, их обвинили в государственной измене, шпионаже и тайном военном заговоре с целью свержения правительства. Прошло всего две недели, и по приговору закрытого военного суда все они были расстреляны. Так начались массовые репрессии в армии, в результате которых пострадали тридцать пять тысяч командиров.

Самым известным из этой группы военачальников был маршал Михаил Николаевич Тухачевский, длительное время бывший заместителем наркома обороны и начальником Генерального штаба. Из публикуемых ныне архивных материалов известно, что обвинения против Тухачевского и других военных руководителей страны были сфабрикованы по указанию Сталина и Ворошилова.

В настоящее время существуют три версии, почему Сталин пошел на эту расправу. В соответствии с первой судьбу этих людей решила дезинформация германских и чехословацких спецслужб, убедившая подозрительного Сталина и его наркома обороны Ворошилова, что Тухачевский и ряд других военачальников поддерживали тайные контакты с немецкими военными кругами. Именно эту версию повторил Хрущев в своем выступлении с критикой Сталина на XXII съезде партии в 1961 году.

Но контакты с немцами следует рассматривать на фоне тесного германо-советского военного сотрудничества в 1920—1930-х годах. Длительный период военного сотрудничества Германии и Советского Союза был в 1933 году внезапно прерван Сталиным под явно сфабрикованным предлогом, что немцы тайно делятся с французами информацией о своих связях с нами. Между тем группа советских военных деятелей во главе с маршалом Тухачевским отмечала полезность этих контактов с немцами и надеялась использовать их технологические военные новинки у нас. Со стороны Германии также существовал известный интерес к продолжению связи с СССР, хотя и совсем по другим соображениям. Высокопоставленные военные, выходцы из Восточной Пруссии, были последователями основателя вермахта генерала Ганса фон Секта. После поражения в Первой мировой войне генерал фон Сект долгие годы занимался воссозданием немецкой военной машины и разработкой новой стратегической доктрины. Именно он выступал перед германским руководством за улучшение отношений с СССР, указывая, что главная цель германской политики в случае войны – не допустить военных действий на двух фронтах.

В соответствии со второй версией жертвами стали те военные, которые по своему интеллектуальному уровню значительно превосходили Ворошилова и имели собственное мнение по вопросам военного строительства. Тухачевский и его группа якобы не сошлись со Сталиным и Ворошиловым по вопросу стратега и военных реформ, а посему Сталин, опасаясь соперников, которые могут претендовать на власть, решил разделаться с ними.

Согласно третьей версии, военных ликвидировали из-за давней вражды между Тухачевским и Сталиным, которые имели разные точки зрения на то, кто несет ответственность за ошибки, допущенные в войне с белополяками в 1920 году. Тухачевский считал, что Красная Армия потерпела поражение на подступах к Варшаве, потому что Сталин и Ворошилов якобы отказались перебросить в помощь Тухачевскому кавалерийские части.

Мой взгляд на эту трагедию отличается от всех известных версий. Помню, как в августе 1939 года приятно удивили меня сообщения из Германии, из которых явствовало, что немецкое военное руководство высоко оценивало потенциал Красной Армии. В одном из документов высшего германского командования, перехваченном нами, причиной гибели маршала Тухачевского назывались его непомерные амбиции и разногласия с маршалом Ворошиловым, беспрекословно разделявшим все взгляды Сталина.

Утверждая сводку материалов разведки для Сталина, Берия включил туда фразу из этого документа: «Устранение Тухачевского наглядно показывает, что Сталин полностью контролирует положение дел в Красной Армии», – возможно, для того, чтобы польстить вождю, подчеркнув тем самым его дальновидность в своевременном устранении Тухачевского.

Помнится мне также комментарий Берии и Абакумова, в годы войны начальника военной контрразведки СМЕРШ, отвечавшего и за политическую благонадежность вооруженных сил. И тот, и другой говорили о заносчивости Тухачевского и его окружения, которые смели думать, будто Сталин, по их предложению, снимет Ворошилова. По словам Берии, уже один этот факт ясно показывал, что военные, грубо нарушив установленный порядок, выдвинули предложения, выходявшие за рамки их компетенции. Разве, говорил он, им не было известно, что только Политбюро и никто другой имеет право ставить вопрос о замене наркома обороны? Тут-то и вспомнили, подчеркивал Абакумов, что Тухачевский и близкие к нему люди позволяли себе вызывать на дачи военные оркестры для частных концертов.

О том, что «наверху» следует вести себя строго по правилам, я узнал от маршала Шапошникова, сменившего Тухачевского. Шла война, в очень тяжелый период боев под Москвой, учитывая срочность донесений из немецких тылов, я пару раз докладывал материалы непосредственно ему, минуя обычные каналы. И он каждый раз вежливо указывал мне: «Голубчик, важные разведданные вам нужно обязательно отразить в первую очередь в докладах НКВД и политическому руководству страны. Сталин, Берия и одновременно нарком обороны должны быть полностью в курсе нашей совместной работы».

Еще одно обстоятельство, сыгравшее свою роль в судьбе Тухачевского: он был в плохих отношениях с Шапошниковым. В конце 20-х годов Тухачевский, как мне говорили, вел интригу против Шапошникова с тем, чтобы занять его пост начальника генштаба. Кстати, Шапошников был одним из членов специального присутствия Верховного Суда, который вынес смертный приговор Тухачевскому. Он, Буденный и председатель суда Ульрих оказались единственными из всего его состава, кто избежал репрессий и умер естественной смертью.

Мне представляется, что Тухачевский и его группа в борьбе за влияние на Сталина попались на его удочку. Во время частых встреч со Сталиным Тухачевский критиковал Ворошилова, Сталин поощрял эту критику, называя ее «конструктивной», и любил обсуждать варианты новых назначений и смещений. Нравилось ему и рассматривать различные подходы к военным доктринам. Тухачевский позволял себе свободно обсуждать все это не только за закрытыми дверями, но и распространять слухи о якобы предстоящих изменениях и перестановках в руководстве Наркомата обороны. Словом, он и его коллеги зашли, по мнению Сталина, слишком далеко. После того как НКВД доложил правительству о ходивших по столице слухах, это стало беспокоить руководство страны. Даже те из историков, которые горят желанием разоблачить преступления Сталина, не могут не признать, что материалы дела Тухачевского содержат разного рода документальные свидетельства относительно планов перетасовок в военном руководстве страны.

В опубликованных архивах Красной Армии можно, например, прочесть письмо Ворошилову от 5 июня 1937 года за подписью начальника секретариата Наркомата обороны Смородинова. В нем содержится просьба направить в НКВД копии писем Тухачевского в адрес военного руководства. И хотя на документе нет никакой резолюции, ясно, что в ходе «расследования» Тухачевский решительно возражал против обвинений, ссылаясь при этом на документы, подтверждавшие, что по военным вопросам между ним, Ворошиловым и Сталиным не было никаких разногласий.

Тухачевский утверждал, что поддерживал контакты с немецкими военными представителями исключительно по заданиям правительства. Он всячески старался доказать, что всегда видел свой долг в беспрекословном выполнении приказов по всем вопросам военного строительства.

Версия Хрущева о том, что Сталин «заглотнул» немецкую дезинформацию, призванную уничтожить Тухачевского, базировалась на вымыслах советского перебежчика Кривицкого, автора книги «Я был агентом Сталина», вышедшей в 1939 году. Кривицкий работал на НКВД и военную разведку в Западной Европе и в своей книге писал, что НКВД получил тайную информацию о заговоре от чешского президента Эдуарда Бенеша и нашего крупного агента Скоблина (кодовое имя «Фермер»), бывшего белого генерала, участника гражданской войны. Кривицкий обвинил Скоблина в том, что тот передал Советам немецкую дезинформацию о тайных контактах Тухачевского с немецкими военными кругами. Позднее генерал Шелленберг, начальник гитлеровской внешней разведки, в своих мемуарах также писал, что немцы сфабриковали документы, в которых Тухачевский фигурировал как их агент. Перед войной, по его словам, документы были подкинуты чехам, и Бенеш передал полученную информацию Сталину.

Для меня это – миф. Подобные документы так и не были обнаружены в архивах КГБ или архивах самого Сталина.

Но если восстановить последовательность событий, то можно увидеть, что о Скоблине как об агенте гестапо впервые написала газета «Правда» в 1937 году. Статья была согласована с руководством разведки и опубликована, чтобы отвлечь внимание от обвинений в причастности советской разведки к похищению генерала

Миллера.

Уголовное дело против Тухачевского целиком основывалось на его собственных признаниях, и какие бы то ни было ссылки на конкретные компрометирующие факты, полученные из-за рубежа, начисто отсутствуют. Если бы такие документы существовали, то я как заместитель начальника разведки, курировавший накануне войны и немецкое направление, наверняка видел бы их или знал об их существовании. Единственным упоминанием о «немецком следе» в деле Скоблина является ссылка на его обманный маневр, с помощью которого удалось заманить генерала Миллера на явочную квартиру в Париже. Скоблин говорил Миллеру о «немецких контактах», которые важны для конспиративной работы белой эмиграции. Миллер встретился не с немцами, а с резидентом НКВД в Париже Кисловым (кодовое имя «Финн») и Шпигельгласом (кодовое имя «Дуглас»).

Кстати, вопреки версиям событий в популярных на Западе книгах Кристофера Эндрю и Гордлевского, Джона Джизяка и Кривицкого Скоблин не принимал участия в устранении предшественника Миллера генерала Кутепова. Эта операция в 1930 году была проведена разведывательной службой Серебрянского. Кутепов был задержан в центре Парижа тремя нашими агентами, переодетыми в форму сотрудников французской жандармерии. Они остановили Кутепова на улице под предлогом проверки документов и насильно посадили в машину. Кутепов, заподозрив неладное, оказал сопротивление. Во время борьбы с ним случился сердечный приступ, и он умер. Его похоронили в пригороде Парижа, во дворе дома одного из агентов советской разведки.

Итак, в действительности нет никаких данных о несанкционированных контактах Тухачевского с немцами. Зато в архивах много материалов, содержащих обзоры зарубежной прессы и отклики руководителей западных стран о заговоре Тухачевского.

В июле 1937 года советский полпред в Чехословакии Александровский сообщал в Москву о реакции президента Бенеша на казнь Тухачевского. Существуют самые противоречивые интерпретации замечаний Бенеша, который рисуется советскими историками человеком, «искренне и с самыми лучшими намерениями предавшим Тухачевского Сталину, не сознавая, что он передает Советам сфальсифицированные немцами материалы». Документы, однако, говорят совсем о другом.

По сообщению Александровского, Бенеш не верил, будто Тухачевский шпион и саботажник. По словам Бенеша, Тухачевский «мог рассчитывать на свержение Сталина, лишь опираясь на Ягоду – наркома внутренних дел СССР». Основываясь на информации чешского посла в Берлине, Бенеш отмечал: Тухачевский просто выступал за продолжение советско-германского сотрудничества, которое было прервано с приходом Гитлера к власти. Ясно, что Бенеш не принимал всерьез обвинения Тухачевского в шпионаже, но чувствовал, что по той или иной причине маршал оказался в опале, и внес свою лепту в дискредитацию Тухачевского, поскольку нуждался в поддержке Сталина. Он, как и Берия, хотел показать свое полное одобрение решения Москвы ликвидировать Тухачевского. В дневнике Александровского приводится высказывание Бенеша, в котором он отзывается о

Тухачевском как об авантюристе и ненадежном человеке. В общем и целом Бенеш поддержал расправу над Тухачевским, но не сыграл никакой роли в его отстранении и аресте.

Насколько я помню, в литерном деле «Хутор» есть ссылки на то, что Бенеш в апреле 1937 года, накануне снятия Тухачевского, намекнул полпреду Александровскому и нашему резиденту в Праге Петру Зубову, что не исключает возможности военного соглашения между Германией и Советским Союзом, вопреки их нынешним разногласиям, отчасти из-за хороших связей между Красной Армией и вермахтом, установленных Тухачевским в 20-х и 30-х годах. Однако только 4 июля 1937 года, уже после казни Тухачевского, Бенеш рассказал Александровскому о «неких» контактах чешского посла в Берлине с немецкими военными представителями, которые якобы имели место в январе 1937 года. По его словам, Бенеш не сообщил нам о том, что чехи имеют информацию о наличии в Германии влиятельной группы среди военных, выступавших за продолжение тайных германо-советских военных связей, установленных еще в 20-е годы.

От своего посла в Берлине Бенеш получил доклад, содержащий смутные намеки немецких генералов об их конфиденциальных отношениях с руководством Красной Армии. Цель этой немецкой дезинформации заключалась в том, чтобы напугать чехов и заставить их поверить, что им нельзя рассчитывать на поддержку Красной Армии в их конфронтации с Германией по вопросу о судьбе Судет. Это было в июле 1937 года – за год до ультиматума Гитлера Бенешу с требованием, чтобы Судеты с их этническим немецким населением отошли к Германии. В своем дневнике посол записывает, что Бенеш извинился перед ним за то, что не поделился с советским руководством информацией о возможных тайных контактах верхушки вермахта со штабом Красной Армии.

Из материалов упомянутого выше дела становится ясна подлинная цель июльской встречи между полпредом Александровским, резидентом НКВД Зубовым и Бенешем.

Ныне содержание беседы Бенеша с Александровским отрицается. Замалчивается и другое важнейшее обстоятельство: Советский Союз и Чехословакия подписали в 1933 году секретное соглашение о сотрудничестве разведывательных служб. Для решения этого вопроса в Москве побывал начальник чешской разведки полковник Моравец. Сотрудничество советской и чешской разведки, обмен информацией первоначально координировались Разведупром Красной Армии, а с 1937 года – НКВД. В 1938 году Бенеш обратился к Сталину с просьбой поддержать его действия по свержению правительства Стоядиновича в Белграде, проводившего враждебную чешскому руководству политику.

По специальному указанию Сталина для поддержки переворота в Белграде в 1938 году на НКВД возлагалось финансирование сербских боевиков-офицеров – организаторов этого переворота. Наш резидент Зубов, выехав в Белград для передачи денег заговорщикам, убедился, что подобранные чешской разведкой для этой акции люди – авантюристы, не опираются на реальную силу, и не выдал им 200 тысяч долларов. Эта несостоявшаяся операция проливает свет на неизвестные до сих пор связи Бенеша и Сталина. Целью Бенеша было получение полной поддержки

чешской политики со стороны Сталина как на Балканах, так и в Европе в целом. Вот почему в отличие от англичан и французов он не выразил своего неодобрения по поводу казни маршала Тухачевского и волны репрессий среди советского военного командования.

Мне приходилось слышать, что все еще существуют особо секретные материалы дела Тухачевского, хранившиеся в архивах сталинского секретариата и содержащие информацию, полученную из-за рубежа. Я думаю, что это просто обзоры материалов из иностранной прессы, сообщения корреспондентов ТАСС, дипломатов, глав торговых представительств, а также резидентур НКВД и ГРУ о том, как расправа с Тухачевским оценивалась за границей.

Это были материалы особой папки закрытой иностранной корреспонденции, в которой собирались отзывы зарубежного общественного мнения и комментарии советских послов и руководителей правительственных делегаций. В этом хранении есть немецкие, французские и английские записи бесед с высокопоставленными советскими представителями, полученные по разведывательным каналам. Они представляли ценность в силу того, что помогали понять мышление людей, с которыми ведутся переговоры.

Трагедия, однако, заключалась в том, что Сталин, а впоследствии Хрущев, Брежнев и Горбачев использовали закрытую иностранную корреспонденцию для компрометации своих соперников в период острой борьбы за власть. В обычное время обзорам иностранной прессы не придавалось сколько-нибудь серьезного значения, но в период массовых репрессий стало правилом прибегать к этим материалам, дававшим оценку советским руководителям, чтобы инкриминировать им разного рода «отклонения» от линии партии. Причем это правило было даже закреплено специальным постановлением Центрального комитета.

В 1989 году Бориса Ельцина во время его первого визита в Соединенные Штаты обвинили, ссылаясь на зарубежную прессу, в пристрастии к спиртному. В 1990 году эти материалы сыграли свою роль в конфликте между Горбачевым и Шеварднадзе, экс-министром иностранных дел. Использование вырезок из зарубежной прессы было прекращено лишь в ноябре 1991 года – перед самым концом «горбачевской эры». И сделал это Игнатенко, генеральный директор ТАСС, запретив направлять по линии ТАСС в правительство особые обзоры зарубежной прессы, содержавшие компромат на наших руководителей.

В 30-х годах нам казалось: любой, кто выступает против правительства или партийного руководства, прежде всего против самого Сталина, а также его соратника наркома Ворошилова, – враг народа. Лишь много позже до меня дошел весь цинизм замечаний Берии и Абакумова по поводу Тухачевского. Высшее руководство прекрасно знало, что все обвинения против него выдуманы. Версию о мнимом заговоре они предпочли потому, что в противном случае им пришлось бы признать, что жертвами репрессий на самом деле становятся соперники в борьбе за власть. Подобное признание нанесло бы вред престижу правящей партии.

То, что в 1937 году считалось серьезным преступлением – я имею в виду обвинение в некомпетентности Ворошилова, которое позволял себе Тухачевский, –

через двадцать лет, когда он был посмертно реабилитирован, уже не было таковым. Причем никто не объяснил подлинных причин совершенного преступления. В официальных сообщениях появились лишь весьма туманные ссылки на «имевшие место ошибки» в карательной политике, виновниками были названы лишь Ежов и его подручные.

В апреле 1938 года резидент НКВД в Финляндии Рыбкин был вызван в Кремль, где Сталин и другие члены Политбюро поручили ему совершенно секретное задание... Он получил директиву неофициально предложить финскому правительству тайное соглашение. Финнам гарантировалось экономическое сотрудничество с Советским Союзом с учетом их интересов в Скандинавии и Европе в обмен на подписание пакта о ненападении, экономическом и военном сотрудничестве в случае агрессии третьей стороны. Пакт сулил экономические выгоды для обеих сторон. Предложение Сталина включало также разделение сфер военного и экономического влияния в Балтийском регионе между Финляндией и Советским Союзом. По указанию Сталина Рыбкин также передал 100 тысяч долларов на создание партии мелких хозяев, которая выступала за нейтральную Финляндию.

Рыбкин во время беседы в Кремле выразил сомнение, что финны, тогда враждебно относившиеся к восточному соседу, согласятся на подписание такого договора, но Сталин подчеркнул, что это зондаж, поэтому предложения должны быть сделаны устно, без участия в переговорах нашего полпреда, то есть неофициально. Рыбкин поступил, как ему приказали, но предложение было отвергнуто. Однако оно инициировало раскол в финском руководстве, который мы позднее использовали, подписав сепаратный мирный договор с Финляндией в 1944 году. Кстати, это удалось сделать при посредничестве шведской семьи Валленбергов. Не увенчались успехом и наши попытки найти тайные подходы к Маннергейму через его бывшего сослуживца по царской армии – графа Игнатьева, перешедшего на службу в Красную Армию в 1920-е годы.

Мне ничего не известно о подобного рода неофициальных предложениях немецкой стороне, однако полагаю, что президент Финляндии маршал Карл Густав Маннергейм проинформировал Гитлера о наших предложениях, так что фюрер, посылая своего министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа в Москву в августе 1939 года для переговоров о подписании пакта о ненападении, полагался не только на спонтанную реакцию Молотова и Сталина. Он был осведомлен о том, что мы готовы принять предложение подобного рода, поскольку сами уже пытались заключить аналогичный договор с соседней Финляндией.

Отказ Финляндии последовал в том же месяце 1938 года. Финнам было куда важнее оставаться союзниками Англии, Швеции и Германии. К тому же они не видели для себя никаких выгод в роли буферной зоны между Востоком и Западом. Позднее, однако, эта роль все же была им навязана. За то, что Финляндия напала на Советский Союз вместе с немцами, она должна была заплатить дорогую цену. В результате финны получили куда менее выгодные для себя условия, чем те, которые первоначально предлагал Рыбкин в 1938 году.

В августе 1939 года объем разведывательной информации резко возрос. Мы

получили достоверное сообщение о том, что французское и британское правительства не горят желанием оказать Советскому Союзу поддержку в случае войны с Германией. Это вполне совпадало с данными, полученными нами тремя или четырьмя годами раньше от кембриджской группы. По этим сведениям, британский кабинет министров, точнее, Невилл Чемберлен и сэр Джон Саймон рассматривали возможность тайного соглашения с Гитлером для оказания ему поддержки в военной конфронтации с Советским Союзом. Особого внимания заслуживала информация трех надежных источников из Германии: руководство вермахта решительно возражало против войны на два фронта.

Полученные директивы обязывали нас быстро рассмотреть возможные варианты сотрудничества со странами, готовыми подписать соглашения о противодействии развязыванию войны. Речь шла не только об Англии и Франции, с которыми велись консультации с начала 1938 года, но также и о Германии. В Германии за мирное урегулирование отношений с Советским Союзом выступали в среде влиятельных военных лишь выходцы из Восточной Пруссии.

Рассматривая в соответствии с полученными директивами альтернативные варианты (или соглашение с англичанами и французами, или мирное урегулирование с Германией), я не мог даже представить, что экономические переговоры завершатся пактом о сотрудничестве Берлина и Москвы. Когда меня информировали о предстоящем прибытии министра иностранных дел Германии в Москву 23 августа 1939 года – всего за несколько часов до того как это произошло, – я был удивлен. После прибытия Риббентропа и последовавшего через тринадцать часов подписания Пакта о ненападении (это событие произошло в Кремле в два часа ночи 24 августа), стало ясно: принятое решение не было внезапным. Стратегической целью советского руководства было любой ценой избежать войны на два фронта – на Дальнем Востоке и в Европе. Такая линия дипломатических отношений, не привязанных к идеологическим соображениям, установилась еще с 20-х годов, когда Советский Союз осуществлял экономическое сотрудничество и поддерживал нормальные отношения с Италией после прихода к власти в 1922 году фашистского режима Бенито Муссолини. Кремлевское руководство было готово к компромиссам с любым режимом при условии, что это гарантировало стабильность Советскому Союзу. Для Сталина и его окружения воплощение в жизнь их геополитических устремлений преобразовать Советский Союз в мощнейшую державу мира всегда было приоритетом.

Страна получила возможность более или менее стабильно развиваться лишь после завершения коллективизации в 1934 году. До этого мы пережили последовательно гражданскую войну, голод, разруху. И лишь к середине 30-х начала приносить свои плоды индустриализация. Растущая мощь государства была продемонстрирована в успешных военных действиях против Японии в Монголии и Маньчжурии. Хотя страна установила дипломатические отношения со всеми ведущими державами мира, нас, тем не менее, держали и в изоляции, что наглядно проявлялось, когда мировые державы не допускали нас к участию в решении кардинальных мировых вопросов, от которых зависели их интересы. Все соглашения по Европе и Азии принимались западными странами и Японией в ущерб интересам Советского Союза. Англо-германское соглашение 1933 года,

признававшее перевооружение немецких военно-морских сил, и последующие соглашения между ведущими державами мира по оснащению современными видами оружия своих флотов даже не упоминали Советский Союз.

Французская и английская делегации, прибывшие в Москву летом 1939 года, чтобы прозондировать почву для создания возможного союза против Гитлера, состояли из второстепенных фигур. Таким образом, политика Сталина по отношению к Гитлеру основывалась на правильном соображении, что враждебность западного мира и Японии к советскому строю сделает изоляцию СССР от международного сообщества постоянным фактором.

Оглядываясь назад, нельзя не прийти к выводу, что все три будущих союзника по антигитлеровской коалиции – СССР, Британия и Франция – виноваты в том, что позволили Гитлеру развязать вторую мировую войну. Взаимные неприязнь и противоречия – вот что помешало достижению компромисса между Англией и Францией с одной стороны и Советским Союзом – с другой. Компромисса, который бы позволил сообща остановить агрессию Гитлера против Польши. Историки Второй мировой войны почему-то упускают из виду, что англо-франко-советские переговоры в 1939 году были начаты фактически по инициативе президента США Франклина Д. Рузвельта. Дональд Маклин сообщал, что Рузвельт направил своего представителя британскому премьер-министру Чемберлену с предостережением: господство Германии в Западной Европе было бы губительным для интересов как Америки, так и Британии. Рузвельт побуждал Чемберлена для сдерживания Гитлера вступить в переговоры с европейскими союзниками Великобритании, включая и Советский Союз. Наши источники сообщали, что британское правительство с явной неохотой отнеслось к американской инициативе, так что Рузвельту пришлось оказать на британцев нажим, чтобы заставить их все-таки пойти на переговоры с Советами по выработке военных мер для противостояния Гитлеру.

Тем не менее, быстрота, с какой был подписан договор о ненападении с Гитлером, поразила меня: ведь всего за два дня до того, как он был подписан, я получил приказ искать возможные пути для мирного урегулирования наших отношений с Германией. Мы еще продолжали посылать наши стратегические предложения Сталину и Молотову, а договор уже был подписан: Сталин проводил переговоры сам в обстановке строжайшей секретности.

Я ничего не знал о протоколах пакта Молотова-Риббентропа, но вообще такого рода секретные протоколы – самая обычная вещь в дипломатических отношениях, затрагивающих особо сложные вопросы. Накануне войны британское правительство подписало секретные протоколы с Польшей – в них речь шла об оказании военной помощи Польше в случае войны с Германией. В 1993 году, например, один немецкий еженедельник опубликовал секретные протоколы и запись конфиденциальных бесед между Горбачевым и канцлером Гельмутом Коелем, состоявшихся накануне воссоединения Германии. И сейчас, читая секретные протоколы Пакта Молотова-Риббентропа, я не нахожу в них ничего тайного. Директивы, основанные на подписанных соглашениях, были весьма четкими и определенными: о них знали не только руководители разведки, но и военное руководство и дипломаты. Фактически знаменитая карта раздела Польши, приложенная к протоколам 28 сентября 1939

года, появилась на страницах «Правды», конечно, без подписей Сталина и Риббентропа, и ее мог видеть весь свет. К тому времени, однако, Польша была оккупирована.

В октябре 1939 года, вместе с Фитиным, начальником разведки, и Меркуловым, заместителем Берии, я принимал участие в совещании у Молотова в его кремлевском кабинете. Там находились также начальник оперативного Упрощения Генштаба генерал-майор Василевский (в 50-е годы министр обороны), заместитель наркома иностранных дел Потемкин, зампред Госплана Борисов, начальник штаба ВМФ адмирал Исаков, начальник погранвойск генерал Масленников и начальник военной разведки, кажется, генерал-майор Панфилов.

На повестке дня стоял один вопрос – защита стратегических интересов в Прибалтике. Молотов хотел услышать наши соображения. Советские войска уже находились там в соответствии с договорами, подписанными с правительствами Литвы, Латвии и Эстонии. Открывая совещание, Молотов заявил:

– Мы имеем соглашение с Германией о том, что Прибалтика рассматривается как регион наиболее важных интересов Советского Союза. Ясно, однако, – продолжал Молотов, – что хотя германские власти признают это в принципе, они никогда не согласятся ни на какие «кардинальные социальные преобразования», которые изменили бы статус этих государств, их вхождение в состав Советского Союза. Более того, советское руководство полагает, что наилучший способ защитить интересы СССР в Прибалтике и создать там надежную границу – это помочь рабочему движению свергнуть марионеточные режимы.

Из этого заявления стало ясно, каким именно образом мы толковали условия соглашения с Гитлером. Однако поздней осенью 1939 года появился новый стимул для активизации наших политических, экономических, военных и разведывательных операций в Прибалтике. От наших резидентур в Швеции и Берлине мы получили проверенную и надежную информацию о том, что немцы планируют направить высокопоставленные экономические делегации в Ригу и Таллинн для заключения долгосрочных соглашений. Таким образом Прибалтика оказалась бы под политическим и экономическим зонтиком Германии. Телеграммы из Берлина и Швеции были отправлены за двумя подписями – посла и резидента, что бывало крайне редко и означало: информация имеет важное политическое значение. Полученные в Москве, они с визами Молотова и Берии препровождались Фитину и мне по линии НКВД с приказом Берии немедленно представить по этому вопросу предложения. Телеграммы такого уровня, за подписью послов и резидентов, обычно направлялись нескольким членам правительства.

Фитин ознакомил с телеграммой Гукасова, начальника отделения по работе с националистическими и эмигрантскими организациями в районах, примыкающих к нашим границам. Кстати, именно Гукасов год назад потребовал от партбюро расследовать мое персональное дело. Сейчас, все еще с подозрением относясь к моей лояльности и, возможно, все еще держа на меня зло, он не передал мне указание Берии и самостоятельно подготовил предложения по противостоянию немецким спецслужбам в Латвии, Литве и Эстонии и в обход меня направил их Фитину. Его план заключался в том, чтобы использовать лишь агентурную сеть в

трех республиках Прибалтики, состоявшую из русских и еврейских эмигрантов.

Разразился скандал.

Вызвав Фитина и меня и выслушав сообщение Фитина по записке Гукасова, Берия спросил мое мнение. Я честно ответил, что его у меня нет, я не получал никаких указаний и не в курсе германских намерений в Риге; в настоящее время я занимаюсь совершенно другими делами. Берия взорвался от ярости и велел срочно еще раз принести телеграммы. Тут он увидел, что на них нет моей подписи, а у нас было обязательное правило визировать любой секретный документ, проходящий через руки того или иного должностного лица в разведке и направленный для проработки. Гукасова тут же вызвали на ковер – и Берия пригрозил снести ему голову за невыполнение его приказа. Гукасов в ответ, понизив голос, в доверительном тоне (он был уроженец Тбилиси) сказал буквально следующее. Он действительно не показал мне телеграммы, так как получил информацию от начальника следственной части Сергиенко о наличии материалов, в которых говорится о моих подозрительных контактах с врагами народа – бывшим руководством разведки. Берия резко оборвал Гукасова: надо бросать идиотскую привычку лезть со своими предложениями и раз и навсегда зарубить себе на носу, что приказы должны выполняться беспрекословно и незамедлительно.

Европа сейчас в огне войны, и задачи разведки в нынешних условиях, – подчеркнул Берия, – стали совершенно иными.

И тут же процитировал Сталина, потребовавшего активного включения оперативных сотрудников разведорганов в политические зондажные операции с использованием любых конфликтов в правящих кругах иностранных государств.

– Это, – подытожил Берия, – ключ к успеху в свержении нынешних правительств марионеточных государств, провозгласивших свою так называемую независимость в 1918 году под защитой немецких штыков. – Из этой тирады мы сразу поняли, что он имеет в виду государства Прибалтики. – Немцы и раньше, и теперь, – продолжал Берия, – рассматривают их как свои провинции, считая колониями германской империи. Наша же задача состоит в том, чтобы сыграть на противоречиях между Англией и Швецией в данном регионе. – При этих словах он повернулся в мою сторону. – Обдумайте все как следует и немедленно вызовите в Москву Чичаева. Потом доложите ваши соображения с учетом необходимых материальных средств. Срок – три дня.

Самоуверенная, дерзкая постановка вопроса отражала то новое мышление, которое продемонстрировали Сталин, Молотов и Берия после подписания пакта, который явно прибавил им веры в собственные возможности. В регионах, уже официально вошедших теперь в сферу наших интересов, мы начинали кардинально новую активную политику, с тем, чтобы повлиять на внутренний курс правительств этих государств.

Прибывший в Москву Чичаев, резидент НКВД в Риге, сообщил о резких расхождениях и натянутых отношениях внутри правительства Латвии – прежде всего между президентом Ульманисом и военным министром Балодисом. Этот конфликт подрывал стабильность существовавшего режима, уже находившегося под

двойным давлением – нашим и немецким. Немцы, вполне естественно, опирались на своих преданных сторонников в экономических управленческих структурах и деловых кругах, в то время как мы рассчитывали на влияние среди левых групп, связанных как с компартией, так и с профсоюзами. Как бы там ни было, Латвия, как, впрочем, и другие государства Прибалтики, по существу являлась буферной зоной между нами и Германией. План создания широкой коалиции, когда в правительстве должны быть представлены как немецкие, так и советские интересы, также обсуждался на встрече в кремлевском кабинете Молотова. Узнав о таком варианте, президент Латвии и Ульманис выступили резко против, между тем как министр иностранных дел Вильгельм Мунтере неожиданно одобрил эту идею. Обстановка в республике накалялась еще и потому, что там ширилось и поддерживаемое нами забастовочное движение. Углублялся и экономический кризис, вызванный начавшейся войной: традиционные торговые связи региона с Британией и Западной Европой оказались оборванными.

Чичаев и Ветров, советник нашего полпредства в Риге, пришли ко мне, и Ветров предложил сыграть на личных амбициях Мунтерса, чья репутация в Берлине была довольно устойчивой из-за его частых встреч с Риббентропом. Что касается Ульманиса, то его правительство не пользовалось особой популярностью в результате ошибок в экономической области с одной стороны и примиренческой позиции, занятой им по отношению к шовинистически настроенным немецким бизнесменам в Риге, – с другой. Эти коммерсанты скупали все наиболее ценное, что было в республике, широко пользуясь теми преимуществами, которые открывались перед ними из-за прекращения торговых связей Латвии с Западной Европой. Кстати, около семидесяти процентов всего латвийского экспорта шло в Германию – по существу по демпинговым ценам. Я информировал Берия и Молотова, что правительство Латвии опирается не столько на поддержку регулярных воинских формирований, сколько на вспомогательные полицейские части, составленные в основном из сыновей фермеров и мелких торговцев.

По нашему убеждению, министр иностранных дел Мунтерс был идеальной фигурой для того, чтобы возглавить правительство, приемлемое как для немецких, так и для советских интересов. Когда он обязал ведущие латвийские газеты опубликовать фотографию Молотова (в честь его 50-летия), мы восприняли это как знак его готовности установить личные контакты с Молотовым. Наша реакция была незамедлительной: мне тут же выдали дипломатический паспорт на имя Матвеева, а Мунтерса информировали о том, что с ним хотел бы встретиться Матвеев, специальный советник Молотова, для того чтобы латвийский министр мог через него передать все то важное, что у него могло быть помимо протокола. Эти неофициальные послания будут затем вручены советскому руководству. Был июнь 1940 года – и действовать следовало срочно. Вот почему до Риги я добирался не поездом, а на борту скоростного советского бомбардировщика. В Риге я вместе с Ветровым нанес тайный визит Мунтерсу, выразив во время нашей встречи пожелание советского правительства как можно скорее произвести перестановки в составе кабинета министров республики, с тем, чтобы он, Мунтере, смог возглавить новое коалиционное правительство.

Мой визит был частью комплексной операции по захвату контроля над

правительством Латвии. Руководил ею Меркулов, первый заместитель Берии, тайно прилетевший в Ригу еще до меня для координации плана действий на месте. Находясь в Риге под видом советника Молотова, я докладывал обо всем Меркулову, у которого был прямой выход по телефону на Молотова и Берию. Между тем правительству в Риге был предъявлен ультиматум. В результате президент Ульманис вынужден был уйти со своего поста, наши войска оккупировали Латвию и экс-президента арестовали. Обстановка изменила правила игры. Немцы оказались слишком глубоко втянутыми в военные операции на Западе, чтобы интересоваться событиями, происходящими в Латвии. В связи с этим Молотов и Сталин решили поставить во главе прибалтийских государств не тех, кто устраивал бы обе стороны (как, например, тот же Мунтере), а надежных людей, близких к компартии. Правда, некоторые из первоначальных условий, предполагавших создание коалиционных правительств, все же сохранялись. Так, скажем, латвийским и эстонским генералам были присвоены звания, аналогичные званиям в Красной Армии, а Мунтерса хотя и арестовали, но сделали это не сразу.

Вместе с Ветровым я отправился в резиденцию Мунтерса, где нами были предприняты все меры, чтобы упаковать его имущество и без лишнего шума вывезти всех членов семьи в Москву. Оттуда их перевезли в Воронеж, где Мунтерса определили на должность профессора в Воронежский университет. Немецкую сторону мы официально уведомили, что по-прежнему считаем Мунтерса политически значимой фигурой. Находясь под нашим контролем, он встречался в Москве за обедом с немецкими дипломатическими представителями, но судьба его уже была решена, и ему не удалось стать даже марионеточным главой правительства. В 1941 году, когда началась война с Германией, Мунтерса арестовали и приговорили к длительному сроку тюремного заключения за деятельность, враждебную советскому правительству. По странному стечению обстоятельств я встретился с Мунтерсом во Владимирской тюрьме в конце 1958-го или начале 1959 года. Когда его выпустили, он остался жить во Владимире. Выйдя на пенсию, он публиковал статьи в «Известиях», доказывая неизбежность союза Латвии с СССР.

Судьба прибалтийских государств, которую первоначально определяли в Кремле и в Берлине, во многом похожа на судьбу восточноевропейских, предрешенную в свое время в Ялте. Сходство тут разительное: и в том, и в другом случае предварительным соглашением предусматривалось создание коалиционных правительств, дружественных обеим сторонам. Нам нужна была буферная зона, отделявшая нас от сфер влияния других мировых держав, и мы проявляли готовность идти на жесткую конфронтацию в тех районах, где к концу войны находились войска Красной Армии. Снова повторяю, задачу построения коммунизма Кремль видел главным образом в том, чтобы всемерно укреплять мощь советского государства. Роль мировой державы мы могли играть лишь в том случае, если государство обладало достаточной военной силой и было в состоянии подчинить своему влиянию страны, находящиеся у наших границ. Идея пропаганды сверху коммунистической революции во всем мире была дымовой завесой идеологического характера, призванной утвердить СССР в роли сверхдержавы, влияющей на все события в мире. Хотя изначально эта концепция и была идеологической, она постепенно стала реальным политическим курсом. Такая

возможность открылась перед нашим государством впервые после подписания пакта Молотова-Риббентропа. Ведь отныне, как подтверждали секретные протоколы, одна из ведущих держав мира признавала международные интересы Советского Союза и его естественное желание расширять свои границы.

После истории с Гукасовым, о которой я рассказал, но еще до того, как Латвия была оккупирована нашими войсками, Берия неожиданно вызвал меня к себе и предложил сопровождать его на футбольный матч на стадионе «Динамо». Никаких объяснений он не дал – это был приказ. Играли «Спартак», команда профсоюзов, и «Динамо», команда НКВД: в те годы каждая встреча этих команд была сама по себе событием. Поначалу я решил, что Берия хочет, чтобы я присутствовал во время его беседы с агентом в ресторане. Ресторан находился при стадионе и был идеальным местом для встреч с агентами, так как кабинеты там были оборудованы подслушивающими устройствами. Когда мы приехали на стадион и вышли из машины, я следовал за Берией на почтительном расстоянии, поскольку к нему сразу подошли Кобулов, Цанава, Масленников и другие замы, тут же окружившие своего шефа. Обернувшись, он, однако, сделал мне знак подойти ближе и идти рядом – так я очутился в правительственной ложе. Берия представил меня Маленкову и другим партийным и государственным деятелям. Надо сказать, что чувствовал я себя крайне неловко. Все это время я просидел молча, но сам факт моего присутствия на правительственной трибуне дал понять Круглову, Серову, Цанаве и другим, что пора прекратить распространять слухи о моих подозрительных контактах, связях и о каких-то компрометирующих меня материалах, имевшихся в следственной части. Они должны были убедиться, что отныне я отношусь к разряду доверенных людей в глазах руководства страны.

Мне повезло, что все мои встречи с Берией – и у него на квартире, и на даче – неизменно носили сугубо деловой характер. Это относится даже к тому случаю, когда я вместе с ним присутствовал на свадьбе его протеже Бардо Максимальшвили, привлекательной грузинки, которая прошла обучение азам разведки под руководством моей жены. Ходили слухи, что она стала любовницей Берии еще в Тбилиси, будучи студенткой медицинского факультета, а после переезда в столицу он взял ее на работу в свой секретариат, а затем устроил так, что она вышла замуж за рядового сотрудника НКВД, тоже грузина. На свадьбу меня пригласили, чтобы я пригляделся к ней и ее мужу и оценил их манеру поведения (например, не слишком ли много они пьют). Такая необходимость была вызвана тем, что молодоженов собирались направить в Париж для работы в тамошней общине грузинских эмигрантов.

После одного или двух лет работы в Париже Вардо возвратилась в Москву, где до 1952 года прослужила в разведке. В 1952 году ее арестовали, обвинив в том, что, находясь в Париже, она участвовала в заговоре против советского государства, готовившемся грузинскими эмигрантами, под руководством влиятельной антисоветской мингрельской организации – здесь явно имелся в виду Берия, который был мингрелом. Ее бросили в тюрьму по прямому приказу Сталина, и она оставалась там до его смерти в 1953 году. Ее сразу же освободили по распоряжению Берии, но после его свержения опять арестовали и два года продержали в заключении. Выйдя из тюрьмы, она вернулась к своей прежней профессии медика.

К списку обрушившихся на ее голову бед надо добавить еще одну. В 1939 или 1940 году Моссовет выдал им с мужем ордер на квартиру, ранее принадлежавшую нашему известному театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду, репрессированному по приказу Сталина. Кстати говоря, квартира эта использовалась НКВД в качестве явочной. Во время новой кампании по десталинизации при Горбачеве на Вардо стали всячески давить, требуя, чтобы она освободила квартиру. Выселить ее в законном порядке Моссовету было весьма затруднительно, поскольку у нее имелись документы, подтверждающие, что Вардо сама является жертвой политических репрессий. После того как по телевидению, правда, без указания фамилии Вардо, был показан сюжет о ситуации с квартирой Мейерхольда, это дело начало приобретать огласку. Тогда КГБ, желая избежать громкого скандала, сумел подобрать для нее и ее семьи равноценную жилплощадь.

Пакт Молотова-Риббентропа имел для нас еще одно последствие – присоединение Западной Украины. После оккупации Польши немецкими войсками наша армия заняла Галицию и Восточную Польшу. Галиция всегда была оплотом украинского националистического движения, которому оказывали поддержку такие лидеры как Гитлер и Канарис в Германии, Бенеш в Чехословакии и федеральный канцлер Австрии Энгельберт Дольфус. Столица Галиции Львов сделалась центром, куда стекались беженцы из Польши, спасавшиеся от немецких оккупационных войск. Польская разведка и контрразведка переправили во Львов всех своих наиболее важных заключенных – тех, кого подозревали в двойной игре во время немецко-польской конфронтации 30-х годов. О том, что творилось в Галиции, я узнал лишь в октябре 1939 года, когда Красная Армия заняла Львов. Первый секретарь компартии Украины Хрущев и его нарком внутренних дел Серов выехали туда, чтобы проводить на месте кампанию советизации Западной Украины. Мою жену направили во Львов вместе с Павлом Журавлевым, начальником немецкого направления нашей разведки. Мне было тревожно: ее подразделение занималось немецкими агентами и подпольными организациями украинских националистов, а во Львове атмосфера была разительно непохожа на положение дел в советской части Украины.

Во Львове процветал западный капиталистический образ жизни: оптовая и розничная торговля находилась в руках частных лиц, которых вскоре предстояло ликвидировать в ходе советизации. Огромным влиянием пользовалась украинская униатская церковь, местное население оказывало поддержку организации украинских националистов, возглавляемой людьми Бандеры. По нашим данным, ОУН действовала весьма активно и располагала значительными силами. Кроме того, она обладала богатым опытом подпольной деятельности, которого, увы, не было у серовской «команды». Служба контрразведки украинских националистов сумела довольно быстро выследить некоторые явочные квартиры НКВД во Львове. Метод их слежки был крайне прост: они начинали ее возле здания горотдела НКВД и сопровождали каждого, кто выходил оттуда в штатском и... в сапогах, что выдавало в нем военного: украинские чекисты, скрывая под пальто форму, забывали такой «пустяк» как обувь. Они, видимо, не учли, что на Западной Украине сапоги носили одни военные. Впрочем, откуда им было об этом знать, когда в советской части Украины сапоги носили все, поскольку другой обуви просто нельзя было достать.

О провале явочных квартир доложили Центру, а моя жена перебралась в гостиницу «Центральная», сначала под видом беженки из Варшавы, а затем выдавала себя за журналистку из «Известий». Она широко использовала свой опыт работы с польскими беженцами в Белоруссии в 20-х годах. По-польски она говорила свободно, и вскоре ей удалось установить дружеские отношения с одной семьей польских евреев из Варшавы. Она помогла им выехать в Москву, где их встретили мы, дали денег и отправили в США к родственникам. Мы договорились, что «дружеские отношения» будут продолжены, а это означало: в случае необходимости советская разведслужба сможет на них рассчитывать. Они не знали, что моя жена – оперативный работник, и согласились на дальнейшую связь. Уже позднее, после моего ареста, турист из США, один из родственников этой семьи, приехав в Москву в 1960 году, пытался разыскать мою жену в издательстве «Известия», где, как Эмма в свое время говорила, она работает переводчицей. Они встретились весьма сердечно, но для разведывательных целей этого человека не разрабатывали.

Серов и Хрущев игнорировали предупреждения Журавлева, считавшего, что по отношению к местным украинским лидерам и деятелям культуры следует проявлять максимум терпения. Многие из них были достаточно широко известны в Праге, Вене и Берлине. Так, Серов арестовал Кост-Левицкого, являвшегося одно время главой бывшей независимой Украинской Народной Республики. Хрущев незамедлительно сообщил об этом аресте Сталину, подчеркивая свои заслуги в деле нейтрализации потенциального премьера украинского правительства в изгнании. Кост-Левицкого этапировали из Львова в Москву и заключили в тюрьму. К тому времени ему было уже за восемьдесят, и арест этого старого человека сильно повредил нашему престижу в глазах украинской интеллигенции. Пакт Молотова-Риббентропа положил конец планам украинских националистов по созданию независимой республики Карпатской Украины, планам, активно поддерживаемым в 1938 году Англией и Францией. Эта идея была торпедирована Бенешем, который согласился со Сталиным в том, что Карпатская Украина, включавшая также часть территории, принадлежавшей Чехословакии, будет целиком передана Советскому Союзу. Коновалец, единственный украинский лидер, имевший доступ к Гитлеру и Герингу, был, как известно, ликвидирован в 1938 году (когда-то он служил полковником в австрийской армии и пользовался в кругах немецких «наци» некоторым уважением). Другие националистические лидеры на Украине не имели столь высоких связей с немцами – в основном это были оперативники из абвера или гестапо, и британские или французские власти не придавали этим людям сколь-нибудь серьезного значения и не делали на них ставки, когда разразилась война. Поэтому заявления Хрущева о том, что он якобы сорвал западные планы создания украинского временного правительства в изгнании, арестовав Кост-Левицкого, попросту не соответствовали действительности, и когда мне приказали дать оценку тому, насколько важно задержание Кост-Левицкого в Москве, я в своем докладе Берии, который затем был послан Молотову, подчеркнул, что задержание это ни с какой точки зрения не оправдано. Напротив, следует предоставить Галиции специальный статус, чтобы нейтрализовать широко распространенную антисоветскую пропаганду, и необходимо немедленно освободить Кост-Левицкого, извиниться перед ним и отослать обратно живым и невредимым, дав возможность жить во Львове с максимальным комфортом. Это должно быть сделано, естественно,

при условии, что он, в свою очередь, поддержит нашу идею направить в Киев и Москву влиятельную и представительную делегацию из Западной Украины для переговоров о специальном статусе для Галиции в составе советской республики Украины. Тем самым было бы оказано должное уважение местным традициям. Молотов согласился. Кост-Левицкий был освобожден и выехал обратно во Львов в отдельном спецвагоне.

Это предложение было моей первой открытой конфронтацией с Хрущевым и Серовым.

В соответствии с секретным протоколом между Молотовым и Риббентропом СССР не должен был препятствовать немецким гражданам и лицам немецкой национальности, проживавшим на территориях, входящих в сферу наших интересов, переселяться по их желанию в Германию или на территории, входившие в сферу германских интересов. Мы решили воспользоваться этими условиями.

В Черновцы была направлена группа капитана Адамовича. По-моему, в ней был только что вновь привлеченный к работе после увольнения в 1938 году за связь с невозвращенцем Орловым Вильям Фишер. Позднее он взял себе имя Рудольф Абель. Черновцы находятся возле границы – между Буковиной (Галиция) с одной стороны и польской территорией, в то время оккупированной немцами, – с другой. Группе предстояло наладить контакты с агентами, завербованными нами из числа этнических немцев, поляков и украинцев. Они должны были обосноваться в этих местах как беженцы от коммунистического режима, ищущие защиты на территориях, контролируемых немцами. Капитан Адамович выехал из Москвы в Черновцы, взяв с собой фотографии наших агентов в Польше и Германии, – их он должен был показать четырем агентам, которым надлежало узнать этих людей на предварительно назначенных рандеву в Варшаве, Данциге (Гданьск), Берлине и Кракове. На фотографиях были запечатлены наши сотрудники, действовавшие под прикрытием дипломатических служб, торговых представительств или журналистской деятельности в этих городах. В задачу Фишера (Абеля) входило обучить четырех агентов основам радиосвязи.

Однако после того, как Адамович был принят Серовым, возможно, в Черновцах, и договорился о материально-технической базе, необходимой для обучения агентов, он неожиданно исчез. Не найдя его, Серов изругал Фишера и доложил об исчезновении Адамовича Хрущеву. Фишер же, хотя и был сотрудником группы, не догадывался о бюрократических интригах и полагал, что если он доложил о двухдневном отсутствии Адамовича начальнику местного НКВД, то ему незачем докладывать также и мне в Москву. Можете себе представить мое состояние, когда я был вызван в кабинет к Берии, который приказал доложить о том, как проходит операция Адамовича. Он был в ярости, когда я не смог сообщить ничего нового, кроме информации недельной давности.

Зазвонил телефон. Это был Хрущев. Он начал возмущенно попрекать Берию тем, что к нему на Украину засылают некомпетентных людей и изменников, вмешивающихся в работу украинского НКВД. По его словам, местные кадры в состоянии провести сами всю необходимую работу.

– Этот ваш Адамович – негодяй! – прокричал он в трубку. – Он, по нашим данным, сбежал к немцам.

Линия правительственной связи давала возможность и мне слышать его сердитые слова. Берии явно не хотелось в моем присутствии отвечать в той же грубой манере, и он по возможности мягко сказал:

– Никита Сергеевич, тут у меня майор Судоплатов, заместитель начальника нашей разведки. За операцию Адамовича отвечает лично он. На любые ваши вопросы вы сможете получить ответ у него.

Взяв трубку, я начал объяснять, что Адамович компетентный работник, хорошо знает Польшу. Но Хрущев не стал слушать моих объяснений и оборвал меня. Он был убежден, что Адамович у немцев, и его следует немедленно найти или выкрасть. Далее он заявил, что сломает мою карьеру, если я буду продолжать упорствовать, покрывая таких бандитов и негодяев как Кост-Левицкий и Адамович. В сердцах он швырнул трубку, не дожидаясь моего ответа.

Реакция Берии была сдержанно официальной.

– Через два дня, – отчеканил он, – Адамович должен быть найден – живой или мертвый. Если он жив, его следует тут же доставить в Москву. В случае невыполнения указания члена Политбюро вы будете нести всю ответственность за последствия с учетом ваших прошлых связей с врагами народа в бывшем руководстве разведорганов.

Я вышел из кабинета с тяжелым чувством. Через десять минут мой телефон начал трезвонить не переставая. Контрразведка, погранвойска, начальники райотделов украинского и белорусского НКВД... Все требовали фотографии Адамовича. По личному указанию Берии начался всесоюзный розыск. Прошло два дня, но на след Адамовича напасть так и не удалось. Я понимал, что мне грозят крупные неприятности. В последний момент, однако, я решил позвонить проживавшей в Москве жене Адамовича. По сведениям, которыми я располагал, в ее поведении за последние дни не было замечено ничего подозрительного. Как бы между прочим я осведомился, когда она в последний раз разговаривала со своим мужем. К моему удивлению, она поблагодарила меня за этот звонок и сказала, что ее муж два последних дня находится дома – у него сотрясение мозга и врачи из поликлиники НКВД запретили ему вставать с постели в течение по крайней мере нескольких дней. Я тут же позвонил генералу Новикову, начальнику медслужбы НКВД, и он подтвердил, что все так и есть на самом деле.

Надо ли описывать испытанное мной облегчение? Докладывая Берии как обычно в конце дня, я сообщил, что Адамович находится в Москве.

– Под арестом? – спросил Берия.

– Нет, – ответил я и начал объяснять ситуацию.

Мы были в кабинете одни. Он грубо оборвал меня, употребляя слова, которых я никак не ожидал от члена Политбюро. Разъяренный, он описывал круги по своему огромному кабинету, выкрикивая ругательства в адрес меня и Адамовича, называя нас болванами, безответственными молокососами, компрометирующими НКВД в

глазах партийного руководства.

– Почему вы молчите? – уставился он на меня, неожиданно прервав свою тираду.

Я ответил, что у меня страшная головная боль.

– Тогда немедленно, сейчас же, – бросил Берия, – отправляйтесь домой.

Прежде чем уйти, я заполнил ордер на арест Адамовича и зашел к Меркулову, который должен был его подписать. Однако когда я объяснил ему, в чем дело, он рассмеялся мне в лицо и порвал бумагу на моих глазах. В этот момент головная боль стала совсем невыносимой, и офицер медслужбы отвез меня домой. На следующее утро позвонил секретарь Берии, он был предельно краток и деловит – нарком приказал оставаться дома три дня и лечиться, добавив, что хозяин посылает мне лимоны, полученные из Грузии. Расследование показало: Адамович, напившись в ресторане на вокзале в Черновцах, в туалетной комнате ввязался в драку и получил сильный удар по голове, вызвавший сотрясение мозга. В этом состоянии он сумел сесть на московский поезд, забыв проинформировать Фишера (Абея) о своем отъезде. В ходе драки фотографии, которые ему нужно было показать четырем нашим агентам, оказались потерянными. Позднее их, правда, обнаружили на вокзале сотрудники украинского НКВД, полагавшие, что драку специально затеяли агенты абвера, пытаясь похитить Адамовича. Дело кончилось тем, что Адамовича уволили из НКВД и назначили сперва заместителем министра иностранных дел Узбекистана, а затем и министром. Я видел его еще один раз на театральной премьере в Москве в начале 50-х, но мы не поздоровались друг с другом.

К несчастью, мой конфликт с Серовым и Хрущевым на этом не закончился. Серов был замешан в любовной истории с известной польской оперной певицей Бандровска-Турска. В Москве он объявил о том, что лично завербовал ее. Все были в восторге – ведь певица пользовалась европейской славой и часто перед войной гастролировала в Москве и в других европейских столицах. Эйфория, однако, скоро прошла с согласия Серова она выехала в Румынию, где наотрез отказалась встретиться в Бухаресте с нашим резидентом – советником полпредства. И Хрущев, и Берия получили тогда письмо от сотрудников украинского НКВД, обвинявших Серова в том, что он заводит шашни под видом выполнения своих оперативных обязанностей.

Серова срочно вызвали в Москву. Мне довелось быть в кабинете Берии в тот момент, когда он предложил Серову объяснить свои действия и ответить на обвинения в его адрес. Серов сказал, что на роман с Бандровска-Турска он получил разрешение от самого Хрущева, и это было вызвано оперативными требованиями. Берия разрешил ему позвонить из своего кабинета Хрущеву, но как только тот услышал, откуда Серов звонит, он тут же начал ругаться:

– Ты, сукин сын, – кричал он в трубку, – захотел втянуть меня в свои любовные делишки, чтобы отмазаться? Передай трубку товарищу Берии!

Мне было слышно, как Хрущев обратился к Берии со словами:

– Лаврентий Павлович! Делайте все, что хотите с этим желторотым птенцом,

только что выпорхнувшим из военной академии. У него нет никакого опыта в серьезных делах. Если сочтете возможным, оставляйте его на прежней работе. Нет – наказывайте как положено. Только не впутывайте меня в это дело и в ваши игры с украинскими эмигрантами.

Берия начал ругать Серова почем зря, грозясь уволить из органов с позором, называя мелким бабником, всячески оскорбляя и унижая. Честно говоря, мне было крайне неловко находиться в кабинете во время этой гневной тирады. Затем Берия неожиданно предложил Серову обсудить со мной, как можно выпутаться из этой неприятной истории. Мы пришли к выводу, что Серову не следует предпринимать попыток связаться с Бандровска-Турска – ни по оперативным, ни по каким-либо иным поводам. Ее отъезд в Румынию являлся весьма прискорбным фактом, поскольку выступления певицы во Львове или в Москве могли бы произвести благоприятное впечатление на общественное мнение в Польше и Западной Европе. В конце 1939-го и начале 1940 года важно было продемонстрировать, что ситуация в Галиции нормальная, и обстановка вполне здоровая. В этом плане бегство певицы в Румынию являлось ударом по репутации Хрущева, не перестававшего утверждать, что Москве нечего беспокоиться, поскольку советизация Западной Украины проходит удовлетворительно, о чем свидетельствует, дескать, и та поддержка, которую оказывают этому процессу видные деятели украинской и польской культуры.

Престиж Хрущева пострадал и в результате других инцидентов. Например, в 1939 году из Испании вернулся один из командиров их партизанских формирований, капитан Прокопюк. Опытный оперативник, он вполне подходил для назначения на пост начальника отделения украинского НКВД, в задачу которого входила подготовка сотрудников к ведению партизанских операций на случай войны с Польшей или Германией. Услышав о нашем предложении, Хрущев тут же позвонил Берии с решительными возражениями. Берия вызвал к себе своего зама по кадрам Круглова и меня, так как именно я подписал представление на Прокопюка. Возражения Хрущева вызваны были, как выяснилось, тем, что в 1938 году брат Прокопюка, член коллегии наркомата просвещения Украины, был расстрелян как «польский шпион». Хрущев слышал, как Берия отчитывал Круглова и меня за то, что мы посылаем в Киев человека пусть в профессиональном плане и компетентного, но неприемлемого для местного партийного руководства.

Здесь мне хотелось бы сказать о том, кого Хрущев считал «приемлемым». Это Успенский, которого Хрущев ранее взял с собой на Украину в качестве главы НКВД. В Москве он возглавлял управление НКВД по городу и области и работал непосредственно под началом Хрущева. На Украине Успенский в 1938 году проводил репрессии, в результате которых из членов старого состава ЦК КПУ – более 100 человек – лишь троих не арестовали.

Успенский, как только прибыл в Киев, вызвал к себе сотрудников аппарата и заявил, что не допустит либерализма, мягкотелости и длинных рассуждений, как в синагоге. Кто не хочет работать с ним, может подавать заявление. Кстати, некоторые из друзей жены так и сделали, воспользовавшись этим предложением. В присутствии большой аудитории Успенский подписал их заявления о переводе в

резерв или назначение с понижением в должности – за пределами Украины. Успенский несет ответственность за массовые пытки и репрессии, а что касается Хрущева, то он был одним из немногих членов Политбюро, кто лично участвовал вместе с Успенским в допросах арестованных.

Во время репрессий 1938 года, когда Ежов потерял доверие Сталина, и началась охота за чекистами-«изменниками», Успенский пытался бежать за границу. Он захватил с собой несколько чистых паспортов и скрылся, инсценировав самоубийство, но тело «утопленника» не обнаружили. Хрущев запаниковал и обратился к Сталину и Берии с просьбой объявить розыск Успенского. Поиски велись весьма интенсивно, и вскоре мы поняли, что жена Успенского знает: он не утонул, а где-то скрывается. Она своим поведением не то чтобы прямо выдала его, но нам это стало ясно. В конце концов он сам сдался в Сибири после того, как заметил в Омске группу наружного наблюдения.

С тех пор, как только речь заходила об использовании кого-либо из офицеров украинского НКВД, наше руководство тут же ссылалось на дело Успенского, напоминая слова, сказанные в этой связи Хрущевым:

– Никому из чекистов, кто с ним работал, доверять нельзя.

Между тем во время допроса Успенский показал, что они с Хрущевым были близки, дружили домами, и всячески старался всех убедить, что был всего лишь послушным солдатом партии. Поведение Успенского сыграло роковую роль в судьбе его жены – ее арестовали через три дня после того, как он сдался властям. Приговоренная к расстрелу за помощь мужу в организации побега, она подала прошение о помиловании, и тут, как рассказывал мне Круглов, вмешался Хрущев: он рекомендовал Президиуму Верховного Совета отклонить ее просьбу о помиловании.

Эта история произвела на меня сильное впечатление. Круглов, хорошо знакомый с практикой работы Центрального комитета (до НКВД он работал в аппарате ЦК), подтвердил, что члены Политбюро могли лично вмешиваться в решение судеб людей, особенно членов семей врагов народа. Я впервые узнал, что вмешательство в этих случаях направлено не на спасение жизни невинных людей, а является способом избавления от нежелательных свидетелей. В архивах в списке жен видных деятелей партии, Красной Армии и НКВД, приговоренных к расстрелу, я нашел также имя жены Успенского. Ее смертный приговор, как и приговоры другим женам репрессированных руководителей, сначала утверждался высшими партийными инстанциями.

После своего назначения заместителем начальника разведслужбы в марте 1939 года я напомнил Берии о судьбе Зубова, все еще находившегося в тюрьме за невыполнение приказа о финансировании переворота в Югославии. Этот человек, сказал я Берии, – преданный и опытный офицер разведки. Берия, знавший Зубова на протяжении семнадцати лет, сделал вид, что ничего не слышал, хотя именно Зубов сыграл значительную роль в том, что Берия сумел добраться до вершин власти. В 1922 году Зубов возглавлял отделение разведки, следившее за тайными связями грузинских меньшевиков и их агентуры в Турции. Основываясь на зубовской информации, Берия доложил Дзержинскому и Ленину о готовившемся восстании и

об успешном подавлении его в самом зародыше. Этот доклад обсуждался на пленуме ЦК партии и фактически послужил основанием для назначения Берии на должность начальника ГПУ Закавказья. Зубов оставался в дружеских отношениях и с самим Берией, и с его заместителем Богданом Кобуловым: приезжая в Москву из Грузии, Кобулов неизменно останавливался на квартире Зубова.

Осенью 1939 года, после захвата Польши немцами, к нам в руки попали полковник Станислав Сосновский, бывший руководитель польской спецслужбы в Берлине, и князь Януш Радзивилл, богатый польский аристократ, имевший немалый политический вес. Оба были помещены на Лубянку для активной разработки их в качестве наших агентов.

Ради спасения Зубова я предложил Берии поместить его в одну камеру с полковником Сосновским. Зубов бегло говорил на французском, немецком и грузинском. Берия согласился, и Зубова перевели из Лефортова, где его безжалостно избивали по приказу того самого Кобулова, который когда-то, приезжая из Грузии, останавливался у него дома. Его мучителем был печально знаменитый Родос, пытавшийся выбить признание путем нечеловеческих пыток: Зубову дробили колени. В результате Зубов стал инвалидом, но на самооговор он так и не пошел.

Против перевода Зубова из Лефортова на Лубянку возражал начальник следственной части Сергиенко, хотя я объяснил ему, что мой интерес к Зубову и его судьбе вызван чисто оперативными соображениями и согласован с Берией. В ответ на это Сергиенко, отказавшись переводить Зубова, заявил:

– Я буду лично докладывать об этом случае наркомму. Подонок Зубов отказывается признать свою вину, что не выполнил прямого приказа руководства!

В свою очередь, я доложил Берии, что Сергиенко отказывается выполнять переданное ему распоряжение. Берия тут же взял трубку, вызвал Сергиенко и стал его отчитывать, а под конец сказал, что если через пятнадцать минут тот не выполнит его приказание, ему не сносить головы. Сергиенко пытался что-то возразить, но Берия не стал слушать его объяснений.

Берия часто был весьма груб в обращении с высокопоставленными чиновниками, но с рядовыми сотрудниками, как правило, разговаривал вежливо. Позднее мне пришлось убедиться, что многие руководители того времени позволяли себе грубость лишь по отношению к руководящему составу, а с простыми людьми члены Политбюро вели себя подчеркнуто вежливо.

Зубов, находясь с Сосновским в одной камере, содействовал его вербовке. Он убедил его, что сотрудничество с немецкой или польской спецслужбами не сулит ему никакой перспективы на будущее, поэтому имеет прямой смысл сотрудничать с русской разведкой. В 30-х годах Сосновский, будучи в Берлине польским резидентом, руководил весьма эффективной агентурной сетью. Он выступал под видом польского аристократа, содержал конюшню. Своих агентов, в основном это были привлекательные молодые женщины, он, как правило, внедрял в штаб-квартиру нацистской партии и секретариат министерства иностранных дел. В 1935 году гестапо удалось засветить большую часть его агентуры, а самого Сосновского арестовать за шпионаж. Следователям на Лубянке он показал, что разоблаченных

агентов казнили в тюрьме Плетцензее прямо у него на глазах. Поляки обменяли его на руководителя немецкой общины в Польше, обвиненного в шпионаже в пользу Германии.

В 1937 году военный суд в Варшаве осудил Сосновского за растрату выделенных на агентуру средств, и он отбывал срок в Восточной Польше. Двумя годами позже части Красной Армии освободили заключенных из тюрем. Что же касается Сосновского, то из польской тюрьмы его «переселили» в тюрьму НКВД.

От Сосновского мы получили информацию, что двое из его агентов все еще продолжали действовать. Кроме того, он подал идею использовать связи князя Радзивилла и сделать его посредником между нашим руководством и Германом Герингом, одним из заместителей Гитлера. Сосновский пошел на сотрудничество с нами после того, как мы представили ему имеющиеся у нас данные о его агентурной сети в Берлине, и когда понял, что нам известно все о его прошлом. Это был человек, который слишком много знал, и было бы просто неразумно позволить ему улизнуть и не заставить работать на нас. Контроль над ним помог нам использовать два его важных источника информации, находившихся в Германии, – онигодились нам в 1940 году и в первые два года войны.

После того как Зубов сумел оценить потенциальные возможности Сосновского для нашей разведки и помог завербовать его, я предложил использовать Зубова в качестве сокамерника князя Радзивилла. Берия согласился с моим предложением. Зубова перевели в камеру Радзивилла, и он находился там в течение месяца. К этому времени условия содержания Зубова изменились: ему позволяли обедать и ужинать у меня в кабинете, причем еду мы заказывали в нашем ресторане. Все еще находясь под стражей, он в сопровождении конвоира ходил в поликлинику НКВД на медицинские процедуры. В конце концов его освободили в 1941 году, вскоре после начала войны, и я взял его к себе в аппарат начальником отделения. Он проработал в органах до самого конца войны, но в 1946 году, когда министром госбезопасности стал Абакумов, Зубову пришлось срочно выйти в отставку. В свое время именно Абакумов был причастен к делу Зубова и отдавал приказы жестоко избивать его.

Князем Радзивиллом занимался лично Берия. Он сумел убедить Радзивилла, что тот должен выступить в роли посредника между советским правительством и Герингом для выяснения деликатных вопросов во взаимоотношениях обеих стран. Мы держали в поле зрения Радзивилла начиная с середины 30-х годов и знали, что князь принимал Геринга в своем поместье под Вильнюсом, где тот любил охотиться (позднее эта часть территории отошла к Литве, а в то время принадлежала Польше). Кстати, в своих мемуарах Радзивилл вспоминает о встречах с Берией, который при прощании с ним как-то изрек: «Такие люди как вы, князь, всегда будут нам нужны».

Об освобождении Радзивилла ходатайствовали перед нами представители знатных аристократических родов Великобритании, Италии и Швеции. В 1940 году, после того, как Берия завербовал его в качестве нашего агента влияния, я организовал отъезд Радзивилла в Берлин. Из Берлина мы получали сведения о нем от своей резидентуры: его часто видели на дипломатических приемах в обществе Геринга. В том же году мне было приказано разработать варианты выхода на связь с ним через нашего агента. Мы решили в данном случае связываться с князем по

открытым каналам, поскольку он являлся заметной в обществе фигурой и мог свободно посещать советское посольство, не вызывая подозрений. Его, в частности, могла интересовать судьба фамильной собственности, оказавшейся на оккупированной территории.

В 1940 году Радзивилла дважды принимал наш резидент в Берлине Амаяк Кобулов, докладывавший об этих встречах Центру. Однако Кобулову не давали никаких инструкций по оперативному использованию польского князя в контактах с немцами. Мы не слишком верили в искренность Радзивилла и поэтому решили не обращаться к нему, тем более, что его политические контакты не сулили нам никакой немедленной выгоды. Перед тем как Германия развязала против нас войну, фактически не было таких проблем, где бы можно было его использовать для прощупывания позиции немцев по тому или иному деликатному вопросу: ведь все это время Молотов и наш посол Деканозов поддерживали конфиденциальные отношения с Риббентропом и послом Германии Шуленбургом.

Было известно, что Радзивилл не имеет выхода на информацию военно-стратегического характера. Наше решение сводилось к тому, чтобы проявлять максимум терпения и просто ждать, пока Радзивилл поедет в Швейцарию или Швецию, где он будет вне немецкого контроля, и только там войти с ним в контакт. Насколько мне известно, он так туда и не поехал. После нападения Гитлера на СССР Радзивилл как бы ушел в тень, но, по нашим сведениям, оставался в Германии и приезжал в Польшу, наслаждаясь жизнью, насколько это было возможно. В 1942 году на какое-то время его следы затерялись. Оглядываясь назад, я вижу, что мы явно переоценили и личные связи Радзивилла, и его влияние на Геринга...

Известная актриса Ольга Чехова, бывшая жена племянника знаменитого писателя, была близка к Радзивиллу и к Герингу и через родню в Закавказье связана с Берией. Она поддерживала регулярные контакты с НКВД. Первоначально предполагалось использовать именно ее для связи с Радзивиллом. У нас существовал план убийства Гитлера, в соответствии с которым Радзивилл и Ольга Чехова должны были с помощью своих друзей среди немецкой аристократии обеспечить нашим людям доступ к Гитлеру. Группа агентов, заброшенных в Германию и находившихся в Берлине в подполье, полностью подчинялась боевику Игорю Миклашевскому, прибывшему в Германию в начале 1942 года.

Бывший чемпион по боксу Миклашевский, выступая как советский перебежчик, приобрел в Берлине немалую популярность после своего поединка с чемпионом Германии по боксу Максом Шмелингом в 1942 или 1943 году, из которого он вышел победителем. Миклашевский оставался в Берлине до 1944 года. Дядя Миклашевского бежал из Советского Союза в начале войны и стал одним из активных участников немецкого антибольшевистского комитета за освобождение СССР. Он с гордостью принял своего племянника, оказывая ему всяческую поддержку как политическому противнику советской власти. В 1942 году Миклашевскому удалось на одном из приемов встретиться с Ольгой Чеховой. Он передал в Москву, что можно будет легко убрать Геринга, но Кремль не проявил к этому особого интереса. В 1943 году Сталин отказался от своего первоначального плана покушения на Гитлера, потому что боялся: как только Гитлер будет устранен,

нацистские круги и военные попытаются заключить сепаратный мирный договор с союзниками без участия Советского Союза.

Подобные страхи не были безосновательными. Мы располагали информацией о том, что летом 1942 года представитель Ватикана в Анкаре по инициативе папы Пия XII беседовал с немецким послом Францем фон Паленом, побуждая его использовать свое влияние для подписания сепаратного мира между Великобританией, Соединенными Штатами и Германией. Помимо этого сообщения от нашего резидента в Анкаре, советская резидентура в Риме сообщала о встрече папы с Майроном Тейлором, посланником Рузвельта в Ватикане для обсуждения беседы кардинала Ронкалли (позднее он стал папой Иоанном XXIII) с фон Папеном. Подобное сепаратное соглашение ограничило бы и наше влияние в Европе, исключив Советский Союз из будущего европейского альянса. Никто из кремлевских руководителей не хотел, чтобы подобный договор был заключен. Сталин приказал ликвидировать фон Папена, поскольку тот являлся ключевой фигурой, вокруг которой вертелись замыслы американцев и англичан по созданию альтернативного правительства в случае подписания сепаратного мира. Однако, как я уже упоминал ранее, покушение сорвалось, так как болгарский боевик взорвал гранату раньше времени и лишь легко ранил фон Папена.

У нас также имелись сведения, хотя и не особенно подробные, о прямых контактах американцев с фон Папеном в Стамбуле.

Миклашевский бежал во Францию в 1944 году после ликвидации своего дяди. Во Франции он оставался на протяжении двух лет уже после окончания войны, выслеживая бежавших на Запад власовцев – остатки армии предателя генерал-лейтенанта Власова. В 1947 году Миклашевский вернулся в Советский Союз, был награжден орденом Красного Знамени и возобновил свою боксерскую карьеру, которой оставался верен до выхода на пенсию.

Немало написано о том, какими разведывательными данными, свидетельствовавшими о неизбежном нападении Германии на нашу страну, мы располагали перед началом Великой Отечественной войны. Позиция Сталина, спокойно ожидавшего вторжения вместо того, чтобы вовремя поднять войска по тревоге, часто объявляется одной из причин тех поражений и тяжелейших потерь, которые понесла Красная Армия в 1941 году. Вообще говоря, я согласен, что руководство страны не смогло правильно оценить полученную по разведывательным каналам информацию, но надо сначала разобраться с вопросом, что представляла собою эта информация.

Разведка НКВД сообщала об угрозе войны с ноября 1940 года. К этому времени Журавлев и Зоя Рыбкина завели литературное дело под оперативным названием «Затя», где собирались наиболее важные сообщения о немецкой военной угрозе. В этой папке находились весьма тревожные документы, беспокоившие советское руководство, поскольку они ставили под сомнение искренность предложений по разделу мира между Германией, Советским Союзом, Италией и Японией, сделанных Гитлером Молотову в ноябре 1940 года в Берлине. По этим материалам нам было легче отслеживать развитие событий и докладывать советскому руководству об основных тенденциях немецкой политики. Материалы из литературного дела «Затя»

нередко докладывались Сталину и Молотову, а они пользовались нашей информацией как для сотрудничества с Гитлером, так и для противодействия ему.

Хотя полученные разведданные разоблачали намерения Гитлера напасть на Советский Союз, многие сообщения противоречили друг другу. В них отсутствовали оценки немецкого военного потенциала: танковых соединений и авиации, расположенных на наших границах и способных прорвать линию обороны частей Красной Армии. Никто в службе госбезопасности серьезно не изучал реальное соотношение сил на советско-германской границе. Вот почему сила гитлеровского удара во многом была неожиданной для наших военачальников, включая маршала Жукова, в то время начальника Генштаба. В своих мемуарах он признается, что не представлял себе противника, способного на такого рода крупномасштабные наступательные операции, с танковыми соединениями, действующими одновременно в нескольких направлениях.

В разведданных была упущена качественная оценка немецкой тактики «блицкрига». По немецким военно-стратегическим играм мы знали, что длительная война потребует дополнительных экономических ресурсов, и полагали, что если война все же начнется, то немцы прежде всего попытаются захватить Украину и богатые сырьевыми ресурсами районы для пополнения продовольственных запасов. Это была большая ошибка: военная разведка и НКВД не смогли правильно информировать Генштаб, что цель немецкой армии в Польше и Франции заключалась не в захвате земель, а в том, чтобы сломить и уничтожить боевую мощь противника.

Как только Сталин узнал о том, что немецким генштабом проводятся учения по оперативно-стратегическому и материально-техническому снабжению на случай затяжной войны, он немедленно отдал приказ ознакомить немецкого военного атташе в Москве с индустриально-военной мощью Сибири. В апреле 1941 года ему разрешили поездку по новым военным заводам, выпускавшим танки новейших конструкций и самолеты. Через свою резидентуру в Берлине мы распространяли слухи в министерствах авиации и экономики, что война с Советским Союзом обернется трагедией дня гитлеровского руководства, особенно если война окажется длительной и будет вестись на два фронта.

Десятого января 1941 года Молотов и посол Германии в Москве Фридрих Вернер фон дер Шуленбург подписали секретный протокол об урегулировании территориальных вопросов в Литве. Германия отказывалась от своих интересов в некоторых областях Литвы в обмен на семь с половиной миллионов американских долларов золотом. В то время я не знал о существовании этого протокола. Меня лишь кратко уведомили, что нам удалось достичь соглашения с немцами по территориальным вопросам в Прибалтике и об экономическом сотрудничестве на 1941 год.

Сведения о дате начала войны Германии с Советским Союзом, поступавшие к нам, были самыми противоречивыми. Из Великобритании и США мы получали сообщения от надежных источников, что вопрос о нападении немцев на СССР зависит от тайной договоренности с британским правительством, поскольку вести войну на два фронта было бы чересчур опасным делом.

От нашего полпреда в Вашингтоне Уманского и резидента в Нью-Йорке Овакимяна к нам поступили сообщения, что сотрудник британской разведки Монтгомери Хайд, работавший на Уильяма Стивенсона из Британского координационного центра безопасности в Эмпайр-Стейт билдинг, сумел подбросить «утку» в немецкое посольство в Вашингтоне. Дезинформация была отменной: если Гитлер вздумает напасть на Англию, то русские начнут войну против Гитлера.

Анализируя поступавшую в Союз информацию из самых надежных источников военной разведки и НКВД, ясно видишь, что около половины сообщений – до мая и даже июня 1941 года – подтверждали: да, война неизбежна. Но материалы также показывали, что столкновение с нами зависело от того, урегулирует ли Германия свои отношения с Англией. Так, Филби сообщал, что британский кабинет министров разрабатывает планы нагнетания напряженности и военных конфликтов между Германией и СССР с тем, чтобы спровоцировать Германию. В литературном деле «Черная Берта» есть ссылка на информацию, полученную от Филби или Кэрнкросса, о том, что британские агенты заняты распространением слухов в Соединенных Штатах о неизбежности войны между Германией и Советским Союзом: ее якобы должны были начать мы, причем превентивный удар собирались нанести в Южной Польше. Папка с этими материалами день ото дня становилась все более пухлой. К нам поступали новые данные о том, как британская сторона нагнетает страх среди немецких высших руководителей в связи с подготовкой Советов к войне. Поступали к нам и данные об усилившихся контактах зондажного характера британских представителей с германскими в поисках мирного разрешения европейского военного конфликта.

Между тем, по словам Берии, Сталин и Молотов решили по крайней мере оттянуть военный конфликт и постараться улучшить положение, применив тот план, от которого отказались в 1938 году. План этот предусматривал свержение югославского правительства, подписавшего договор о сотрудничестве с Гитлером. И вот в марте 1941 года военная разведка и НКВД через свои резидентуры активно поддержали заговор против прогерманского правительства в Белграде. Тем самым Молотов и Сталин надеялись укрепить стратегические позиции СССР на Балканах. Новое антигерманское правительство, по их мнению, могло бы затянуть итальянскую и германскую операции в Греции.

Генерал-майор Мильштейн, заместитель начальника военной разведки, был послан в Белград, чтобы оказать помощь в военном свержении прогерманского правительства. С нашей стороны в этой акции участвовал Алахвердов. К этому моменту, с помощью МИДа, в Москве нам удалось завербовать югославского посла в Советском Союзе Гавриловича. Его совместно разрабатывали Федотов, начальник контрразведки, и я. У нас, однако, сложилось впечатление, что он вел двойную игру, так как каждую неделю связывался с представителями Великобритании в Москве.

Через неделю после переворота мы подписали пакт о взаимопомощи с новым правительством в Белграде. Реакция Гитлера на этот переворот была быстрой и весьма эффективной. Шестого апреля, через день после подписания пакта, Гитлер вторгся в Югославию – и уже через две недели югославская армия оказалась разбитой. Более того, Болгария, через которую прошли немецкие войска, хотя была в

зоне наших интересов, поддержала немцев.

Гитлер ясно показал, что не считает себя связанным официальными и конфиденциальными соглашениями – ведь секретные протоколы Пакта Молотова-Риббентропа предусматривали предварительные консультации перед тем, как принимать те или иные военные шаги. И хотя обе стороны вели активные консультации по разделу сфер влияния с ноября 1940-го по март 1941 года, в их отношениях сохранялась атмосфера взаимного недоверия. Гитлер был удивлен событиями в Белграде, а мы, со своей стороны, не менее удивлены его быстрым вторжением в Югославию.

Мне приходится признать, что мы не ожидали такого тотального и столь быстрого поражения Югославии. Во время всех этих событий 18 апреля 1941 года я подписал специальную директиву, в которой всем нашим резидентурам в Европе предписывалось всемерно активизировать работу агентурной сети и линий связи, приведя их в соответствие с условиями военного времени.

Аналогичную директиву по своей линии направила и военная разведка. Мы также планировали послать в Швейцарию группу опытных оперативников, включая болгарина Афанасьева. Им надлежало быть связными надежных источников с использованием своего прикрытия в нейтральной Швейцарии. С этой страной не существовало прямой связи, и наши агенты должны были ехать поездом через Германию, с пересадкой в Берлине. В связи с этим было решено усилить наши резидентуры в Германии и Польше. Некоторых оперативников мы направили в Берлин, перебросив их из Италии и Франции. К этому времени Бельгия была уже оккупирована. Мы не всегда успевали за столь стремительным развитием событий: нашим немецким агентам мы не сумели оперативно доставить радиооборудование, батареи, запасные части, и, хуже того, эти люди не были достаточно подготовлены ни с точки зрения основ разведработы, ни с точки зрения владения искусством радиосвязи.

Постепенно мы начали уделять больше внимания политическим беженцам, прибывшим в Москву из стран, оккупированных немцами. До своего бегства в Великобританию Бенеш приказал сформировать чешский легион, который был направлен в Польшу под командованием молодого подполковника Свободы.

После предварительных контактов с нашей резидентурой в Варшаве Свобода перешел со своей частью в Западную Украину. Фактически после разоружения его легиона, получив статус неофициального посланника, он жил на явочной квартире и на моей даче в пригороде Москвы. С ним регулярную связь поддерживал Маклярский. Мы держали Свободу в резерве. В мае и июне, перед самым началом войны, мы начали обсуждать с ним план формирования чешских частей в Советском Союзе, чтобы затем выбросить их в немецкий тыл для ведения партизанских операций в Чехословакии. Я очень хорошо помню этого человека – неизменно вежливого и неизменно выдержанного, державшегося с большим достоинством.

Между тем Сталин и Молотов распорядились о передислокации крупных армейских соединений из Сибири к границам с Германией. Они прибывали на защиту западных границ в течение апреля, мая и начала июня. В мае, после приезда

из Китая в Москву Эйтингона и Каридад Меркадер, я подписал директиву о подготовке русских и других национальных эмигрантских групп в Европе для участия в разведывательных операциях в условиях войны.

Сегодня нам известно, что тайные консультации Гитлера, Риббентропа и Молотова о возможном соглашении стратегического характера между Германией, Японией и Советским Союзом создали у Сталина и Молотова иллюзорное представление, будто с Гитлером можно договориться. До самого последнего момента они верили, что их авторитет и военная мощь, не раз демонстрировавшаяся немецким экспертам, отсрочат войну по крайней мере на год, пока Гитлер пытается мирно уладить свои споры с Великобританией. Сталина и Молотова раздражали иные точки зрения, шедшие вразрез с их стратегическими планами по предотвращению военного конфликта. Это объясняет грубые пометки Сталина на докладе Меркулова от 16 июня 1941 года, в котором говорилось о явных признаках надвигающейся войны. Тот факт, что Сталин назначил себя главой правительства в мае 1941 года, ясно показывал: он возглавит переговоры с Гитлером и уверен, что сможет убедить того не начинать войну. Известное заявление ТАСС от 14 июня подтверждало: он готов на переговоры и на этот раз будет вести их сам. Хотя в Германии всюду шли крупномасштабные приготовления к войне, причем уже давно, Сталин и Молотов считали, что Гитлер не принял окончательного решения напасть на нашу страну, и что внутри немецкого военного командования существуют серьезные разногласия по этому вопросу. Любопытен тот факт, что заявление ТАСС вышло в тот самый день, когда Гитлер определил окончательную дату вторжения. Следует также упомянуть еще о нескольких малоизвестных моментах.

В мае 1941 года немецкий «Юнкере-52» вторгся в советское воздушное пространство и, незамеченный, благополучно приземлился на центральном аэродроме в Москве возле стадиона «Динамо». Это вызвало переполох в Кремле и привело к волне репрессий в среде военного командования: началось с увольнений, затем последовали аресты и расстрел высшего командования ВВС. Это феерическое приземление в центре Москвы показало Гитлеру, насколько слаба боеготовность советских вооруженных сил.

Второй факт. Военное руководство и окружение Сталина питали иллюзию, будто мощь Красной Армии равна мощи сил вермахта, сосредоточенных у наших западных границ. Откуда такой просчет? Во-первых, всеобщая воинская повинность была введена только в 1939 году, и, хотя Красная Армия утроила свой численный состав, в ней не хватало людей с высшим военным образованием, поскольку более тридцати тысяч кадровых командиров подверглись в 30-е годы репрессиям. Хотя количество военных училищ и школ, открытых в 1939 году, впечатляло, их не хватало. Правда, половину репрессированных высших армейских чинов возвратили из тюрем и лагерей ГУЛАГа в армию, но их явно было недостаточно, чтобы справиться с обучением всей массы новобранцев. Жуков и Сталин переоценили возможности наших танковых соединений, сухопутных и военно-воздушных сил. Они не совсем ясно представляли себе, что такое современная война в плане координации действий всех родов войск – пехоты, авиации, танков и служб связи. Им казалось, что главное – это количество дивизий: они способны будут сдержать любое наступление и воспрепятствовать немецкому продвижению на советскую

территорию. Вопреки точке зрения руководства командующий ВМС страны Кузнецов трезво оценивал реальные возможности наших военно-морских сил и превосходство немцев на морском театре военных действий. Основываясь на своем опыте в Испании (он был там военно-морским атташе), весной 1941 года Кузнецов разработал и ввел предварительную систему боеготовности: готовность № 3 – в боеготовности находятся дежурные огневые средства; готовность № 2 – принимаются все меры по подготовке отражения возможного нападения противника; готовность № 1 – флот готов немедленно начать военные действия. Вот почему наши ВМС, подвергшиеся неожиданному нападению на Балтике и на Черном море, смогли почти без потерь отразить первый удар врага.

НКВД и военная разведка должны нести ответственность за недооценку мощного потенциала немецких вооруженных сил. Эти ведомства были слишком заняты получением политической информации и недостаточно занимались изучением тактики вермахта.

Ясно помню последние предвоенные дни. Только что вернулся из Китая Эйтингон. Вместе с матерью Рамона Меркадера нас троих награждал в Кремле Калинин за акцию против Троцкого в Мексике. Вся атмосфера, казалось, излучала энтузиазм и уверенность. Но 16 июня из Кремля вернулись Фитин и Меркулов, народный комиссар госбезопасности, – оба чем-то встревоженные. Фитин тут же вызвал меня и Мельникова, своего заместителя по Дальнему Востоку, и сказал, что Хозяин (так между собой мы называли Сталина) нашел его доклад противоречивым и приказал подготовить более убедительное заключение по всей разведывательной информации, касавшейся вопроса о возможном начале войны с Германией.

Вопреки тому, что пишут генерал Ивашутин и другие авторы мемуаров, я не помню гневных пометок Берии на докладных записках агента «Ястреб»: «Это британская дезинформация. Найти, кто является автором этой провокации, и наказать». Я вообще не помню никакого агента с кодовой кличкой «Ястреб». Кроме того, в разведке и службе безопасности не было традиции писать на докладных пространственные замечания.

Столь же невероятна и приписываемая Берии резолюция отозвать и наказать нашего посла в Берлине Деканозова, бывшего начальника разведки НКВД, за то, что он бомбардировал его «дезинформацией». Те же люди заявляют, что Берия писал Сталину 21 июня, предлагая отозвать Деканозова, но это вообще было вне его компетенции, поскольку Деканозов перешел на работу в наркомат иностранных дел и докладывал непосредственно Молотову.

Как было сказано выше, сообщения разведки о возможном начале немецкого вторжения были противоречивы. Так, Зорге сообщал из Токио, что вторжение планируется на 1 июня. В то же время наша резидентура из Берлина сообщала, что вторжение планируется на 15 июня. До этого, 11 марта, военная разведка докладывала, что немецкое вторжение намечено на весну. Картина еще больше запутывалась из-за намерения руководства начать переговоры с немцами.

На коктейле в немецком посольстве в Москве за несколько дней до начала войны Зоя Рыбкина заметила, что со стен сняты некоторые украшения и картины.

Пытаясь определить новые места для установки подслушивающих устройств, она обнаружила, что посольские работники паковали чемоданы для отъезда. Это нас крайне обеспокоило.

В отеле «Метрополь» Яковлев и Райхман, координаторы контрразведывательных операций против немцев в Москве, перехватили двух немецких курьеров, перевозивших дипломатическую почту. Одного заперли в кабине лифта, в то время как второго закрыли в ванной комнате номера «люкс», где они жили. Когда курьер, находившийся в лифте, понял, что заблокирован, он нажал на кнопку вызова лифтера. «Вызволили» его, естественно, работники контрразведки, которые за пять минут, имевшихся в их распоряжении, открыли его дипломат в «люксе» и сфотографировали содержимое. Среди документов находилось письмо посла Шуленберга Риббентропу, в котором он писал, что может быть посредником в урегулировании советско-германских противоречий. В то же время Шуленбург докладывал, что инструкции по сокращению персонала посольства выполнены, и дипломаты уезжают в Германию по намеченному графику. Хотя признаки приближающейся войны были очевидны, этот документ, позиция Шуленберга и его высокая репутация подтверждали, что дверь к мирному урегулированию все еще не закрыта.

В тот день, когда Фитин вернулся из Кремля, Берия, вызвав меня к себе, отдал приказ об организации особой группы из числа сотрудников разведки в его непосредственном подчинении. Она должна была осуществлять разведывательно-диверсионные акции в случае войны. В данный момент нашим первым заданием было создание ударной группы из числа опытных диверсантов, способных противостоять любой попытке использовать провокационные инциденты на границе как предлог для начала войны. Берия подчеркнул, что наша задача – не дать немецким провокаторам возможности провести акции, подобные той, что была организована против Польши в 1939 году, когда они захватили радиостанцию в Гляйвице на территории Германии. Немецкие провокаторы вышли в эфир с антигерманскими заявлениями, а затем расстреляли своих же уголовников, переодетых в польскую форму, так что со стороны все выглядело, будто на радиостанцию действительно напало одно из подразделений польской армии.

Я немедленно предложил, чтобы Эйтингон был назначен моим заместителем. Берия согласился, и в канун войны мы стали искать людей, способных составить костяк специальной группы, которую можно было бы перебрасывать по воздуху в районы конфликта на наших европейских и дальневосточных границах. Военный опыт Эйтингона был значительно больше моего, и поэтому в этом вопросе я в значительной степени полагался на его оценки – именно он выступал связующим звеном между нашей группой и военным командованием. Вместе с ним мы составляли планы уничтожения складов с горючим, снабжавших немецкие моторизованные танковые части, которые уже начали сосредотачиваться у наших границ.

20 июня 1941 года Эйтингон сказал мне, что на него произвел неприятное впечатление разговор с генералом Павловым, командующим Белорусским военным округом. Поскольку они с Эйтингоном знали друг друга по Испании, он попросил

дружеского совета у Павлова, на какие пограничные районы, по его мнению, следовало бы обратить особое внимание, где возможны провокации со стороны немцев. В ответ Павлов заявил нечто, по мнению Эйттингона, невразумительное, он, казалось, совсем ничего не понимал в вопросах координации действий различных служб в современной войне. Павлов считал, что никаких особых проблем не возникнет даже в случае, если врагу удастся в самом начале перехватить инициативу на границе, поскольку у него достаточно сил в резерве, чтобы противостоять любому крупному прорыву. Одним словом, Павлов не видел ни малейшей нужды в подрывных операциях для дезорганизации тыла войск противника.

20 июня я оставался у себя в кабинете всю ночь, несмотря на то, что мы с женой условились поехать вечером на дачу. За год до этого она решила уйти с оперативной работы в Центре и стала преподавать в Высшей школе НКВД как инструктор по оперативной работе с агентурой. Из школы она ушла в субботу 21 июня примерно в три часа дня. Фитин в этот вечер встречался с Гавриловичем, югославским послом, на своей даче. Так что в эту роковую ночь я был единственным из начальства, кто находился на работе. По нашим правилам мы могли уйти с работы только после того, как позвонит секретарь наркома и передаст разрешение шефа идти домой. Начальники отделов обычно уходили в восемь, отправляясь домой или на явочные квартиры для встреч с агентами, а затем возвращались к себе на работу в десять или одиннадцать вечера, чтобы обобщить полученные от агентуры сообщения, которые тут же запирались в сейфы. По субботам, однако, никто, как правило, после восьми на работу не возвращался.

На этот раз я не получал разрешения уйти с работы ни от секретаря Берии, ни от Меркулова и остался у себя в кабинете, только позвонил домой и предупредил, что буду поздно. Жена согласилась ждать меня дома и спокойно уснула. Ожидая звонка от начальства, я стал просматривать документы, но после шести ни почты, ни новых сообщений не поступало. Был только один звонок – от командующего пограничными войсками Масленникова. Он был явно разочарован, когда я сказал, что Особая группа будет готова к действию не раньше чем через десять дней. Я знал, что ни Берии, ни Меркулова нет на месте, но секретариат ожидает их в любую минуту: они были вызваны к Хозяину. Я оставался в кабинете, просматривая бумаги. Меня одолевали тревожные мысли, но мне и в голову не могло прийти, какая беда вскоре обрушится на всех нас. Конечно, я чувствовал угрозу военной провокации или конфликта, но не в состоянии был представить его масштабы. Я считал, что невзирая ни на какие трудности мы способны контролировать события.

В три часа ночи зазвонил телефон – Меркулов потребовал, чтобы я немедленно явился к нему в кабинет. Там я застал начальников всех ведущих управлений и отделов. Меркулов официально объявил нам, что началась война: немецкие войска перешли нашу границу. Он тут же приказал, чтобы весь аппарат был вызван на работу по сигналу тревоги. К девяти утра, заявил он, каждый начальник направления должен предложить конкретные мероприятия в соответствии с планом действий в условиях начавшейся войны.

Около девяти прибыл Фитин. В конференц-зале разведуправления мы провели официальное собрание сотрудников, где объявили о начале войны.

Паники не было, но в ходе собрания замечания сотрудников сделались немногословными, и наши заправские остряки, особенно Эйтингон, воздерживались от своих обычных шуток.

Глава 6

Разведка в военное лихолетье

Существенный вклад в победу над фашизмом внесла и советская разведка, но она также разделяет с военно-политическим руководством страны и ответственность за просчеты и ошибки, допущенные в годы войны. Вернусь к событиям накануне войны.

Какими агентурно-оперативными возможностями располагали советские спецслужбы в этот период? Бытует представление, что агентурно-оперативные группы сети Разведывательного управления Генерального штаба (так тогда называлось Главное разведывательное управление – ГРУ) и Иностранного отдела (ИНО) НКВД владели надежной агентурой, имевшей доступ в высшие эшелоны военного командования вермахта и политического руководства Германии, и что советское руководство проигнорировало поступающие из этих источников материалы о подготовке и непосредственных планах развязывания Гитлером войны против Советского Союза. Как же обстояло дело в действительности?

Разведуправление Генштаба и ИНО НКВД располагали важными источниками информации с выходом на руководящие круги немецкого военного командования и политического руководства, но не имели доступа к документам. К тому же информация, получаемая из кругов, близких к Гитлеру, отражала колебания в германском руководстве по вопросу принятия окончательного решения о нападении на Советский Союз.

В начале и середине 30-х годов Берзину, Урицкому, Артузову, Боровичу (по линии Разведупра Красной Армии), Слуцкому, Шпигельгласу, Серебрянскому, Эйтингону (по линии ОГПУ-НКВД) удалось создать в Западной Европе и на Дальнем Востоке (Китай-Япония) мощный агентурно-диверсионный аппарат, располагавший более чем 300 источниками информации. Особую роль в создании этого аппарата сыграли так называемые специальные агенты-нелегалы: Арнольд Дейч (Ланг), австриец, привлечший к сотрудничеству известную пятерку Кима Филби и других в Англии; Теодор Мали, венгр, бывший католический священник, работал в Англии и Франции; Богуславский, поляк, бывший сотрудник разведки генштаба Польши; Шандор Радо, Леопольд Треппер, Рихард Зорге, Эрнст Волльебер. В 1939 году была установлена связь с ценным агентом под псевдонимом «Друг», который был привлечен к сотрудничеству еще десять лет назад, являясь заместителем шефа штурмовиков Рема. Он считался влиятельным лицом в окружении стремившегося к власти Гитлера. После расстрела Рема «Друг» содержался германскими властями в заключении. Освободившись в 1939 году, он получил назначение в Шанхай генеральным консулом Германии. Там он регулярно встречался с Зорге, дезавуируя некоторые материалы, переданные последним. Непосредственно с «Другом» работал заместитель начальника внешней разведки НКВД по Дальнему Востоку Мельников.

Судьба этих людей сложилась по-разному. Дейч погиб в 1942 году на торпедированном немецкой подлодкой советском транспорте, шедшем в Англию.

Мали и Богуславского расстреляли по указанию Ежова в годы террора. Радо и Треппер, попортив нервы немцам «Красной капеллой», оказались в лагерях НКВД-МГБ. Зорге повесили японцы. Волльвебер возглавил разведку, потом МГБ ГДР, но стал жертвой интриг Ульбрихта.

Массовые репрессии в 1937–1938 годах нанесли серьезнейший удар нашим разведслужбам, однако разведывательная деятельность продолжалась. Хотя мы и потеряли временно связь с рядом ценных агентов, агентурным сетям в Скандинавии, Германии и в странах Бенилюкса повезло. Источники информации в Германии (группы Шульце – Бойзена – штаб ВВС, Харнака – министерство экономики, Кукхоффа и Штебе – в МИДе, Лемана – гестапо) были привлечены к сотрудничеству нелегалами супругами Зарубиными, резидентом Белкиным, агентом Гиршфельдом, избежавшим репрессий. Связь с ними поддерживалась регулярно. Помимо этих источников, в 1940 году к ним добавились сотрудничавшие с нами на основе доверительных отношений и вербовочных обязательств знаменитая актриса Ольга Чехова и князь Януш Радзивилл, имевшие прямой выход на Геринга. Резиденту НКВД Гудимовичу вместе с женой Морджинской удалось в Варшаве создать мощную группу, осуществлявшую тщательное наблюдение за немецкими перевозками войск и техники в Польшу в 1940–1941 годах. Серьезные агентурные позиции мы имели также в Италии. Резиденту Рогатневу удалось привлечь к сотрудничеству племянника графа Чиано – министра иностранных дел в правительстве Муссолини.

Еще в 1937 году нашей разведкой под руководством заместителя начальника ИНО НКВД Шпигельгласа были добыты важные документальные сведения об оперативно-стратегических играх, проведенных командованием рейхсвера (позже вермахта). Этим документам суждено было сыграть значительную роль в развитии событий и изменении действий нашего руководства перед германо-советской войной. После оперативно-стратегических игр, проводившихся фон Сектом, а затем Бломбергом, появилось «завещание Секта», в котором говорилось, что Германия не сможет выиграть войну с Россией, если боевые действия затянутся на срок более двух месяцев, и если в течение первого месяца войны не удастся захватить Ленинград, Киев, Москву и разгромить основные силы Красной Армии, оккупировав одновременно главные центры военной промышленности и добычи сырья в европейской части СССР.

Думаю, что итоги упомянутых оперативно-стратегических игр явились также одной из причин, побудивших Гитлера выступить в 1939 году с инициативой заключения пакта о ненападении. Знаменательно, однако, что зондажные подходы к советскому руководству по осуществлению этой идеи немцы предпочли осуществить не по линии разведки, а по дипломатическим каналам через своего посла в Турции фон Папена еще в апреле 1939 года.

В круг моих обязанностей входило курирование немецкого направления нашей разведки, непосредственно возглавляемого в 1938–1942 годах майором госбезопасности (позднее генерал-майор) Журавлевым. Руководство всегда придавало немецкому направлению особо важное значение. В 1940–1941 годах наша резидентура в Берлине хотя и возглавлялась неопытным работником Амаяком

Кобуловым, тем не менее, действовала активно.

Разведывательные материалы из Берлина, Рима, Токио, что подтверждают и обнародованные ныне архивные документы, регулярно докладывались правительству. Однако руководство разведки не было в курсе, что после визита Молотова в ноябре 1940 года в Берлин начались секретные переговоры с Германией. Таким образом, очевидная неизбежность военного столкновения вместе с тем совмещалась с вполне серьезным рассмотрением предложений Гитлера о разграничении сфер геополитических интересов Германии, Японии, Италии и СССР.

Лишь теперь мне очевидно, что зондажные беседы Молотова и Шуленбурга, посла Германии в СССР, в феврале-марте 1941 года отражали не только попытку Гитлера ввести Сталина в заблуждение и заставить его врасплох внезапной агрессией, но и колебания в немецких верхах по вопросу о войне с Советским Союзом до победы над Англией. Получаемая нами информация и дезинформация от латыша, сотрудничавшего с гестапо, отражала эти колебания. Именно поэтому даже надежные источники, сообщая о решении Гитлера напасть на СССР (донесения Харнака, Шульце-Бойзена, жены видного германского дипломата (кодовое имя «Юна»), близкого к Риббентропу) в сентябре 1940—мае 1941 года, не ручались за достоверность полученных данных и со ссылками на Геринга увязывали в той или иной мере готовящуюся агрессию Гитлера против СССР с возможной договоренностью о перемирии с англичанами.

К сожалению, правильный вывод об очевидной подготовке к войне на основе поступавшей информации мы связывали также с результатами якобы предстоящих германо-советских переговоров на высшем уровне по территориальным проблемам, а согласно сообщениям из Англии (Филби, Кэрнкросс и другие) – и с возможным урегулированием вопроса о прекращении англо-германской войны. Мне трудно судить, насколько в действительности Гитлер всерьез думал договориться со Сталиным. Помнится, что поступали также данные о том, что Риббентроп последовательно, вплоть до окончательного решения Гитлера, выступал против войны с Россией, во всяком случае до тех пор, пока не будет урегулировано англо-германское военное противостояние.

Хотя Сталин с раздражением относился к разведывательным материалам, вместе с тем он стремился использовать их для того, чтобы предотвратить войну путем секретных дипломатических переговоров по территориальным вопросам, а также – это поручалось непосредственно нам – для доведения до германских военных кругов информации о неизбежности для Германии длительной войны с Россией. Акцент делался на то, что мы создали на Урале военно-промышленную базу, неуязвимую для немецкого нападения.

Окончательное решение о нападении Гитлер принял 14 июня 1941 года, на следующий день после того, как немцам стало известно заявление ТАСС о несостоятельности слухов о германо-советской войне. Интересно, что заявление ТАСС сначала было распространено в Германии и лишь на второй день опубликовано в «Правде».

К сожалению, наша разведка, как военная, так и политическая, перехватив

данные о сроках нападения и правильно определив неизбежность близкой войны, не спрогнозировала ставку гитлеровского командования на тактику блицкрига. Это была роковая ошибка, ибо ставка на блицкриг указывала на то, что немцы планировали свое нападение независимо от завершения войны с Англией. Крупным недостатком нашей разведывательной работы явилась слабая постановка анализа информации, поступавшей агентурным путем. Убедительным доказательством такого вывода может служить то, что только в ходе войны и в Разведупре, и в НКВД были созданы в системе разведуправлений отделы по постоянной оценке и обработке разведывательной информации, поступавшей из зарубежных источников.

В первый же день войны мне было поручено возглавить всю разведывательно-диверсионную работу в тылу германской армии по линии советских органов госбезопасности. Для этого в НКВД было сформировано специальное подразделение – Особая группа при наркомате внутренних дел. Приказом по наркомату мое назначение начальником группы было оформлено 5 июля 1941 года. Моими заместителями были Эйтингон, Мельников, Какучая. Начальниками ведущих направлений по борьбе с немецкими вооруженными силами, вторгшимися в Прибалтику, Белоруссию и на Украину, стали Серебрянский, Маклярский, Дроздов, Гудимович, Орлов, Киселев, Масся, Лебедев, Тимашков, Мордвинов. Начальники всех служб и подразделений НКВД приказом по наркомату были обязаны оказывать Особой группе содействие людьми, техникой, вооружением для развертывания разведывательно-диверсионной работы в ближних и дальних тылах немецких войск.

Главными задачами Особой группы были: ведение развед операций против Германии и ее сателлитов, организация партизанской войны, создание агентурной сети на территориях, находившихся под немецкой оккупацией, руководство специальными радиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации противника.

Мы сразу же создали войсковое соединение Особой группы – отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН НКВД СССР), которой командовали в разное время Гриднев и Орлов. По решению ЦК партии и Коминтерна всем политическим эмигрантам, находившимся в Советском Союзе, было предложено вступить в это соединение Особой группы НКВД. Бригада формировалась в первые дни войны на стадионе «Динамо». Под своим началом мы имели более двадцати пяти тысяч солдат и командиров, из них две тысячи иностранцев – немцев, австрийцев, испанцев, американцев, китайцев, вьетнамцев, поляков, чехов, болгар и румын. В нашем распоряжении находились лучшие советские спортсмены, в том числе чемпионы по боксу и легкой атлетике – они стали основой диверсионных формирований, посылавшихся на фронт и забрасывавшихся в тыл врага.

В октябре 1941 года Особая группа в связи с расширенным объемом работ была реорганизована в самостоятельный 2-й отдел НКВД, по-прежнему в непосредственном подчинении Берии. Я продолжал одновременно оставаться заместителем начальника закордонной разведки НКВД.

Война резко изменила отношение советского руководства к разведывательной

работе и поступавшей информации. В 1942 году была проведена срочная реорганизация разведорганов. В Генштабе создали два разведуправления: одно (во главе с Кузнецовым) – для непосредственного обслуживания нужд фронтов и Ставки, и другое (Ильичев) – для координации закордонной разведки в странах, в том числе и США, не ставших немецкими оккупационными зонами.

1-е (разведывательное) управление НКВД тоже разделилось на 4-е (бывшая Особая группа, а затем 2-й отдел во главе со мной) – для разведывательно-диверсионной работы против немцев и Японии, как на нашей территории, так и в оккупированных странах Европы и Ближнего Востока, и 1-е (Фитин), сфера действий которого распространялась на США, Англию, Латинскую Америку, Индию, Австралию. Военно-Морской Флот свое разведуправление (Воронцов) оставил без структурных изменений.

Самостоятельный отдел (Селивановский) по заброске агентуры и диверсионных групп в тыл немецких вооруженных сил был создан в 1943 году в военной контрразведке СМЕРШ. Разведывательный отдел действовал также в Центральном штабе партизанского движения. Однако он выполнял в основном лишь координационные функции, не ведя агентурной разведки в тылу германских войск без взаимодействия с военной разведкой и контрразведкой. Некоторую самостоятельность проявили лишь активисты партии и комсомола, которые большей частью вели пропагандистскую работу в тылу противника. И все же они полагались, как правило, на конспиративное обеспечение своей деятельности по линии нашей военной разведки и НКВД.

Добытая важная информация докладывалась Сталину, а непосредственную координацию разведывательной работы осуществляли вначале Молотов, затем Голиков, а в конце войны – Берия. Кроме того, с началом боевых действий в каждом разведуправлении были созданы отделы по обработке и анализу ценных сведений, что в значительной мере облегчало задачу Ставки при принятии решений.

В начале войны мы испытывали острую нехватку в квалифицированных кадрах. Я и Эйтингон предложили, чтобы из тюрем были освобождены бывшие сотрудники разведки и госбезопасности. Циничность Берии и простота в решении людских судеб ясно проявились в его реакции на наше предложение. Берию совершенно не интересовало, виновны или невиновны те, кого мы рекомендовали для работы. Он задал один-единственный вопрос:

- Вы уверены, что они нам нужны?
- Совершенно уверен, – ответил я.
- Тогда свяжитесь с Кобуловым, пусть освободит. И немедленно их используйте.

Я получил для просмотра дела запрошенных мною людей. Из них следовало, что все были арестованы по инициативе и прямому приказу высшего руководства – Сталина и Молотова. К несчастью, Шпигельглас, Карин, Мали и другие разведчики к этому времени были уже расстреляны.

После освобождения некоторые мои близкие друзья оказались без жилья в

Москве: их семьи были выселены из столицы. Все они поселились у меня на квартире, на улице Горького, в доме, где находился спортивный магазин «Динамо». Этажом выше была квартира Меркулова, первого заместителя Берии, который иногда спускался ко мне, если надо было обсудить что-нибудь срочное. Обе наши квартиры использовались также как явочные для встреч с иностранными дипломатами. Случилось так, что Меркулов позвонил мне как раз в тот момент, когда в гостиной сидели мои «постояльцы», и, поскольку он собирался зайти, чтобы поговорить о неотложных делах, пришлось спрятать их в спальне, чтобы избежать встречи наркома с недавно выпущенными на свободу бывшими «преступниками».

Из четырех друзей, живших у меня на квартире, очень опытным сотрудником был Каминский – он оставался у меня до тех пор, пока его не послали в Житомир, в тыл к немцам. В пенсне и костюме-тройке Каминский напоминал типичного французского бизнесмена. Провожая его, моя жена не смогла сдержать слез. Сам Каминский излучал оптимизм. По его словам, он по-настоящему счастлив, что его снова привлекли к работе. Перемежая свою речь французскими анекдотами, чтобы немного успокоить мою жену, Каминский говорил, что для него это большая удача, даже если ему и суждено умереть. Его выдали сразу же после приземления в Житомире. Это сделал священник, агент местного НКВД, который к этому времени уже сотрудничал с гестапо. Каминский сразу почувствовал засаду, устроенную на явочной квартире, и застрелился. О его судьбе мы узнали через три или четыре месяца. Все, кто находился рядом с ним, были блокированы и убиты в перестрелке. Другие чекисты, освобожденные из тюрьмы, и ранее уволенные, приступили к работе в органах, но с понижением в должности. Большинство из них были засланы во главе спецгрупп в тыл к немцам. Часть из них погибла, но некоторые – Медведев и Прокопюк – получили звание Героя Советского Союза за успешные партизанские операции в тылу у немцев.

Репрессии 1938–1939 годов многому меня научили: я не был теперь настолько наивен, чтобы подписывать документы на реабилитацию своих друзей, освобожденных из тюрьмы в 1941 году. Моя репутация уже была «подмочена связью с этими людьми», арестованными как враги народа. Для того, чтобы их реабилитация выглядела объективно оправданной, я попросил Фитина подписать документы, необходимые для возвращения в строй людей, особенно близких мне. Это оказалось дальновидным шагом: в 1946 и 1953 годах, когда меня обвиняли в том, что я способствовал освобождению своих друзей, являвшихся врагами народа, я имел возможность сослаться на подпись Фитина. В судьбе Сребрянского мое ходатайство о его восстановлении в партии в 1941 году сыграло роковую роль: в 1953 году его обвинили в том, что он избежал высшей меры наказания только благодаря заступничеству такого изменника как я. Он умер в тюрьме на допросе у следователя Цареградского в 1956 году.

26 июня 1941 года я получил еще одно назначение – на должность заместителя начальника штаба НКВД по борьбе с немецкими парашютными десантами. В 1942 году под мое начало было передано отборное подразделение десантников. Им была придана эскадрилья транспортных самолетов и бомбардировщиков дальнего действия. На протяжении всей войны мы поддерживали тесное сотрудничество с командующим авиацией дальнего действия маршалом Головановым, близким

другом Эйтингона по военной академии.

Ситуация на фронте после вторжения немцев складывалась, как известно, трагически. Мощь германской танковой армады превосходила все наши предварительные данные. Масштабы поражения Красной Армии в Прибалтике, Белоруссии и на Украине ошеломляли. До августа мы предприняли несколько диверсионных операций по спасению частей Красной Армии, попавших в окружение, однако наши планы не удались: эти части оказались рассеянными и больше не могли быть базой для развертывания партизанской войны.

Затем, во взаимодействии с районными и местными партийными организациями, мы начали засылать партизанские формирования в тыл к немцам, включая в их состав опытных офицеров-разведчиков и радистов. В годы войны Особая группа – 4-е управление НКВД и ее войсковые соединения, как следует из официальных документов, выполняли ответственные задания Ставки Верховного Главнокомандования (1941–1945 гг.), Штаба обороны Москвы (октябрь–декабрь 1941 г.), командующего Западным фронтом (1941–1943 гг.), Штаба обороны Главного Кавказского хребта (1942–1943 гг.), командующего Северо-Кавказским фронтом (1942–1943 гг.), командующего Закавказским фронтом (1942–1943 гг.), командующего Центральным фронтом (1943 г.), командующего 1-м Белорусским фронтом (1943–1944 гг.).

В тыл врага было направлено более двух тысяч оперативных групп общей численностью пятнадцать тысяч человек. Двадцать три наших офицера получили высшую правительственную награду – им присвоили звание Героя Советского Союза. Более восьми тысяч человек наградили орденами и медалями. Маршалы Жуков и Рокоссовский специально обращались в НКВД с просьбой о выделении им отрядов из состава 4-го управления НКВД для уничтожения вражеских коммуникаций и поддержки наступательных операций Красной Армии в Белоруссии, Польше и на Кавказе. Подразделения 4-го управления и отдельной мотострелковой бригады особого назначения уничтожили 157 тысяч немецких солдат и офицеров, ликвидировали 87 высокопоставленных немецких чиновников, разоблачили и обезвредили 2045 агентурных групп противника. Руководить всеми этими операциями поручено было мне и Эйтингону. В истории НКВД это, пожалуй, единственная глава, которой продолжают гордиться его преемники. На всех официальных мероприятиях, посвященных очередной годовщине битвы под Москвой или Сталинградом, а также освобождению Белоруссии, всегда упоминают имена партизан и подпольщиков, находившихся под нашим командованием. Кузнецов, Медведев, Прокопюк, Ваупшасов, Карасёв, Мирковский, Прудников, Шихов, Кудря, Лягин для наших людей – герои сопротивления фашизму на оккупированных территориях.

С 1945 по 1992 год у нас издано приблизительно пять тысяч книг и статей о боевых операциях Особой группы и 4-го управления в Великой Отечественной войне. В эти годы я находился на действительной службе, затем был арестован, заключен в тюрьму, наконец выпущен из тюрьмы и реабилитирован. И ни в одной из этих публикаций вы не найдете моего имени. Там, где на документах стояла моя подпись, появилось многоточие. Сначала меня не упоминали по соображениям

секретности, а позднее мое имя изымалось, поскольку я являлся осужденным преступником и нежелательным свидетелем.

Я не буду подробно останавливаться на известных подвигах бойцов и офицеров, сражавшихся вместе со мной в годы войны. В сборниках под моей редакцией, изданных в 1970–1992 годах, названо более трех тысяч имен героев, воевавших в отдельной мотострелковой бригаде особого назначения. А здесь бы я хотел остановиться на важнейших операциях советской разведки, рассказать о героях тайной войны, о которых мало знают, но которые сыграли заметную роль в военно-политических событиях того времени.

Существенный вклад в наши разведывательно-диверсионные операции в тылу противника внесло партизанское соединение под командованием полковника Медведева. Ему первому удалось выйти на связи Отто Скорцени, руководителя спецопераций гитлеровской службы безопасности. Медведев и Кузнецов установили, что Скорцени готовит группы нападения на американское и советское посольства в Тегеране, где в 1943 году должна была состояться первая конференция «Большой тройки». Группа боевиков Скорцени проходила подготовку возле Винницы, где действовал партизанский отряд Медведева. Именно здесь, на захваченной нацистами территории, Гитлер разместил филиал своей Ставки. Наш молодой сотрудник Николай Кузнецов под видом старшего лейтенанта вермахта установил дружеские отношения с офицером немецкой спецслужбы Остером, как раз занятым поиском людей, имеющих опыт борьбы с русскими партизанами. Эти люди нужны были ему для операции против высшего советского командования. Задолжав Кузнецову, Остер предложил расплатиться с ним иранскими коврами, которые собирался привезти в Винницу из деловой поездки в Тегеран. Это сообщение, немедленно переданное в Москву, совпало с информацией из других источников и помогло нам предотвратить акции в Тегеране против «Большой тройки».

Кузнецов (кодовое имя «Пух») лично ликвидировал нескольких губернаторов немецкой администрации в Галиции. Эти акты возмездия организаторам террора против советских людей были совершены им с беспримерной храбростью среди бела дня на улицах Ровно и Львова. Одетый в немецкую военную форму, он смело подходил к противнику, объявлял о вынесенном смертном приговоре и стрелял в упор. Каждая тщательно подготовленная акция такого рода страховалась боевой группой поддержки. Однажды его принимал помощник Гитлера гауляйтер Эрих Кох, глава администрации Польши и Галиции. Кузнецов должен был убить его. Но когда Кох сказал Кузнецову, чтобы тот как можно скорее возвращался в свою часть, потому что возле Курска должно начаться в ближайшие десять дней крупное наступление, Кузнецов принял решение не убивать Коха, чтобы иметь возможность незамедлительно вернуться к Медведеву и передать срочную радиограмму в Москву.

По заданию Ставки информация Кузнецова о подготовке немцами стратегической наступательной операции была перепроверена и подтверждена посланными нами в оккупированный Орел разведчиками Алексахиным и Воробьевым.

Вокруг личности Кузнецова ходят разного рода слухи, ставящие под сомнение,

что он мог так долго и успешно играть роль немецкого офицера. Приходилось слышать о том, что он был послан в Германию еще до начала войны. Активисты «Мемориала», организации, объединяющей узников ГУЛАГа, старались связать его имя с репрессиями против немцев, депортированных в Казахстан из Сибири и Поволжья. Кузнецов никакого отношения к этому не имел. Как я говорил ранее, он был русским, родом из Сибири, хорошо знал немецкий язык и бегло говорил на нем, потому что жил среди проживающих там немцев. Его привлекло к работе местное НКВД и в 1939 году направило в Москву на учебу. Он готовился индивидуально, как специальный агент для возможного использования против немецкого посольства в Москве. Красивый блондин, он мог сойти за немца, то есть советского гражданина немецкого происхождения. У него была сеть осведомителей среди московских артистов. В качестве актера он был представлен некоторым иностранным дипломатам. Постепенно немецкие посольские работники стали обращать внимание на интересного молодого человека типично арийской внешности, с прочно установившейся репутацией знатока балета. Им руководили Райхман, заместитель начальника Управления контрразведки, и Ильин, комиссар госбезопасности по работе с интеллигенцией. Кузнецов, выполняя их задания, всегда получал максимум информации не только от дипломатических работников, но и от друзей, которых заводил в среде артистов и писателей. Личное дело агента Кузнецова содержит сведения о нем как о любовнике большинства московских балетных звезд, некоторых из них в интересах дела он делил с немецкими дипломатами.

Кузнецов участвовал в операциях по перехвату немецкой диппочты, поскольку время от времени дипкурьеры останавливались в гостиницах «Метрополь» и «Национал», а не в немецком посольстве. Пользуясь своими дипломатическими связями, Кузнецов имел возможность предупреждать нас о том, когда собираются приехать дипкурьеры, и когда можно будет нашим агентам, размещенным в этих отелях и снабженным необходимым фотооборудованием, быстро переснять документы.

В 1942 году Кузнецов был заброшен в район Ровно. Появился он там в форме немецкого офицера интендантской службы. По легенде, разработанной нами, Кузнецов якобы находился в отпуске по ранению и ему поручено организовать доставку продовольствия и теплой одежды для его дивизии, расположенной под Ленинградом. Он выдавал себя за немца, несколько лет прожившего в Прибалтике, где и был мобилизован. По его словам, в Германию он возвратился только в 1940 году в качестве репатрианта. Шла война, перемещение людей было весьма интенсивным, абверу или гестапо понадобилось бы много времени для проверки его личности. Кузнецов был передан мне Ильиным. Документы для его работы в немецком тылу были изготовлены австрийцем Миллером и его учеником Громушкиным. В подготовке Кузнецова к операциям в тылу немцев активно участвовал наш оперативный работник Окунь. Я провел с Кузнецовым многие часы, готовя к будущим заданиям. Вспоминаю о нем как о человеке редкого таланта оставаться спокойным при выполнении боевых заданий, реалистичном и разумном в своих действиях. Но постепенно он начал очень верить в свою удачу и совершил роковую ошибку, пытаясь пересечь линию фронта для встречи с частями Красной Армии. Кузнецова и его людей схватили бандеровцы, сотрудничавшие с немцами.

Это произошло в 1944 году в одной из деревень возле Львова. Наше расследование показало, что Кузнецов подорвал себя ручной гранатой: в архивах гестапо мы обнаружили телеграмму, в которой бандеровцы сообщали гестапо о захвате группы офицеров Красной Армии, один из которых был одет в немецкую форму. Бандеровцы считали, что этот человек, убитый в перестрелке, был именно тем, кого все это время безуспешно искала немецкая спецслужба. Немцам были переданы некоторые поддельные документы, изготовленные нами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта (псевдоним Кузнецова), и часть доклада Кузнецова Центру с сообщением поразительных подробностей уничтожения высокопоставленных немецких представителей на Украине. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Поскольку Кузнецов не был женат, награду принял его брат. В 1991 году Кузнецову исполнилось бы восемьдесят лет. Я выступал на вечере, посвященном его памяти, в клубе КГБ.

Операции, проведенные боевыми группами партизан, порой приобретали стратегическое значение и сыграли важную роль в дезорганизации тыловых коммуникаций, когда в 1944 году развернулось наше наступление в Белоруссии. Эти операции известны как «Рельсовая война», или «Концерт». В канун нашего наступления в Белоруссии мы вывели из строя основные железнодорожные линии снабжения немецкой армии.

Партизаны отдельной бригады специального назначения также оказали весьма существенную помощь частям Красной Армии в ходе битвы под Москвой. Когда осенью 1941 года немцы подошли к столице, наша отдельная бригада получила задание во что бы то ни стало защитить центр Москвы и Кремль. Наши люди заняли позиции в Доме Союзов, в непосредственной близости от Кремля. В этот критический для судьбы столицы момент наша бригада была, пожалуй, единственным боевым формированием, имевшим достаточное количество мин и людей, способных их установить. По прямому указанию Генерального штаба и лично Жукова мы минировали дальние и ближние подступы к Москве, а наша моторизованная часть помогла ликвидировать немецких мотоциклистов и бронетранспортеры, прорвавшиеся к мосту через Москву-реку в районе аэропорта Шереметьево. Ближе этого места пройти к Москве немцы уже не смогли. Сегодня здесь стоят в память о тех днях огромные противотанковые надолбы – символ мужества защитников столицы.

На тот случай, если немцам удастся захватить город, наша бригада заминировала в Москве ряд зданий, где могли бы проводиться совещания высшего немецкого командования, а также важные сооружения как в столице, так и вокруг нее. Мы заминировали несколько правительственных дач под Москвой (среди них, правда, не было дачи Сталина). С нашим молодым сотрудником Игорем Щорсом, поступившим на службу в НКВД в 1940 году, Маклярский и я провели инструктаж, снабдили его документами и устроили на работу главным инженером водного хозяйства в пригороде Москвы, недалеко от сталинской дачи. В случае занятия этого района немцами ему надлежало использовать системы водопровода и канализации для диверсий и укрытия агентов. В результате бомбардировок часть водопроводных труб оказалась поврежденной, и это мешало нормальной подаче воды на дачу Сталина. Щорс руководил ремонтными работами, которые вели сотрудники охраны,

аварию удалось быстро ликвидировать за три часа. Его наградили орденом «Знак Почета», но получить эту награду он не смог, так как она была присвоена человеку, чьи документы Щорс использовал для устройства на работу, а в то время нельзя было раскрыть его настоящее имя. В 1945 году Щорса послали в Болгарию, где он должен был обеспечить добычу и отправку урана в Советский Союз для нашей атомной промышленности.

После того моего ареста в 1953 году я узнал, что обвиняюсь еще и в том, что планировал использовать мины, установленные на правительственных дачах, для уничтожения советских руководителей. Следователи заявляли, что мины могут быть приведены в действие дистанционным управлением по приказу Берии для уничтожения преемников Сталина. Все это было грубым вымыслом.

В октябре 1941 года Москве грозила серьезная опасность, Берия приказал нам организовать разведывательную сеть в городе после захвата его немцами. Наши семьи были эвакуированы, так же как и большинство аппарата НКВД. Мы переехали с Лубянки в помещение Пожарного училища в северном пригороде Москвы возле штаб-квартиры Коминтерна. Я сидел в комнате с Серовым, Чернышевым и Богданом Кобуловым, заместителями Берии, используя этот запасной пункт командования силами НКВД, созданный на случай боевых действий в городе, если бы немцы прорвали нашу оборону.

В Москве мы создали три независимые друг от друга разведывательные сети. Одной руководил мой старый приятель с Украины майор Дроздов (позднее получил звание генерала). В целях конспирации его сделали заместителем начальника аптечного управления Москвы. Он должен был в случае занятия Москвы поставлять лекарства немецкому командованию и войти к нему в доверие. В Москве его не знали, так как он был назначен заместителем начальника московской милиции всего за несколько месяцев до начала войны. Очень большую работу по подготовке московского подполья и по мобилизации нашей агентуры для противодействия диверсиям немцев в Москве проводил Федосеев – начальник контрразведывательного отдела управления НКВД по Москве. По нашей линии за эту работу отвечали Маклярский и Масся. Одним из подпольщиков, на котором остановил свой выбор Берия, был Мешик – в 1953 году его расстреляли вместе с Берией. Помимо этих двух агентурных сетей, мы создали еще одну автономную группу, которая должна была уничтожить Гитлера и его окружение, если бы они появились в Москве после ее взятия. Эта операция была поручена композитору Книпперу, брату Ольга Чеховой, и его жене Марине Гарикивне. Руководить подпольем должен был Федотов – начальник Главного контрразведывательного управления НКВД.

В разных книгах, в частности, в мемуарах Хрущева, говорится о панике, охватившей Сталина в первые дни войны. Со своей стороны могу сказать, что я не наблюдал ничего подобного. Сталин не укрывался на своей даче. Опубликованные записи кремлевского журнала посетителей показывают, что он регулярно принимал людей и непосредственно следил за ухудшавшейся с каждым днем ситуацией. С самого начала войны Сталин принимал у себя в Кремле Берию и Меркулова два или три раза в день. Обычно они возвращались в НКВД поздно вечером, а иногда

передавали свои приказы непосредственно из Кремля. Мне казалось, что механизм управления и контроля за исполнением приказов работал без всяких сбоев. И Эйтингон, и я жили глубокой верой в конечную победу над немцами, что в немалой степени объяснялось тем, как спокойно, по-деловому осуществлялось ежедневное руководство сверху.

Должен заметить, что иногда было чрезвычайно трудно выполнять получаемые приказы. Когда в октябре 1941 года меня вызвали в кабинет Берии, где находился Маленков, и приказали заминировать наиболее важные сооружения в Москве и на подступах к ней, такие как главные железнодорожные вокзалы, объекты оборонной промышленности, некоторые жилые здания, некоторые станции метрополитена и стадион «Динамо», взрывчатка должна была быть готова уже через двадцать четыре часа. Мы трудились круглые сутки, чтобы выполнить приказ. А Маленков и Берия в это время без отдыха, спокойно, по-деловому работали в НКВД на Лубянке.

6 ноября 1941 года я получил приглашение на торжественное заседание, посвященное Октябрьской революции. Традиционно эти собрания проходили в Большом театре, но на этот раз из соображений безопасности – на платформе станции метро «Маяковская». Мы спустились на эскалаторе и вышли на платформу. С одной стороны стоял электропоезд с открытыми дверями, где были столы с бутербродами и прохладительными напитками. В конце платформы находилась трибуна для членов Политбюро.

Правительство приехало на поезде с другой стороны платформы. Сталин вышел из вагона в сопровождении Берии и Маленкова. Собрание открыл председатель Моссовета Пронин. Сталин выступал примерно в течение получаса. На меня его речь произвела глубокое впечатление: твердость и уверенность вождя убеждали в нашей способности противостоять врагу. На следующий день состоялся традиционный парад на Красной площади, проходивший с огромным энтузиазмом, несмотря на обильный снегопад. На моем пропуске стоял штамп: «Проход всюду» – это означало, что я могу пройти и на главную трибуну Мавзолея, где стояли принимавшие парад советские руководители.

Берия и Меркулов предупредили меня, что в случае чрезвычайных происшествий я должен немедленно доложить им, поднявшись на Мавзолей. Ситуация на самом деле была критической: передовые части немцев находились совсем близко от города. Среди оперативных работников, обслуживающих парад, были молодой Фишер, начальник отделения связи нашей службы, и радист со всем необходимым оборудованием. Мы поддерживали постоянную связь со штабом бригады, защищавшей Москву. Снегопад был таким густым, что немцы не смогли послать самолеты для бомбового удара по Красной площади. Приказ войскам, участвовавшим в параде, был четок: что бы ни случилось, оставаться спокойными и поддерживать дисциплину. Этот парад еще больше укрепил нашу веру в возможность защитить Москву и в конце концов одержать победу над врагом.

Даже в эти тревожные для страны часы мы искали слабые места противника, чтобы повернуть ход событий в нашу пользу. Ценную информацию мы получили от графа Нелидова, бывшего офицера царской и белой армии, крупного двойного агента абвера и английской разведки. По заданию Канариса граф Нелидов принимал

участие в стратегических военных «играх» германского генштаба в 1936–1937 годах. Накануне вторжения немцев в Польшу (он был в Варшаве с разведывательной миссией) его арестовала польская контрразведка. Захватив Западную Украину в 1939 году, мы обнаружили его во Львовской тюрьме и привезли в Москву.

Нелидова разрабатывали Василий Зарубин, Зоя Рыбкина и Павел Журавлев, начальник немецкого направления разведки НКВД. В 1941–1942 годах Нелидова планировали использовать в противодействии агентам английской разведки, обосновавшейся в Москве. Тогда показаниям Нелидова об основной установке абвера в разведывательно-диверсионной работе на действия в условиях молниеносной войны Журавлев, Рыбкина и я не придали должного значения. Однако обстановка резко изменилась после наших поражений в первые дни и месяцы войны. Тут-то мы и возвратились к первым допросам Нелидова. Его показания сопоставили с материалами, полученными в 1937 году от Шпигельгласа о военно-стратегических «играх» в штабе вермахта, и ставка немцев на «блицкриг» стала очевидной для всех. Реакция Сталина на наше сообщение была незамедлительной. Для развернутых допросов Нелидова и ознакомления со всеми оперативными документами тридцатых годов в НКВД прибыли начальник Разведупра Красной Армии Голиков и начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Василевский. На них произвели большое впечатление его осведомленность, связи и характеристика настроений германского высшего командования.

Нелидов рассказал, что немцы могут нанести нам поражение только в том случае, если война будет продолжаться два или три месяца. Но если в течение этого времени они не овладеют Ленинградом, Москвой, Киевом, Донбассом, Северным Кавказом и, конечно, Баку с его нефтью, немецкое вторжение обречено на провал. Огромное количество танков и моторизованных соединений, необходимых для блицкрига, могли эффективно действовать лишь на территории с достаточно развитой сетью дорог, а для ведения затяжной войны у немцев не было резерва топлива, особенно для судов германского флота, и в частности подлодок.

В октябре и ноябре 1941 года мы получили надежную информацию из Берлина о том, что немецкая армия почти исчерпала запасы боеприпасов, нефти и бензина для продолжения активных наступательных операций. Все указывало на приближение неизбежной паузы в немецком наступлении. Эти данные передал Арвид Харнак (кодовое имя «Корсиканец»), антифашист, советник министерства экономики Германии. Член известной семьи писателей и философов, он был привлечен к сотрудничеству во время его визита в Советский Союз в 1932 году и с тех пор целое десятилетие поставлял информацию советской разведке, пока его не разоблачили. В декабре 1942 года его судили и повесили. Его жена, американка Мильдред Фиш Харнак, с которой он познакомился во время учебы в университете штата Висконсин, была также арестована и казнена в 1945 году за антифашистскую деятельность.

В марте 1939 года, когда я стал заместителем начальника разведки НКВД, одной из моих главных задач было внедрение нелегалов в Западной Европе и создание агентурной сети, связанной с немцами, имевшими дипломатическое

прикрытие. Особенно это касалось Германии, являвшейся центром внимания всей нашей работы. После репрессий 1937–1938 годов германскими делами в разведке стали заниматься новые люди, и наши контакты с агентами оказались временно прерванными. Было принято решение резко активизировать эти контакты. Бегство Александра Орлова в 1938 году бросило подозрение на руководящие кадры Иностранного отдела; арестовали Шпигельгласа, Мали, Белкина, Серебрянского и других сотрудников, контролировавших наши агентурные сети в Западной Европе, что существенно затруднило получение разведывательной информации. Когда я возглавил этот участок, мне пришлось посылать за рубеж новых и зачастую неопытных людей. В результате с ноября 1938-го по март 1939-го поступление разведанных из Западной Европы резко сократилось. Решение об открытии специальной разведывательной школы для подготовки кадров, принятое Берией и Сталиным в 1939 году, означало, что первых специалистов мы получим не раньше чем через два года. Между тем потребность в этих кадрах становилась все более острой. Нам позарез нужны были новые люди. Обстановка с каждым днем накалялась: Гитлер готовился к захвату Польши. Перспективы развязывания войны в Европе вырисовывались все отчетливее. Сталин требовал от Берии подробностей о немецких боевых формированиях и стратегических планах Берлина.

Поскольку люди, которые раньше отвечали за агентурную сеть в Западной Европе (Орлов в Испании, Кривицкий в Голландии, Рейсс и Штейнберг в Швейцарии), либо стали перебежчиками, либо подверглись репрессиям, было крайне трудно убедить Берию и Меркулова пойти на риск и активизировать те структуры, которыми они в свое время руководили. К счастью, не все, кто занимался отбором и вербовкой агентов, были репрессированы. Некоторые, как, например, Ланг и Гиршфельд, временно числились в действующем резерве, пока наверху решалась их дальнейшая судьба. В Берлине и Париже по-прежнему находились наши люди. Возобновила свою деятельность кембриджская группа, вопреки опасениям, что ее засветил перебежавший на Запад Орлов. В конце концов удалось убедить Фитина, что нам следует все же идти на риск и восстановить свои старые агентурные связи, как бы это ни было опасно. Мы с ним доложили о своем решении Берии – и он поддержал нас. Непростое решение о восстановлении прерванных на полгода контактов с нашими агентами было все-таки принято, хотя мы опасались, что за это время некоторых уже, возможно, схватили и перевербовали. Но был конец апреля 1939 года, и призрак войны на горизонте виделся все яснее.

Я помню, что именно тогда в Центре была решена дальнейшая судьба Кима Филби. Когда из Лондона запросили санкцию на его переход в штаб-квартиру английской разведки, я лично дал согласие при условии, что он сам добровольно примет решение о «двойной игре» с учетом особого риска.

Во Францию новым руководителем нашей резидентуры был направлен Василевский, который должен был восстановить заглохшие связи. В Германию, Финляндию, Польшу и Чехословакию получила назначение группа офицеров. Им потребовалось примерно полгода, чтобы проверить состояние и надежность нашей агентурной сети, с которой последнее время не поддерживалось никаких контактов.

В 1939–1940 годах мы восстановили связи и приступили к активной работе.

Созданная военной разведкой и НКВД подпольная сеть, известная как «Красная капелла», действовала в течение почти всей второй мировой войны. Агенты «Красной капеллы» передавали по радио кодированные сообщения в Центр.

Несколько слов о том, как все это осуществлялось на практике. Военная разведка имела свою собственную агентурную сеть в Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии и действовала независимо от НКВД. В 1938–1939 годах, перед началом войны, военные оказались достаточно дальновидными и послали во Францию и Бельгию двух сотрудников – Треппера и Гуревича – вместе с радистами для работы в условиях военного времени. В этот период военные также имели свою нелегальную резидентуру в Швейцарии, руководимую бывшим работником венгерской секции Коминтерна Шандором Радой Урсулой Кучинской (кодовое имя «Соня»), позднее, в 1941 году, ставшей связной между нами и немецким физиком Клаусом Фуксом, который работал в Англии.

В подготовке резидентур к оперативной деятельности в Западной Европе в условиях военных действий и перехода на нелегальное положение были допущены серьезные ошибки. Агентурная сеть Треппера, Гуревича и Радо слишком сильно была связана с источниками еврейской национальности, что делало ее уязвимой со стороны германских спецслужб. Руководство Разведупра, так же как и ИНО НКВД, пренебрегло надлежащей подготовкой радистов для поддержания связи в условиях войны. В канун войны НКВД удалось создать мощную агентурную сеть в Германии, руководили ею Амаяк Кобулов, Коротков и Журавлев. У военной разведки в Германии также были важные агенты – Ильза Штебе в отделе печати Министерства иностранных дел и Рудольф Шелиа, высокопоставленный немецкий дипломат.

В июне 1941 года, когда Германия напала на СССР, наша разведка не имела централизованного контроля над всеми агентурными сетями, посылавшими нам свои сообщения независимо друг от друга. Разведупр Красной Армии был лучше подготовлен, чтобы переключиться с курьеров и дипломатической почты на подпольные радиопередачи: агенты имели необходимое оборудование. Мы же только в апреле 1941 года направили в резидентуры Западной Европы указание о подготовке к работе в условиях близкой войны. Амаяка Кобулова и Короткова, находившихся в Европе, обязали ускорить обучение радистов и обеспечить их надежной аппаратурой, а также создать дублирующие радиоквартиры.

Шульце-Бойзен («Старшина»), Харнак («Корсиканец») и Кукхоф («Старик»), плохо проинструктированные Кобуловым и Коротковым, нарушили элементарное правило конспирации: поддерживали линейную связь. Кроме этого, у всех трех агентов был один радист.

В октябре 1941 года, потеряв связь из-за некачественной аппаратуры и неквалифицированной работы радистов наших агентов в Берлине, разведуправление военной разведки и НКВД совершили непростительную ошибку. Резидент в Брюсселе Гуревич («Кент») получил по радио шифротелеграмму, в соответствии с которой ему надлежало выехать в Берлин с радиопередатчиком. Он передал его «Корсиканцу» и «Старшине». По возвращении в Брюссель «Кент» подтвердил по радиосвязи успешное выполнение задания и сообщил в Москву информацию, полученную в Берлине, о трудностях, которые немцы испытывают в снабжении и

пополнении резервами, о реалистической оценке немецким командованием провала блицкрига, о возможном наступлении противника весной-летом 1942 года с целью овладения нашими нефтепромыслами.

Столь ценные сведения, переданные в ноябре 1941 года и подтвержденные спустя три месяца, были доложены правительству, но, к сожалению, не сыграли в должной мере своей роли, ввиду того, что 13 декабря 1941 года радист и шифровальщик «Кента» с кодами были захвачены немецкой контрразведкой и гестапо не составило большого труда в 1942 году после краткой разработки арестовать руководителей «Красной капеллы» в Берлине и других городах Западной Европы.

5 августа 1942 года мы забросили двух наших агентов-парашютистов – Артура Хесслера и Альберта Барта – в Германию. Но немцы уже держали под наблюдением группу, на связь с которой они были посланы, и их арестовали. Хесслер погиб в гестапо, а Барта немцы перевербовали, и он начал вести с нами радиоигру, которую, кстати, мы сразу же разгадали. Во время допроса Барт раскрыл нашего агента Вилли Лемана («Брайтенбах»), который сотрудничал с нами с 1935 года. Леман был сотрудником гестапо и снабжал нас исключительно важной информацией. Он передал нам в 1935–1941 годах важнейшие материалы о разработках гестапо по внедрению агентуры в среду русских эмигрантов и в коммунистическое подполье. От Лемана мы также узнали, какие источники польской контрразведки были перевербованы и использовались немцами после разоблачения в 1936 году в Берлине польского резидента Сосновского. К тому же последний попал в наши руки в 1939 году и дал развернутые ориентировки по возможностям польской агентуры в Германии.

Лемана арестовали на улице и тайно, без суда, казнили. Гестапо сообщило жене, что ее муж исчез, и его усиленно разыскивают. После войны мы нашли лишь его регистрационную карточку в архивах тюрьмы Плетцензее в Берлине – других следов о нем не осталось. Леман в годы войны был единственным офицером гестапо, сотрудничавшим с нами.

В архивах гестапо мы обнаружили сведения о «Красной капелле». И хотя имя Барта там фигурирует, Леман даже не упомянут. Возможно, это вызвано нежеланием бросить тень на гестапо, в рядах которого оказался советский агент. Я не исключаю, что гестапо боялось доложить об этом Гитлеру. Барт был взят в плен англичанами и передан нам в 1946 году. Его доставили в Москву, судили и расстреляли за измену.

Несколько слов о работе группы Зорге («Рамзай») в Токио. К информации, поступавшей по этой линии из кругов премьер-министра Коноэ, и высказываниям германского посла Отта в Москве относились с некоторым недоверием. И дело было не только в том, что Зорге привлекли к работе впоследствии репрессированные Берзин и Борович, руководившие Разведупром Красной Армии в 20—30-е годы. Еще до ареста Боровича, непосредственного куратора Зорге, последний получил от высшего руководства санкцию на сотрудничество с немецкой военной разведкой в Японии. Разрешение-то получил, но вместе с тем попал под подозрение, поскольку такого рода спецагентам традиционно не доверяют и регулярно перепроверяют во всех спецслужбах. В 1937 году исполняющий обязанности начальника Разведупра

Гендин в своем сообщении Сталину, подчеркивая двойную игру ценного агента Зорге, добывающего информацию также для Отта, резидента немецкого абвера в Токио, делал вывод, что указанный агент не может пользоваться как источник информации полным доверием.

Трагедия Зорге состояла в том, что его героическая работа и поступающие от него сведения не использовались нашим командованием. Исключительно важные данные о предстоящем нападении Японии на США, о неприсоединении Японии к германской агрессии против СССР в сентябре-октябре 1941 года так и осели в наших архивах. А дивизии с Дальнего Востока перебросили под Москву в октябре 1941 года лишь потому, что у Сталина не имелось других готовых к боям резервных боевых соединений. Если же информация Зорге при этом и учитывалась, то не играла существенной роли в принимаемом решении. Сообщения о том, что японцы не намерены воевать с нами, регулярно поступали с 1941 по 1945 год от наших проверенных агентов, занимавших должности советника японского посольства в Москве и начальника службы жандармерии Квантунской армии, который передавал нам документальные данные о дислокации японских соединений в Маньчжурии. Кроме всего прочего, нам удалось расшифровать переписку японского посольства в Москве с Токио, из которой следовало, что вторжение в СССР в октябре 1941 года Японией не планировалось.

Поведение Зорге на следствии после его ареста японскими властями вызвало серьезное раздражение в Москве. Он нарушил главную установку советской разведки: никогда не признавать шпионажа в какой-либо форме в пользу Советского Союза. Хотя практика обмена арестованными агентами и разведчиками в 30-е годы являлась очень ограниченной, тем не менее, изредка на нее шли. Поляки, например, освободили нашего нелегала Федичкина в 1930 году, американцы – резидента НКВД в Нью-Йорке Овакимяна в сентябре 1941 года. Руководство Разведупра ввиду признаний Зорге ни перед кем не ставило вопроса о его возможном обмене.

К августу 1942 года «Красная капелла» в Берлине, включавшая агентов военной разведки и НКВД, была уничтожена. Но в Германии уцелел ряд важных источников информации и агентов влияния. Некоторые агенты гамбургской группы, созданной Серсбрянским и Эйтингеном, не связанные с группой Харнака – Шульце-Бойзена и осевшие в концернах «Фарбен Индустри» и «Тиссен» в гамбургском порту, уцелели и ушли в подполье. Избежала ареста агент «Юна», обосновавшаяся в ведомстве Риббентропа – германском МИДе; не были скомпрометированы Ольга Чехова и польский князь Януш Радзивилл. Однако отсутствовали надежные связники с ними. Два наших агента – шведский предприниматель Стринберг («Густав») и популярный актер Карл Герхард («Шансонье») – годились разве что на роль курьеров. Поездки Стринберга в Германию оказались малорезультативными, а Герхарда вскоре выявили немцы, так как он не скрывал своих антигитлеровских настроений. Агентурная сеть во Франции и Швейцарии продолжала работать.

В начале 1941 года Василевский создал сеть нелегалов во Франции. Главной фигурой на связи с ними был полковник Шмидт, ответственный сотрудник шифровальной службы абвера. Василевский узнал, что в начале 1930-х годов Шмидт был завербован французской разведкой. Французские коммунисты,

помогавшие людям Василевского, установили, что Шмидт также работал на британскую спецслужбу. Имя английского агента, с которым Шмидт поддерживал контакт во Франции, нам сообщил Маклин еще в 1939 году. По характеру материалов, переданных Шмидтом Василевскому, мы поняли, что англичане регулярно перехватывают и расшифровывают немецкие радиogramмы. Немцы выследили подозрительные связи Шмидта, и он бесследно исчез.

Сотни радиogramм в Москву от «Красной капеллы» из Швейцарии за период с июля 1941 до октября 1943 года содержали ценнейшую информацию: приказы немецкого верховного командования, сведения о передвижении войск и массу оперативных подробностей боевых действий. Эта информация передавалась Рудольфом Ресслером («Люци»), но он упорно отказывался назвать ее источник советскому резиденту-нелегалу Шандору Радо.

Рёсслер, немецкий эмигрант, встретился с Радо, когда Гитлер напал на Советский Союз. Он дал понять, что считает Радо связанным с советской разведкой, и предложил ему передавать информацию из немецких военных кругов. Зная это, мы решили, что «Люци» просто пытается сохранить в тайне свой источник – агента в немецком генштабе.

На самом деле Рёсслер передавал нам информацию, которую получал от англичан. Английская разведка знала о работе группы Радо, поскольку еще накануне войны внедрила своего агента в «Красную капеллу» в Швейцарии. По дипломатическим каналам в Лондоне через английскую миссию связи в Москве англичане не передавали эту информацию, опасаясь, что мы не поверим и потребуем назвать источник. Мы не знали тогда, что у англичан есть аналог немецкой шифровальной машины «Enigma», которую собрал в 1938 году для британской спецслужбы польский инженер, работавший ранее на немецком секретном предприятии, выпускавшем эти машины. Англичане держали в строжайшем секрете существование «Enigm'bi», дававшей им возможность дешифровать немецкие радиogramмы. Сведения о ней поступили к нам в 1945 году от Филби и Кэрнкросса.

Сталин не доверял англичанам, и для этого были основания. Когда мы сравнивали разведданные от наших агентов из Швейцарии и из Лондона, то видели их разительное совпадение. Однако информация из Лондона от кембриджской группы была более полной, а от группы «Люци» явно отредактированной. Ясно было, что информация «Люци» дозировалась и редактировалась британскими спецслужбами.

Нашей лондонской резидентуре периодически поставлял расшифрованные радиogramмы Джон Кэрнкросс, работавший в британском шифровальном центре «Блечли парк». Позже, беседуя с моим другом Кукиным – он был резидентом в Лондоне с 1943 по 1947 год и руководил кембриджской группой, – мы признали, что вклад Кэрнкросса в наше общее дело и получаемые от него материалы представляли большую ценность для раскрытия немецких оперативных планов. Дешифрованные материалы, поступавшие от Кэрнкросса, имели не только военную ценность, но и позволили нам проследить проникновение английской спецслужбы в группу Радо.

Весной 1943 года, за несколько недель до начала Курской битвы, наша

резидентура в Лондоне получила от кембриджской группы информацию о конкретных целях планировавшегося немецкого наступления под кодовым названием операция «Цитадель». В этом сообщении указывалось число немецких дивизий, которые предполагалось использовать, и подчеркивалось, что операция «Цитадель» нацелена на Курск, а не на Великие Луки, то есть не к западу, а к юго-западу от Москвы – там мы не ожидали немецкого наступления. НКВД направило эту информацию Советскому Верховному Главнокомандованию 7 мая 1943 года. Сообщение из Лондона содержало более обстоятельные и точные планы немецкого наступления, чем полученные по линии военной разведки от «Люци» из Женевы. Руководителям военной разведки и НКВД стало совершенно ясно, что англичане передают нам дозированную информацию, но в то же время хотят, чтобы мы сорвали немецкое наступление. Из этого мы сделали вывод, что они заинтересованы не столько в нашей победе, сколько в том, чтобы затянуть боевые действия, которые привели бы к истощению сил обеих сторон.

В начале 1943 года начальник военной разведки генерал Ильичев обратился с письмом в НКВД и к генералу Селивановскому, заместителю начальника военной контрразведки СМЕРШ, с сообщением, что германские спецслужбы проникли в «Красную капеллу». От агента в Брюсселе Гуревича («Кент») было получено зашифрованное предупреждение: он работает под немецким контролем. Было принято решение продолжить эти радиоигры с немцами. Осенью 1943 года в Женеве и Лозанне были арестованы радисты «Красной капеллы», но мы все еще продолжали получать информацию из Лондона от нашего резидента Кукина, сменившего Горского.

Британская разведка до сих пор не признала факт передачи нашей агентурной сети в Швейцарии отредактированных расшифрованных сведений. В Москве, однако, всегда с подозрением относились к «Красной капелле». Ее героическая деятельность в Германии, Франции и Швейцарии не приносила в глазах начальства лавров ни разведке НКВД, ни Разведупру Красной Армии. Никто не относился к ее работе как к приоритетной, потому что дешифрованные приказы немцев, передаваемые англичанами, не содержали бесспорных данных, базировавшихся на подлинных документах, а основывались на устной информации источников.

«Красная капелла» до сих пор рассматривается на Западе как главный источник разведывательной информации, поступавшей в Советский Союз в годы войны, на самом же деле эта информация носила для нас второстепенный характер. Тем не менее, надо признать, что ее агенты действовали с большим мужеством и высоким профессионализмом и многие из них погибли героической смертью. Руководителей «Красной капеллы» Треппера («Большой шеф»), Гуревича («Маленький шеф» или «Кент») и Радо («Дора») в Разведупре Красной Армии считали изменниками. Треппер и Радо пытались скрыться от советских властей; их розыск и отправку в Москву осуществили англичане. В Москве их арестовали и посадили в тюрьму на Лубянке.

Треппер и Радо провели в тюрьме по десять лет, прежде чем их освободили и реабилитировали в конце 50-х годов. В своих мемуарах они представили Гуревича как изменника, но ведь именно он захватил, перевербовал и доставил к нам в

Москву в 1945 году главного следователя гестапо, занимавшегося делом «Красной капеллы». Когда в ноябре 1942 года Гуревич был взят в гестапо, ему удалось послать радиogramму, предупреждавшую, что отныне он находится под контролем немцев, а одна из полученных им от нас инструкций обязывала его продолжать радиоигры, что он и сделал. Как только война окончилась, Гуревич сумел убедить офицера гестапо Хайнца Паннвица, который вел дело «Красной капеллы», вступить с нами в контакт. По словам Гуревича, для советской разведки он будет ценным приобретением, поскольку владеет информацией, позволяющей нам идентифицировать тех, кто нам симпатизировал, и тех, кто был нашим врагом. Это, говорил он, обеспечит Паннвицу амнистию и работу в советских органах безопасности. Находясь в шоке от поражения Германии, Паннвиц принял предложение Гуревича о тайной встрече с русским представителем. Он был задержан и вместе с Гуревичем немедленно доставлен в Москву.

Разоблачения Паннвица, однако, имели лишь ограниченный интерес в глазах руководства разведки. Широкая известность Паннвица на Западе исключала возможность использования его для наших активных операций. Поскольку он мог сообщить о тех осведомителях гестапо, которых мы вместе с британской разведкой все еще продолжали разыскивать, было решено не ликвидировать его, а держать и дальше в тюрьме. Треппер, Радо и Гуревич разделили его судьбу: они остались в живых только потому, что их показания могли понадобиться в дальнейшем. После десяти лет пребывания в тюрьме Паннвица репатриировали в Германию.

С 1946 года Радо и Треппер заявляли, что провал «Красной капеллы» был вызван изменой Гуревича. После смерти Сталина в 1953 году, как мне говорили, ветераны Коминтерна ходатайствовали о реабилитации Радо и Треппера. Их дело было пересмотрено, и в 1955 году с них сняли обвинение в измене Родине, хотя Разведупр Генштаба и возражало, выдвигая против них и свои обвинения – нарушение правил конспирации и несанкционированное расходование денег. Гуревич был освобожден в 1955 году по амнистии для тех, кто обвинялся в сотрудничестве с немцами, но не реабилитирован.

Гуревич обращался лично к Хрущеву с просьбой разобраться в его деле, но КГБ и военная разведка твердо стояли на своем, намеренно делая его козлом отпущения за провал «Красной капеллы». По специальной справке, подготовленной руководителями разведки КГБ Сахаровским и Коротковым, в 1958 году Гуревича вновь арестовали. Ордер на арест подписали Серов, ставший к тому времени главой КГБ, и генеральный прокурор Руденко. Гуревича приговорили к двадцати пяти годам тюремного заключения, но в соответствии с новым Уголовным кодексом этот срок был сокращен до пятнадцати лет. Поскольку он уже отсидел почти десять лет, его выпустили через пять лет.

После отбытия полного срока заключения Гуревич обосновался в Ленинграде, где работал переводчиком. Каждый год он подавал на пересмотр своего дела, но КГБ и военная разведка упорствовали, по-прежнему возражая против его реабилитации или нового рассмотрения дела. В официальной истории советской военной разведки, подготовленной в 60-70-е годы, Гуревич представлен как изменник, чьи действия привели к провалу «Красной капеллы» во Франции и Германии. На Западе в книге

Жиля Перро «Красная капелла» высказывается та же точка зрения.

В 1990 году военная прокуратура обращалась ко мне по делу Гуревича, продолжавшего настаивать на своей реабилитации. Прокуратура нашла документ исключительной важности – служебную записку Генштаба, направленную в адрес НКВД с одобрением радиоигр Гуревича («Кента») с немцами. Когда дело Гуревича стало пересматриваться, выяснилось: единственная вина его заключалась в том, что он без одобрения Центра завел семью на Западе (во Франции). Однако руководство военной разведки продолжало упорно препятствовать восстановлению его прав. После того, как в 1991 году Гуревича наконец реабилитировали, Разведупр Генштаба категорически отказало ему в выплате компенсации, назначении военной пенсии и предоставлении статуса ветерана войны.

Этот человек жив. Его жена умерла в Европе, а сын вместе со своей женой и детьми приезжал в Санкт-Петербург для встречи с отцом. История Гуревича прошла по страницам российской прессы, но никто не задался вопросом: чья злая воля в разведорганах СССР все эти годы продолжала возлагать вину на этого человека.

Для нас, знавших о существовании у немцев проблем со снабжением армии, директива Сталина стоять до конца в 1941 и 1942 годах и любой ценой остановить врага казалась естественной и разумной. Оглядываясь назад, видишь, что трагические поражения Красной Армии в Белоруссии, потери миллионов человеческих жизней убитыми и взятыми в плен под Киевом были для вермахта всего лишь тактическим успехом. Перед немцами стояла перспектива затяжной войны, для победы в которой у них не было необходимых ресурсов.

К середине июля 1941 года мы получили два важных сообщения. Одно – по радио из Берлина, другое – от наших дипломатов и разведчиков, интернированных немцами в Италии и Берлине в начале войны. После обмена на германских дипломатов, интернированных в Москве, первый секретарь советского посольства в Берлине Бережков и резидент НКВД Амаяк Кобулов, младший брат заместителя Берии Богдана Кобулова, сообщили, что барон Ботман, сопровождавший поезд с советскими дипломатами, высланными из Германии, намекнул им: может настать время, когда Германия и СССР предпочтут урегулировать свои отношения на основе взаимных уступок.

В изнурительных боях под Смоленском была остановлена танковая армия генерала Гудериана. Росло разочарование в германском верховном командовании, вызванное недостаточно быстрыми темпами продвижения немецких войск в июле 1941 года, о чем сообщил из Берлина Арвид Харнак («Корсиканец»). 25 июля Берия приказал мне связаться с нашим агентом Стаменовым, болгарским послом в Москве, и проинформировать его о якобы циркулировавших в дипломатических кругах слухах, что возможно мирное завершение советско-германской войны на основе территориальных уступок. Берия предупредил, что моя миссия является совершенно секретной. Имелось в виду, что Стаменов по собственной инициативе доведет эту информацию до царя Бориса.

Берия с ведома Молотова категорически запретил мне поручать послу-агенту доведение подобных сведений до болгарского руководства, так как он мог

догадаться, что участвует в задуманной нами дезинформационной операции, рассчитанной на то, чтобы выиграть время и усилить позиции немецких военных и дипломатических кругов, не оставлявших надежд на компромиссное мирное завершение войны.

Как показывал Берия на следствии в августе 1953 года, содержание беседы со Стаменовым было санкционировано Сталиным и Молотовым с целью забросить дезинформацию противнику и выиграть время для концентрации сил и мобилизации имеющихся резервов.

Стаменов был завербован нашим опытным разведчиком Журавлевым в 1934 году в Риме. Он работал третьим секретарем посольства Болгарии, симпатизировал Советскому Союзу и сотрудничал с нами из чисто патриотических соображений. Он был убежден в необходимости прочного союза между Болгарией и СССР и рассматривал его как единственную гарантию защиты болгарских интересов на Балканах и в европейской политике в целом.

Когда Берия приказал мне встретиться со Стаменовым, он тут же связался по телефону с Молотовым, и я слышал, что Молотов не только одобрил эту встречу, но даже пообещал устроить жену Стаменова на работу в Институт биохимии Академии наук. При этом Молотов запретил Берии самому встречаться со Стаменовым, заявив, что Сталин приказал провести встречу тому работнику НКВД, на связи у которого он находится, чтобы не придавать предстоящему разговору чересчур большого значения в глазах Стаменова. Поскольку я и был тем самым работником, то встретился с посланцем на квартире Эйтингона, а затем еще раз в ресторане «Арагви», где наш отдельный кабинет был оборудован подслушивающими устройствами: весь разговор записали на пленку. Я передал ему слухи, пугающие англичан, о возможности мирного урегулирования в обмен на территориальные уступки. К этому времени стало ясно, что бои под Смоленском приобрели затяжной характер, и танковые группировки немцев уже понесли тяжелые потери. Стаменов не выразил особого удивления по поводу этих слухов. Они показались ему вполне достоверными. По его словам, все знали, что наступление немцев развивалось не в соответствии с планами Гитлера и война явно затягивается. Он заявил, что все равно уверен в нашей конечной победе над Германией. В ответ на его слова я заметил:

– Война есть война. И, может быть, имеет все же смысл прощупать возможности для переговоров.

– Сомневаюсь, чтобы из этого что-нибудь вышло, – возразил Стаменов.

Словом, мы поступали так же, как это делала и немецкая сторона. Беседа была типичной прелюдией зондажа. Я уже упоминал, что Ботман, сотрудник МИДа, проводил аналогичные беседы с Бережковым.

Стаменов не сообщил о слухах, изложенных мною, в Софию, на что мы рассчитывали. Мы убедились в этом, поскольку полностью контролировали всю шифропереписку болгарского посольства в Москве с Софией, имея доступ к их шифрам, которые называли между собой «болгарскими стихами». Шура Кочергина, жена Эйтингона, наш опытный оперработник, связалась со своими агентами в болгарских дипломатических и эмигрантских кругах Москвы и установила, что

Стаменов не предпринимал никаких шагов для проверки и распространения запущенных нами слухов. Но если бы я отдал Стаменову такой приказ, он, как полностью контролируемый нами агент, наверняка его выполнил. Так и закончилась в конце июля – начале августа 1941 года вся эта история.

В 1953 году, однако, Берию обвинили в подготовке плана свержения Сталина и советского правительства. Этот план предусматривал секретные переговоры с гитлеровскими агентами, которым предлагался предательский сепаратный мир на условиях территориальных уступок. На допросе в августе 1953 года Берия показал, что он действовал по приказу Сталина и с полного одобрения министра иностранных дел Молотова.

За две недели до допроса Берии меня вызвали в Кремль с агентурным делом Стаменова, где я сообщил о деталях нашего разговора Хрущеву, Булганину, Молотову и Маленкову. Они внимательно, без единого замечания, выслушали меня, но позднее я был обвинен в том, что играл роль связного Берии в попытке использовать Стаменова для заключения мира с Гитлером. Желая представить Берию германским агентом и скомпрометировать его, Маленков распорядился послать Иегова, секретаря Президиума Верховного Совета, вместе со следователями прокуратуры в Софию. Они должны были привезти в Москву показания Стаменова. Однако Стаменов отказался дать какие бы то ни было письменные показания.

Правда, он подтвердил устно, что являлся агентом НКВД и сотрудничал с советской разведкой в интересах борьбы с фашизмом как в самой Германии, так и в странах-союзниках. Ни к чему не привели и попытки шантажировать его, как, например, угрозы лишить пенсии, которую он получал от советского правительства за свою деятельность во время войны. По свидетельству Суханова, помощника Маленкова, и сообщению моего младшего брата (его жена работала в секретариате Маленкова), Пегов вернулся из Софии с пустыми руками – ни свидетельств, ни признаний. Все это держалось в тайне, но фигурировало в приговоре по делу Берии и моем деле.

Однако в своих мемуарах Хрущев, знавший обо всех этих деталях, все-таки предпочел придерживаться прежней версии, что Берия вел переговоры с Гитлером о сепаратном мире, вызванные паникой Сталина. На мой взгляд, Сталин и все руководство чувствовали, что попытка заключить сепаратный мир в этой беспрецедентно тяжелой войне автоматически лишила бы их власти. Не говоря уже об их подлинно патриотических чувствах, в чем я совершенно уверен: любая форма мирного соглашения являлась для них неприемлемой. Как опытные политики и руководители великой державы, они нередко использовали в своих целях поступающие к ним разведанные для зондажных акций, а также для шантажа конкурентов и даже союзников.

Так, наша агентура, имевшая выход на окружение молодого румынского короля Михая, прозондировала взаимную заинтересованность его двора и советского руководства в выходе Румынии из прогитлеровской коалиции. Как и в случае с Финляндией, наши дипломаты подготовили и оформили договор о выходе Румынии из войны против СССР, Англии и США и о вступлении ее в войну с Германией. Этому предшествовало еще одно важное событие: руководимая нашими

оперработниками группа боевиков румынской компартии задержала лидера фашистов премьер-министра Антонеску при посещении им короля.

В годы войны мне приходилось принимать участие в разработке решений по военным вопросам. Особенно важными в этом плане были мои контакты с начальником штаба ВМС адмиралом Исаковым и офицерами Оперативного управления Генштаба.

В августе 1942 года Берия и Меркулов (при этом разговоре присутствовал также Маленков) поручили мне экипировать всего за двадцать четыре часа 150 альпинистов для ведения боевых действий на Кавказе. Как только альпинисты были готовы к выполнению боевого задания, Берия приказал мне вместе с ним и Меркуловым несколькими транспортными самолетами вылететь из Москвы на Кавказ. Перелет был очень долгий. В Тбилиси мы летели через Среднюю Азию на «С-47», самолетах, полученных из Америки по ленд-лизу. Наши операции должны были остановить продвижение немецких войск на Кавказ накануне решающего сражения под Сталинградом. Первую посадку мы сделали в Красноводске, затем в Баку, где полковник Штеменко, начальник кавказского направления Оперативного управления Генштаба, доложил об обстановке. Было решено, что наше специальное подразделение попытается блокировать горные дороги и остановить продвижение частей отборных альпийских стрелков противника.

Сразу после нас в Тбилиси прибыла группа опытных партизанских командиров и десантников, руководимая одним из моих заместителей, полковником Михаилом Орловым. Они не дали немцам вторгнуться в Кабардино-Балкарию и нанесли им тяжелые потери перед началом готовящегося наступления. В то же время альпинисты взорвали цистерны с нефтью и уничтожили находившиеся в горах моторизованные части немецкой пехоты.

Наши собственные потери были также велики, потому что альпинисты зачастую были недостаточно подготовлены в военном отношении. Их преимущество было в профессионализме, знании горной местности, а также в активной поддержке со стороны горцев. Только в Чечне местное население не оказывало им помощи.

На штабных совещаниях в Тбилиси, проходивших под председательством Берии, главного представителя Ставки, я часто испытывал затруднения и терялся, когда речь шла о чисто военных вопросах. Как-то я попытался переадресовать их Штеменко и сказал, что некомпетентен в военной стратегии и тактике. Берия оборвал меня: «Надо серьезно изучать военные вопросы, товарищ Судоплатов. Не следует говорить, что вы некомпетентны. Вас пошлют на учебу в военную академию после войны». После войны я действительно поступил в академию и в 1953 году, накануне ареста, окончил ее.

Очень тяжелые бои произошли на Северном Кавказе в августе и сентябре 1942 года, когда я там находился. Наше спецподразделение заминировало нефтяные скважины и буровые вышки в районе Моздока и взорвало их в тот момент, когда к ним приблизились немецкие мотоциклисты. Меркулов и я следили за тем, чтобы взрыв произошел строго по приказу, и присоединились к нашей диверсионной группе, отходившей в горы, в последний момент. Позже мы от нашей

дешифровальной группы получили сообщение из Швеции: немцы не смогли использовать нефтяные запасы и скважины Северного Кавказа, на которые очень рассчитывали.

Однако разнос, которому мы подверглись за успешные действия, надолго мне запомнился. Когда мы вернулись в Тбилиси, Берия сообщил, что Сталин объявил Меркулову, заместителю Берии, выговор за неоправданный риск при выполнении операции по минированию: он подвергал свою жизнь опасности и мог быть захвачен передовыми частями немцев. Берия обрушился на меня за то, что я допустил это. В ходе немецких налетов несколько офицеров из Ставки, находившихся на Кавказе, были убиты. Член Политбюро Каганович получил во время бомбежки серьезное ранение в голову. Ранен был и адмирал Исаков, а один из наших наиболее опытных грузинских чекистов, Саджая, погиб во время этого налета.

Опасения, что Тбилиси, да и весь Кавказ могут быть захвачены врагом, были реальны. В мою задачу входило создание подпольной агентурной сети на случай, если Тбилиси оказался бы под немцами. Профессор Константин Гамсахурдиа (отец Звиада Гамсахурдиа) был одним из кандидатов на пост руководителя агентурной сети в Грузии. Он являлся старейшим осведомителем НКВД. К сотрудничеству его привлек еще Берия после нескольких арестов в связи с инкриминированными ему антисоветскими заявлениями и националистическим сепаратизмом. По иронии судьбы перед войной он был известен своими прогерманскими настроениями: он всем давал понять, что процветание Грузии будет зависеть от сотрудничества с Германией. Мне захотелось проверить эти слухи, и я, заручившись согласием Берии, вместе с Саджая провел в гостинице «Интурист» беседу с профессором Гамсахурдиа. Мне он показался не слишком надежным человеком. К тому же весь его предшествующий опыт осведомителя сводился к тому, чтобы доносить на людей, а не оказывать на них влияние. И еще: он был слишком занят своим творчеством. (Кстати, он написал биографию Сталина на грузинском языке.) В целом это был человек, склонный к интригам и всячески пытавшийся использовать в своих интересах расположение Берии: оба были мингрелы.

Посоветовавшись с местными работниками, мы пришли к выводу, что Гамсахурдиа лучше использовать в другой роли.

Главная же роль отводилась Мачивариани, драматургу, пользовавшемуся в Тбилиси репутацией солидного человека. Он был известен как безукоризненно честный человек, и мы спокойно доверили ему крупные суммы денег, а также золотые и серебряные изделия, которые в случае надобности можно было использовать на нужды подполья.

Много позже один из моих сокамерников, академик Шариа, помощник Берии, отвечавший за партийную пропаганду в Грузии, рассказал мне, что впоследствии Берия потерял к Гамсахурдиа всякий интерес. Тот, однако, оставался в Грузии весьма влиятельной фигурой – своего рода иконой в мире культуры. Известно, что Сталин лично запретил его арестовывать. В 1954 году, когда Берия был уже расстрелян, грузинские власти захотели отделаться от Гамсахурдиа, и местный КГБ обратился в Москву за санкцией на его арест как пособника Берии, который сделал

себе политический капитал наличных связей с врагом народа. Как мне рассказывал писатель Кирилл Столяров, изучавший события 1953–1954 годов, Гамсахурдиа хотели обвинить в том, что по указанию Берии он шантажировал представителей грузинской интеллигенции, принуждая их устанавливать тайные связи с немецкой спецслужбой. Именно за это, утверждали его обвинители, он получил в годы войны от Берии и Микояна крупные денежные суммы и американский «виллис».

По словам Шариа, в конце концов Гамсахурдиа оставили в покое: насколько мне известно, умер он своей смертью в Тбилиси в 70-х годах. Его сын стал первым президентом независимой Грузии, в 1992 году был свергнут и в конце 1993 года, как сообщалось, покончил жизнь самоубийством.

В 1953 году Берия также обвиняли в том, что он нанес ущерб нашей обороне во время битвы за Кавказ. Тогда же за связь с Берией был уволен из армии Штеменко. Но раскручивать вину Штеменко не стали в интересах правящей верхушки. Маршал Гречко, тогда заместитель министра обороны, во время войны сражался на Кавказе под началом Берии. Понятно, что обвинения в адрес Берии бумерангом ударили бы по высшему военному руководству. Вот почему в сообщении для прессы приговор над Берией не включал обвинений в измене в период битвы за Кавказ.

Саджая погиб во время бомбежки, а Штеменко о хороших отношениях со мной не упомянул, так что я не подвергся допросу в связи с обороной Кавказа по делу Берии. Позднее мои следователи вообще потеряли интерес к этому, хотя мне и приходилось слышать от них замечания, что я незаслуженно получил медаль «За оборону Кавказа», так как вместе с Берией занимался обманом советского правительства.

После разгрома немцев под Сталинградом, в начале 1943 года, Москва оживила. Один за другим стали открываться театры. Это говорило о том, что на фронте произошел поворот к лучшему. Моя жена с маленькими детьми, Андреем и Анатолием, вернулась из Уфы, где была в эвакуации и работала преподавателем в Высшей школе НКВД. Временно мы поселились в гостинице «Москва», так как отопление в нашем доме не работало; через несколько месяцев въехали в небольшой – всего девять квартир – дом в переулке рядом с Лубянской.

В то время, о котором я пишу, Москва пристально следила за романом известного советского поэта Константина Симонова и не менее известной актрисы Валентины Серовой. Их брак не был особенно счастливым, и после войны Симонов развелся с Серовой. Мы с женой несколько раз встречали эту пару в столовой спецобслуживания. Ильин, комиссар госбезопасности, курировавший «культурный фронт», жаловался: мало у него других дел, так еще приходится лично отвечать за безопасность Симонова! Симонов был на редкость лихим водителем и, пользуясь своим привилегированным положением, позволял себе все, что его душе угодно. К тому же он был в хороших отношениях с Василием Сталиным, известным своим пристрастием к алкоголю и лихими похождениями.

Ильин рассказывал мне о реакции Сталина (она сейчас широко известна) на вышедший в 1942 году в полном смысле слова потрясший читающую публику

сборник лирических стихов Симонова «С тобой и без тебя», посвященный Валентине Серовой. Популярность его была такова, что достать книжку было невозможно.

В тот момент Сталина серьезно беспокоило увлечение его дочери Светланы кинодраматургом Каплером. Его фильмы – «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» в то время пользовались большим успехом. Светлане было всего шестнадцать, а ему уже за тридцать. Позднее Берию обвинили в том, что он организовал избиение Каплера на улице. Если это действительно было, то поступить подобным образом он мог лишь по приказу Сталина. До своего ареста я ничего об этом не знал. Что касается самого Каплера, то в конце концов его арестовали и отправили в ГУЛАГ за соращение малолетних и распространение антисоветских анекдотов.

Наиболее крупными по значению радиоиграми были операции «Березино» и «Монастырь». Первоначально операция «Монастырь» разрабатывалась нашей группой и Секретно-политическим управлением НКВД, а затем, с июля 1941 года, – в тесном взаимодействии с ГРУ. Целью операции «Монастырь» являлось наше проникновение в агентурную сеть абвера, действовавшую на территории Советского Союза. Для этого мы быстро создали прогерманскую антисоветскую организацию, ищущую контакты с германским верховным командованием. Несмотря на основательные чистки 20-х и 30-х годов, многие представители русской аристократии остались в живых; правда, все они были под наблюдением, а некоторые стали нашими важными осведомителями и агентами.

Анализируя материалы и состав агентуры, предоставленной в наше распоряжение контрразведкой НКВД, мы решили использовать в качестве приманки некоего Глебова, бывшего предводителя дворянского собрания Нижнего Новгорода. К тому времени Глебову было уже за семьдесят. Этот человек пользовался известностью в кругах бывшей аристократии: именно он приветствовал в Костроме в 1913 году царскую семью по случаю торжественного празднования 300-летия Дома Романовых. Жена Глебова была своим человеком при дворе последней российской императрицы Александры Федоровны. Словом, из всех оставшихся в живых представителей русской знати Глебов показался нам наилучшей кандидатурой. В июле 1941 года он, почти нищий, ютился в Новодевичьем монастыре.

Конечно, никаких даже самых элементарных азов разведывательной работы он не знал. Наш план состоял в том, чтобы Глебов и второй человек, также знатного рода (это был наш агент), заручились доверием немцев. Наш агент – Александр Демьянов («Гейне») и его жена, тоже агент НКВД, посетили церковь Новодевичьего монастыря под предлогом получить благословение перед отправкой Александра на фронт в кавалерийскую часть. Большинство служителей монастыря были тайными осведомителями НКВД. Во время посещения церкви Демьянова познакомили с Глебовым. Между ними завязались сердечные отношения; Демьянов проявлял жадный интерес к истории России, а у Глебова была ностальгия по прошлым временам. Глебов дорожил обществом своего нового друга, а тот стал приводить на встречи с ним других людей, симпатизировавших Глебову и жаждавших с ним поближе познакомиться. Это были либо доверенные лица НКВД, либо оперативные

сотрудники. Каждую из таких встреч организовывал Маклярский, лично руководивший агентом Демьяновым.

Александр Демьянов действительно принадлежал к знатному роду: его прадед Галоватый был первым атаманом кубанского казачества, а отец, офицер царской армии, пал смертью храбрых в 1915 году. Дядя Демьянова, младший брат его отца, был начальником контрразведки белогвардейцев на Северном Кавказе. Схваченный чекистами, он скончался от тифа по пути в Москву. Мать Александра, выпускница Бестужевских курсов, признанная красавица в Санкт-Петербурге, пользовалась широкой известностью в аристократических кругах бывшей столицы. Она получила и отвергла несколько приглашений эмигрировать во Францию. Ее лично знал генерал Улагай, один из лидеров белогвардейской эмиграции, активно сотрудничавший с немцами с 1941 по 1945 год. Детство самого Александра было омрачено картинами террора – как белого, так и красного, – которые ему пришлось наблюдать во время гражданской войны, когда его дядя сражался под командованием Улагая.

После того, как мать отказалась эмигрировать, они возвратились в Петроград, где Демьянов работал электриком: его исключили из Политехнического, куда он поступил, умолчав о своем прошлом (получить высшее техническое образование ему в то время было невозможно из-за непролетарского происхождения). В 1929 году ГПУ Ленинграда по доносу его друга Терновского арестовало Александра за незаконное хранение оружия и антисоветскую пропаганду. На самом деле пистолет был подброшен. В результате проведенной акции Александр был принужден к негласному сотрудничеству с ГПУ. Благодаря происхождению его нацелили на разработку связей оставшихся в СССР дворян с зарубежной белой эмиграцией и пресечение терактов. Кстати, в 1927 году Александр был свидетелем взрыва Дома политпросвещения белыми террористами в Ленинграде. Александр стал работать на нас, используя семейные связи.

Вскоре его перевели в Москву, где он получил место инженера-электрика на Мосфильме. В ту пору культурная жизнь столицы сосредоточилась вокруг киностудии. Приятная внешность и благородные манеры позволили Демьянову легко войти в компанию киноактеров, писателей, драматургов и поэтов. Свою комнату в коммунальной квартире в центре Москвы он делил с одним актером МХАТа. Нам удалось устроить для него довольно редкую по тем временам вещь – отныне в Манеже у него была своя лошадь! Естественно, что это обстоятельство расширило его контакты с дипломатами. Александр дружил с известным советским режиссером Михаилом Роммом и другими видными деятелями культуры. НКВД позволял элитной группе художественной интеллигенции и представителям бывшей аристократии вести светский образ жизни, ни в чем их не ограничивая, но часть этих людей была завербована, а за остальными велось тщательное наблюдение, с тем, чтобы использовать в будущем в случае надобности.

Демьянова «вели» Ильин и Маклярский. Он не использовался как мелкий осведомитель, в его задачу входило расширять круг знакомств среди иностранных дипломатов и журналистов – завсегдаятаев ипподрома и театральных премьер. Появление Демьянова в обществе актеров, писателей и режиссеров было столь

естественным, что ему легко удавалось заводить нужные связи. Он никогда не скрывал своего происхождения, и это можно было без труда проверить в эмигрантских кругах Парижа, Берлина и Белграда. В конце концов Демьяновым стали всерьез интересоваться сотрудники немецкого посольства и абвер.

В канун войны Александр сообщил, что сотрудник торгового представительства Германии в Москве как бы вскользь упомянул несколько фамилий людей, близких к семье Демьяновых до революции. Проинструктированный соответствующим образом Ильиным Демьянов не проявил к словам немца никакого интереса: речь шла о явной попытке начать его вербовку, а в этих случаях не следовало показывать излишнюю заинтересованность. Возможно, с этого момента он фигурировал в оперативных учетах немецкой разведки под каким-то кодовым именем. Позднее, как видно из воспоминаний Гелена, шефа разведки генштаба сухопутных войск, ему было присвоено имя «Макс».

Первый контакт с немецкой разведкой в Москве коренным образом изменил его судьбу: отныне в его агентурном деле появилась специальная пометка, поставленная Маклярским. Это означало, что в случае войны с немцами Демьянов мог стать одной из главных фигур, которой заинтересуются немецкие спецслужбы. К началу войны агентурный стаж Александра насчитывал почти десять лет. Причем речь шла о серьезных контрразведывательных операциях, когда ему приходилось контактировать с людьми, не думавшими скрывать свои антисоветские убеждения. В самом начале войны Александр записался добровольцем в кавалерийскую часть, но ему была уготована другая судьба: он стал одним из наиболее ценных агентов, переданных в мое распоряжение для выполнения спецзаданий. В июле 1941 года Горлинский, начальник Секретно-политического управления НКВД, и я обратились к Берии за разрешением использовать Демьянова вместе с Глебовым для проведения в тылу противника операции «Монастырь». Для придания достоверности операции «Монастырь» в ней были задействованы поэт Садовский, скульптор Сидоров, которые в свое время учились в Германии и были известны немецким спецслужбам, их квартиры в Москве использовались для конспиративных связей.

Как я уже упоминал, наш замысел сводился к тому, чтобы создать активную прогерманскую подпольную организацию «Престол», которая могла бы предложить немецкому верховному командованию свою помощь при условии, что ее руководители получат соответствующие посты в новой антибольшевистской администрации на захваченной территории. Мы надеялись таким образом выявить немецких агентов и проникнуть в разведсеть немцев в Советском Союзе. Агентурные дела «Престол» и «Монастырь» быстро разбухали, превращаясь в многотомные. Несмотря на то, что эти операции были инициированы и одобрены Берией, Меркуловым, Богданом Кобуловым и другими, впоследствии репрессированными высокопоставленными сотрудниками органов госбезопасности, они остаются классическим примером работы высокого уровня профессионализма, вошли в учебники и преподаются в спецшколах, разумеется, без ссылок на действительные имена задействованных в этой операции агентов и оперативных работников.

Радиоигра, планировавшаяся вначале как средство выявления лиц,

сотрудничавших с немцами, фактически переросла в противоборство между НКВД и абвером.

После тщательной подготовки Демьянов («Гейне») перешел в декабре 1941 года линию фронта в качестве эмиссара антисоветской и пронемецкой организации «Престал». Немецкая фронтовая группа абвера отнеслась к перебежчику с явным недоверием. Больше всего немцев интересовало, как ему удалось пройти на лыжах по заминированному полю. Александр сам не подозревал об опасности и чудом уцелел. Его долго допрашивали, требовали сообщить о дислокации войск на линии фронта, затем инсценировали расстрел, чтобы заставить под страхом смерти признаться в сотрудничестве с советской разведкой. Ничего не добившись, Александра перевели в Смоленск. Там его допрашивали офицеры абвера из штаба «Валли». Недоверие стало постепенно рассеиваться. Демьянову поверили после того, как навели о нем справки в среде русской эмиграции, и убедились, что он не вовлекался до войны в разведывательные операции, проводившиеся ОГПУ-НКВД через русских эмигрантов. Немцам было известно, что русская эмиграция наспигована агентами НКВД, действовавшими весьма эффективно: многие эмигранты охотно сотрудничали с нами из патриотических соображений и чувства вины перед Родиной. Это позволяло сводить на нет все попытки белой эмиграции проводить теракты и организовывать диверсии. Кроме того, выяснилось, что перед войной агенты абвера вступали с ним в контакт, разрабатывали его в качестве источника и в берлинском досье он фигурировал под кодовым именем «Макс». Абвер сделал ставку на «Макса».

Александр прошел курс обучения в школе абвера. Единственной трудностью для него было скрывать, что он умеет работать на рации и знает шифровальное дело. Немцы были буквально в восторге, что завербовали столь способного агента. Это облегчало и нашу работу, так как он мог быть заброшен к нам в тыл без радиста.

Теперь немцы поставили перед Демьяновым («Максом») конкретные задачи: он должен был осесть в Москве и создать, используя свою организацию и связи, агентурную сеть с целью проникновения в штабы Красной Армии. В его задачи входила также организация диверсий на железных дорогах.

В феврале 1942 года немцы забросили «Макса» на парашюте на нашу территорию вместе с двумя помощниками. Время для этого они выбрали неудачное: в снежном буряне все трое потеряли друг друга и добирались из-под Ярославля в Москву поодиночке. Александр связался с нами и быстро освоился с обязанностями резидента немецкой разведки. Оба помощника вскоре были арестованы. Немцы начали посылать курьеров для связи с «Максом». Большинство этих курьеров мы сделали двойными агентами, а некоторых арестовали. Всего мы задержали более пятидесяти агентов абвера, посланных на связь.

Александр как разведчик имел полную поддержку семьи, что было для нас большой удачей. Детали его разведывательной деятельности были известны его жене и тестю. Нарушая правила, мы пошли на это по простой и представлявшейся нам разумной причине. Заключалась она в следующем.

Его жена Татьяна Березанцова работала на Мосфильме ассистентом режиссера

и пользовалась большим авторитетом среди деятелей кино и театра. Тесть, профессор Березанцов, считался в московских академических кругах медицинским богом и был ведущим консультантом в кремлевских клиниках. Ему, одному из немногих специалистов такого уровня, разрешили частную практику. Березанцова хорошо знали и в дипкорпусе, что было для нас очень важно. В то время ему было за пятьдесят, высокообразованный, он прекрасно говорил на немецком (получил образование в Германии), французском и английском языках. Его квартира использовалась как явочная для подпольной организации «Престол», а позднее для контактов с немцами. НКВД понимало, что немцы легко могут проверить, кто проживает в этой квартире, и казалось естественным, что вся семья, корни которой уходили в прошлое царской России, может быть вовлечена в антисоветский заговор.

По моему предложению первая группа немецких агентов должна была оставаться на свободе в течение десяти дней, чтобы мы смогли проверить их явки и узнать, не имеют ли они связи еще с кем-то, кроме Александра («Макса»). Берия и Кобулов предупредили меня, что если в Москве эта группа устроит диверсию или теракт, мне не сносить головы.

Жена Александра растворила спецтаблетки в чае и водке, угостила немецких агентов у себя на квартире, и пока под действием снотворного они спали, наши эксперты успели обезвредить их ручные гранаты, боеприпасы и яды. Правда, часть боеприпасов имела дистанционное управление, но специалисты считали, что в общем эти агенты разоружены. Подобные операции на квартире Александра были весьма рискованным делом: «гости», как правило, отличались отменными физическими данными и несколько раз, несмотря на таблетки, неожиданно просыпались раньше времени.

Некоторым немецким курьерам, особенно выходцам из Прибалтики, мы позволяли возвратиться в штаб-квартиру абвера при условии, что они доложат об успешной деятельности немецкой агентурной сети в Москве.

В соответствии с разработанной нами легендой мы устроили Демьянова на должность младшего офицера связи в Генштаб Красной Армии. По мере того, как мы разрабатывали фиктивные источники информации для немцев среди бывших офицеров царской армии, служивших у маршала Шапошникова, вся операция превращалась в важный канал дезинформации. Радиоигра с абвером становилась все интенсивнее. В середине 1942 года радиотехническое обеспечение игры было поручено Фишеру-Абелю.

Демьянову между тем удалось создать впечатление, что его группа произвела диверсию на железной дороге под Горьким. Чтобы подтвердить диверсионный акт и упрочить репутацию Александра, мы организовали несколько сообщений в прессе о вредительстве на железнодорожном транспорте.

В немецких архивах операция «Монастырь» известна как «Дело агента «Макса»». В своих мемуарах «Служба» Гелен высоко оценивает роль агента «Макса» – главного источника стратегической военной информации о планах Советского Верховного Главнокомандования на протяжении наиболее трудных лет войны. Он даже упрекает командование вермахта за то, что оно проигнорировало

своевременные сообщения, переданные «Максом» по радиопередатчику из Москвы, о контрнаступлении советских войск. Надо отдать должное американским спецслужбам: они не поверили Гелену и в ряде публикаций прямо указали, что немецкая разведка попала на удочку НКВД. Гелен, однако, продолжал придерживаться своей точки зрения, согласно которой работа «Макса» являлась одним из наиболее впечатляющих примеров успешной деятельности абвера в годы войны.

Начальник разведки немецкой службы безопасности Вальтер Шелленберг в своих мемуарах утверждает, что ценная информация поступала от источника, близкого к Рокоссовскому. В то время «Макс» служил в штабе Рокоссовского офицером связи, а маршал командовал войсками Белорусского фронта. По словам Шелленберга, офицер из окружения Рокоссовского был настроен антисоветски и ненавидел Сталина за то, что подвергся репрессиям в 30-х годах и сидел два года в тюрьме.

Престиж «Макса» в глазах руководства абвера был действительно высоким – он получил от немцев «Железный крест с мечами». Мы, в свою очередь, наградили его орденом Красной Звезды.

Жена Александра и ее отец за риск при выполнении важнейших заданий были награждены медалями «За боевые заслуги».

Из материалов немецких архивов известно, что командование вермахта совершило несколько роковых ошибок – отчасти из-за того, что целиком полагалось на информацию абвера, полученную от источников из Советского Верховного Главнокомандования. Дезинформация, передаваемая «Гейне»-«Максом», готовилась в Оперативном управлении нашего Генштаба при участии одного из его руководителей, Штеменко, затем визировалась в Разведуправлении Генштаба и передавалась в НКВД, чтобы обеспечить ее получение убедительными обстоятельствами. По замыслу Штеменко, важные операции Красной Армии действительно осуществлялись в 1942–1943 годах там, где их «предсказывал» дня немцев «Гейне»-«Макс», но они имели отвлекающее, вспомогательное значение.

Дезинформация порой имела стратегическое значение. Так, 4 ноября 1942 года «Гейне»-«Макс» сообщил, что Красная Армия нанесет немцам удар 13 ноября не под Сталинградом, а на Северном Кавказе и под Ржевом. Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. Зато окружение группировки Паулюса под Сталинградом явилось для них полной неожиданностью.

Не подозревавший об этой радиоигре Жуков заплатил дорогую цену – в наступлении под Ржевом погибли тысячи и тысячи наших солдат, находившихся под его командованием. В своих мемуарах он признает, что исход этой наступательной операции был неудовлетворительным. Но он так никогда и не узнал, что немцы были предупреждены о нашем наступлении на ржевском направлении, поэтому бросили туда такое количество войск.

Дезинформация «Гейне»-«Макса», как следует из воспоминаний Гелена, способствовала также тому, что немцы неоднократно переносили сроки наступления на Курской дуге, а это было на руку Красной Армии.

Часть информации, которая шла в Берлин, возвращалась к нам от немцев. Вот как это было. В 1942–1943 годах непродолжительное время, до своего разоблачения, с нами сотрудничал полковник Шмит, один из руководителей шифровальной службы абвера. Он передал нашим людям во Франции разведывательные материалы, полученные абвером из Москвы. Мы проанализировали их, и выяснилось, что это была наша же дезинформация, переданная «Гейне»-«Максом».

Одну из шифровок мы получали трижды. Первый раз – из Франции через Шмита, в феврале 1943 года. Второй раз, в марте 1943 года, – от Энтони Бланта (кембриджская группа), служившего в английской разведке: он сообщил нашему резиденту в Лондоне Горскому, что у немцев в Москве есть важный источник информации в военных кругах. Третий раз – англичане через миссию связи нашей разведки в Лондоне передали в апреле 1943 года это же сообщение, будто бы перехваченное английской разведкой в Германии. На самом деле англичане получили эту информацию при помощи дешифровальной машины «Enigma» и представили нам в сильно урезанном виде, что ими практиковалось и в дальнейшем. Немецкое верховное командование использовало передававшуюся «Гейне»-«Максом» информацию для ориентации офицеров своих боевых частей на Балканах. Британская разведка перехватывала эти сообщения, посылавшиеся из Берлина на Балканы, так что мы в конце концов наши же данные получали от Бланта, Кэрнкросса и Филби. Это доказывало, что наша дезинформация работает. В Швейцарии британская спецслужба, как я уже упоминал, давала отредактированные тексты перехватов, дешифрованные с помощью «Enigm'bi», своему агенту, поддерживавшему контакт с Рёсслером, который, в свою очередь, передавал эту информацию «Красной капелле», откуда она поступала в Центр. Так мы имели две версии, рожденные первоначально нашей дезинформацией, переданной «Максом».

В феврале 1943 года мы получили из Лондона модифицированную версию сообщения Демьянова в Берлин вместе с указанием, что германская разведка имеет в военных кругах Москвы свой источник информации. Позднее через нашего резидента в Лондоне Чичаева британская спецслужба предупредила нас: есть основания полагать, что у немцев в Москве есть важный источник, через который просачивается военная информация. Мы поняли, что речь идет об Александре.

Следует отметить, что операция «Монастырь» с участием «Гейне»-«Макса» была задумана как чисто контрразведывательная. Действительно, когда он вернулся в Москву в 1942 году в качестве резидента немецкой разведки, мы с его помощью захватили более 50 агентов противника. Однако позднее операция приняла характер стратегической дезинформационной радиоигры.

Помимо операции «Монастырь», наша служба во время войны вела примерно восемьдесят радиоигр дезинформационного характера с абвером и гестапо.

В 1942–1943 годах нам окончательно удалось захватить инициативу в радиоиграх с немецкой разведкой. Обусловлено это было тем, что мы внедрили надежных агентов в абверовские школы диверсантов-разведчиков, забрасываемых в наши тылы под Смоленском, на Украине и в Белоруссии. Наша удачная операция по перехвату диверсантов зафиксирована в литературном деле «Школа». Перевербовав начальника паспортного бюро учебного центра в Катъни, мы получили установки

более чем на 200 немецких агентов, заброшенных в наши тылы. Все они были либо обезврежены, либо их принудили к сотрудничеству.

Потом начались бюрократические интриги между военной контрразведкой СМЕРШ, НКВД и руководством военной разведки. Возглавлявший СМЕРШ Абакумов неожиданно явился ко мне в кабинет и заявил, что по указанию Советского Верховного Главнокомандования мне надлежит передать ему все руководство по радиоиграм: этим делом должна заниматься военная контрразведка, которая находится в ведении Наркомата обороны, а не НКВД. Я согласился, но при условии, если будет приказ вышестоящего начальства. Через день такой приказ появился, за нами оставили две радиоигры: операция «Монастырь» и «Послушники» (еще одна радиоигра по дезинформации немцев). Абакумов остался крайне недоволен, поскольку знал, что результаты этих операций докладываются непосредственно Сталину.

Операция «Послушники» проводилась под прикрытием как бы существовавшего в Куйбышеве антисоветского религиозного подполья, поддерживаемого русской православной церковью в Москве. По легенде возглавлял это подполье епископ Ратмиров. Он работал под контролем Зои Рыбкиной в Калининне, когда город находился в руках немцев. При содействии епископа Ратмирова и митрополита Сергия нам удалось внедрить двух молодых офицеров НКВД в круг церковников, сотрудничавших с немцами на оккупированной территории. После освобождения города епископ переехал в Куйбышев. От его имени мы направили их из Куйбышева под видом послушников в Псковский монастырь с информацией к настоятелю, который сотрудничал с немецкими оккупантами. Оба послушника были известны немцам.

Немцы послали в Куйбышев радистов из числа русских военнопленных, которых нам быстро удалось завербовать. Тем временем два наших офицера-«послушника» развернули в монастыре кипучую деятельность. Среди церковных служителей было немало агентов НКВД, что облетало их работу. Немцы были уверены, что имеют в Куйбышеве сильную шпионскую базу. Регулярно поддерживая радиосвязь со своим разведбюро под Псковом, они постоянно получали от нас ложные сведения о переброске сырья и боеприпасов из Сибири на фронт. Располагая достоверной информацией от своих агентов, мы в то же время успешно противостояли попыткам псковских церковников, сотрудничавших с немцами, присвоить себе полномочия по руководству приходами православной церкви на оккупированной территории.

Подготовленные нами материалы о патриотической позиции русской православной церкви, ее консолидирующей роли в набиравшем силу антифашистском движении славянских народов на Балканах и неофициальные зондажные просьбы Рузвельта улучшить политическое и правовое положение православной церкви, переданные через Гарримана Сталину, очевидно, убедили его пойти навстречу союзникам и вести по отношению к церкви менее жесткую политику. Сталин сделал неожиданный шаг: разрешил провести выборы патриарха русской православной церкви.

Должность патриарха была упразднена еще Петром Первым, как только

церковные иерархи начали выступать против его реформ. Такое положение сохранялось почти двести лет, до 1917 года. После свержения монархии в России Временное правительство разрешило православной церкви провести выборы патриарха. Им стал Тихон. После его смерти советское правительство не разрешило выборы нового патриарха, и только во время Великой Отечественной Войны, когда Сталин осознал значение церкви для сплочения народа, в 1943 году, патриарх всея Руси был избран. Мы с женой присутствовали на церемонии интронизации.

По приказу Сталина епископ Ратмиров после войны был награжден золотыми часами и медалью.

После того как Абакумову не удалось подчинить себе радиоигры «Монастырь» и «Послушники», он угрожающе предостерег меня:

– Учтите, я этого не забуду. Я принял решение в будущем не иметь с вами никаких дел!

Сложной была в это время и конфронтация Абакумова с Берией. В течение всей войны наркомом обороны был Сталин. При нем военную контрразведку (СМЕРШ) передали из НКВД в ведение Наркомата обороны, и начальником СМЕРШ, по рекомендации Берии, утвердили Абакумова. Таким образом, занимая эту должность, Абакумов стал заместителем Сталина как наркома обороны, что значительно повышало его статус и давало прямой выход на Хозяина. Теперь он был фактически независим от Берии и превратился из подчиненного в его соперника. В 1943 году – без санкции Берии – Абакумов арестовал комиссара госбезопасности Ильина, опытного начальника третьего отдела Секретно-политического управления НКВД, ведавшего вопросами работы с творческой интеллигенцией. В соответствии с правилами, отмененными лишь при Горбачеве, никто не имел права арестовать высокопоставленное должностное лицо без согласия начальства. Бывали, правда, исключения, но каждый раз они рассматривались как ЧП. Ордер на арест подписывал прокурор, но на нем в левом нижнем углу обязательно должна была быть санкция непосредственного начальника того лица, которое подвергалось аресту: «Согласовано» – и подпись. Как я уже сказал, санкция Берии в данном случае отсутствовала.

Мягкий, с профессорскими манерами, Ильин пользовался в НКВД большим уважением. В течение пяти лет, до того как началась операция «Монастырь», он «вел» Демьянова и также участвовал в этой радиоигре с немцами на ее начальной стадии. В 1937–1938 годах он избежал ареста, хотя и был старшим оперативным работником, поскольку в то время отвечал за работу с меньшевиками, уже не представлявшими интереса для Сталина. В конце 1938 года Берия направил его в Орел и Ростов для расследования дела о так называемых троцкистских диверсиях на железных дорогах. Считалось, что заговорщики проникли в ряды местных руководителей советских и партийных органов. Он вернулся в Москву, потрясенный примитивностью ложных обвинений, с которыми ему пришлось столкнуться, и доложил начальству: орловское и ростовское УНКВД попросту сфабриковали дела, с тем, чтобы упрочить собственное положение и укрепить свою репутацию. После его представления дело было пересмотрено, а Ильин получил назначение на должность начальника третьего отдела Секретно-политического управления НКВД, что

позволило ему добиться ареста двух важных осведомителей, снабжавших нас заведомо ложной информацией о якобы антисоветских настроениях среди ответственных работников.

Ильин вызвал осведомителей в Москву и приказал им представить подробные данные по делам двух подозреваемых. Получив их информацию, он убедился, что они за годы репрессий прекрасно научились искусству клеветы на тех, кого разрабатывали. Осведомителей-фальсификаторов арестовали и приговорили к десяти годам лагерей, а Ильин получил награду – знак «Почетный чекист». Учитывая личные контакты Ильина с такими писателями как Алексей Толстой и прославленными музыкантами и композиторами, его часто принимал у себя Берия. Ильин также был в дружеских отношениях с Меркуловым.

И вот в 1943 году служба Ильина в органах закончилась из-за конфликта с Абакумовым. Еще во время гражданской войны Ильин подружился с Теплинским, с которым они вместе служили в кавалерийской части. Позднее Ильин начал работать в ОГПУ, а Теплинский перешел в авиацию и сделал неплохую карьеру: в 1943 году он был генерал-майором и получил назначение на должность начальника инспекции штаба ВВС.

Неожиданно повышение Теплинского по службе затормозилось: выяснилось, что против его нового назначения возражают органы. Тогда он обратился к Ильину, пытаясь выяснить, в чем дело. Тому удалось быстро узнать: единственная причина, заставившая госбезопасность отказать Теплинскому в доверии, заключалась в его присутствии на вечеринке в Военной академии в 1936 году, до ареста Тухачевского, где он якобы позволил себе с похвалой отозваться об офицерах и генералах, вскоре павших жертвами репрессий в армии. Ильин предостерег Теплинского, чтобы он был осторожнее в своих высказываниях, но свое предостережение сделал по телефону.

Абакумов тут же узнал об их разговоре и, возмущенный, потребовал от Берии, чтобы он отстранил Ильина от работы. Берия вместо этого поручил Меркулову ограничиться простым внушением, притом в дружеском тоне. К тому времени отношения между Абакумовым и Берией сильно испортились. Абакумов принял решение воспользоваться этой историей для того, чтобы скомпрометировать Берию и Меркулова. Он доложил Сталину, что комиссар госбезопасности Ильин срывает проводимую СМЕРШ оперативную проверку состава ВВС Красной Армии в связи с новыми назначениями. Все это приобретало особую важность, так как одна из причин, побудившая Сталина перевести СМЕРШ под свой личный контроль, заключалась в том, что он хотел исключить любое вмешательство бериевского НКВД в вопросы служебных передвижений в армии. Сталин приказал Абакумову немедленно арестовать Теплинского. Даже в годы войны Сталин по-прежнему стремился во что бы то ни стало лично контролировать работу возглавлявшихся им ведомств. В данном же случае речь шла об особо важном ведомстве – Наркомате обороны.

На допросе, проводившемся с пристрастием (Абакумов выбил ему два передних зуба в первую же ночь), Теплинский признался, что Ильин советовал ему, как лучше себя вести, чтобы не дать оснований для обвинения в симпатиях к врагам

народа. Кроме того, он также признал, что делился с Ильиным своими симпатиями к ряду высших офицеров, подвергшихся арестам в 1938 году. Неделью спустя Абакумов доложил о признаниях арестованного лично Сталину и получил от него санкцию на арест Ильина.

Явившись к Меркулову на Лубянку, Абакумов потребовал, чтобы вызвали Ильина; напомним, речь шла о руководящем работнике наркомата, комиссаре госбезопасности. И вот этого человека разоружают и сажают во внутреннюю тюрьму Лубянки. Хотя тюрьма и принадлежала НКВД, чекисты были лишены права допрашивать Ильина, поскольку он находился в ведении СМЕРШ. На следующий день Абакумов устроил очную ставку Теплинского с Ильиным. Теплинский, избитый накануне, повторил свои «признания»; Ильин, возмущившись, влепил ему пощечину, назвав его бабой.

Не найдя свидетелей для подтверждения показаний Теплинского, Абакумов оказался в сложном положении: ведь необходимо было заручиться показаниями двух свидетелей. Поскольку никто из окружения Теплинского в военных верхах даже не знал о существовании Ильина и не мог дать показания против него, найти второго свидетеля для обвинения представлялось проблематичным, а без этого нельзя было передавать дело для слушания в Военную коллегия. Ильина избивали, лишали сна, однако он не только отказывался признать себя виновным, но даже не подписывал протоколы допросов. Для оформления дела их необходимо было предъявить Сталину, чтобы он решил дальнейшую судьбу подсудимого, и Абакумов боялся предстать перед Сталиным без убедительного обвинительного заключения. Хотя Абакумов не смог доказать вину Ильина, тот по-прежнему оставался в тюрьме.

На допросы Ильина вызывали в течение четырех лет – с 1943 по 1947 год. Его держали в одиночной камере и периодически избивали, чтобы получить признания. Через четыре года на него махнули рукой, но еще целых пять лет он оставался в тюрьме, где в разное время его сокамерниками были министр авиационной промышленности Шахурин, маршал авиации Новиков и министр иностранных дел Румынии. Ильин никому не говорил, что он офицер-чекист. По его версии, он работал в техническом отделе киностудии документальных фильмов. Понимая, что является жертвой борьбы за власть, Ильин дал себе слово ни в чем не признаваться и лучше умереть, чем запятнать свою честь. Ему удавалось даже сохранять чувство юмора. Однажды он спросил у своего следователя, проводившего допрос:

– А что означает орденская ленточка у вас на груди?

Офицер ответил, что это орден Ленина Ильин. Тогда он заметил:

– Вот какая мне оказана честь – дело поручено человеку, награжденному орденом Ленина. Значит, мое дело очень важное!

В июле 1951 года Ильин был переведен в Матросскую тишину и помещен в специальный блок тюрьмы ЦК партии. Находившимися там подсудимыми занимался Комитет партийного контроля, который расследовал дела членов ЦК и офицеров госбезопасности. Начальник тюрьмы предупредил его о серьезных последствиях, если он не признает свою вину перед партией. Новый следователь, появившийся на очередном допросе в форме генерал-майора юстиции, был

заместитель военного прокурора Советского Союза Китаев. К безмерному удивлению Ильина, Китаев потребовал от него показаний о предательской деятельности Абакумова, в ответ Ильин попросил представить доказательства, что это не провокация. Охранник вывел его в коридор и подтолкнул к глазку камеры, где сидел заклятый враг Ильина Абакумов.

Тем не менее, Ильин отказался свидетельствовать против Абакумова, дальновидно рассудив, что Абакумов в свое время обо всем докладывал Сталину, и если он, Ильин, сейчас расскажет о сфабрикованных Абакумовым делах, то его могут обвинить в содействии этим преступлениям. Ильин дал показания, что в своей работе после 1933 года не имел с Абакумовым никаких контактов, лишь изредка встречал его на Лубянке, а также во время инспекционной поездки в Ростов в 1938 году. Китаев был неудовлетворен его заявлением и перевел Ильина обратно на Лубянку, где допросы тут же возобновились. Однако их тон сделался совершенно иным. Теперь его обвиняли в том, что он неправильно понимал свой служебный долг, поддерживая контакты и дружеские отношения с подозрительными людьми. Через полгода начальник Комендатуры Министерства госбезопасности (МГБ) генерал-майор Блохин объявил ему: за служебные упущения Особое совещание приговаривает Ильина к девяти годам тюремного заключения.

Срок заключения истек – Ильин отсидел девять лет. Перед освобождением ему предложили пройти в кабинет для оформления необходимых документов. Ильин рассказывал мне, что Блохин являлся не только начальником комендатуры, но отвечал и за приведение смертных приговоров в исполнение (в ряде случаев он сам приводил их в исполнение), поэтому, когда его вызвали к Блохину, перед ним за одну-две секунды мысленно прокрутилась вся его жизнь. Он был уверен, что сейчас, сию минуту, его поведут в комендатуру на расстрел. Однако его привели в обычный кабинет, где он дал подписку о неразглашении обстоятельств дела и условий содержания под стражей. Он получил справку об освобождении, временный паспорт и свою старую форму комиссара госбезопасности, теперь генерал-майора, без погон, которая за эти годы порядком обветшала.

Выпущенный на волю поздним вечером, без денег, Ильин решил найти убежище в приемной МГБ на Кузнецком мосту. Он знал, что война кончилась, но не знал, как она изменила жизнь людей: ему было неизвестно, что в стране произошла денежная реформа и в обращении совсем другие деньги. Он также не знал, где его семья и что с ней. Утром выяснилось, что его жена развелась с ним, так как не имела сведений о нем и считала, что он погиб. Она снова вышла замуж, и их дочь жила с ней.

Ильин попробовал связаться с Меркуловым, который стал министром Госконтроля. Он пришел в министерство, секретарь доложил Меркулову, а потом сказал, что фамилия Ильина министру ни о чем не говорит. Ему некуда было идти. Он снова вернулся в приемную МГБ и сделал попытку позвонить Шубнякову, бывшему своему заместителю.

Он не знал номер его телефона, и у него не было монеты, чтобы позвонить из автомата, поэтому он набрал свой старый номер, воспользовавшись внутренним телефоном в приемной МГБ. Ответил дежурный офицер, который узнал его и

разговаривал с ним с явной симпатией: репутация Ильина все еще оставалась высокой среди ветеранов НКВД. Оказалось, что Шубняков арестован в 1951 году, вслед за Абакумовым. Офицер из приемной МГБ одолжил Ильину пятьсот рублей (тогда это была довольно большая сумма) и посоветовал немедленно уехать из Москвы.

Ильин поехал в Рязань, где жил его двоюродный брат. Там он устроился на работу грузчиком на железнодорожной станции. О своем прибытии в город он сообщил в местное отделение госбезопасности на железной дороге, и через два месяца они помогли ему получить должность бригадира грузчиков. От него, правда, потребовали, чтобы он сказал своим товарищам по работе, что был осужден не по политической статье, а за растрату и другие должностные преступления, и обещали сделать соответствующую запись в трудовой книжке. Но Ильин отказался, опасаясь, что его могут обвинить в сокрытии своего прошлого. Так в возрасте сорока восьми лет он начал новую жизнь.

После смерти Сталина он подал на реабилитацию. Первое прошение было отклонено, но ему разрешили вернуться в Москву. Ильин устроился в транспортный отдел Моссовета. Реабилитировали его в 1954 году после расстрела Берии и моего ареста. В течение года ему отказывали в полной пенсии, положенной сотрудникам госбезопасности. Этому противился Серов, заявляя, что Ильин скомпрометирован связью с Теплинским, все еще отбывавшим срок как враг народа.

Через три дня после моего освобождения из тюрьмы в 1968 году Ильин навестил меня. Я узнал, что судьба вновь улыбнулась ему. В 1956 году его бывший куратор в ЦК стал заместителем заведующего отделом культуры ЦК партии. Ему нужен был честный и опытный администратор на пост орг-секретаря Московского отделения Союза писателей. Предшествующий опыт работы Ильина, в прошлом комиссара госбезопасности по вопросам культуры, делал его кандидатуру на этот пост вполне подходящей. К тому же его поддержали такие писатели как Федин и Симонов. Партийному руководству нужен был в Союзе писателей человек, который бы знал всех, включая и осведомителей. Ильин идеально соответствовал своей новой должности и работал в Союзе писателей до 1977 года. Умер он в 1990 году.

В 1944 году операция «Монастырь» начала развиваться в новом направлении. Накануне летнего наступления Красной Армии в Белоруссии Сталин вызвал начальника Разведупра Кузнецова, начальника военной контрразведки СМЕРШ Абакумова, наркома госбезопасности Меркулова и меня. Настроение у меня было приподнятым: наша работа шла успешно, и месяц назад нас с Эйтингоном наградили орденами Суворова за боевые операции в немецком тылу. Как правило, эта высокая награда давалась только командирам фронтовых частей за выигранные сражения, и тот факт, что на сей раз ее вручили офицерам госбезопасности, говорил о многом. Вот почему на встречу я шел с чувством уверенности, да и Меркулов был в отличном расположении духа как один из кураторов операции «Монастырь».

Однако Сталин принял нас весьма холодно. Он упрекнул за непонимание реальностей войны, спросил, как, на наш взгляд, можно использовать «Монастырь» и другие радиоигры для оказания помощи нашей армии в наступательных операциях, и предложил расширить рамки радиоигр, отметив, что старые приемы не

подходят к новой обстановке. Кузнецов предложил подбросить через «Гейне»-«Макса» новую информацию о якобы планировавшемся наступлении на Украине. Я не был готов к такому повороту разговора и абсолютно ничего не знал о планах Советского Верховного Главнокомандования. К тому же я помнил совет маршала Шапошникова никогда не вступать в дела, находящиеся за пределами твоей компетенции. Вот почему я молчал, когда Абакумов возобновил попытки подчинить операцию «Монастырь» СМЕРШ, заявляя, что его аппарат имеет с Генштабом более тесные связи, чем НКВД.

Сталин вызвал генерала Штеменко, начальника оперативного управления Генштаба, и тот зачитал приказ, подготовленный еще до нашего разговора. В соответствии с приказом, мы должны были ввести немецкое командование в заблуждение, создав впечатление активных действий остатков немецких войск, попавших в окружение в ходе нашего наступления, в тылу Красной Армии. Замысел Сталина заключался в том, чтобы обманном путем заставить немцев использовать свои ресурсы на поддержку этих частей и «помочь» им сделать серьезную попытку прорвать окружение. Размах и смелость предполагавшейся операции произвели на нас большое впечатление. Я испытывал подъем и одновременно тревогу: новое задание выходило за рамки прежних радиоигр с целью дезинформации противника.

19 августа 1944 года генеральный штаб немецких сухопутных войск получил посланное абвером сообщение «Макса» о том, что соединение под командованием подполковника Шерхорна численностью в 2500 человек блокировано Красной Армией в районе реки Березины. Так началась операция «Березино» – продолжение операции «Монастырь».

Операцию «Березино» разработал начальник третьего отдела 4-го управления полковник Маклярский, я поддержал идею операции. Планировалась заманчивая радиоигра с немецким верховным командованием. О ее замысле во исполнение указания Ставки было доложено лично Сталину, Молотову, Берии. Санкция на проведение операции была получена.

Для непосредственного руководства этой операцией на место событий в Белоруссию выехали Эйтингон, мой заместитель Маклярский, Фишер, Серебрянский и Мордвинов.

В действительности группы Шерхорна в тылу Красной Армии не существовало. Немецкое соединение под командованием этого офицера численностью в 1500 человек, защищавшее переправу на реке Березине, было нами разгромлено и взято в плен. Эйтингон, Маклярский, Фишер, Мордвинов, Гудимович и Т. Иванова при активном участии «Гейне»-«Макса» перевербовали Шерхорна и его радистов. В Белоруссию были отправлены бойцы и офицеры бригады особого назначения, вместе с ними прибыли немецкие антифашисты-коминтерновцы. В игре также участвовали немецкие военнопленные, завербованные советской разведкой. Таким образом, было создано впечатление о наличии реальной немецкой группировки в тылу Красной Армии. Так с 19 августа 1944 года по 5 мая 1945 года мы провели самую, пожалуй, успешную радиоигру с немецким верховным командованием. Однако оперативные работники, участвовавшие в операции «Березино», не были награждены ни тогда, ни в последующие годы, ни к 50-летию

Победы, хотя представлялись к награждению.

Немецкая служба безопасности и генеральный штаб германских сухопутных войск всерьез замыслили нарушить тыловые коммуникации Красной Армии, используя соединение Шерхорна. С этой целью Шерхорну в ответ на его просьбы о помощи были посланы специалисты по диверсиям и техника. При этом нам удалось захватить направленную на связь с Шерхорном группу боевиков-эсэсовцев.

Шерхорн посылал в Берлин отчеты о диверсиях в тылу Красной Армии, написанные Эйтинггом, Маклярским и Мордвиновым. «Макс» получил приказ из Берлина проверить достоверность сообщений Шерхорна о действиях в тылу Красной Армии – он их полностью подтвердил. Гитлер произвел Шерхорна в полковники и наградил «Рыцарским крестом», а Гудериан отправил личное поздравление. Шерхорну приказали прорваться через линию фронта и продвигаться в Польшу, а затем в Восточную Пруссию. Шерхорн потребовал, чтобы ему для обеспечения этой операции парашютом были сброшены польские проводники, сотрудничавшие с немцами. Берлин согласился, и в результате мы захватили польских агентов немецкой разведки. Гитлер, со своей стороны, планировал послать начальника службы спецопераций и диверсий Скорцени и его группу, но от этого плана немцам пришлось отказаться из-за ухудшения в апреле 1945 года военной ситуации на советско-германском фронте.

5 мая 1945 года, незадолго до завершения войны, командование вермахта и абвер в своей последней телеграмме рекомендовали Шерхорну действовать по обстоятельствам. «Максу» было приказано законсервировать источники информации и порвать контакты с немецкими офицерами и солдатами-окруженцами, которым грозило пленение, вернуться в Москву, затаиться и постараться сохранить свои связи. Шерхорна и его группу мы интернировали под Москвой, где они находились до тех пор, пока не были освобождены в начале 50-х годов.

Примечательно, что Гелен, возглавлявший после Канариса немецкую военную разведку, стремясь завоевать доверие американцев, предлагал «Макса» как надежный источник после войны. Однако разведка США отнеслась с недоверием к предложению Гелена.

Большая заслуга в проведении операций «Монастырь» и «Березино» принадлежит начальнику отделения Масся, который в 1945–1950 годах вместе с женой активно участвовал в разведывательной работе по атомной проблеме в США.

У меня созрел план использовать Шерхорна для вербовки немецкого адмирала Редера, командующего военно-морскими силами, отстраненного Гитлером от исполнения своих обязанностей в 1943 году. Будучи в плену, Редер находился в Москве. Позднее, по его просьбе, в Москву приехала его жена. Казалось, он настроен на сотрудничество с нами – в обмен на обещание не предъявлять ему обвинения как военному преступнику на Нюрнбергском процессе, хотя британская сторона и настаивала на привлечении его к суду за операции немецких подводных лодок против Британского флота и безоружных торговых судов.

Я поселил его с женой у себя на даче, но вскоре убедился, что мой план

воздействия на адмирала через Шерхорна нереален, поскольку они оказались несовместимы друг с другом. Более благотворно действовал на адмирала Серебрянский, который был на моей даче под домашним арестом как «военнопленный» (он играл роль немецкого бизнесмена). Серебрянскому удалось убедить адмирала, чтобы он возобновил в Германии свои знакомства и связи. Редеру, помнится, очень нравились прогулки вдоль Москвы-реки на трофейном лимузине «Хорьх» – именно такой был у него в Германии.

В конце 1945 года мы отправили Редера в Германию. Британская сторона продолжала настаивать на предании его суду как военного преступника. Насколько я помню, мы достигли соглашения с англичанами и американцами по этому вопросу. Редер, несколько других высших офицеров немецких ВМС и еще группа офицеров были переданы союзникам в обмен на бывшего царского генерала Краснова, командовавшего в гражданскую войну казачьим войском, а во вторую мировую служившего в штабе вермахта, и советских офицеров, сражавшихся в армии Власова. Шерхорн был также возвращен в Германию, и мои связи с этими людьми прервались.

После войны мы сделали попытку вновь задействовать Александра Демьянова («Гейне»-«Макса»), на сей раз в Париже, но вскоре выяснилось, что там эмигрантские круги не проявили к нему никакого интереса, и он вместе с женой возвратился в Москву. Больше ни в каких разведывательных операциях ни он, ни его жена не участвовали. Демьянов работал впоследствии инженером-электриком в одном научно-исследовательском институте. Умер он в 1975 году от разрыва сердца, катаясь на лодке по Москве-реке. Ему было шестьдесят четыре года.

И военная, и политическая разведка сыграли большую роль в подготовке и проведении нашей страной Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, совещаний и встреч министров иностранных дел государств антигитлеровской коалиции в 1943–1945 годах. Встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране и Ялте предшествовали неофициальные беседы, в которых участвовали Фитин и я с одной стороны и глава американской военной миссии в Москве генерал Дин, посол США Гарриман, советник английского посольства Робертс – с другой. Мы оговаривали возможные подходы к решению спорных вопросов: обмен разведывательной информацией, взаимная выдача провалившейся агентуры и захваченных немецких военных специалистов, деликатные проблемы возможного послевоенного урегулирования в странах Восточной Европы. Гарриман, в частности, не возражал против идеи создания коалиционного правительства в послевоенной Польше, предложенной Сталиным и Молотовым.

Эти последние встречи с представителями американской и английской разведки как бы подвели итоги сотрудничества спецслужб союзников в годы войны. Наиболее результативным оно оказалось в Афганистане, где резиденту нашей разведки Алахвердову удалось парализовать действия немецкой агентуры в приграничных районах. Совместно с англичанами была разгромлена агентурно-диверсионная сеть немецкой и японской разведки в Индии и Бирме. Высоко оценивая нашу поддержку действиям английской разведки в Индии и Бирме, англичане, в свою очередь, выдали нам многих прогерманских агентов в Афганистане и Средней Азии,

завербованных немцами для действий в нашем тылу.

Дальше общих рассуждений о совместных диверсионных операциях против немцев в Западной Европе с английскими и американскими спецслужбами дело не пошло. Однако мы наладили деловой контакт с сотрудниками английской разведки, действовавшими при штабе маршала Тито в Югославии. Подполковник Квашнин установил хорошие личные отношения с сыном Черчилля Рэндольфом и оказал большую помощь английским офицерам в выходе из немецкого окружения. Полученная от Квашнина информация имела важное значение в оценке намерений английских правящих кругов и в их послевоенной политике в Югославии.

Американские деловые круги проявляли интерес к возможным формам решения еврейского вопроса, предлагая финансовую помощь в восстановлении районов Гомеля в черте так называемой «еврейской оседлости» и Крыма, где предполагалось создать еврейскую республику. В неофициальных беседах с Гарриманом, проходивших в ресторане «Арагви» и записывавшихся на магнитофон, в качестве моего переводчика выступал наш агент влияния князь Януш Радзивилл, компаньон семьи Гарриманов по финансовым операциям в Польше и странах Восточной Европы. Он вновь был арестован НКВД в Польше в январе 1945 года.

Накануне Ялтинской конференции под председательством вначале Голикова, а затем Берии, состоялось самое длительное за всю войну совещание руководителей разведки Наркомата обороны, Военно-Морского Флота и НКВД – НКГБ. Главный вопрос – оценка потенциальных возможностей германских вооруженных сил к дальнейшему сопротивлению союзникам – был рассмотрен в течение двух дней. Наши прогнозы о том, что война в Европе продлится не более трех месяцев ввиду нехватки у немцев топлива и боеприпасов, оказались правильными. Последний, третий день работы совещания был посвящен сопоставлению имевшихся материалов о политических целях и намерениях американцев и англичан на Ялтинской конференции. Все мы согласились с тем, что и Рузвельт, и Черчилль не смогут противодействовать линии нашей делегации на укрепление позиций СССР в Восточной Европе.

Мы исходили из достоверной информации о том, что американцы и англичане займут гибкую позицию и пойдут на уступки ввиду заинтересованности в быстрейшем вступлении Советского Союза в войну с Японией. Прогноз НКВД и военной разведки о низкой способности японцев противостоять мощным ударам наших подвижных соединений в обход укрепленных районов, построенных японцами вдоль советской границы, подтвердился в августе 1945 года. Однако мы не предвидели, несмотря на подробные данные о завершении работ по атомной бомбе, что американцы применят ядерное оружие против Японии.

Накануне Потсдамской конференции наши оценки были еще более оптимистичны. Берия и Голиков вообще не упоминали о перспективах социалистического развития Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии. Социалистический выбор как реальность для нас в странах Европы был более или менее ясен только для Югославии. Мы исходили из того, что Тито как руководитель государства и компартии опирался на реальную военную силу. В других же странах обстановка была иной. Вместе с тем, мы сходились на том, что наше военное

присутствие и симпатии к Советскому Союзу широких масс населения обеспечат стабильное пребывание у власти в Польше, Чехословакии и Венгрии правительств, которые будут ориентироваться на тесный союз и сотрудничество с нами.

Наши военно-политические рекомендации по Германии также были далеки от установок на строительство социализма в оккупированной нами зоне. Речь скорее шла о том, чтобы в будущей нейтральной, разоруженной навсегда Германии создать мощную, стабильную, ориентирующуюся на Россию прогрессивную группу в немецком руководстве.

Практическим результатом решений нашего совещания было также поручение заместителю начальника 1-го (разведывательного) управления НКГБ Короткову договориться с представителями разведслужб США и Англии о выдаче нам командного состава власовской армии, в частности, Жиленкова, в обмен на передачу англичанам и американцам интересовавших их немецких генералов и адмиралов: речь шла и о находившемся у нас в Москве в плену гросс-адмирале Редере.

Я остановился лишь на основных разведывательных операциях германо-советской войны, в вопросах оценки материалов разведки военно-политическим руководством Советского Союза. Нельзя не признать, что систематическое внимание к работе разведки стало уделяться под влиянием наших серьезных неудач в начале войны. До войны Сталин, оценивая поступавшие к нему материалы, больше полагался на собственное видение развития событий и интуицию. В ретроспективе очевидно, что наиболее существенные результаты были достигнуты нами не на основе реализации предвоенных агентурных позиций в Западной Европе и Германии, а в итоге акций, подготовленных и осуществленных уже в ходе войны. При этом залогом успеха в операциях по стратегической дезинформации противника было тесное взаимодействие органов военной разведки и НКВД и привлечение к ним квалифицированных специалистов высшего уровня из Генерального штаба. Все это способствовало тому, что материалы о таких операциях, к примеру, о радиоигре «Монастырь», используются ныне американскими и нашими спецслужбами в качестве учебных материалов.

Конечно, неправильно было бы представлять, что у нас были сплошные достижения. Абвер и гестапо нанесли разведорганам НКВД и Наркомата обороны серьезный урон. Помимо гибели ценных агентов и оперработников в Западной Европе в 1941–1943 годах, мы потеряли в результате действий немецкой контрразведки руководителей наших резидентур в Смоленске, Киеве, Одессе, Херсоне, Николаеве, основных крупнейших городах, оказавшихся в зоне оккупации. Среди погибших были видные сотрудники советской разведки: Каминский – один из создателей «Красной капеллы» в Германии, Кудря – резидент в Смоленске и Киеве, Молодцов – в Одессе, Лягин (накануне войны заместитель начальника разведуправления НКВД) – в Херсоне и Николаеве. О Каминском я писал – он при попытке ареста застрелился.

В 1942 году в Афганистане погиб Фридгуд, знаменитый вербовщик Григулевича. Он вместе с Алахвердовым проводил операцию по нейтрализации немецких агентов. Виктор Лягин, заброшенный в тыл врага, был схвачен немцами и расстрелян: никого не выдав, он отказался бежать, так как ему пришлось бы бросить

своего раненого радиста. Иван Кудря (его подготовкой занималась моя жена) проник в агентурную сеть абвера и передал важную информацию в Москву до того, как его предали. Владимир Молодцов был схвачен румынами. Суд над ним и его группой получил большую огласку. Об этом процессе писала вся румынская пресса. Когда его и членов группы приговорили к расстрелу, председатель суда предложил им подать апелляцию королю Румынии с просьбой о помиловании. Молодцов ответил: никогда не стану просить пощады у врага и не обратюсь с подобным прошением к главе иностранного государства, солдаты которого топчут нашу землю. По моему представлению Лягину, Молодцову, Кузнецову после войны было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. До своего ареста я заботился о том, чтобы их семьи регулярно получали помощь и поддержку по линии органов госбезопасности.

Оперативные работники З. Зарубина и А. Куприна лично заботились о семьях погибших чекистов в трудные военные и послевоенные годы. Мы помогали им одеждой, питанием, устройством детей на учебу.

К званию Героя Советского Союза были представлены офицеры-партизаны Морозов, Колесников, подпольщики Гефт, Гордиенко и многие другие. Не получили свои награды участники операции «Березино» и погибшие герои норвежского Сопротивления. Но наш святой долг воздать должное всем погибшим разведчикам, партизанам и антифашистам, тем, кто не был в должной мере отмечен в войну и послевоенные годы.

Окончание войны до сих пор живет в моей памяти как грандиозное событие, разом смывшее все мои сомнения относительно мудрости руководства страны. Героические и трагические события минувшего, людские потери и даже массовые репрессии – все это казалось оправданным перед лицом Великой Победы над Гитлером. Помню большой прием в Георгиевском зале Кремля, где я удостоился чести сидеть за одним столом с заместителем начальника Генштаба генералом Штеменко, начальником разведывательного управления НКВД Фитиным, начальником Разведуправления Генштаба генералом Ильичевым, начальником армейской разведки генерал-полковником Кузнецовым. Помню, как Сталин подошел к нашему столу, приветствуя Исакова, потерявшего ногу во время немецкой бомбежки в 1942 году на Кавказе, и произнес тост в его честь. Исаков не мог выйти перед такой аудиторией на костылях, и нас всех до глубины души растрогал сталинский жест. Мы чувствовали себя его детьми и наследниками. Подчеркнутое внимание Сталина к молодым генералам и адмиралам показывало, что будущее страны он связывал с нашим поколением.

Глава 7

Атомный шпионаж

В 1943 году всемирно известный физик Нильс Бор, бежавший из оккупированной немцами Дании в Швецию, попросил находившихся там видных ученых Елизавету Мейтнер и Альфвена проинформировать советских представителей и ученых, в частности, Капицу, о том, что его посетил немецкий физик Гейзенберг и сообщил: в Германии обсуждается вопрос о создании атомного оружия. Гейзенберг предложил международному научному сообществу отказаться от создания этого оружия, несмотря на нажим правительств. Не помню, Мейтнер или Альфвен встретились в Гетеборге с корреспондентом ТАСС и сотрудником нашей разведки Косым и сообщили ему, что Бор озабочен возможным созданием атомного оружия в гитлеровской Германии. Аналогичную информацию от Бора, еще до его бегства из Дании, получила английская разведка. Западные ученые высоко оценивали научный потенциал советских физиков, им были хорошо известны такие крупные ученые как Иоффе, Капица, и они искренне считали, что, предоставив информацию Советскому Союзу об атомных секретах и объединив усилия, можно обогнать немцев в создании атомной бомбы.

Еще в 1940 году советские ученые, узнав о ходивших в Западной Европе слухах о работе над сверхмощным оружием, предприняли первые шаги по выявлению возможности создания атомной бомбы. Однако они считали, что создание такого оружия возможно теоретически, но вряд ли осуществимо на практике в ближайшем будущем. Комиссия Академии наук по изучению проблем атомной энергии под председательством академика Хлопина, специалиста по радиохимии, тем не менее, рекомендовала правительству и научным учреждениям отслеживать научные публикации западных специалистов по этой проблеме. Хотя правительство не выделило средств на атомные исследования, начальник отделения научно-технической разведки НКВД Квасников направил ориентировку резидентурам в Скандинавии, Германии, Англии и США, обязав собирать всю информацию по разработке «сверхоружия» – урановой бомбы.

Большой успех в этом приоритетном направлении нашей разведывательной деятельности был достигнут после того, как мы направили в Вашингтон в качестве резидента Зарубина («Купер») – под прикрытием должности секретаря посольства «Зубилина» – вместе с женой Лизой, ветераном разведки.

Сталин принял Зарубина 12 октября 1941 года накануне его отъезда в Вашингтон. Тогда немцы находились под Москвой. Сталин сказал Зарубину, что его главная задача в будущем году заключается в нашем политическом воздействии на США через агентуру влияния.

До этого времени разведывательная работа по сбору политической информации в Америке была минимальной, поскольку мы не имели конфликтных интересов с США в геополитической сфере. Но в начале войны Кремль был сильно озабочен поступившими из США данными, что американские правительственные круги рассматривают вопрос о возможности признания правительства Керенского как

законной власти в России в случае поражения Советского Союза в войне с Германией, и советское руководство осознало важность и необходимость получения информации о намерениях американского правительства, так как участие США в войне против Гитлера приобретало большое значение.

Зарубин должен был создать масштабную и эффективную систему агентурной разведки не только для отслеживания событий, но и воздействия на них. Однако поступившие в Центр за полтора года материалы разведки из Англии, США, Скандинавии и Германии по разработке атомного оружия кардинально изменили направление наших усилий.

Менее чем за месяц до отъезда Зарубина британский дипломат Маклин, наш проверенный агент из кембриджской группы, работавший в то время под псевдонимом «Лист», сообщил документированные данные, что английское правительство уделяет серьезное внимание разработке бомбы невероятной разрушительной силы, основанной на действии атомной энергии.

С 1939 года я был куратором разведывательных операций, связанных с использованием знаменитой кембриджской группы, в том числе разработок по Филби и Маклину. В июле 1939 года я принял решение о возобновлении связи с Маклином, Филби, Берджесом, Кэрнкроссом и Блантом, хотя они могли быть раскрыты Александром Орловым, бежавшим на Запад.

Когда Франция потерпела поражение в июне 1940 года, Маклин, работавший в английском посольстве во Франции, вернулся в Лондон в министерство иностранных дел. В Лондоне он действовал под оперативным руководством резидента Горского (один из его псевдонимов – «Вадим»).

16 сентября 1941 года британский военный кабинет – так назывался кабинет министров во время войны – рассмотрел специальный доклад о создании в течение двух лет урановой бомбы. Проект по урановой бомбе получил название «Трубный сплав». На эти работы крупному британскому концерну «Империал кемикал индастриз» были ассигнованы громадные средства. Маклин передал нам шестидесятистраничный доклад британского военного кабинета с обсуждением этого проекта.

Другой наш источник – агент из «Империал кемикал индастриз» – сообщил, что руководство концерна рассматривает вопрос об атомной бомбе только в теоретическом плане. Одновременно нам стало известно, что Комитет начальников штабов Великобритании также принял решение о строительстве завода по созданию атомной бомбы. Наш резидент в Лондоне Горский срочно попросил Центр провести экспертизу направленных нам материалов.

Первоначально ученые дали по этим материалам отрицательное заключение. Поскольку наши ученые рассматривали вопрос об атомном оружии только как теоретическую возможность, мы не были удивлены тем, что информация по урановой бомбе носила противоречивый характер.

Наша разведывательная деятельность в США в то время была направлена на противодействие Германии и Японии. Хейфец, резидент в Сан-Франциско, пытался завербовать агентуру в США для последующего использования ее в Германии, но не

добился существенных результатов, поскольку имел связи в основном в еврейских общинах американского тихоокеанского побережья.

В задачи Хейфеца и Зарубина входила нейтрализация антисоветской деятельности белой эмиграции в США, представленной такими фигурами как Керенский, бывший премьер Временного правительства, и Чернов, лидер партии эсеров, высланный из России по указу Ленина в 1922 году.

Дело в том, что мы начали получать помощь по лендлизу, и было крайне важно создать в глазах американцев самое благоприятное впечатление о нашей стране, тем более что правительство Рузвельта очень болезненно реагировало на критику его связей с Советским Союзом, раздававшуюся в Конгрессе и на страницах газет. Мы стремились выявить, в какой мере эта критика инспирирована белой эмиграцией.

Однако все это отошло на второй план, когда Хейфец и наш оперативный работник Семенов сообщили, что американские власти намерены привлечь выдающихся ученых, в том числе лауреатов Нобелевской премии, к разработкам особо секретной проблемы, и на эти цели правительство выделяет двадцать процентов от общей суммы расходов на военнотехнические исследования. Хейфец сообщил также, что связанный с нелегальной сетью компартии США видный физик Оппенгеймер и его коллеги покидают Калифорнию и уезжают на новое место для проведения работ по созданию атомной бомбы.

До февраля 1942 года я занимал должность заместителя начальника зарубежной разведки и помню эти сообщения. Они содержали исключительно важную информацию, которая способствовала изменению нашего скептического отношения к атомной проблеме.

Решение американцев выделить такие крупные суммы на атомный проект в этот опасный для союзников период войны убедило нас, что он имеет жизненно важное значение и может быть фактически выполнен.

Первая встреча Хейфеца и Оппенгеймера произошла в декабре 1941 года в Сан-Франциско на собрании по сбору пожертвований в помощь беженцам и ветеранам гражданской войны в Испании. Хейфец посетил это собрание в качестве советского вице-консула. Он хорошо говорил на английском, немецком и французском языках и был незаурядной личностью. Еще в 30-е годы, будучи заместителем резидента в Италии, он заметил и начал первичную разработку Ферми и его молодого ученика Понтекорво, которые выделялись своими антифашистскими взглядами и могли стать источниками научно-технической информации.

Я познакомился с Хейфецом в 30-е годы, когда он приезжал в Москву, и сразу попал под его обаяние, которое сочеталось с высоким профессионализмом разведчика. Хейфец некоторое время работал секретарем Крупской. Его отец был одним из основателей компартии США, когда работал в Коминтерне. Находясь на нелегальном положении в Германии, Хейфец окончил Политехнический институт в Йене и получил диплом инженера. Хейфец как еврей рисковал в Германии головой, но его темная кожа позволила ему использовать фальшивые документы студента-беженца из Индии, обучающегося в Германии.

Хейфец вращался в различных кругах Сан-Франциско, пользовался большим

уважением коммунистов и левых (они называли его «мистер Браун»). Он рассказывал мне, что дважды встречался с Оппенгеймером и его женой на коктейле. К тому времени до Хейфеца уже доходили слухи о начале работ над сверхбомбой, но Москва все еще сомневалась в важности и неотложности атомной проблемы.

Тогда же Хейфец сообщил, что Оппенгеймер упомянул о секретном письме Альберта Эйнштейна президенту Рузвельту в 1939 году, в котором обращал его внимание на необходимость исследований для создания нового оружия в связи с угрозой фашизма.

Оппенгеймер был разочарован тем, что со стороны властей быстрой реакции на письмо Эйнштейна не последовало, и что работы разворачиваются медленно.

Опытный профессионал Хейфец прекрасно знал, как расположить к себе Оппенгеймера. Не могло быть и речи о том, чтобы предложить ему деньги, прибегнуть к угрозам или шантажу с использованием компрометирующих материалов. Благодаря личному обаянию он установил доверительные отношения с Оппенгеймером через его брата Фрэнка, обсуждая сложную ситуацию в связи с нападением японцев на Пёрл-Харбор и нависшую над миром угрозу фашизма.

В традиционном смысле слова Оппенгеймер, Ферми и Сцилард никогда не были нашими агентами. Это утверждал и Квасников, возглавлявший в 1947–1960 годах советскую научно-техническую разведку: «Ученых, работавших с нашей разведкой, агентами назвать было нельзя».

Информация Хейфеца имела исключительно важный характер. Центр поручил Семенову (кодовое имя «Твен») проверить сообщения, полученные от Хейфеца. Семенов должен был выявить главных ученых-специалистов, привлеченных к работе над сверхсекретным проектом, и определить конкретную роль каждого.

Семенов пришел в органы госбезопасности в 1937 году. Он один из немногих имел высшее техническое образование, и его послали учиться в США, в Массачусетский технологический институт, чтобы в дальнейшем использовать по линии научно-технической разведки. Он эффективно действовал как оперативный сотрудник под прямым руководством Овакимяна, который работал под прикрытием советской внешнеторговой фирмы «Амторг» в Нью-Йорке. Именно Семенову и его помощнику Курнакову удалось установить прочные контакты с близкими к Оппенгеймеру физиками из Лос-Аламоса, работавшими в 20—30-е годы в Советском Союзе и имевшими связи в русской и антифашистской эмиграции в США. Так стал регулярно действовать главный канал поступления информации по атомной бомбе. Это Семенов привлек к сотрудничеству супругов Коэнов, выполнявших роль курьеров. Лона Коэн передала нам в 1945 году важнейшие научные материалы по конструкции атомной бомбы.

Семенов, используя свои связи в Массачусетском технологическом институте, определил, кто из видных ученых участвует в так называемом Манхэттенском проекте по созданию атомной бомбы, и независимо от Хейфеца сообщил весной 1942 года, что не только ученые, но и американское правительство проявляют серьезный интерес к этой проблеме. Семенов сообщал также, что в проекте участвует известный специалист по взрывчатым веществам Кистяковский, украинец

по национальности.

Мы немедленно дали указание использовать агентуру среди русских эмигрантов для обеспечения подходов к Кистяковскому. Однако два наших важных агента в США – бывший генерал царской армии Яхонтов, женатый на сестре жены наркома госбезопасности СССР Меркулова, эмигрировавший в США после гражданской войны, и Сергей Курнаков, ветеран операций ГПУ по эмиграции в США, не смогли привлечь Кистяковского.

На связи у Семенова некоторое время находились супруги Юлиус и Этель Розенберга, привлеченные к сотрудничеству с нашей разведкой еще Овакимяном в 30-е годы. Научно-техническая информация Розенбергов не имела существенного значения – они со своими родственниками были страховочным звеном, далеким от основных операций. Позднее арест и суд над ними привлек внимание всего мира.

Семенову принадлежит, пожалуй, основная роль в создании канала поступления разведывательной информации по атомной бомбе, через который в 1941–1945 годах мы получили, как пишет Терлецкий в своих воспоминаниях, американские секретные отчеты, а также английские материалы с описанием основных экспериментов по определению параметров ядерных реакций, реакторов, различных типов урановых котлов, диффузионных разделительных установок, дневниковые записи по испытаниям атомной бомбы и тому подобное.

В марте 1942 года Маклин предоставил нам документальные данные об интенсивной работе по атомной проблеме в Англии. В том же году советская военная разведка привлекла к сотрудничеству Фукса.

Важные события произошли и в нашей стране. В мае 1942 года Сталин получил письмо от молодого ученого-физика, специалиста по ядерным реакциям, будущего академика Флерова, который обращал внимание на подозрительное отсутствие в зарубежной прессе с 1940 года открытых научных публикаций по урановой проблеме, а это, по его мнению, свидетельствовало о начале работ по созданию атомного оружия в Германии и других странах. Флеров предупреждал, что немцы могут первыми создать атомную бомбу. И мне (в то время я занимался организацией партизанского движения и сбором разведывательной информации по Германии и Японии) поручили выяснить все об атомных разработках в Германии.

Информация от агентуры, полученная в деловых и промышленных кругах Швеции, была противоречивой. В Германии и Скандинавии упорно циркулировали слухи о работах немцев над «сверхоружием», но никаких подробностей об этих работах мы не знали. Только после войны стало ясно, что под «сверхоружием» имелась в виду двухступенчатая ракета на основе модели Фау-2, которая могла бы достигнуть побережья США.

Информация по атомной бомбе, поступившая из США и Англии, совпадала. Она подтвердилась, когда мы получили сообщение о возможности создания атомной бомбы со слов видного физика-ядерщика Елизаветы Мейтнер. Мейтнер была в поле зрения нашей разведки с тех пор, когда в 1938 году встал вопрос о возможности ее приезда в Советский Союз для работы. Потом ей пришлось бежать из фашистской Германии в Швецию, где Нильс Бор помог ей устроиться на работу в Физический

институт Академии наук. Агентов-женщин, вышедших на Мейтнер, инструктировала по указанию Берии заместитель резидента НКВД в Стокгольме Зоя Рыбкина.

В марте 1942 года Берия направил Сталину всю информацию, поступившую из США, Англии и Скандинавии. В письме он указывал, что в Америке и Англии ведутся научные работы по созданию атомного оружия.

В феврале 1943 года, когда британские спецслужбы провели диверсионную операцию в Веморке (Норвегия), где был завод тяжелой воды, необходимой для атомного реактора, Сталин поверил, что атомный проект приобретает реальное содержание. О подробностях диверсии нам сообщили наши источники в Норвегии, Филби и кембриджская группа из Лондона. Я не придавал особого значения этим сообщениям, потому что ущерб от нее показался мне незначительным, и был удивлен, когда Берия приказал мне взять на заметку эту операцию. Его, естественно, насторожило, что, несмотря на имевшуюся договоренность с англичанами о совместном использовании наших агентурных групп в Скандинавии, Западной Европе и Афганистане для проведения крупных операций по диверсиям и саботажу, англичане не просили нас о поддержке своего рейда в Веморке. Это говорило о том, что диверсионной операции в Норвегии англичане придавали особое значение.

До начала 1943 года у нас никаких практических работ в области создания атомной бомбы не велось. Еще до нападения немцев Государственная комиссия по военно-промышленным исследованиям отклонила предложения молодых физиков-ядерщиков Института физико-технических исследований в Харькове и немецкого ученого эмигранта Ланге начать работы по созданию сверхмощного взрывного устройства. Предложение было направлено в отдел изобретений Наркомата обороны, но его сочли преждевременным и не поддержали.

В марте 1942 года Берия предложил Сталину создать при Государственном Комитете Обороны научно-консультативную группу из видных ученых и ответственных работников для координации работ научных организаций по исследованию атомной энергии. Он также просил Сталина разрешить ознакомить наших видных ученых с информацией по атомной проблеме, полученной агентурным путем, для ее оценки. Сталин дал согласие и предложил, чтобы независимо друг от друга несколько ученых дали заключение по этому вопросу.

По проблеме создания в ближайшем будущем атомной бомбы высказались, с одной стороны, академик Иоффе и его молодой ученик профессор Курчатов, которых ознакомили с материалами разведки, с другой – академик Капица (его проинформировали устно о работах по атомной бомбе в США, Англии и Германии).

Иоффе привлекли к исследованиям по атомной энергии по совету академика Вернадского. Он был известен западным ученым, поскольку в 20—30-е годы совершил ознакомительные поездки в лаборатории Западной Европы и США. В 1934 году, находясь в Бельгии, Иоффе отклонил предложение уехать на работу в США, хотя в то время противоречия в наших научных кругах между физиками резко обострились.

Особенно остро конфликтовали московские и ленинградские ученые.

Непримиримую позицию к школе Иоффе занимали, в частности, и некоторые влиятельные профессора Московского университета. Это продолжалось не один год. (Я помню, как московский профессор сказал мне: «Павел Анатольевич, зачем вы консультируетесь у этих деятелей из Ленинградского физико-технического института? Это же банда!».) Иоффе оценил громадную важность информации об атомных исследованиях в Америке и поддержал необходимость начала работ по созданию советской атомной бомбы. В дальнейшем Иоффе сыграл видную роль в улаживании конфликтов между учеными Московского университета и Академии наук, и он был одним из инициаторов создания вскоре после войны трех главных центров атомных исследований.

Капица считал, что проблема создания атомной бомбы бросает вызов современной физике, и ее решение возможно только совместными усилиями наших ученых и ученых США и Англии, где проводятся фундаментальные исследования по атомной энергии.

Мне рассказывали, что в октябре 1942 года Сталин на своей даче в Кунцеве принял только Вернадского и Иоффе. Вернадский, ссылаясь на неформальную договоренность крупнейших физиков мира о совместной работе, предложил Сталину обратиться к Нильсу Бору и другим ученым, эмигрировавшим в США, а также к американскому и английскому правительствам с просьбой поделиться с нами информацией и вместе проводить работы по атомной энергии. На это Сталин ответил, что ученые политически наивны, если думают, что западные правительства предоставят нам информацию по оружию, которое даст возможность в будущем господствовать над миром. Однако Сталин согласился, что официальный зондажный подход к западным специалистам от имени наших ученых может оказаться полезным.

После этой встречи, как мне позднее рассказывал Ванников, нарком боеприпасов, один из руководителей атомной программы, впервые руководство страны окончательно убедилось в реальной возможности создания атомного оружия, и Сталин так был заворожен мощным разрушительным потенциалом атомной бомбы, что в конце октября 1942 года предложил дать кодовое название плану нашего контрнаступления под Сталинградом – операция «Уран». Во всех идеях и предложениях у него всегда присутствовал этот внутренний мотив, непонятный собеседникам.

На основе информации из Лондона от источника в концерне «Империал кемикал индастриз», который играл важную роль в английском проекте «Трубный сплав», Сталин приказал Первухину, наркому химической промышленности, оказать самую серьезную поддержку ученым в работе по созданию атомного оружия.

Прошел год. Капица, проинформированный НКВД в 1943 году о начале работ в США и Германии над атомным оружием, несколько раз обращался к Сталину и Берии с предложениями пригласить Бора, чтобы тот возглавил нашу атомную программу. По согласованию с Молотовым он написал Бору письмо, в котором просил приехать его в Советский Союз, где ему гарантировались самые лучшие условия для работы. Когда Бор находился в Англии, его пригласили в советское посольство, где он встретился с резидентом НКВД Горским, действовавшим под

прикрытием должности советника посольства, но в ходе беседы Бор избегал обсуждать вопросы атомных исследований.

В конце января 1943 года была получена информация от Семенова («Твен»), что в декабре 1942 года в Чикаго Ферми осуществил первую цепную ядерную реакцию. Наш источник, насколько я помню, молодой Понтекорво, сообщил о феноменальном успехе Ферми условной фразой: «Итальянский мореплаватель достиг Нового Света». Однако эта информация носила самый общий характер, и спустя несколько месяцев Курчатов запросил дополнительные материалы о первой ядерной реакции.

В это же время Барковский передал из Лондона закрытые научные труды западных ученых по атомной энергии за 1940–1942 годы. Эти первые научные материалы подтвердили, что западные ученые достигли большого прогресса в создании атомной бомбы.

Таким образом, мы располагали не только устными сообщениями, но и протоколами обсуждения перспектив использования атомной энергии для создания сверхмощного оружия на заседаниях английского военного кабинета.

В 1943 году резидентом в Мехико был назначен Василевский. Он вполне подходил для этой работы: у него был опыт войны в Испании, где он командовал диверсионным партизанским отрядом; он успешно выполнил агентурные операции в 1939–1941 годах в Париже; он адаптировался к жизни на Западе, был всегда хорошо одет, подтянут, владел французским и испанским языками, обладал незаурядными способностями располагать к себе людей и привлекать к сотрудничеству под удобным предлогом. Василевскому удалось восстановить связи с агентурой в США и Мексике, привлеченной Эйтингоном и Григулевичем для проведения операции по ликвидации Троцкого.

В 1939–1941 годах во время пребывания в США Эйтингону было предоставлено чрезвычайное право вербовать и привлекать к сотрудничеству людей без санкции Центра, используя родственные связи. Василевскому эта агентура была известна, так как он был одним из активных участников операции в Мексике. Перед отъездом в Мексику он получил специальное разрешение на использование этих людей. Через эти законсервированные на некоторое время каналы Василевский наладил связь с Понтекорво в Канаде и некоторыми специалистами Чикагской лаборатории Ферми, минуя нашу резидентуру в Нью-Йорке. Понтекорво сообщил Василевскому, что Ферми положительно отнесся к идее поделиться информацией по атомной энергии с учеными стран антигитлеровской коалиции.

11 февраля 1943 года Сталин подписал постановление правительства об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях. Возглавил это дело Молотов. Тогда же было принято решение ввиду важности атомной проблемы сделать ее приоритетной в деятельности разведки НКВД. Берия первоначально выступал в качестве заместителя Молотова и отвечал за вопросы обеспечения военных и ученых разведывательной информацией. Я помню, как он приказал мне познакомить Иоффе, Курчатова, Кикоина и Алиханова с научными материалами, полученными агентурным путем, без разглашения источников информации.

Кикоин, прочитав доклад о первой ядерной цепной реакции, был необычайно возбужден и, хотя я не сказал ему, кто осуществил ее, немедленно отреагировал: «Это работа Ферми. Он единственный в мире ученый, способный сотворить такое чудо». Я вынужден был показать им некоторые материалы в оригинале на английском языке. Чтобы не раскрывать конкретные источники информации, я закрыл ладонью ту часть документа, где стояли подписи и перечислялись источники. Ученые взволнованно сказали: «Послушайте, Павел Анатольевич, вы слишком наивны. Мы знаем, кто в мире физики на что способен. Вы дайте нам ваши материалы, а мы скажем, кто их авторы». Иоффе тут же по другим материалам назвал автора – Фриша. Я немедленно доложил об этом Берии и получил разрешение раскрывать Иоффе, Курчатову, Кикоину и Алиханову источники информации.

В апреле 1943 года в Академии наук СССР была создана специальная лаборатория № 2 по атомной проблеме, руководителем которой назначили Курчатова. Ему едва исполнилось сорок лет. Это было смелое решение. Но мы знали, что американский атомный проект возглавил 44-летний Оппенгеймер, не имевший звания лауреата Нобелевской премии. Наши физики старшего поколения не могли поверить, что Бор и Ферми работают в подчинении у Оппенгеймера. Уже в декабре 1943 года по прямому указанию Сталина Курчатов был избран действительным членом Академии наук.

Получив от НКВД доклад о первой цепной ядерной реакции, осуществленной Ферми, Курчатов обратился к Первухину с просьбой поручить разведывательным органам выяснить ряд важных вопросов о состоянии атомных исследований в США. В связи с этим была проведена реорганизация деятельности служб разведки Наркомата обороны и НКВД. В течение пяти лет, в 1940–1943 годах, научно-техническая разведка велась специальными подразделениями и отделениями Разведупра Красной Армии и Первого управления НКВД-НКГБ, заместителем начальника которого я был до февраля 1942 года. В 1944 году было принято решение, что координировать деятельность разведки по атомной проблеме будет НКВД. В связи с этим под моим началом была создана группа «С» (группа Судоплатова), которая позднее, в 1945 году, стала самостоятельным отделом «С». Помимо координации деятельности Разведупра и НКВД по сбору информации по атомной проблеме, на группу, а позднее отдел, были возложены функции реализации полученных данных внутри страны. Большую работу по обработке поступавшей научно-технической информации по атомной бомбе проводили сотрудники отдела «С» Зоя Зарубина, Земсков, Масся, Грознова, Покровский. Зарубина и Земсков, насколько я помню, под руководством Терлецкого перевели наиболее важные материалы по конструкции ядерных реакторов и самой атомной бомбы. К тому времени Зоя Зарубина имела большой опыт оперативной и переводческой работы, участвовала в мероприятиях Ялтинской и Потсдамской конференций союзников в 1945 году. Согласно решению правительства отдел «С» стал рабочим аппаратом бюро № 2 Спецкомитета правительства СССР по «проблеме № 1». Квалифицированные специалисты и ученые, работавшие в отделе, регулярно докладывали о получаемых разведывательных материалах на заседаниях комитета и научно-технического совета, который возглавлял нарком боеприпасов Ванников.

Курчатов и ученые его группы часто бывали у Берии, обсуждая вопросы организации работ в соответствии с получаемой от НКВД информацией. Фактически Курчатов и Иоффе поставили перед Сталиным вопрос о замене Молотова Берией в качестве руководителя всех работ по атомной проблеме.

Обычно после посещения кабинета Берии на Лубянке Курчатов, Кикоин, Алиханов и Иоффе поднимались ко мне, где мы обедали в комнате отдыха, после чего они углублялись в работу над документами, полученными из-за границы.

Наши ученые, чтобы ускорить научные работы по атомной энергии, были очень заинтересованы в регулярном ознакомлении с ходом этих работ в США. В письме от 7 марта 1943 года заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Первухину Курчатов писал:

«Получение данного материала имеет громадное, неопределимое значение для нашего государства и науки. Теперь мы имеем важные ориентиры для последующего научного исследования, они дают возможность нам миновать многие, весьма трудоемкие фазы разработки урановой проблемы и узнать о новых научных и технических путях ее разрешения».

Курчатов подчеркивал, что «вся совокупность сведений... указывает на техническую возможность решения всей проблемы в значительно более короткий срок, чем это думают наши ученые, не знакомые еще с ходом работ по этой проблеме за границей».

В другом письме от 22 марта 1943 года Курчатов сообщает, что внимательно рассмотрел последние работы американцев по трансураниевым элементам и установил новое направление в решении всей проблемы урана. «До сих пор, – пишет Курчатов, – работы по трансураниевым элементам в нашей стране не проводились. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой дать указание разведывательным органам выяснить, что сделано в рассматриваемом направлении в Америке».

Наши источники информации и агентура в Англии и США добыли 286 секретных научных документов и закрытых публикаций по атомной энергии. В своих записках в марте-апреле 1943 года Курчатов назвал семь наиболее важных научных центров и 26 специалистов в США, получение информации от которых имело огромное значение. С точки зрения деятельности разведки это означало оперативную разработку американских ученых в качестве источников важной информации.

В феврале 1944 года состоялось первое совещание руководителей военной разведки и НКВД по атомной проблеме в кабинете Берии на Лубянке. От военных присутствовали Ильичев и Милынтейн, от НКВД – Фитин и Овакимян. Я был официально представлен как руководитель группы «С», координировавший усилия в этой области. С этого времени разведка Наркомата обороны регулярно направляла нам всю поступавшую информацию по атомной проблеме.

Должен признаться, я не был обрадован поручением Берии. Возглавляя работу группы «С» по координации добычи и реализации разведанных по атомной бомбе, я испытывал трудности, так как не имел технического образования, не говоря уже о

знаниях в области физики. Одновременно я руководил действиями диверсионных партизанских отрядов в тылу немецких армий, и это было моей основной обязанностью.

В 1944 году Хейфец вернулся в Москву и доложил мне и Берии свои впечатления о встречах с Оппенгеймером и другими известными учеными, занятыми в атомном проекте. Он сказал, что Оппенгеймер и его окружение глубоко озабочены тем, что немцы могут опередить Америку в создании атомной бомбы.

Выслушав доклад Хейфеца, Берия сказал, что настало время для более тесного сотрудничества органов безопасности с учеными. Чтобы улучшить отношения, снять подозрительность и критический настрой специалистов к органам НКВД, Берия предложил установить с Курчатовым, Кикоиным и Алихановым более доверительные, личные отношения. Я пригласил ученых к себе домой на обед. Однако это был не только гостеприимный жест: по приказанию Берии я и мои заместители – генералы Эйтингон и Сазыкин – как оперативные работники должны были оценить сильные и слабые стороны Курчатова, Алиханова и Кикоина. Мы вели себя с ними как друзья, доверенные лица, к которым они могли обратиться со своими повседневными заботами и просьбами.

Однажды вечером после работы над очередными материалами мы ужинали в комнате отдыха. На накрытом столе стояла бутылка лучшего армянского коньяка. Я вообще не переношу алкоголя, даже малая доза всегда вызывала у меня сильную головную боль, и мне казалось, что наши ведущие ученые по своему складу и напряженной умственной работе также не употребляют алкогольных напитков. Поэтому я предложил им по чайной ложке коньяку в чай. Они посмотрели на меня с изумлением, рассмеялись и налили себе потные рюмки, выпив за успех нашего общего дела.

В начале 1944 года Берия приказал направлять мне все агентурные материалы, разработки и сигналы, затрагивавшие лиц, занятых атомной проблемой, и их родственников. Вскоре я получил спецсообщение, что младший брат Кикоина по наивности поделился своими сомнениями о мудрости руководства с коллегой, а тот немедленно сообщил об этом оперативному работнику, у которого был на связи.

Когда я об этом проинформировал Берию, он приказал мне вызвать Кикоина и сказать ему, чтобы он воздействовал на своего брата. Я решил не вызывать Кикоина, поехал к нему в лабораторию и рассказал о «шалостях» его младшего брата. Кикоин обещал поговорить с ним. Их объяснение было зафиксировано оперативной техникой прослушивания, установленной в квартирах ведущих ученых-атомщиков.

Я был удивлен, что на следующий день Берия появился в лаборатории у Кикоина, чтобы окончательно развеять его опасения относительно брата. Он собрал всю тройку – Курчатова, Алиханова, Кикоина – и сказал в моем присутствии, что генерал Судоплатов придан им для того, чтобы оказывать полное содействие и помощь в работе; что они пользуются абсолютным доверием товарища Сталина и его личным. Вся информация, которая предоставляется им, должна помочь в выполнении задания советского правительства. Берия повторил: нет никаких причин волноваться за судьбу своих родственников или людей, которым они доверяют, – им

гарантирована абсолютная безопасность. Ученым будут созданы такие жизненные условия, которые дадут возможность сконцентрироваться только на решении вопросов, имеющих стратегически важное значение для государства.

По указанию Берии все ученые, задействованные в советском атомном проекте, были обеспечены приличным жильем, дачами, пользовались спецмагазинами, где могли наравне с руководителями правительства покупать товары по особым карточкам; весь персонал атомного проекта был обеспечен специальным питанием и высококвалифицированной медицинской помощью. В это же время все личные дела ученых, специалистов и оперативных работников, напрямую участвовавших в проекте или в получении разведывательной информации по атомной проблеме, были переданы из управления кадров в секретариат Берии. Тогда же в секретариат Берии из американского отдела передали наиболее важные оперативные материалы по атомной энергии, добытые разведкой. Из дела оперативной разработки «Эноммоз» по атомной бомбе, до сих пор хранящегося в архиве службы внешней разведки, было изъято около двухсот страниц. В целях усиления режима безопасности без санкции Берии никто не имел доступа к этим материалам. Помню конфликт с заместителем Берии Завенягиным, который требовал ознакомить его с документами. Я отказал ему, и мы крепко поссорились; он получил доступ к материалам разведки только после разрешения Берии.

Большие административные способности Берии в решении атомной проблемы признают и участники нашей атомной программы, например, академик Харитон в своем интервью о создании атомной бомбы в журнале «Огонек» (1993 г.).

Когда мы получили данные о том, что американские власти уделяют особое внимание секретности своего атомного проекта, Эйтингон и я предложили использовать группы нелегалов в качестве курьеров и для работы с источниками информации: мы понимали, что американская контрразведка обратит внимание на связи Хейфеца с прокоммунистическими кругами, имеющими выход на специалистов Манхэттенского проекта. Получив соответствующую директиву Москвы, Зарубин приказал Хейфецу немедленно прекратить разведывательные операции с использованием активистов компартии.

Однако ряд активистов компартии продолжали действовать по собственной инициативе. В 1943 году, нарушив полученное от Зарубина указание, они, не зная о наших выходах на семью Оппенгеймера, обратились к нему с просьбой о предоставлении информации Советскому Союзу о работах в Лос-Аламосе. Оппенгеймер, опасавшийся раскрытия связей через жену и брата с нашими людьми, вынужден был поставить в известность американские спецслужбы об этой просьбе знакомого физика, связанного с компартией. Это привело к тому, что все связи с видными физиками, участвовавшими в работах по атомной бомбе, были переключены на канал нелегальной разведки и использование специальных курьеров, имевших безупречное прикрытие в глазах американской контрразведки.

В 1943–1944 годах мы использовали различные каналы подходов к американским атомным секретам. Нашими главными целями были лаборатории Лос-Аламоса, заводы Ок-Риджа и лаборатории по ядерным исследованиям в Беркли. Мы также пытались проникнуть в промышленные фирмы, выполнявшие заказы,

связанные с созданием атомного оружия.

В 1943 году известный актер, руководитель Московского еврейского театра Михоэлс, вместе с еврейским поэтом, нашим проверенным агентом, Фефером совершил длительную поездку в США как руководитель Еврейского антифашистского комитета. Оперативное обеспечение визита Михоэлса и разработку его связей в еврейских общинах осуществлял Хейфец.

Берия принял Михоэлса и Фефера накануне отъезда и дал им указание провести в США широкую пропаганду большой значимости вклада еврейского народа в развитие науки и культуры Советского Союза и убедить американское общественное мнение, что антисемитизм в СССР полностью ликвидирован вследствие сталинской национальной политики.

Зарубин и Хейфец через доверенных лиц информировали Оппенгеймера и Эйнштейна о положении евреев в СССР. По их сообщению, Оппенгеймер и Эйнштейн были глубоко тронуты тем, что в СССР евреям гарантировано безопасное и счастливое проживание. В это же время до Оппенгеймера и Эйнштейна дошли слухи о плане Сталина создать еврейскую автономную республику в Крыму после победы в войне с фашизмом.

Оппенгеймер и Ферми не знали, что уже в то время они фигурировали в наших оперативных материалах как источники информации под кодовыми именами «Директор резервации», «Вексель», «Заяц». Псевдоним «Вексель» использовался иногда и для источника обобщенных материалов, поступавших от ученых-физиков, участвовавших в американском атомном проекте. Насколько я помню, под общим псевдонимом «Стар» иногда фигурировали Оппенгеймер и Ферми. Еще раз повторяю – никто из них никогда не был нашим завербованным агентом разведки.

Жена известного скульптора Коненкова, наш проверенный агент, действовавшая под руководством Лизы Зарубиной, сблизилась с крупнейшими физиками Оппенгеймером и Эйнштейном в Принстоне. Она сумела очаровать ближайшее окружение Оппенгеймера. После того, как Оппенгеймер прервал связи с американской компартией, Коненкова под руководством Лизы Зарубиной и сотрудника нашей резидентуры в Нью-Йорке Пастельняка («Лука») постоянно влияла на Оппенгеймера и еще ранее уговорила его взять на работу специалистов, известных своими левыми убеждениями, на разработку которых уже были нацелены наши нелегалы и агентура Семенова.

Лиза Зарубина, жена Василия Зарубина, резидента в США, была выдающейся личностью. Обаятельная и общительная, она легко устанавливала дружеские связи в самых широких кругах. Элегантная женщина с чертами классической красоты, натура утонченная, она как магнит притягивала к себе людей. Лиза была одним из самых высококвалифицированных вербовщиков агентуры. Она привлекла к работе беженцев из Польши и одного из помощников Сциларда. Она нашла выход на Сциларда через одного его родственника в Москве, работавшего в специальной лаборатории НКВД по авиационной технике. Лиза прекрасно владела английским, немецким, французским и румынским языками. Она выглядела типичной представительницей Центральной Европы, но могла неузнаваемо менять свою

внешность и манеру поведения. Лиза состояла в родственных отношениях с Анной Паукер, видным деятелем румынской компартии. Старший брат Лизы руководил боевой организацией румынских коммунистов, и когда его судил военный трибунал, сумел дважды бежать из зала суда. В 1922 году он погиб в перестрелке.

Лиза стала сотрудником разведывательной службы еще в 1919 году. Одно время она работала в секретариате Дзержинского. Ее первым мужем был Блюмкин, застреливший в Москве в 1918 году немецкого посла графа Мирбаха. Блюмкин являлся ключевой фигурой в заговоре эсеров против Ленина в июле 1918 года. Когда мятеж эсеров провалился, Блюмкин явился с повинной, был прощен и продолжал работать в ЧК – ГПУ, выполняя задания Дзержинского и иногда Троцкого, с которым он также был знаком.

В 1929 году Блюмкин создал нелегальную резидентуру в Турции под видом торговой фирмы, используя финансовые средства, полученные от продажи хасидских древнееврейских рукописей, переданных ему из особых фондов Государственной библиотеки им. В.И. Ленина. Эти деньги предназначались для создания боевой диверсионной организации против англичан в Турции и на Ближнем Востоке. Однако Блюмкин передал часть средств Троцкому, который после высылки из СССР жил в Турции. Кроме того, он привез в Москву письмо Троцкого, адресованное Радену.

Лиза была потрясена этим. Она сообщила об этом руководству. Блюмкин был арестован, а позднее расстрелян.

Через несколько лет Лиза вышла замуж за Василия Зарубина, вернувшегося из Китая. Они были направлены на нелегальную работу в Европу по фальшивым документам – супружеская пара коммерсантов из Чехословакии. Семь лет Зарубины находились в различных странах Западной Европы, успешно провели ряд важных разведывательных операций, в том числе по вербовке сотрудника гестапо Лемана («Брайтенбах») и жены помощника министра иностранных дел Германии («Юна»), с которой Лиза поддерживала связь до мая 1941 года.

В 1941 году Лизе Зарубиной было присвоено звание капитана госбезопасности. В США она часто ездила в Калифорнию, где Хейфец ввел ее в круг людей, близких к семье Оппенгеймера. Благодаря связям Хейфеца Лиза получила все установочные данные на членов семьи и родственников Оппенгеймера, отличавшихся левыми взглядами. Хейфец организовал встречу Лизы с женой Оппенгеймера Кэтрин, которая симпатизировала Советскому Союзу, коммунистическим идеалам. Насколько я помню, Кэтрин Оппенгеймер не фигурировала в оперативных документах как источник информации, но мы работали через женщину, близкую к Оппенгеймеру, и, как мне кажется, этой женщиной была его жена.

Ветераны ЦРУ, работавшие у нас весной 1992 года над архивом ЦК КПСС, натолкнулись на материалы Коминтерна о связях Оппенгеймера с членами законспирированной ячейки компартии США. Они обнаружили также и запрос нашей разведки Димитрову, председателю Коминтерна, в июне 1943 года с просьбой предоставить данные для использования этих связей.

Лиза Зарубина и Хейфец через жену Оппенгеймера Кэтрин убедили

Оппенгеймера воздержаться от открытого высказывания взглядов в поддержку коммунистов и левых кругов, чтобы не привлекать внимания американских спецслужб. Они также уговорили Оппенгеймера поделиться информацией с учеными, бежавшими от преследований нацистов. Оппенгеймер согласился это сделать, а также допустить этих людей к научной работе в атомном проекте, если получит подтверждение их антифашистских взглядов.

Таким образом, Оппенгеймер, Ферми и Сцилард помогли нам внедрить надежные агентурные источники информации в Ок-Ридж, Лос-Аламос и чикагскую лабораторию. Насколько я помню, в США было четыре важных источника информации, которые передавали данные о работе лаборатории в наши резидентуры в Нью-Йорке и Вашингтоне. Они также поддерживали связи с нашей нелегальной резидентурой, использовавшей для прикрытия аптеку в Санта-Фе. Материалы, которые получал в Нью-Йорке Семенов, а позднее Яцков, поступали от Фукса и одного из наших глубоко законспирированных агентов через курьеров.

Одним из этих курьеров была Лона Коэн. Ее муж, Морис Коэн, был привлечен к сотрудничеству Семеновым. В 1939 году Морис женился на Лоне и также привлек ее к разведывательной работе. Сначала Лона отказывалась от сотрудничества, рассматривая его как измену, но Морис убедил ее, что они действуют во имя высшей справедливости, и что такого рода сотрудничество вовсе не является предательством. Центр дал согласие на ее работу, имея в виду, что в нелегальных операциях супружеские пары действуют наиболее эффективно.

Когда Мориса в июле 1942 года призвали на военную службу, было решено в качестве курьера использовать его жену. Яцков («Джонни»), сотрудник советского консульства в Нью-Йорке, принял Лону Коэн на связь от Семенова. Для прикрытия своих поездок в штат Нью-Мексико Лона посещала туберкулезный санаторий под предлогом профилактики. В 1992 году Яцков вспоминал о ней как о красивой молодой женщине. Вскоре после того, как в августе 1945 года атомные бомбы были сброшены на японские города, Лона совершила рискованную поездку в небольшой городок Альбукерке. Там ей должны были передать исключительно важные документы для московского Центра. Получив документы, Лона приехала на вокзал к самому отходу поезда с небольшим чемоданом, сумкой и ридикюлем. В условиях введенного в этом городке специального режима служба безопасности проверяла документы и багаж у всех пассажиров. И здесь Лона проявила высокий уровень профессиональной подготовки. Она поставила чемодан перед проверяющими и нервно перебирала содержимое своей сумки в поисках затерявшегося билета. Она передала ридикюль, где под салфетками лежал сверток с чертежами и детальным описанием первой в мире атомной бомбы, кондуктору вагона, который и держал его, пока она искала билет. Лона села в поезд уверенная, что кондуктор обязательно вернет ей ридикюль. Так и произошло. Когда Яцков встретил её в Нью-Йорке, она сказала ему, что все в порядке, но полиция почти держала эти материалы в своих руках. Этот эпизод впервые рассказан историком разведки Чиковым.

После ареста Юлиуса и Этель Розенбергов в 1950 году Коэнам удалось ускользнуть от американских властей. В Москве они прошли специальную подготовку как агенты-нелегалы. Получив от нашей службы новозеландские

паспорта на имя Питера и Хелен Крогер, Коэны осели в Лондоне. Они владели букинистическим магазином и в своем небольшом домике в предместье Лондона оказывали значительную помощь в радиосвязи резиденту КГБ Конону Молодому, действовавшему под именем Гордона Лонсдейла. Коэны были арестованы вместе с ним в 1961 году и приговорены английским судом к двадцати годам тюремного заключения, шесть лет провели в тюрьме, потом их обменяли. После своего освобождения они жили в Москве. Лона умерла в 1992 году, Морис пережил ее на три года.

Среди виднейших ученых, которых мы активно разрабатывали, используя их родственные связи и антифашистские настроения, был Георгий Гамов – русский физик, сбежавший в США в 1933 году из Брюсселя, где проходил международный съезд физиков. О возможном использовании Гамова и подходах к нему через его родственников в СССР, которые фактически являлись нашими заложниками, нас ориентировал академик Иоффе. Гамов имел широкие связи с американскими физиками и поддерживал дружеские отношения с Нильсом Бором. Мы поручили Лизе Зарубиной добиться его сотрудничества с нами. Лиза вышла на Гамова через его жену, тоже физика. Гамов преподавал в Джорджтаунском университете в Вашингтоне и, что особенно важно, руководил в Вашингтоне ежегодными семинарами по теоретической физике. Таким образом, он мог обсуждать с ведущими физиками мира последние, самые перспективные разработки.

Нам удалось воспользоваться широкими знакомствами, которыми располагал Гамов. Лиза Зарубина принудила жену Гамова к сотрудничеству в обмен на гарантии, что родственникам в Союзе будет оказана поддержка в трудные военные годы.

Мне помнится, что в некоторых случаях американские специалисты нарушали правила работы с секретными документами и показывали Гамову отчеты об опытах, консультировались у него. Нарушение режима работы с документами делалось по общему согласию ученых. Однако от Гамовых удаюсь получить в устной форме общие характеристики ученых, узнать их настроения, оценки реальной возможности создания атомной бомбы. Мне кажется, что между Бором, Ферми, Оппенгеймером и Сцилардом была неформальная договоренность делиться секретными разработками по атомному оружию с кругом ученых-антифашистов левых убеждений.

Другой источник информации в Теннесси, получавший сведения от Ферми и Понтекорво, был связан с нелегальной группой, также использовавшей как прикрытие аптеку в Санта-Фе, откуда материалы пересылались с курьером в Мексику. Насколько я помню, три человека – научные сотрудники и клерки – копировали наиболее важные документы, получая к ним доступ от Оппенгеймера, Ферми и Вейсконфа.

Аптека в Санта-Фе (штат Нью-Мексико) была для нелегальной резидентуры, созданной в США Эйтинггом и Григулевичем в операции против Троцкого, запасной явкой в 1940 году. Как я уже писал, Эйтингон и Григулевич получили тогда от Берии широкие полномочия вербовать агентов без санкции Центра. К 1940 году у Григулевича за плечами был большой опыт разведывательной работы. В 30-х годах в Литве он принимал участие в ликвидации провокаторов охраны, проникших в

литовский комсомол, затем участвовал в операциях против троцкистов за границей, воевал в Испании. Для действий в Латинской Америке у Григулевича было надежное прикрытие – сеть аптек в Аргентине, которой владел его отец.

В главе о Троцком я писал, что Эйтингон и Григулевич создали параллельную нелегальную сеть, которую можно было использовать в США и Мексике вне контактов с испанской эмиграцией в этих странах. Уезжая из Америки в 1941 году, Эйтингон и Григулевич аптеку оформили на одного из агентов их группы. Теперь эта сеть помогла выйти на интересующие нас источники информации по атомной проблеме.

Оппенгеймер предложил директору проекта генералу Гровсу пригласить для работы в Америке виднейших ученых Европы. Среди них был Нильс Бор. Бор ни в коей мере не был нашим агентом, но он оказал нам неоценимые услуги. После разговора с Мейтнер в 1943 году в Швеции он активно выступил за то, чтобы поделиться атомными секретами с международным антифашистским сообществом ученых. В формировании позиции Бора и Мейтнер огромную роль сыграла известная финская писательница Вуолийоки, видный агент нашей разведки. Вуолийоки приговорили в Финляндии за шпионаж в пользу СССР к смертной казни, но ее освободили под давлением общественности (один ее зять был заместителем министра иностранных дел Швеции, другой – одним из руководителей компартии Англии, Палм Датт), и она оказалась в Швеции.

Впоследствии нам удалось через Вуолийоки и Мейтнер найти подходы к Бору и устроить с ним встречу наших сотрудников Василевского и Терлецкого в ноябре 1945 года в Копенгагене.

В 1943 году, как пишет один из участников операции нашей разведки по атомной проблеме Феклисов в очерке «Героический подвиг Клауса Фукса» (Военно-исторический журнал, 1990, № 12; 1991, № 1), Оппенгеймер предложил включить Клауса Фукса в состав группы английских специалистов, прибывавшей в Лос-Аламос для участия в работе над атомной бомбой.

В 1933 году немецкий коммунист Фукс вынужден был искать убежище в Англии. Получив в Бристольском университете образование, он продолжал работать там как физик. В 1941 году Фукс сообщил о своем участии в атомных исследованиях видному деятелю коммунистического и рабочего движения Юргену Кучинскому. Кучинский проинформировал нашего посла в Англии Майского. Майский был в натянутых отношениях с резидентом НКВД в Лондоне Горским и поэтому поручил военному атташе Кремеру войти в контакт с Фуксом. Фукс сначала встречался с Урсулой Кучински («Соня»), агентом военной разведки, одним из организаторов сети «Красная капелла».

Фукс перед отъездом в США был проинструктирован об условиях возобновления связи с ним. В США Фукс должен был в общении с американскими коллегами подчеркнуть, что он единственный человек в группе английских специалистов, которому грозил немецкий концлагерь. По этой причине Фукс пользовался абсолютным доверием Оппенгеймера и по его указанию получил доступ к материалам, к которым не имел формально никакого отношения.

Оппенгеймеру приходилось вступать в острый конфликт с генералом Гровсом, который категорически возражал, чтобы до сведения английских ученых доводилась обобщенная информация по результатам исследований и экспериментов (нас информировал об этом Фукс).

Кстати, английские власти и разведка также поставили перед своими специалистами задачу по сбору всей информации по атомной бомбе, поскольку американцы не собирались делиться с ними атомными секретами.

Возможно, была еще одна причина, по которой Оппенгеймер пригласил Фукса в Лос-Аламос, а позднее – в Центр научных исследований в Принстоне. Может быть, Оппенгеймер знал, что Фукс не останется после войны в Америке. Я помню, что в агентурных материалах зафиксированы его слова: информация должна передаваться теми, кто по личным обстоятельствам покинет Лос-Аламос и страну после окончания работы по атомной бомбе. Кроме того, Оппенгеймер имел основания предполагать, что Фукс связан с коммунистами, и это тоже могло сыграть свою роль.

Лиза Зарубина восстановила связь с двумя глубоко законспирированными агентами, польскими евреями, на западном побережье. Они были легализованы Эйтингоном в начале 30-х годов во время его краткой нелегальной командировки в США. Первоначально планировалось, что эти агенты осядут в Калифорнии с целью организации диверсий на транспортных судах, вывозящих в Японию стратегическое сырье (уголь, нефть, металл), в случае военного конфликта между СССР и Японией. Более десяти лет эти агенты не привлекались к активным действиям.

Один из них был зубной врач (кодовое имя «Шахматист»), получивший французский медицинский диплом в конце 20-х годов. Его обучение оплатило ГПУ. Жене зубного врача удалось установить дружеские отношения с семьей Оппенгеймера. Так была создана конспиративная связь с семейством Оппенгеймера и его ближайшим окружением, выпавшая из поля зрения американской контрразведки. Насколько я помню, ФБР не знало и о конспиративных контактах Зарубиной. Только в 1946 году в связи с другими разоблачениями ФБР твердо установило, что Зарубина была сотрудницей советской разведки, но она уже находилась в Москве.

Таким образом, Семенов и Лиза Зарубина создали систему надежных связей, а Квасников и Яцков под руководством Овакимяна обеспечили бесперебойную передачу информации по атомному оружию на заключительном этапе работ в Лос-Аламосе в 1945 году.

Надо отметить, что ознакомление наших ученых с научными трудами разработчиков американского атомного оружия – Оппенгеймера, Ферми, Сциларда – имело важное значение для широкого развертывания у нас работ по атомной бомбе. Хочу подчеркнуть, что эта информация поступала к нам конспиративным путем с их ведома. Насколько я помню, так через «Роберта» и «Директора резервации», как именовался в нашей переписке Лос-Аламос, мы получили пять секретных обобщенных докладов о ходе работ по созданию атомной бомбы. Подобный материал был направлен не только нам, но и шведским ученым. По нашим разведданным, насколько я помню, шведское правительство располагало детальной

информацией по атомной бомбе в 1945–1946 годах. Шведы отказались от создания собственного ядерного оружия из-за колоссальных затрат. Но тот факт, что они имели достаточно данных, чтобы принять решение по этому вопросу, позволяет сделать вывод: шведы получали, как и мы, информацию по атомной бомбе, в частности, и от Бора после того, как он покинул Лос-Аламос.

Мы знали, что военные эксперты и специалисты по взрывчатым веществам играют ведущую роль в развитии работ по атомной бомбе в Америке. В свою очередь, и мы приняли решение, учитывая американский опыт, назначить крупного специалиста по производству взрывчатых веществ, видного организатора военной промышленности Ванникова ответственным за инженерное и административное обеспечение нашего атомного проекта. Ванников сыграл в работах по атомной бомбе в СССР ту же роль, что и генерал Гровс в США.

Мы были не только проинформированы о технических разработках американской атомной программы, но знали и о внутренних чисто человеческих конфликтах и соперничестве между учеными и специалистами, работавшими в Лос-Аламосе, о напряженных отношениях ученых с генералом Гровсом – директором проекта. В особенности мы отметили информацию о серьезных разногласиях генерала Гровса и Сциларда. Гровс был в ярости от академического стиля научной работы Сциларда и его отказа подчиняться режиму секретности и военной дисциплине. Борьба с генералом стала своеобразным хобби Сциларда. Гровс не доверял ему и считал рискованным его участие в проекте. Он даже пытался отстранить его от работы, несмотря на громадный вклад Сциларда в осуществление первой в мире цепной ядерной реакции урана.

Оппенгеймер, по словам Хейфеца, был человеком широкого мышления, который предвидел как колоссальные возможности, так и опасности использования атомной энергии в мирных и военных целях. Мы знали, что он останется влиятельной фигурой в Америке после войны, и поэтому нам необходимо было тщательно скрыть контакты с ним и его ближайшим окружением. Мы понимали, что подход к Оппенгеймеру и другим видным ученым должен базироваться на установлении дружеских связей, а не на агентурном сотрудничестве, и нашей задачей было использовать то обстоятельство, что Оппенгеймер, Бор и Ферми были убежденными противниками насилия. Они считали, что ядерную войну можно предотвратить путем создания баланса сил в мире на основе равного доступа сторон к секретам атомной энергии, что, по их мнению, могло коренным образом повлиять на мировую политику и изменить ход истории.

В разведывательной работе разграничение между полезными связями, знакомствами и доверительными отношениями весьма условно. В служебных документах употребляется специальный термин – агентурная разведка, что означает получение материалов на основе работы агентов и офицеров разведки, действующих под прикрытием какой-либо официальной должности. Однако ценнейшая информация зачастую поступает от источника, который не является агентом, взявшим на себя формальные обязательства по сотрудничеству с разведкой и получающим за это деньги. В оперативных документах этот источник информации все равно рассматривается в качестве агентурного, поскольку выход на него

базируется на контактах и связях с агентами или доверенными лицами из близкой к нему среды.

Я был поражен, что мировоззрение многих виднейших западных физиков и наших ученых совпадает. Как я уже писал, Вернадский в 1943 году вполне искренне предлагал Сталину просить американское и английское правительства поделиться с нами информацией об атомных исследованиях и вместе с западными учеными работать над созданием атомной бомбы. Таких же взглядов придерживались Иоффе, Капица, Нильс Бор.

Бор, очевидно, знавший об утечке информации к советским и шведским ученым, после бесед с Оппенгеймером встречался с президентом Рузвельтом и пытался убедить его в необходимости поделиться с русскими секретами Манхэттенского проекта, чтобы ускорить работы по созданию бомбы. Наши источники в Англии сообщили, что Бор не только делал это предложение президенту Рузвельту, но и, якобы по его поручению, вернулся в Англию и пытался убедить английское правительство в необходимости такого шага. Черчилль пришел в ужас от этого предложения и распорядился, чтобы были приняты меры для предотвращения контактов Бора с русскими.

Супруги Зарубины, несмотря на достигнутые результаты в работе, недолго прожили в Вашингтоне. И произошло это не по их вине и не из-за активности ФБР. Один из подчиненных Зарубина, сотрудник резидентуры НКВД в посольстве подполковник Миронов, направил письмо Сталину, в котором обвинял Зарубина в сотрудничестве с американскими спецслужбами. Миронов в письме указал – он следил за Зарубиным – даты и часы встреч Зарубина с агентами и источниками информации, назвав их контактами с представителями ФБР. Для проверки выдвинутых обвинений Зарубины были отозваны в Москву. Проверка заняла почти полгода. Было установлено, что все встречи санкционировались Центром и ценная информация, полученная Зарубиным, не бросала на него и тени подозрений в сотрудничестве с ФБР. Миронов был отозван из Вашингтона и арестован по обвинению в клевете. Однако когда он предстал перед судом, выяснилось, что он болен шизофренией. Его уволили со службы и поместили в больницу.

В 1943 году в Центре было принято решение строить контакты с учеными-атомщиками с использованием нелегальных каналов. Непосредственное руководство действиями нелегалов было возложено на нашего резидента в Мексике Василевского. После отъезда Зарубиных Василевский руководил сетью агентов из Мехико, иногда посещая Вашингтон, но долго там не задерживался, чтобы не привлекать внимания американской контрразведки. Было решено свести к минимуму использование опорных пунктов резидентуры в Вашингтоне.

Я вспоминаю, что Василевский рассказывал мне, как в 1944 году он приехал в Вашингтон и, в частности, должен был передать в Центр материалы, полученные от Ферми, но, к своему ужасу, узнал, что шифровальщик отсутствует. На следующий день американская полиция доставила шифровальщика в посольство, подобрав в одном из баров, где он напился до бесчувствия. Василевский немедленно принял решение не использовать посольство в Вашингтоне для передачи особо важных сообщений. В 1945 году за успешную работу по разработке линии Ферми в США

Василевский был назначен моим заместителем по отделу «С». Почти два года он возглавлял отдел научно-технической разведки в НКВД, а потом в Комитете информации – нашем центральном разведывательном ведомстве, существовавшем с 1947 по 1951 год. Василевский был уволен из органов безопасности в 1948 году – стал одной из первых жертв начавшейся антисемитской кампании. В апреле-июне 1953 года он начал вновь работать в аппарате, но его опять уволили – теперь уже по сокращению штатов как «подозрительного» человека. Умер Василевский в 1979 году.

Описание конструкции первой атомной бомбы стало известно нам в январе 1945 года. Наша резидентура в США сообщила, что американцам потребуется минимум один год и максимум пять лет для создания существенного арсенала атомного оружия. В этом сообщении также говорилось, что взрыв первых двух бомб, возможно, будет произведен через 2–3 месяца.

В это время наша разведка активизировалась, и мы получили значительную информацию о Манхэттенском проекте и о планах использования месторождений урановой руды в Бельгийском Конго, Чехословакии, Австралии и на острове Мадагаскар. Агентам военной разведки удалось проникнуть в канадскую фирму, создавшую специальную корпорацию по разработке урановой руды. Примерно в это же время сотрудничавший с нами начальник разведки чехословацкого правительства в Лондоне Моравец проинформировал нас, что английские и американские спецслужбы проявили большой интерес к разработке урановых месторождений в Судетских горах. Он получил доступ к материалам англо-чешских переговоров по вопросу эксплуатации месторождений урана в послевоенный период.

По мере приближения окончания войны в Советском Союзе начали предпринимать первые шаги по геологическому поиску урановой руды.

В феврале 1945 года нами была получена информация и захвачены немецкие документы о высококачественных запасах урана в районе Бухово – в Родопских горах. Мы обратились к Димитрову, в то время уже главе болгарского правительства, и болгарские власти оказали нам содействие в разработке месторождений урана. Было создано советско-болгарское горное общество, видную роль в котором играл Щорс – сотрудник нашей разведки, горный инженер по образованию.

Урановая руда из Бухово была нами использована при пуске первого атомного реактора. В Судетских горах в Чехословакии урановая руда оказалась более низкого качества, но тоже использовалась нами. Мы скрывали эти работы от американцев и англичан. Для координации наших разведывательных и контрразведывательных мероприятий в Чехословакию был направлен опытный работник разведки, бывший резидент в Италии Рогатнев.

Поставкам болгарского урана, ввиду более высокого его качества, уделялось исключительное внимание. Димитров лично следил за урановыми разработками. Мы направили в Болгарию более трехсот горных инженеров, срочно отозвав их из армии; район Бухово охранялся внутренними войсками НКВД. Однако вскоре через агентуру нам стало известно, что американские спецслужбы готовят диверсионные акты с целью сорвать поставки урана в Советский Союз и одновременно выявить

подлинный размах работ, чтобы определить сроки создания ядерного оружия в СССР. Американцы даже пытались организовать похищение Щорса. Мы приняли контрмеры: Эйтингон занялся перевербовкой американских разведчиков и их жен, задержанных при содействии нашей агентуры из местных турок вблизи урановых месторождений, но успеха не достиг.

Из Бухово поступало примерно полторы тонны урановой руды в неделю. Наша разведка обеспечила работавших на урановых рудниках американскими инструкциями и методикой по технике добычи урана и его учету.

В 1946 году в СССР были открыты и сразу же стали разрабатываться крупные месторождения урана более высокого качества. Однако интенсивные работы в Бухово продолжались: мы хотели создать у американцев впечатление, что болгарский уран нам крайне необходим. Подписанное Завенягиным, заместителем Берии, соглашение с правительством Болгарии о разработках и поставках урана, дезинформационные мероприятия, организованные Эйтингоном и группой офицеров, подтверждали важность для нас этих урановых разработок.

В марте 1945 года мы направили на имя Берии обобщенный доклад об успешном развитии работ в США по созданию атомной бомбы. В этом докладе детально описывались американские центры, в частности, лаборатория в Лос-Аламосе, заводы в Ок-Ридже, давалась подробная характеристика деятельности американской фирмы «Келекс», дочерней компании «Келлок» в Нью-Йорке, отмечались работы по атомной бомбе, проводимые крупнейшими фирмами США «Джоунс констракшн», «Дюпон», «Юнион карбайт», «Кемикл кампани» и другими. В докладе указывалось, что американское правительство затратило 2 миллиарда долларов на разработку и производство атомного оружия, и что в общей сложности в проекте занято более ста тридцати тысяч человек.

Кроме того, агентура сообщала о строго ограниченном круге лиц, которым было известно назначение проводимых работ; о допуске к таким данным правительственных чиновников только по личному разрешению президента США; о создании в рамках проекта собственной контрразведки, полиции и иных служб; об изъятии из библиотек США всех ранее открытых публикаций по исследованиям в области атомной энергии; о замене настоящих фамилий ученых и специалистов, имевших непосредственное отношение к работам в таких атомных центрах как Лос-Аламос, Ок-Ридж, Хэнфорд псевдонимами; о физической охране ответственных лиц, а также о других подобных мероприятиях.

В апреле 1945 года Курчатов получил от нас очень ценный материал по характеристикам ядерного взрывного устройства, методе активации атомной бомбы и электромагнитному методу разделения изотопов урана. Этот материал был настолько важен, что уже на следующий день органы разведки получили его оценку.

Курчатов направил Сталину доклад, построенный на основе разведанных, о перспективах использования атомной энергии и необходимости проведения широких мероприятий по созданию атомной бомбы.

Через 12 дней после сборки первой атомной бомбы в Лос-Аламосе мы получили описание ее устройства из Вашингтона и Нью-Йорка. Первая телеграмма

поступила в Центр 13 июня, вторая – 4 июля 1945 года. Кстати, пять лет спустя эти телеграммы, возможно, были расшифрованы американцами и послужили основанием для давления на Фукса, чтобы он признался в шпионаже. Я, однако, не могу полностью поверить в это, хотя подтверждаю, что источники, указанные в телеграммах, «Чарльз» и «Млад» – это Фукс и Понтекорво.

Мы доложили Берии, что два источника, не связанные друг с другом, сообщили о предстоящем испытании ядерного устройства.

После атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки наши работы по созданию атомной бомбы приобрели широкий размах. В это время мы получили из США особенно ценные материалы.

Детальный доклад Фукса («Чарльз») был доставлен диппочтой после того, как он встретился 19 сентября со своим курьером Гарри Голдом. Доклад содержал тридцать три страницы текста с описанием конструкции атомной бомбы. Позднее мы получили дополнительное сообщение по устройству атомной бомбы через каналы связи от Понтекорво («Млад»), которое передала Лона Коэн. Не помню, чье описание бомбы было более подробным. Но сходство было поразительным. Мне кажется, что в материалах содержалось подробное изложение главы доклада правительству и Конгрессу США по устройству атомной бомбы, которая по соображениям секретности была опущена в официальной публикации, – докладе комиссии Смита, опубликованном 12 августа 1945 года. Мы знали, что Оппенгеймер и генерал Гровс редактировали этот доклад. Фукс сообщил, что Оппенгеймер отказался подписать доклад, опубликованный комиссией, поскольку, как он считал, в нем была дезинформация, направленная на то, чтобы задержать атомные исследования в других странах.

Среди материалов, которые мы получили в сентябре-октябре 1945 года, были некоторые разделы доклада, не попавшие в отчет комиссии Смита, и фотографии помещений заводов в Ок-Ридже. Они были особенно ценными, поскольку мы также приступили к строительству предприятий и форсировали работы по созданию первого атомного реактора. Я припоминаю, что двенадцатистраничная справка-доклад, по устройству атомной бомбы, составленная Семеновым, была подписана Василевским и направлена Берии и Сталину. Этот документ фактически лег в основу программы всех работ на следующие 3–4 года.

Качество и объем информации, полученной от источников в США и Англии, были весьма важны для организации и развития нашей атомной программы. Подробные доклады, содержащие данные об эксплуатации первых атомных реакторов, спецификации по производству урановой и плутониевой бомбы, сыграли важную роль в ускорении наших работ. Ценными были данные о конструкции системы фокусирующих взрывных линз и размерах критической массы урана и плутония для взрыва ядерного устройства; о сформулированном Фуксом принципе имплозии – сфокусированном взрыве вовнутрь; данные о плутонии-240, детонаторном устройстве, времени и последовательности операций по производству и сборке бомбы и способе приведения в действие содержащегося в ней инициатора. Были получены данные о строительстве заводов по очистке и разделению изотопов урана, что значительно сокращало время на переработку урановой руды, а также

дневниковые записи о первом испытательном взрыве атомной бомбы в США в июле 1945 года.

После атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки Политбюро и ГКО (Государственный Комитет Оборона) 20 августа 1945 года приняли решение о кардинальной реорганизации работы по атомной энергии – проблеме № 1. Для этого был создан Спецкомитет правительства с чрезвычайными полномочиями. Берия как член Политбюро и заместитель председателя ГКО был назначен его председателем, Первухин – заместителем, генерал Махнёв – секретарем.

В комитет входили члены Политбюро – Маленков (секретарь ЦК ВКП(б) по кадрам), Вознесенский (председатель Госплана), академики Курчатов и Капица, нарком боеприпасов Ванников, заместитель наркома внутренних дел Завенягин. Рабочим аппаратом комитета было специально созданное 1-е главное управление при Совете Народных Комиссаров СССР. Начальником управления был назначен Ванников, Завенягин стал его первым заместителем. При Спецкомитете был научно-технический совет, его председатель – Ванников, заместитель председателя – Иоффе. Отдел «С», который я возглавлял в НКВД – НКГБ, был рабочим аппаратом так называемого 2-го бюро комитета.

Сталин предложил, чтобы Иоффе и Капица стали членами Спецкомитета по проблеме № 1. Однако Иоффе отказался, ссылаясь на свой преклонный возраст. Он сказал, что будет более полезен в научно-техническом совете.

Именно Иоффе рекомендовал назначить профессора Курчатова на должность научного руководителя атомной программы.

Участвуя в заседаниях Спецкомитета, я впервые осознал, какое важное значение имели личные отношения членов правительства, их амбиции в принятии важных государственных решений. Наркомы, члены этого комитета, стремились во что бы то ни стало утвердить свое положение и позиции. Очень часто возникали жаркие споры и нелюбезные объяснения. Берия выступал в качестве арбитра и добивался безусловного неукоснительного выполнения всех директив руководства.

Я поддерживал дружеские отношения и с Иоффе, и с Капицей. По предложению Берии я подарил Капице охотничье ружье. Капица как-то посетовал, что у него сохранился в плохом состоянии лишь один экземпляр книги о русских инженерах, написанный его тестем – академиком Крыловым, крупнейшим инженером-кораблестроителем. Я прибег к услугам специальной правительственной типографии – книгу напечатали в двух экземплярах на отличной бумаге. Капица послал один экземпляр Сталину, надеясь попасть к нему на прием.

Мне пришлось наблюдать растущее соперничество между Капицей и Курчатовым на заседаниях Спецкомитета. Капица был выдающейся личностью, прекрасным тактиком и стратегом, крупнейшим организатором науки. Часто научные выступления он комментировал с большим чувством юмора. Я помню, что одно заседание Спецкомитета в 1945 году проходило в часы трансляции из Лондона футбольного матча между нашей командой и английской. Члены Политбюро и правительства были шокированы, когда Капица предложил прервать заседание и

послушать матч. Возникла неловкая пауза, но Берия, ценивший юмор, к всеобщему изумлению, объявил перерыв. Напряжение спало. А затем настроение присутствующих поднялось, поскольку наша команда победила.

Капица, сыгравший важную роль в инициировании наших работ по атомной проблеме и установлении контактов с западными учеными, в частности, Терлецкого с Бором, естественно, претендовал на самостоятельное и руководящее положение в реализации атомного проекта.

Но вскоре отношения между Капицей, Берией и Вознесенским испортились. Капица предложил, чтобы Курчатов консультировался с ним по оценке результатов работ и выводов, прежде чем докладывать на заседаниях Спецкомитета. Первухин поддержал Капицу, но Берия и Вознесенский не согласились. Берия потребовал, чтобы Капица и Курчатов вносили в правительство альтернативные предложения. Более того, Берия предложил Капице на базе своего института продублировать ряд экспериментов Курчатова.

Капица был возмущен и утверждал, что такая переориентация его института будет означать фактическое свертывание работ по теоретической физике в Советском Союзе. Точно не помню, но, по-моему, месяц спустя, в октябре 1945 года, Капица обратился к Берии и Вознесенскому за объяснением, почему с ним не проконсультировались, когда принимали решение о создании новых учебных институтов по подготовке специалистов в области ядерной физики вне Академии наук – Инженерно-физического (МИФИ) и Физико-технического (МФТИ).

Капица написал Сталину, что Берия и Вознесенский не прислушиваются к мнению ученых, что только ученым можно доверить руководство атомным проектом. После неудачных попыток добиться от Сталина поддержки в этом конфликте Капица вскоре был выведен из состава Спецкомитета. Его оставили в покое, но лишили доступа к атомным разработкам.

Спецкомитет по атомной проблеме обладал чрезвычайными полномочиями по мобилизации сил любых ресурсов и резервов для создания атомной бомбы. На практике это означало, что когда в Сибири стали строиться заводы по переработке урановой руды, пришлось сильно ограничить электроснабжение ряда предприятий. Я вспоминаю яростные споры и нецензурную брань членов комитета Первухина и Вознесенского, когда обсуждался вопрос о том, за какими предприятиями сохранить в полном объеме потребление электроэнергии. Для меня было совершенно неожиданным, что Первухин, защищая предприятия курируемой им химической промышленности, напал на Вознесенского, члена Политбюро, старшего по положению.

В первый послевоенный год разведывательные операции по атомной проблеме пользовались особым приоритетом. В декабре 1945 года Берия оставил пост наркома внутренних дел и переехал с Лубянки в Кремль, в кабинет заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров. Заседания Спецкомитета по атомной проблеме также стали проходить в Кремле, а не в НКВД. Как начальник 2-го бюро комитета, сотрудник аппарата правительства, я получил постоянный пропуск на вход в Кремль в любое время.

Заседания Спецкомитета обычно проходили в кабинете Берии. Это были жаркие дискуссии. Помимо острых споров о распределении электроэнергии, Первухин продолжал свои нападки на Вознесенского, требуя увеличения фондов цветных металлов для нужд предприятий химической промышленности, занятых в производстве ядерного топлива. Меня удивляли взаимные претензии членов правительства. Берия вмешивался в эти споры, призывая Первухина и Вознесенского к порядку. И я впервые увидел, что все в этом особом правительственном органе считали себя равными по служебному положению независимо от того, были они членами ЦК или Политбюро.

Я сохранил вплоть до своего ареста хорошие отношения с Ванниковым и секретарем комитета генералом Махнёвым. Они были блестящими знатоками нашей промышленности, могли безошибочно указать, какому заводу можно поручить выполнение заказов по атомному проекту.

Я часто заходил в кабинет Махнёва. Его почему-то считают генералом НКВД, но это не так. Прекрасный организатор производства боеприпасов и работ по атомной бомбе, он никогда не служил в органах госбезопасности. Махнёва очень интересовала информация о работе американских промышленных предприятий и фирм, участвовавших в атомной программе. Зачастую мы получали эту информацию из открытых источников, по линии ТАСС и регулярно составляли обзоры экономических показателей и технологического потенциала, почерпнутые из научно-технических журналов об американских фирмах, занятых отдельными заказами правительства в связи с созданием атомной бомбы.

Только тогда я понял, какой большой интерес и внимание к экономическим вопросам и развитию промышленности проявлял Берия. Я узнал, что Берия как заместитель председателя ГКО в годы войны отвечал не только за деятельность спецслужб, но и за производство вооружения и боеприпасов, работу топливно-энергетического комплекса. В особенности его интересовали вопросы добычи и переработки нефти. В кабинете Берии стояли макеты нефтеперерабатывающих заводов. По его инициативе Ванников, Устинов и Байбаков (им не было еще 40 лет) были выдвинуты на высокие посты наркомов производства боеприпасов, вооружения и нефтяной промышленности.

Участие в заседаниях под председательством Берии открыло новый, неизвестный мне мир. Я знал, что разведка имела важное значение во внешней политике, обеспечении безопасности страны, но не меньшее значение имело восстановление народного хозяйства и создание атомной бомбы. До сих пор я вспоминаю наших талантливых организаторов промышленности и директоров заводов, участвовавших в решении сложнейших организационных и технических вопросов. Выработка этих решений оказалась гораздо интересней, чем руководство агентурной сетью в мирное время. Хозяйственная деятельность позволяла людям проявлять таланты и способности в решении таких проблем как преодоление нехватки ресурсов, срывы поставок оборудования и материалов. Организовать слаженную работу многих производственных отраслей промышленности для реализации атомной программы было делом не менее сложным, чем успешное проведение разведывательно-диверсионных операций в годы войны.

Берия, грубый и жестокий в общении с подчиненными, мог быть внимательным, учтивым и оказывать каждодневную поддержку людям, занятым важной работой, защищал этих людей от всевозможных интриг органов НКВД или же партийных инстанций. Он всегда предупреждал руководителей предприятий об их личной ответственности за неукоснительное выполнение задания, и у него была уникальная способность как внушать людям чувство страха, так и воодушевлять на работу. Естественно, для директоров промышленных предприятий его личность во многом отождествлялась с могуществом органов госбезопасности. Мне кажется, что вначале у людей превалировал страх. Но постепенно у работавших с ним несколько лет чувство страха исчезало, и приходила уверенность, что Берия будет поддерживать их, если они успешно выполняют важнейшие народнохозяйственные задачи. Берия часто поощрял в интересах дела свободу действий крупных хозяйственников в решении сложных вопросов. Мне кажется, что он взял эти качества у Сталина – жесткий контроль, исключительно высокая требовательность и вместе с тем умение создать у руководителя уверенность в том, что в случае успешного выполнения поставленной задачи поддержка ему обеспечена.

Осенью 1945 года в нашей программе работ над атомной бомбой наступил критический момент. Надо было приступать к созданию первого советского атомного реактора. Однако ученые не были едины в оценке представленных разведкой материалов, так как информация была противоречивой. Американцы использовали два типа реакторов: графитный и работавший на тяжелой воде. Возник огромный риск в использовании добытых военной разведкой образцов урана-235. Следовало принять решение, по какому пути пойти при строительстве первого реактора. Как решить проблему? Была выдвинута фантастическая идея – направить в США группу ученых для тайной встречи с Оппенгеймером, однако положение Оппенгеймера в обществе резко изменилось. Наша попытка восстановить прерванные с ним прямые контакты через общих знакомых в Чикаго в 1945 году не увенчалась успехом. Выдвигалось и другое предложение – послать Капицу к Нильсу Бору. Капица хорошо был известен на Западе и пользовался большим авторитетом в научном мире. Несомненно, что его письмо к Бору в 1943 году способствовало установлению, при посредничестве разведки, неформального контакта с западными учеными, работавшими в области атомных исследований. Однако Капица вел себя независимо, и это не нравилось руководству, а неприязненное отношение к нему Берии и Вознесенского исключало возможность его поездки за границу.

Курчатов и Кикоин предложили, чтобы в Данию на встречу к Бору поехал в сопровождении офицеров разведки высококвалифицированный специалист, профессор Зельдович, работавший у Курчатова. Но Зельдович не подходил для этой роли, так как не был сотрудником разведки, и мы не могли раскрыть ему в случае необходимости во время командировки агентурные связи за рубежом. Эти обстоятельства заставили нас положиться на тех ученых, которые работали в аппарате разведорганов. Выбор был невелик. В штате отдела «С» было два офицера – научные сотрудники, физики по образованию, владевшие в некоторой степени английским языком. После того, как они были приняты на работу в НКВД, оба посещали семинар Капицы и Ландау. Один из них, Рылов, будучи ученым, проявлял

большую склонность к аналитическо-разведывательной работе. Другой, Терлецкий, только что защитивший кандидатскую диссертацию, впоследствии лауреат Государственной премии, не был связан своими научными интересами с группой Курчатова, Иоффе, Алиханова и Кикоина и мог дать собственную оценку научных материалов. В 1943 году он отклонил предложение Курчатова работать у него. Терлецкий и Рылов переводили и редактировали поступающие к нам материалы по атомным работам, докладывали на заседаниях научно-технического совета Спецкомитета.

Работая в разведке, Терлецкий продолжал оставаться творческим человеком. Наряду с оценкой и обработкой информации по американской атомной бомбе, он зачастую предлагал на научно-техническом совете свои собственные выводы, и это создавало проблемы, потому что мы должны были дважды в день представлять высшему руководству всю получаемую информацию, а Терлецкий иногда запаздывал с оценкой, и я выслушивал от руководства нелицеприятные замечания. Однако мы решили остановить свой выбор на Терleckом – он мог бы произвести своей широкой эрудицией и осведомленностью нужное впечатление на Нильса Бора.

Берия утвердил мое предложение направить Терleckого в Копенгаген. Не могло быть и речи, чтобы для выполнения столь важного задания отправить Терleckого на встречу одного. Он не имел вообще никакого представления об оперативной работе, поэтому было принято решение, что полковник Василевский, непосредственно курировавший линию Ферми, должен выехать вместе с ним. Предполагалось, что Василевский начнет разговор с Бором, а Терлецкий перейдет к обсуждению технических вопросов. С ними также был переводчик, наш сотрудник, к сожалению, я не помню его фамилию. Василевский выехал в Данию под фамилией Гребецкий, Терлецкий – под своей собственной.

В своих мемуарах Терлецкий пишет, что накануне поездки в Копенгаген его принял Капица и посоветовал не задавать Бору много вопросов, «а просто представиться, передать письмо и подарки от него, рассказать о советских физиках, и Бор сам сообщит о многом, что нас интересует».

Предварительная договоренность о встрече с Бором была достигнута благодаря финской писательнице Вуолийоки, о которой я уже писал, и датскому писателю Мартину Андерсену Нексе. Нексе не был нашим агентом, но оказывал в 40-е годы большую помощь Рыбкиной в установлении полезных контактов и знакомств с влиятельными людьми в странах Скандинавии.

В июле 1993 года во время беседы с Терleckим мы вспоминали некоторые подробности этой истории. Накануне встречи Бор сообщил в советское посольство, что примет нашу делегацию. В начале встречи Бор нервничал, вспоминал Терлецкий, и у него слегка дрожали руки. Видимо, Бор понял, что впервые напрямую имеет дело с представителями советского правительства, и настало время выполнить принятое им и другими физиками решение поделиться секретами атомной бомбы с международным сообществом ученых и советскими физиками.

После первой встречи с Василевским на приеме в нашем посольстве 6 ноября 1945 года Бор предпочел вести разговор по научным вопросам только с Терleckим.

Выбора не было, и пришлось санкционировать встречу Терлецкого и Бора наедине с участием переводчика. Вопросы для беседы с Бором были подготовлены заранее Курчатовым и Кикоиным.

Терлецкий сказал Бору, что его тепло вспоминают в Московском университете, передал ему рекомендательное письмо и подарки от Капицы, привет от Иоффе и других советских ученых, поблагодарил за готовность проконсультировать советских специалистов по атомной программе.

Бор ответил на вопросы о методах получения в США урана, диффузионном и масс-спектрографическом, о комбинации этих методов, каким образом достигается большая производительность при масс-спектрографическом методе. Он сообщил, что в США все котлы работают с графитовыми модераторами, так как производство тяжелой воды требует колоссального количества электроэнергии. Терлецкий получил ответы на целый ряд принципиально важных вопросов, в том числе о плутонии-240, о нем в официальном докладе Смита, полученном нами от Бора и из США, не было ни слова. Встреча, по мнению Курчатова, имела важное значение для верификации нашими специалистами имевшихся у разведки нескольких сотен отчетов и трудов Ферми, Сциларда, Бете, Оппенгеймера и других зарубежных ученых. Было рассмотрено, как вспоминает Квасников, 690 научных материалов. По мнению Джона Хассарда, известного английского специалиста по ядерной физике из London's Imperial College, Бор в устной форме дал существенную информацию русским о конструкции американской атомной бомбы. Джек Сарфатти, физик-теоретик, ученик одного из создателей атомной бомбы Х. Бете, также считает, что ответы Бора содержали важную стратегическую информацию по созданию ядерного оружия.

Знаменательно, что Бор формально поставил в известность английскую спецслужбу о встрече и беседе с советскими специалистами по атомной программе, передаче русским доклада комиссии Смита, но вместе с тем он умолчал о характере заданных ему вопросов. Таким образом, западные спецслужбы до ареста Фукса не имели представления о том, что принципиально важные вопросы создания атомного оружия нам уже известны.

Между прочим, Сцилард сразу же после атомных взрывов в Японии предсказал, что Советский Союз через 2–3 года создаст свое ядерное оружие. А Бор тогда же выступил за установление международного контроля за использованием атомной энергии.

После успешной поездки Терлецкого у меня сложились дружеские отношения с Курчатовым, Алихановым и Кикоиным. Мы с женой провели несколько выходных дней с ними и их женами в правительственном доме отдыха. В нашей квартире недалеко от Лубянки мы устроили несколько обедов для ученых.

Вместе с Василевским я должен был подобрать физиков-ядерщиков для поездок в США, Англию и Канаду, чтобы привлечь западных специалистов из ядерных центров для работы в Советском Союзе.

В этот же период Василевский несколько раз выезжал в Швейцарию и Италию на встречу с Бруно Понтекорво. Для прикрытия этих поездок он использовал визиты

советской делегации деятелей культуры во главе с известным кинорежиссером Григорием Александровым и кинозвездой Любовью Орловой. Оперативное обеспечение его встреч с Понтекорво осуществляли Горшков и Яцков, в разное время работавшие в Италии и США.

Василевский встречался также с Жолио-Кюри. Однако Берия и Сталин приняли решение не привлекать Жолио-Кюри к атомным разработкам в СССР, хотя он хотел приехать к нам. Оставаясь на Западе, Жолио-Кюри был более полезен, потому что влиял на формирование выгодной для нас пацифистской позиции видных ученых-атомщиков.

За успешные акции в Дании, Швейцарии и Италии Василевский был поощрен солидной по тем временам денежной премией в размере тысячи долларов и отдельной квартирой в центре Москвы, что тогда было большой редкостью.

Наши активные операции в Западной Европе совпали с началом «холодной войны». Мы отдавали себе отчет, что американская контрразведка подобралась довольно близко к нашим источникам информации и агентуре, обслуживающей их. Оперативная обстановка резко осложнилась. Когда был запущен наш первый реактор в 1946 году, Берия приказал прекратить все контакты с американскими источниками. На встрече со мной он предложил обдумать, как можно воспользоваться авторитетом Оппенгеймера, Ферми, Сциларда и других близких к ним ученых в антивоенном движении. Мы считали, что антивоенная кампания и борьба за ядерное разоружение может помешать американцам шантажировать нас атомной бомбой, и начали широкомасштабную политическую кампанию против ядерного превосходства США. Мы хотели связать американские правящие круги политическими ограничениями в использовании ядерного оружия – у нас атомной бомбы еще не было. Берия категорически приказал не допустить компрометации видных западных ученых связями с нашей разведкой: для нас было важно, чтобы западные ученые представляли самостоятельную, имеющую авторитет и влияние политическую силу, дружественную по отношению к Советскому Союзу.

Через Фукса идея о роли и политической ответственности ученых в ядерную эпоху была доведена до Ферми, Оппенгеймера и Сциларда, которые решительно выступили против создания водородной бомбы. В своих доводах они были совершенно искренни и не подозревали, что Фукс под нашим влиянием логически подвел их к этому решению. Действуя как антифашисты, они объективно превратились в политических союзников СССР.

Директива Берии основывалась на информации о серьезных разногласиях между американскими физиками по вопросам совершенствования атомного оружия и создания водородной бомбы, полученной от Фукса в 1946 году. На совещании, состоявшемся в конце 1945 или в начале 1946 года, ученые вместе с Фуксом выступили против разработки «сверхбомбы» и столкнулись с резкими возражениями Теллера.

Клаус Фукс отклонил предложение Оппенгеймера продолжить работу с ним в Принстоне, возвратился в Англию и продолжал снабжать нас исключительно важной информацией. С осени 1947-го года по май 1949-го Фукс передал нашему

оперативному работнику Феклисову основные теоретические разработки по созданию водородной бомбы и планы начала работ, к реализации которых приступили в США и Англии в 1948 году.

Особенно ценной была полученная от Фукса информация о результатах испытаний плутониевой и урановой атомных бомб на атолле Эниветок. Фукс встречался с Феклисовым в Лондоне один раз в 3–4 месяца. Каждая встреча тщательно готовилась и продолжалась не более сорока минут. Феклисова сопровождали три оперативных работника, чтобы исключить возможность фиксации встречи службой наружного наблюдения британской контрразведки. Фукс и Феклисов так и не были зафиксированы английской контрразведкой. Фукс сам невольно способствовал своему провалу, сообщив службе безопасности, курировавшей английские атомные разработки, что его отец получил место преподавателя теологии в Лейпцигском университете в Восточной Германии. В это время американские спецслужбы разоблачили нашего агента, курьера Фукса, Голда, он опознал Фукса на фотографии, и американцы сообщили об этом английской контрразведке. В 1950 году Фукса арестовали. После напряженных допросов Фукс признал, что передавал секретные сведения Советскому Союзу. Его судили, и в обвинительном заключении по его делу упоминалась лишь одна встреча с советским агентом в 1947 году, и то целиком на основе его личного признания. О сотрудничестве Фукса с нашей разведкой и обстоятельствах его ареста рассказал Феклисов в упоминавшемся мною очерке «Героический подвиг Клауса Фукса» и в своей книге «За океаном и на острове».

Сведения о развитии атомных исследований в Англии и реальных запасах ядерного оружия в США, переданные Фуксом в 1948 году, совпали с исключительно важной информацией из Вашингтона, полученной от Маклина, который с 1944 года занимал должность секретаря английского посольства в США и контролировал всю канцелярию этого ведомства. Он сообщил, что потенциал ядерного вооружения США недостаточен для ведения войны с Советским Союзом.

В научных кругах США и СССР важную роль играли крупнейшие ученые с независимыми политическими убеждениями.

Так, например, Оппенгеймер напоминает мне в значительной мере наших ученых академического типа – Вернадского, Капицу и др. Они всегда стремились сохранить собственное лицо, стремились жить в мире, созданном их воображением, с иллюзией независимости. Но независимость ученого, вовлеченного в работы громадной государственной важности, всегда остается иллюзией. А для Курчатова в научной работе главными всегда были интересы государства. Он был менее упрям и более зависим от властей, чем Капица и Иоффе. Берия, Первухин и Сталин сразу уловили, что он представляет новое поколение советской научной интеллигенции, менее связанное со старыми традициями русских ученых. Они правильно поняли, что он амбициозен и полон решимости подчинить всю научную работу интересам государства. Правительство стремилось любой ценой ускорить испытание первой атомной бомбы, и Курчатова пошел по пути копирования американского ядерного устройства. Вместе с тем не прекращалась параллельная работа над созданием бомбы советской конструкции. Она была взорвана в 1951 году. В США аналогичную

позицию занимал Теллер, стремившийся утвердить монополию США на ядерное оружие.

Будучи настоящими учеными, Курчатов и Оппенгеймер в то же время были административными руководителями важнейших проектов, имевших судьбоносное значение для мира. Конфликт личных убеждений, научных интересов и административных обязанностей в таком случае неизбежен. Мы не можем быть им судьями, работа этих людей над бомбой открыла новую эру в науке. Однако дело не только в открытии, суть проблемы в том, что впервые крупнейшие ученые мира действовали не только как носители научных идей, но и как государственные деятели.

Надо отметить, что первоначально ни Курчатов, ни Оппенгеймер не были окружены так называемой «научной бюрократией», чиновниками от науки, которые появились в значительных масштабах во второй половине 50-х годов.

В 40-е годы ни одно правительство в мире не могло достаточно эффективно полностью контролировать научно-технический прогресс. Парадокс заключался в том, что и американское, и советское правительства вынуждены были в интересах успешного решения атомной проблемы полагаться на совместную работу с учеными различных мировоззрений, возможно, даже враждебных властям, и приспособляться к их запросам, потребностям, экстравагантному поведению. Виднейшие ученые мира, разделяя антифашистские и пацифистские взгляды, полные иллюзий о возможной ведущей роли ученых в мировом правительстве после того, как будет открыта атомная энергия, были склонны делиться достижениями в этой области с учеными-единомышленниками других дружественных стран.

С началом «холодной войны» настроения ученых резко изменились. Именно поэтому американские физики отвергли в 1948 году попытку нашего нелегала Фишера (Абель) возобновить сотрудничество с ними. Они поняли, что это не сотрудничество, а шпионаж.

Разведывательные материалы по атомной бомбе сыграли неоценимую роль не только в военной политике, но и в дипломатической сфере. Когда Фукс сообщил нам неопубликованные в докладе комиссии Смита данные о конструкции атомной бомбы, он также предоставил нам исключительно ценные сведения о масштабах производства урана-235. Эта информация Фукса дала возможность рассчитать, сколько американцы производили урана и плутония ежемесячно, и помогла определить реальное количество атомных бомб, которыми они располагали.

Сведения, полученные от Фукса и Маклина, позволили сделать заключение, что американская сторона не была готова вести ядерную войну в конце 40-х и даже в начале 50-х годов. По значению эти сведения могут быть приравнены к информации Пеньковского о реальном советском ракетно-ядерном потенциале, которую в начале 60-х годов он передал американцам. Подобно Фуксу, Пеньковский сообщил, что Хрущев блефует и не готов к конфронтации с США, так же как и американцы не были готовы к полномасштабной атомной войне с СССР в конце 40-х годов.

Когда началась «холодная война», Сталин твердо проводил линию конфронтации с США. Он знал, что угроза американского ядерного нападения до

конца 40-х годов была маловероятна. По нашим данным, только к 1955 году США и Англия должны были создать запасы ядерного оружия, достаточные для уничтожения Советского Союза.

Информация Фукса и Маклина сыграла большую роль в стратегическом решении советского руководства поддержать китайских коммунистов в гражданской войне в 1947–1948 годах. Мы располагали данными, что президент Трумэн рассматривает возможность применения атомного оружия, чтобы не допустить победы коммунистов в Китае. Тогда Сталин сознательно пошел на обострение обстановки в Германии, и в 1948 году возник Берлинский кризис. В западной печати появились сообщения, что президент Трумэн и премьер-министр Англии Этли готовы применить атомное оружие, чтобы не допустить перехода Западного Берлина под наш контроль. Однако мы знали, что у американцев не было нужного количества атомных бомб, чтобы противостоять нам одновременно в Германии и на Дальнем Востоке, где решалась судьба гражданской войны в Китае. Американское руководство переоценило нашу угрозу в Германии и упустило возможность использовать свой ядерный арсенал для поддержки китайских националистов.

В 1951 году, когда мы разрабатывали план по военно-диверсионным операциям против американских баз, Молотов, комментируя наши предложения, отметил, что такие операции должны проводиться в соответствии не только с военными соображениями, но прежде всего с политическими решениями. Он сказал, что наша позиция и решительные действия по блокаде Берлина в значительной мере помогли китайским коммунистам. Для Сталина победа коммунистов в Китае означала громадную поддержку его линии в противоборстве с США. Я хорошо помню, что стратегия Сталина сводилась к созданию опорной оси СССР – Китай в противостоянии западному миру.

В августе 1949 года мы испытали свою первую атомную бомбу. Это событие подвело итог невероятным напряженным семилетним трудам. Сообщения об этом в нашей печати не появилось – мы опасались превентивного ядерного удара США. По крайней мере, так мне говорил помощник Берии по атомным вопросам генерал Сазыкин. Поэтому сообщение об этом в американской печати 25 сентября 1949 года вызвало шок у Сталина, руководства атомным проектом и в особенности у отвечавших за обеспечение секретности атомных разработок. Наша первая реакция – американской агентуре удалось получить данные о проведенном испытании. Если мы проникли в Манхэттенский проект, то нельзя исключать аналогичные действия американской разведки. К всеобщему облегчению, примерно через неделю наши ученые сообщили, что научные приборы, установленные на самолетах, при регулярном заборе проб воздуха могут обнаружить следы атомного взрыва в атмосфере. Объяснение ученых позволило органам безопасности избежать обвинения в том, что американской разведке удалось внедрить своего агента в круги создателей отечественного атомного оружия.

Курчатов и Берия за выдающиеся заслуги в укреплении могущества нашей страны были отмечены высшими наградами, большими денежными премиями и специальными грамотами о пожизненном статусе почетных Граждан Советского Союза. Все участники советской атомной программы получили привилегии:

бесплатный проезд в транспорте, государственные дачи, право поступления детей в высшие учебные заведения без вступительных экзаменов. Последняя привилегия сохранялась до 1991 года для детей сотрудников разведки – нелегалов, находящихся при исполнении служебных обязанностей за рубежом.

Оценивая материалы по атомной проблеме, прошедшие через отдел «С», следует, по моему мнению, принять во внимание высказывания академиков Харитона и Александрова на собрании, посвященном 85-летию со дня рождения Курчатова. Они отметили его гениальность в конструировании атомной бомбы и в ответственнейшем решении начать строительство заводов по производству урана и плутония, в то время как мы располагали лишь их мизерным количеством, полученным лабораторным путем. Атомная бомба была создана в СССР за четыре года. Разведывательные материалы, безусловно, ускорили создание нашего атомного оружия.

Для меня Курчатов остается одним из крупных ученых, сыгравших ту же роль, что и Оппенгеймер, хотя, разумеется, он не является таким научным гигантом, какими были Нильс Бор и Энрико Ферми. Талант Курчатова, его организационные способности и настойчивость Берии сыграли важную роль в успешном решении атомной проблемы в Советском Союзе.

Когда Нильс Бор посетил в 1961 году МГУ и принял участие в студенческом празднике «День физика», КГБ посоветовал Терлецкому, профессору МГУ, лауреату Государственной премии по науке и технике, не попадаться ему на глаза. Однако Терлецкий пришел на встречу, но Бор, остановив свой взгляд на нем, сделал вид, что не узнал его. В те годы я сидел в тюрьме, а Василевский ходил с клеймом опасного человека, исключенного из партии «за предательскую антипартийную деятельность в Париже и Мексике». КГБ, однако, поступил разумно, не напомнив Бору о его встречах с нашими разведчиками в Дании. Лишь незадолго до смерти Бора его посетил в Копенгагене офицер нашей разведки Рылов, сотрудник Международного агентства по атомной энергии, в прошлом молодой научный сотрудник отдела «С», и Бор припомнил свою встречу с советскими специалистами в 1945 году.

Василевский рассчитал, что западные спецслужбы рано или поздно зафиксируют наши контакты с Понтекорво в Италии и Швейцарии, и уже тогда было принято решение о маршрутах его возможного бегства в СССР. В 1950 году, сразу же после ареста Фукса, Понтекорво бежал в СССР через Финляндию. Эта операция нашей разведки успешно блокировала все усилия ФБР и английской контрразведки раскрыть другие источники информации по атомной проблеме, помимо Фукса. По приезде в Союз Понтекорво начал научную работу в ядерном центре под Москвой, в Дубне. Он написал прекрасную автобиографическую книгу, в которой много интересного рассказал о Ферми, но о своих контактах с советской разведкой промолчал.

Хотя Василевский был в опале около семи лет – до 1961 года, он встречался с Понтекорво в 60-70-х годах, приглашал его на обед в ресторан Дома литераторов. В 1968 году, когда я был освобожден из тюрьмы, Василевский предложил и мне встретиться и пообедать с Понтекорво. Но поскольку ресторан находился в сфере постоянного внимания КГБ, а руководители разведки категорически были против

встреч Василевского с Понтекорво, я отказался.

В 1970 году я стал членом московского объединения литераторов и регулярно посещал писательский клуб. Там, в ресторане, я и Василевский встретились за обедом с Рамоном Меркадером. Я не люблю привлекать к себе внимание, поэтому попросил, чтобы Рамон не надевал звезду Героя Советского Союза. Но Меркадер и Василевский, наоборот, получали удовольствие, бросая вызов властям своими наградами. Василевский до последних дней своей жизни продолжал писать письма в ЦК КПСС, разоблачая тогдашнего руководителя разведки КГБ генерала Сахаровского, его провалы и ошибки в работе с агентурой.

Супруги Розенберга были привлечены к сотрудничеству с нашей разведкой в 1938 году Овакимяном и Семеновым. По иронии судьбы Розенберга представлены в прессе американцами и нами как ключевые фигуры в атомном шпионаже в пользу СССР. В действительности же их роль была не столь значительна. Они действовали абсолютно вне связи с главными источниками информации по атомной бомбе, которые координировались специальным разведывательным аппаратом.

В 1943–1943 годах нью-йоркская резидентура возглавлялась Квасниковым и Пастельняком, а потом недолгое время Когеном, под началом которых работали Семенов, Феклисов, Яцков. Кстати, Квасников в интервью американскому телевидению в 1990 году признал, что Розенберга, помогая нашей разведке в получении информации по авиации, химии и радиотехнике, никакого отношения к серьезным материалам по атомной бомбе не имели.

Летом 1945 года зять Розенберга, старший сержант американской армии Гринглас («Калибр»), который работал в мастерских Лос-Аламоса, накануне первого испытания атомной бомбы подготовил для нас небольшое сообщение о режиме функционирования контрольно-пропускных пунктов. Курьер не смог поехать к нему на встречу, поэтому Квасников с санкции Центра дал указание агенту Голду («Раймонд») после плановой встречи с Фуксом в Санта-Фе ехать в Альбукерке и взять сообщение у зятя Розенберга. Центр своей директивой нарушил основное правило разведки – ни в коем случае не допускать, чтобы агент или курьер одной разведгруппы получил контакт и выход на не связанную с ним другую разведывательную сеть. Информация Грингласа по атомной проблеме была незначительной и минимальной, по этой причине наша разведка не возобновляла контактов с ним после этой встречи с Голдом. Когда Голд был арестован в 1950 году, он указал на Грингласа, а последний на Розенбергов.

В первый раз я узнал об аресте Розенбергов из сообщения ТАСС и совершенно не был озабочен этим известием. Кое-кому это покажется странным, но необходимо отметить, что, отвечая за действия нескольких тысяч диверсантов и агентов в тылу немцев и за сотни источников агентурной информации в США, включая операции нелегалов, я не испытывал беспокойства за судьбу наших основных разведывательных операций. Работая в свое время начальником отдела «С», я, безусловно, знал главные источники информации и не могу припомнить, чтобы среди них, во всяком случае, по разведывательным материалам по атомной бомбе, супруги Розенберга фигурировали как важные источники. Мне тогда пришло в голову, что Розенберга, возможно, были связаны с проведением наших

разведопераций, но ни в коем случае не играли никакой самостоятельной роли. В целом их арест не представлялся мне событием, заслуживающим особого внимания.

Прошел год, и в конце лета следующего года я был искренне удивлен, когда генерал-лейтенант Савченко, в то время заместитель начальника разведуправления МГБ, пришел ко мне в кабинет и сообщил, что назначенный только что министр госбезопасности Игнатьев приказал доложить ему о всех материалах по провалам наших разведывательных операций в США и Англии в связи с делом Розенбергов. Он сказал также, что в ЦК партии создана специальная комиссия по рассмотрению возможных последствий в связи с арестами Голда, Грингласа и Розенбергов. Насколько я понял, речь шла о нарушениях правил оперативно-разведывательной работы сотрудниками органов госбезопасности.

Савченко я знал еще с 20-х годов, когда он возглавлял оперативный отдел штаба погранвойск на румынской границе. В 1946 году он стал министром госбезопасности на Украине, а позднее, в 1948 году, по протекции Хрущева перешел на работу в Комитет информации, затем стал заместителем начальника разведуправления МГБ. В конце 40-х – начале 50-х он лично утверждал проведение основных разведопераций в США и Англии. Однако Савченко сказал мне, что он не может быть уверен в заключении своего аппарата по делу Розенбергов, поскольку их сотрудничество с нами началось еще до войны и продолжалось в период войны. К тому времени наши бывшие резиденты в США и Мексике – Горский и Василевский, известные в этих странах как Громов и Тарасов, были уже уволены из органов разведки. Аналогичной была судьба и супругов Зарубиных, которые знали обстоятельства оперативной работы нашей агентуры в США в середине 40-х годов. Хейфец к этому времени уже два года сидел в тюрьме как участник «сионистского заговора». Поэтому Савченко не мог обратиться к ним, чтобы они прокомментировали архивные оперативные материалы для доклада в ЦК. Наиболее важные свидетели Овакимян и Зарубин, возглавлявшие американское направление в разведке в годы войны, не скрывали своего неуважительного отношения к Савченко за его некомпетентность в делах разведки и открыто называли «сукиным сыном». Они отказались от бесед с ним, заявив, что дадут свои объяснения только в ЦК. Яцков, Соколов и Семенов, имевшие отношение к этим делам, в то время находились за границей, но Савченко не хотел полагаться на их объяснения или на выводы Квасникова, возглавлявшего научно-техническую разведку, как на заинтересованных лиц.

Савченко и я были вызваны в ЦК по единственному вопросу: кто был ответственен за злосчастную телеграмму, санкционировавшую фатальную встречу Голда с Грингласом в Альбукерке.

В ЦК партии была представлена справка по результатам работы комиссии, в подготовке которой участвовали Савченко и сотрудники американского направления разведки органов безопасности. Насколько я помню, в ней утверждалось, что провалы были следствием ошибок, якобы допущенных Семеновым в вербовке и инструктаже Голда. В справке также говорилось, что конспиративная встреча Грингласа с Голдом санкционировалась Центром. В справке было сказано, что Овакимян, начальник американского направления в 40-е годы, уволен из органов

госбезопасности. О его громадных заслугах, конечно, не было ни слова.

Я категорически возражал против этих выводов, поскольку Семенов и Овакимян в конкретных делах показали себя высококвалифицированными оперативными работниками. Фактически именно они создали в конце 30-х годов весьма значительную сеть агентурных источников научно-технической информации в США. Однако в ЦК и управлении кадров МГБ мои соображения отклонили, им приписали вину за провал, и они были уволены из органов разведки в значительной мере на волне антисемитизма, поскольку Семенов был еврей. Я помню, как мы собирали деньги, чтобы поддержать Семенова, пока он не устроился консультантом и переводчиком в Институт научно-технической информации Академии наук.

На следующий год эта скандальная история неожиданно получила продолжение. Я был снова вызван в ЦК к Киселеву, помощнику Маленкова. Совершенно неожиданно для себя я увидел у него Савченко. Киселев был категоричен и груб. Из его уст я услышал знакомые мне по 1938–1939 годам обвинения: ЦК разоблачил попытки отдельных сотрудников и ряда руководящих работников МГБ обмануть партию, преуменьшая роль Розенбергов в разведывательной работе. В анонимном письме сотрудника МГБ, поступившем в ЦК, сказал Киселев, отмечена значительная роль Розенбергов в добывании информации по атомной проблеме. В заключение Киселев подчеркнул, что Комитет партийного контроля рассмотрит эти сигналы о попытках ввести ЦК в заблуждение по существу дела Розенбергов.

Савченко и я в один голос категорически возражали Киселеву, объясняли, что наши разведывательные операции в США по атомной проблеме фактически были прекращены в 1946 году, и мы вынуждены были полагаться на источники в Англии. Мы ссылались на полученные в 1946 году указания Берии сбросить источники информации для осуществления выгодной для нас политической кампании по пропаганде ядерного разоружения среди научной общественности и интеллигенции стран Запада.

Киселев обвинил нас в неискренности и в попытках принизить значение контактов нашей разведки с супругами Розенбергами. Я ответил ему, что полностью отвечаю за работу по проникновению нашей агентуры на атомные объекты США в 1944–1946 годах. При этом я подчеркнул, что, разумеется, ценность агентурного проникновения и подхода к интересующим нас объектам резко варьировалась в зависимости от служебного положения источников информации. Супруги Розенберга были лишь незначительным звеном нашей периферийной деятельности на американских атомных объектах. Материалы Розенбергов и их родственника Грингласа не могут быть отнесены к категории важной информации. Розенберга были наивной, но вместе с тем преданной нам, в силу своих коммунистических убеждений, супружеской парой, готовой во всем сотрудничать с нами, но их деятельность не имела принципиального значения в получении американских атомных секретов.

Киселев официальным тоном заявил, что доведет до сведения ЦК и лично Маленкова наши объяснения, и Комитет партийного контроля установит, кто конкретно несет вину за провал разведывательных операций в США.

Розенберга героически вели себя в ходе следствия и на судебном процессе. По этой причине наши руководящие инстанции прекратили поиски козлов отпущения.

Бросая ретроспективный взгляд на события, я нахожу очевидным, что дело Розенбергов с самого начала приобрело ярко выраженную политическую окраску, которая затмила незначительность предоставленной их группой научно-технической информации в области атомного оружия. Они давали информацию по химии и радиолокации. Гораздо более важным для американских властей и для советского руководства оказались их коммунистическое мировоззрение и идеалы, столь необходимые Советскому Союзу в период обострения «холодной войны» и антикоммунистической истерии. В исключительно трудных условиях они проявили себя твердыми сторонниками и друзьями Советского Союза.

Быстрый арест Розенбергов сразу же после признаний Грингласа, по моему мнению, указывает на то, что ФБР действовало так же, как и НКВД, следуя политическим установкам и указаниям вместо того, чтобы подойти к делу профессионально. ФБР пренебрегло выявлением всех лиц, связанных с Розенбергами. Это потребовало бы не только наружного наблюдения, но и агентурной разработки Розенбергов для того, чтобы выявить оперативного работника или нелегала – специального агента, на связи с которым они находились. Только так можно было определить степень их участия в операциях советской разведки. Проявленная ФБР поспешность помешала американской контрразведке выйти на Фишера (полковника Абея), советского нелегала, осевшего в США в 1948 году и арестованного только в 1957-м. Фотография с кодовым именем Элен Собелл, жены Мортон Собелла, члена группы Розенбергов, была обнаружена агентами ФБР только при аресте Фишера, в его бумажнике.

Когда мне зачитали отрывки из книги Ланфира и Шахтмана о работе ФБР в 50-годы против советской агентуры, я был поражен, насколько ФБР и НКВД использовали одни и те же методы при расследовании дел о шпионаже с политической подоплекой. Фактически все дело Розенбергов было построено на основе признаний обвиняемых. Меня особенно поразили доводы защитника Розенбергов, что ФБР предварительно натаскивало и инструктировало Голда и Грингласа для их будущих показаний при судебном разбирательстве дела. Конечно, действия ФБР были вполне логичными, ибо оно не справилось со своей главной задачей: выявить действительную роль супругов Розенбергов в добывании и передаче секретной информации Советскому Союзу. Так называемые «зарисовки и схемы» Грингласа, фигурирующие в деле, ни в коей мере не могли быть основанием для того, чтобы делать выводы о характере разведывательной работы и предоставленной нам информации.

Розенберги стали жертвами «холодной войны». Американцы и мы стремились извлечь максимум политической выгоды из судебного процесса. Знаменательно, что в период разгула антисемитизма у нас в стране и разоблачений так называемого «сионистского заговора» наша пропаганда приписывала американским властям проведение антисемитской кампании и преследование евреев в связи с процессом Розенбергов.

Мне, однако, кажется, что в СИТА процесс по делу Розенбергов вызвал рост

антисемитских настроений. Мы использовали это: быстро перевели на русский язык пьесы и памфлеты американского писателя, в то время коммуниста, Говарда Фаста об антисемитизме в США. Дело Розенбергов превратилось в один из мощных факторов нашей пропаганды и деятельности Всемирного Совета Мира, созданного при нашей активной поддержке в конце 40-х годов.

Насколько я помню, в США в 40-е годы успешно действовали независимо друг от друга четыре наши агентурные сети: в Сан-Франциско, где было консульство; в Вашингтоне, где было посольство; в Нью-Йорке – на базе торгового представительства «Амторг» и консульства; и, наконец, в Вашингтоне, которая возглавлялась нелегальным резидентом Ахмеровым. Он руководил деятельностью Голоса, одного из главных организаторов нашей разведывательной работы, тесно связанного в 30-е годы с компартией. В дополнение к этому активно действовала в Мексике самостоятельная агентурная группа под руководством Василевского.

Я помню, что побег в Канаде в 1945 году Гузенко – шифровальщика из аппарата военного атташе – имел далеко идущие последствия. Гузенко сообщил американским и канадским контрразведывательным службам данные, позволившие им выйти на нашу агентурную сеть, активно действовавшую в США в годы войны. Более того, он предоставил им список кодовых имен ученых-атомщиков Америки и Канады, которых наша разведка и военное разведывательное управление активно разрабатывали. Эти ученые-атомщики не были нашими агентами, но были источниками важной информации по атомной бомбе.

Сведения, полученные от Гузенко, а также признания агента нашей военной разведки Бентли, перевербованной ФБР, позволили американской контрразведке проникнуть в нашу агентурную сеть. Однако любая ориентировка, сообщенная Гузенко ФБР, требовала тщательной проверки, а это оборачивалось годами кропотливой работы. Когда американская контрразведка после длительной разработки вышла на наши источники информации, мы уже получили важнейшие для нас сведения по атомной бомбе и законсервировали связи с агентурой. ФБР утверждало, что Гузенко помог в дешифровке наших спецтелеграмм, и это позволило разоблачить наших агентов Голда, Нана и Фукса.

Я, однако, не считаю, что дешифровка телеграмм сыграла решающую роль в раскрытии наших разведывательных операций. Еще в декабре 1941 года агент Шульце – Бойзен («Старшина») из Берлина сообщил нам, что немцы захватили в Петсамо в Норвегии одну из наших шифровальных книг. Естественно, мы сменили свои кодовые книги. Я помню, что в 1944 году в рамках сотрудничества между Сталиным и Тито возник вопрос об обучении технике дешифровки направленных к нам югославских сотрудников госбезопасности. Тогда Овакимян, заместитель начальника разведуправления НКВД и начальник американского направления, категорически возражал против обучения югославов. Я также помню, как он говорил: «Мы кардинально изменили свои шифровальные коды после провала наших подпольных групп в Германии. Зачем нам делиться опытом с посланцами Тито, у нас достаточно оснований подозревать их в двойной игре – в сотрудничестве с английской разведкой». Возражения Овакимяна были приняты.

Овакимян еще в 1944 году, когда Зарубин вернулся из США, высказывал

опасения, что ФБР удалось внедрить своих агентов в наши агентурные группы. Когда Зарубин объяснялся по поводу выдвинутых против него несостоятельных обвинений, мы все-таки из предосторожности вновь сменили коды шифрпереписки. Поэтому я не думаю, что ФБР вышло на нашу агентурную сеть на основе дешифровки кодовой книги, захваченной в Петсамо.

ФБР так и не предало гласности и всячески уклонялось от обсуждения методов своей работы и используемых источников информации. Лемфер, бывший сотрудник американской контрразведки, в своей книге «Война ФБР – КГБ» рассказывает о сложном процессе восстановления нашей кодовой книги: она частично обгорела. Возможно, так оно и было. Я не могу утверждать, что дешифровка не сыграла своей роли в выходе контрразведки США и Канады на наши источники агентурной информации. Тем не менее, считаю, что ФБР, стремясь скрыть свой собственный агентурный источник, специально придумало историю о дешифровке нашей переписки.

В мае 1995 года ФБР опровергло мою версию о получении нашей разведкой данных по атомной бомбе. ФБР отметило, что Ферми, Оппенгеймер, Сцилард и Бор, по их данным, не были шпионами. Но я этого и не утверждал.

Сейчас американцам удалось дешифровать переписку наших резидентур в Вашингтоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке с Москвой, в значительной мере, я полагаю, потому, что в 1992 году мы сами передали американской стороне ряд материалов Коминтерна, включая полный текст шифротелеграмм на русском языке, полученных по каналам разведки НКВД. Ввиду постоянного наблюдения – с 1940 года – американских спецслужб за нашим радиоэфиром, им удалось установить, как сообщила наша пресса, более двухсот агентов советской разведки, участвовавших в добыче материалов по атомной бомбе и секретной документации американских правительственных органов, в том числе и спецслужб. Но ряд ключевых кодовых имен остается нераскрытым.

В сентябре 1992 года в военном госпитале КГБ я встретился с полковником в отставке, ветераном разведки Яцковым, у которого на связи в 1945–1946 годах был Голд. Мы припомнили всю эту историю, рассказанную в книге Лемфера, о якобы перехваченной телеграмме из нашего нью-йоркского консульства в Москву, что послужило основанием для выхода американской контрразведки на Фукса. Мы обсудили надежность наших шифросистем связи и возможности их дешифровки. Яцков и Феклисов продолжали также считать, что все было сфальсифицировано ФБР; они представили как бы дешифрованную телеграмму нашего консульства в Центр о встрече Голда и Фукса в январе 1945 года в доме сестры Фукса Кристель. Как писал Феклисов в своей книге, в качестве улики против Фукса использовалась карта Санта-Фе в штате Нью-Мексико неподалеку от Лос-Аламоса, где было отмечено место встречи Голда и Фукса. Утверждалось, что на карте, обнаруженной при обыске на квартире Голда, были отпечатки пальцев Фукса.

Для меня, профессионала разведки, обстоятельства, не позволившие ФБР проникнуть в нашу агентурную сеть, вполне понятны. Персонал и технические кадры Манхэттенского проекта комплектовались американской администрацией в большой спешке – много было иностранцев, привлеченных для работы в проекте. У

ФБР просто не было времени на протяжении полутора лет организовать и привести в действие мощную контрразведывательную агентурную сеть среди научных работников проекта. Между тем абсолютно необходимой предпосылкой вскрытия глубоко законспирированных контактов ученых-атомщиков с агентами и курьерами советской разведки было эффективное агентурное наблюдение и работа с персоналом атомного проекта. В СССР наша контрразведка обладала гораздо большими возможностями всесторонней проверки всего персонала, как научного, так и вспомогательного, привлеченного к атомным разработкам. Она опиралась на высокоразвитую систему оперативно-учетных материалов.

Мы должны иметь в виду и исторические обстоятельства. В начальный период войны главной задачей ФБР было предотвращение утечки информации по атомному оружию к немцам. Мое предположение сводится к тому, что первоначально в 1942–1943 годах ФБР активно разрабатывало выходы на «немецкие» связи и контакты ученых, приступивших к работе в лабораториях Лос-Аламоса. Просоветские симпатии учитывались и фиксировались, однако они приобрели существенное значение лишь на финишной стадии в начале 1945 года. Насколько мне известно, директива об усиленном выявлении связей с прокоммунистическими кругами начала проводиться в жизнь администрацией проекта лишь в конце 1944 года – после того, как ФБР зафиксировало наш большой интерес к лаборатории по изучению радиации в Беркли.

Хотя нам удалось проникнуть в окружение Оппенгеймера, Ферми и Сциларда через Фукса, Понтекорво и других, мы никогда не прекращали своих усилий, чтобы получать материалы из лаборатории в Беркли, так как ее разработки были тесно связаны с исследованиями в Лос-Аламосе. ФБР зафиксировало наш интерес к этой лаборатории, но оно переоценило его и сосредоточилось на противодействии нашей работе. Между, это направление играло подчиненную роль.

Чрезвычайно ценную информацию по атомной бомбе мы получали на последней стадии работ, накануне первого экспериментального взрыва и производства первых бомб. В период, когда американская контрразведка значительно усилила свою работу, мы прервали всякие контакты с внедренными в проект агентами. В результате никто из сотрудничавших с нами людей не был задержан американской контрразведкой с поличным и непосредственно в момент передачи нам информации.

В заключение хочу сказать: советская разведка выступила инициатором развертывания широкомасштабных работ по созданию атомного оружия в СССР и оказала существенную помощь нашим ученым в этом деле. Однако атомное оружие было создано колоссальными усилиями наших ведущих ученых-атомщиков и работников промышленности.

Глава 8

«Холодная война»

Принято считать, что «холодная война» началась с известной речи Уинстона Черчилля в Фултоне 6 марта 1946 года, когда он впервые упомянул о существовании «железного занавеса». Однако для нас конфронтация с западными союзниками началась сразу же, как только Красная Армия вступила на территорию стран Восточной Европы. Конфликт интересов был налицо. Принцип проведения многопартийных выборов на освобожденных землях и формирование коалиционных правительств (с фактической ориентацией на Запад), как предложил в Ялте президент Рузвельт, мог быть приемлем для нас лишь на переходный период после поражения гитлеровской Германии. Я помню замечания, сделанные министром иностранных дел Молотовым и Берией: коалиционные правительства в Восточной Европе долго не протянут. Позже, в 1947 году, на заседаниях Комитета информации, возглавлявшегося Молотовым, эти слова приобрели новый смысл. Замечу, что с 1947 по 1951 год комитет являлся главным разведорганом, куда стекалась почти вся информация из-за рубежа по военным и политическим вопросам.

Ялтинское соглашение, где официально был зафиксирован послевоенный раздел мира между США, Англией, СССР, было обусловлено, как ни парадоксально, пактом Молотова-Риббентропа. В этом договоре 1939 года, как теперь говорят, не было высоконравственных принципов, но он впервые признавал СССР великой державой мира. После Ялты Россия стала одним из центров мировой политики, от которого зависели будущее всего человечества и судьбы мира.

В наши дни многие аналитики указывают на близость Сталина и Гитлера в их подходе к разделу мира. Сталина ожесточенно критикуют за то, что он предал принципы и нормы человеческой морали, подписав пакт с Гитлером. При этом, однако, упускают из вида, что он подписал и тайное соглашение с Рузвельтом и Черчиллем о разделе Европы (Ялта), а позднее с президентом Трумэном (Потсдам).

Идеологические принципы далеко не всегда имеют решающее значение для тайных сделок между сверхдержавами: такова одна из реальностей нашей жизни. В декабре 1941 года в кабинете у Берии я встретил нашего посла в США Уманского, только что вернувшегося из Вашингтона после нападения японцев на Пёрл-Харбор. Он рассказал мне, что Гарри Гопкинс, близкий друг Рузвельта и его личный посланник по особо важным делам, от имени президента поставил перед нами вопрос о роспуске Коминтерна и о примирении с русской православной церковью. По его словам, это необходимо, чтобы снять препятствия со стороны оппозиции в оказании помощи по лендлизу и обеспечить политическое сотрудничество с США в годы войны. Эти неофициальные рекомендации были приняты Сталиным еще в 1943 году и создали дополнительные благоприятные предпосылки для встречи в Тегеране, а затем в Ялте. Это показало американцам, что со Сталиным можно договориться по самым деликатным вопросам с учетом его интересов.

Кстати говоря, и мы, и американцы упорно не публикуем все записи бесед Гопкинса с советскими руководителями. Причина проста – доверительные

обсуждения щекотливых вопросов опровергают многие стереотипные представления и свидетельствуют о том, что сговор Запада со Сталиным о разделе сфер влияния в мире после войны был вполне реален. Руководители западных стран мирились с коммунистическим присутствием в мировой политике, и, более того, они не считали коммунистический режим препятствием в достижении договоренности по вопросам послевоенного устройства мира.

В конце 1944 года, готовясь к Ялтинской конференции, открывшейся, как известно, в феврале 1945-го, мы провели совещание руководителей НКВД – НКГБ, Наркомата обороны и ВМФ, на котором председательствовал Молотов. Целью этого совещания было выяснить, может ли Германия продолжать войну, и проанализировать информацию о возможных сферах соглашений с нашими союзниками Америкой и Англией по послевоенному устройству мира. О точной дате открытия конференции нам не сообщили: Молотов просто сказал, что она состоится в Крыму не позже чем через два месяца.

После этого совещания Берия назначил меня руководителем специальной группы по подготовке и проверке материалов к Ялтинской конференции. Я должен был регулярно информировать Молотова и Сталина. Сам Берия поехал в Ялту, но участия в конференции не принимал. Проводя подготовку к встрече в Крыму, мы собирали данные о руководителях союзных держав, составляли их психологические портреты, чтобы наша делегация знала, с чем она может столкнуться во время переговоров. Нам было известно, что ни у американцев, ни у англичан нет четкой политики в отношении послевоенного будущего стран Восточной Европы. У союзников не существовало ни согласованности в этом вопросе, ни специальной программы. Все, чего они хотели, – это вернуть к власти в Польше и Чехословакии правительства, находившиеся в изгнании в Лондоне.

Данные военной разведки и наши собственные указывали на то, что американцы открыты для компромисса, так что гибкость нашей позиции могла обеспечить приемлемое для советской стороны разделение сфер влияния в послевоенной Европе и на Дальнем Востоке. Мы согласились, что польское правительство в изгнании должно получить в новом коалиционном правительстве Польши несколько важных постов. Требования Рузвельта и Черчилля, выдвинутые в Ялте, показались нам крайне наивными: с нашей точки зрения, состав польского послевоенного правительства будут определять те структуры, которые получали поддержку со стороны Красной Армии.

В период, предшествовавший Ялтинской конференции, Красная Армия вела активные боевые действия против немцев и смогла освободить значительную часть польской территории. Благоприятный для нас поворот политической ситуации во всех восточноевропейских странах предугадать было совсем не трудно – особенно там, где компартии играли активную роль в комитетах национального спасения, бывших де-факто временными правительствами, находившимися под нашим влиянием и отчасти контролем.

Мы вполне могли проявить гибкость и согласиться на проведение демократических выборов, поскольку правительства в изгнании ничего не могли противопоставить нашему влиянию. Бенеш, к примеру, бежал из Чехословакии в

Англию, на деньги НКВД вывоз нужных ему людей и находился под нашим сильным влиянием. Ставший позднее президентом Чехословакии Людвик Свобода всегда ориентировался на Советский Союз. Руководитель чехословацкой разведки полковник Моравец, впоследствии генерал, с 1935 года сотрудничал с советскими разведорганами, сначала с военной разведкой, потом с НКВД, что не мешало ему придерживаться антисоветских убеждений, тесно контактировал с нашим резидентом в Лондоне Чичаевым. Молодому румынскому королю Михая понадобилась поддержка наших глубоко законспирированных групп, связанных с руководством румынской компартии, для того, чтобы арестовать генерала Антонеску, разорвать союз с Гитлером и вступить в антигитлеровскую коалицию. Ситуация в Болгарии складывалась для нас вполне благоприятно, учитывая присутствие и большое влияние легендарного Георгия Димитрова, бывшего председателя Коминтерна. Во время проведения Ялтинской конференции мы уже готовились тайно вывозить урановую руду, добывавшуюся в Родопских горах Болгарии (уран был нужен для нашей атомной программы).

В 1945 году я встречался с Гарриманом, послом Соединенных Штатов в Советском Союзе. Первая встреча была в Министерстве иностранных дел: меня представили как Павла Матвеева, сотрудника секретариата Молотова, ответственного за техническую подготовку Ялтинской конференции. После первой официальной встречи я пригласил Гарримана на обед в «Арагви», ресторан, известный тогда своей изысканной грузинской кухней. Гарриман с видимым удовольствием принял мое приглашение. Я взял с собой на обед, как своего переводчика, князя Януша Радзивилла, представленного Гарриману в качестве польского патриота, проживающего в Москве в изгнании (в это время он был нашим агентом, находившимся на личной связи у Берии).

Для Гарримана и Радзивилла это была встреча старых знакомых. Гарриман владел химическим заводом, фарфоровой фабрикой, двумя угольными и цинковыми шахтами в Польше. Что было еще важнее, Радзивилл и Гарриман совместно владели угольно-металлургическим комплексом, где было занято до сорока тысяч рабочих. У себя на родине Януш Радзивилл являлся весьма заметной политической фигурой, будучи сенатором и председателем комиссии сейма по иностранным делам. В 1930-х годах он помогал Гарриману в приобретении акций некоторых польских предприятий в условиях весьма жесткой конкуренции со стороны французских и бельгийских предпринимателей.

Я уже писал, что мы стали с середины 30-х годов активно интересоваться Радзивиллом. После того как 17 сентября 1939 года Красная Армия вступила в восточные районы Польши, он попал к нам в руки, и Берия завербовал его в качестве так называемого агента влияния. Затем я организовал его возвращение в Берлин, где некоторое время наша резидентура вела за ним наблюдение и регулярно докладывала в Москву. Его нередко видели в то время на дипломатических раутах в обществе Геринга, с которым он раньше охотился и частенько приезжал в свое имение под Вильнюсом (тогда эта территория принадлежала Польше).

В конце 1944 или начале 1945 года мне сообщили: Радзивилл задержан и доставлен в Москву; Берия приказал использовать его в зондажных контактах с

американцами накануне Ялтинской конференции. В то время наши отношения с Польшей были натянутыми. Прокоммунистический временный комитет в Люблине объявил себя правительством страны в противовес польскому правительству в изгнании, находившемуся в Лондоне. Мы собирались активно использовать Радзивилла, чтобы успокоить проанглийски настроенных поляков. Британские и американские власти между тем, как нам стало известно, начали наводить справки относительно местонахождения Радзивилла, исчезнувшего из их поля зрения.

Обычная проверка его предвоенных связей показала нам: Радзивилл имел деловые отношения с Гарриманом. Узнав об этом, Берия тут же распорядился о переводе Радзивилла с Лубянки, где он к тому времени успел просидеть уже около месяца, на явочную квартиру в пригороде Москвы под домашний арест. Берия решил использовать Радзивилла в качестве посредника в общении с Гарриманом.

На обеде в «Арагви» с Гарриманом и Радзивиллом я собирался сказать о нашей терпимости по отношению к католическим, протестантским и православным священнослужителям, даже тем, кто в годы войны сотрудничал с немецкими властями на оккупированных территориях (я лично принимал архиепископа Слипого, одного из иерархов Украинской униатской церкви; несмотря на то, что он тесно сотрудничал с гитлеровцами, ему позволили вернуться во Львов, но уже после Ялтинской конференции его арестовали и отправили в ГУЛАГ по приказанию Хрущева). Я также собирался обсудить за обедом в «Арагви» судьбу священников русской православной церкви и заверить Гарримана, что советское правительство не преследует православных иерархов.

Когда я говорил об этом, Гарриман заметил, что недавние выборы патриарха русской православной церкви произвели весьма благоприятное впечатление на американское общественное мнение. Больше никаких других вопросов, подготовленных мною заранее, обсудить не удалось – Гарриман почувствовал, что Радзивилл вовсе не является официальным переводчиком, и принялся обсуждать с ним возможные деловые перспективы, касавшиеся создания совместных предприятий в Советском Союзе после войны. По словам Гарримана, разгром Германии мог логически привести к тому, что советско-американское экономическое сотрудничество станет реальным. Мы нуждаемся в экономической помощи, поэтому пустим американский капитал, чтобы поднять разрушенное войной народное хозяйство. Гарриман рассчитывал, что американская сторона может извлечь большие доходы, участвуя в восстановлении нашей экономики. Он упомянул о создании совместных предприятий в угольной и горно-металлургической промышленности как форме экономического сотрудничества. К такому повороту дела я не был готов.

Я сказал американскому послу, что мы признательны за переданную нам по дипломатическим каналам информацию о контактах американских агентов с уполномоченными лицами Герделера и генерала Бека в Швейцарии. Американцы откровенно сообщили нам о своих планах вывести Германию из войны. Упомянул я и о том, что мы информировали Государственный департамент США о своих тайных контактах с финнами с целью подписания мирного соглашения, в которых роль посредников играла семья Валленбергов.

Под конец я спросил у Гарримана, что ожидают американцы от Ялтинской конференции. Моя цель при этом заключалась в том, чтобы заранее подготовить нашу позицию по наиболее деликатным вопросам, которые будут затрагивать американцы. Например, будущее Польши, послевоенные границы в Европе или судьба Югославии, Греции и Австрии. Гарриман, однако, был не готов к подобной беседе. Я понял, что ему требуются для этого инструкции, которых он пока не получил. Его больше интересовало, как долго Радзивилл собирается оставаться в Москве. Я заверил, что Радзивилл может свободно отправиться в Лондон, но предпочитает поехать прямо в Польшу, как только страну освободят от немцев.

Гарриман неожиданно для меня поставил вопрос о привлечении еврейского капитала для восстановления нашего разрушенного войной хозяйства. Он, в частности, дал понять, что американские деловые круги поддерживают идею использования еврейских капиталов для возрождения Гомельской области в Белоруссии – традиционного места компактного проживания евреев.

Я всячески старался перевести разговор на личные темы. Так, я посоветовал Гарриману обратить внимание на поведение его дочери, чьи похождения с молодыми людьми в Москве могут причинить ей большой вред: в городе немало всякого хулиганья, что неудивительно, учитывая трудности военного времени. Свои замечания я высказал в мягкой, дружеской форме и специально подчеркнул, что, конечно, наше правительство постарается не допустить каких-либо действий, компрометирующих как самого Гарримана, так и его семью. При этом я особо отметил, что Гарриман пользуется уважением руководителя нашего государства. Эти предостережения не были ни угрозой, ни попыткой какого-либо шантажа. Наоборот, наша цель была показать ему, что ни о каких провокациях против него не может быть и речи. Тот факт, что мы обсуждали с ним не только дипломатические, но и чисто личные вопросы, притом довольно щепетильного свойства, показывал лишь степень нашего доверия. Но Гарриман никак не отреагировал на мои предостережения, проявив куда большую озабоченность доставкой водки и черной икры для участников предстоявшей конференции в Крыму.

Беседуя с Радзивиллом, Гарриман отметил, что Ялта должна дать зеленый свет перспективным деловым начинаниям в послевоенной Восточной Европе и в Советском Союзе. Поддерживая разговор, я сказал, что смысл тайного пребывания Радзивилла в Москве заключается в том, чтобы исключить всякого рода слухи, будто друг Геринга вот-вот появится в Швеции или Англии в качестве курьера от Гитлера с мирными предложениями. Радзивилл не только тут же перевел мои слова, но и со своей стороны поддержал меня, подтвердив свое намерение появиться в Европе лишь после окончания войны. Поскольку на встрече я выступал как высокопоставленный чиновник правительства, то от имени нашего руководства преподнес Гарриману подарок – чайный сервиз.

Мой разговор с Гарриманом в «Арагви», а затем в гостинице «Советская» (в то время там обычно останавливались приезжавшие в Москву западные делегации) был записан на пленку. Потом мы прослушивали запись, пытаясь найти в ней любые дополнительные штрихи для создания психологического портрета членов американской делегации на конференции в Ялте. Эти психологические нюансы

были для Сталина важнее разведывательных данных: возможность установления личных контактов с главами западных делегаций Рузвельтом и Черчиллем представлялась ему решающей. И действительно, личные отношения мировых лидеров сыграли колоссальную роль при обсуждении и принятии документов на Ялтинской конференции.

В ноябре 1945 года, когда Сталин находился на отдыхе в Крыму, Гарриман безуспешно пытался с ним встретиться для обсуждения планов экономического и политического сотрудничества. Мне рассказывали, как он пришел к Молотову и убеждал его, что он наш друг, на протяжении нескольких лет неизменно обсуждавший самые щекотливые вопросы с советскими должностными лицами и лично со Сталиным. Однако на сей раз Молотов остался безучастным и сугубо официальным. Это означало, что отныне Гарриман больше не представляет интереса для нашей стороны и доступ в высшие эшелоны власти ему заказан.

Гарриман покинул Москву в конце января 1946 года.

Летом 1941 года Гарри Гопкинс, советник президента Рузвельта, предложил нашему послу в Вашингтоне Уманскому установить конфиденциальные отношения. Это, как рассказывал мне Уманский, было сделано по прямому указанию президента. В декабре 1941 года Сталин назначил вместо Уманского на пост посла в США Литвинова – и Гопкинс тут же установил с ним близкие отношения. Настолько близкие, что Литвинов часто бывал у Гопкинса дома. Сам Литвинов рассказывал мне, как однажды, когда советник американского президента был болен, он сидел у его кровати и обсуждал с ним текущие проблемы. И Уманский, и Литвинов, с которыми я встречался в Москве, также, по их словам, установили неофициальные отношения с сотрудниками Госдепартамента и Белого дома. Наши резиденты Зарубин, а позднее сменивший его Горский расширили эти контакты во время союзнических отношений с Америкой в годы Второй мировой войны.

Перед любым официальным визитом список будущих участников переговоров в обязательном порядке вручался НКВД (или НКГБ). В данном случае такой список всех членов американской делегации на Ялтинской конференции получил я. В нем на каждого из участников содержались подробные установочные данные, включая связи с нами и отношение к нашей стране. Полученные мною материалы для составления психологической характеристики содержали информацию о личностных качествах и особо секретное приложение о возможности их агентурного сотрудничества с советской разведкой.

Одно должностное лицо США, с которым у нас существовали конфиденциальные отношения, входило в состав официальных членов американской делегации на Ялтинских переговорах. Этого человека звали Эджер Хисс, он был доверенным лицом Гопкинса. В беседах с Уманским, а затем с Литвиновым Хисс раскрывал планы Вашингтона. Кроме того, он был весьма близок с некоторыми «источниками», сотрудничавшими с советской военной разведкой, и с нашими активными агентами в Соединенных Штатах. По специальным каналам обмена информацией с военными мы знали, что от Хисса к нам поступило сообщение: американцы готовы прийти к соглашению с нами о будущем Европы.

В нашем списке против фамилии Хисса было указано, что он с большой симпатией относится к Советскому Союзу и является сторонником послевоенного сотрудничества между американским и советским правительствами. Однако ничего не говорилось о том, что Хисс, сотрудник Госдепартамента, является агентом нашей разведки.

В июне 1993 года я разговаривал с одним из своих бывших коллег, одно время он был резидентом военной разведки в Лондоне и Нью-Йорке. По его словам, Хисс стал источником информации для нашей группы в Вашингтоне в начале и середине 30-х годов. В эту группу, во главе которой стоял родившийся в России экономист Натан Сильвермастер, входили как наши агенты, так и те, кто являлся источником конфиденциальной информации, но чья деятельность не была зафиксирована ни в каких вербовочных документах, поскольку никто из них не подписывал обязательств о сотрудничестве. В 30-е годы учетно-вербовочные обязательства в контактах с симпатизирующими нам влиятельными людьми на Западе особого значения не имели. В 40-е годы уже был введен строгий порядок документированного оформления сотрудничества с советской разведкой.

Агентурные донесения, переведенные на русский, как правило, мы докладывали Сталину или Молотову без всяких комментариев. Единственным приложением к документу могла быть справка, что данный агент или источник заслуживает или не заслуживает доверия, или что за достоверность данных в спецсообщении мы не ручаемся. Насколько я помню, хотя и могу ошибаться, Хисс фигурировал как источник «Марс», но он не имел об этом ни малейшего понятия.

Когда в конце 40-х годов Хисса обвинили в шпионаже в пользу СССР, никаких убедительных доказательств его виновности представлено не было, да их и быть не могло. Хисс был близок к людям, сотрудничавшим с советской военной разведкой, возможно, являлся источником информации, передаваемой нашим спецслужбам, однако он никогда не был нашим агентом в полном смысле слова. Этой же точки зрения придерживался один из моих старых знакомых, ветеран нашей военной разведки. Он сказал мне, что накануне Ялты на контакты с советскими представителями Хисса подтолкнули Гопкинс и Хэдл, госсекретарь США, по поручению Рузвельта, зная о его симпатиях к Советскому Союзу. Американским властям было важно иметь Хисса как промежуточное звено, которое эпизодически может донести важную неофициальную информацию до советских правящих кругов.

Мой друг, ушедший в отставку офицер военной разведки, вспоминает, что в администрации Рузвельта мы имели очень важный источник информации. Это был помощник Рузвельта по делам разведки, находившийся в плохих отношениях с Уильямом Донованом и Эдгаром Гувером, руководителями соответственно УСС (Управление стратегических служб) и ФБР. Мой друг склонен думать, что Рузвельт и Гопкинс, со своей стороны, также не доверяли полностью УСС и ФБР. Рузвельт в те годы создал свою собственную неофициальную разведывательную сеть, услугами которой он пользовался для выполнения деликатных миссий. Хисс, так же как Гопкинс и Гарриман, входил в этот узкий круг доверенных лиц.

Этим, возможно, и объясняется, почему Трумэн, сменивший Рузвельта, сразу

же не отстранил Хисса. Полученный им мягкий приговор, невразумительные обвинения, выдвинутые против него, и, наконец, нейтральная позиция, занятая по данному делу американским правительством, показывают, что Хисс знал слишком многое, что могло бы отразиться на репутации как Рузвельта, так и Трумэна. Мой друг, ветеран военной разведки, полагает, что в архивах ФБР есть куда больше материалов на Хисса, чем было представлено на суде, возможно, между Трумэном и Гувером существовала негласная договоренность ограничить обвинение против Хисса только лжесвидетельством.

Следует иметь в виду, что 80 процентов разведывательной информации по политическим вопросам поступает не от агентов, а из конфиденциальных источников. Обычно эти источники засекаются контрразведкой, но доказать факт шпионажа всегда проблематично. Линия советской разведки всегда заключалась в том, чтобы члены компартии не были причастны к нашей разведывательной деятельности. Если же источник информации представлял для нас слишком большую важность, то такому человеку приказывали выйти из партии, чтобы продемонстрировать свое разочарование в коммунизме.

Интересно проследить, как менялись дипломатические контакты между американскими и советскими представителями. В годы войны Гопкинс и Гарриман поддерживали личные, неофициальные и дипломатические отношения с советским руководством – я полагаю, что они действовали по указанию самого Рузвельта. Что касается Сталина, то он прибегал к неофициальной дипломатии лишь в первый период войны, используя Уманского и Литвинова. Как только он установил личные отношения с Рузвельтом в Тегеране, у него отпала необходимость сохранять в Америке Литвинова, опытного дипломата, бегло говорившего на английском, французском и немецком. Назначение послом в Америку Громько в 1944 году свидетельствовало, что установлен личный контакт между Сталиным и Рузвельтом. Ему больше не нужны были сильные посредники – такие как Литвинов или Уманский.

Позже Сталин расстался со всеми, кто поддерживал неофициальные контакты с посланниками Рузвельта. Сообщение о том, что личный переводчик Рузвельта – сын одного из лидеров белогвардейской террористической организации «Лига Обера», участвовавшего в убийстве советского посла в Варшаве Войкова, мы получили всего за два дня до начала Ялтинской конференции. Я срочно доложил об этом Богдану Кобулову, тот Берии, который был в Ялте, и по его приказу Круглов, официально отвечавший за охрану делегаций и поддерживавший регулярные контакты с американской и английской спецслужбами, информировал начальника американской службы охраны. Переводчик был незамедлительно доставлен из Ялты на американское судно, стоявшее у побережья Крыма.

Первоначально советское руководство серьезно рассматривало участие СССР в «плане Маршалла». Вспоминаю свою встречу с помощником Молотова Ветровым перед его отъездом в Париж вместе с Молотовым для участия в переговорах о будущем Европы. Это было в июне 1947 года. Ветров, мой старый друг еще по работе в Риге в 1940 году, рассказал мне, что наша политика строится на сотрудничестве с западными союзниками в реализации «плана Маршалла», имея

ввиду прежде всего возрождение разрушенной войной промышленности на Украине, в Белоруссии и в Ленинграде.

Неожиданно наш политический курс резко изменился. Меня пригласили в Комитет информации. Вышинский, исполнявший в отсутствие Молотова обязанности председателя комитета, и его заместитель Федотов сообщили, что получена важная информация от агента под кодовым именем «Стюарт» (это был Дональд Маклин). Будучи первым секретарем британского посольства в Вашингтоне и исполняя обязанности начальника канцелярии посольства, Маклин имел доступ к важной секретной переписке. В донесении утверждалось: цель «плана Маршалла» заключается в установлении американского экономического господства в Европе. Новая международная экономическая организация по восстановлению европейской промышленности будет находиться под контролем американского капитала. Источником этой информации был не кто иной, как министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бевин. Этот план и предопределил в будущем разницу в экономическом развитии стран Восточной и Западной Европы.

Вышинский хотел немедленно доложить об этом сообщении Сталину. Однако прежде чем сделать это, ему надо было удостовериться еще раз в надежности агента, от которого поступила информация, причем не только в самом Маклине, но и в других агентах, входивших в кембриджскую группу, – Филби, Берджесе, Кэрнкроссе и Бланте. Вышинский опасался, что эти люди скомпрометированы своими связями в прошлом с Орловым. Не ведут ли теперь они двойную игру?

В 1939 году, после того как Орлов перебежал на Запад, именно я отдал приказ о возобновлении контактов с Филби и Маклином. Поскольку в досье Маклина хранилась эта телеграмма за моей подписью, Вышинский именно мне задал вопрос, можно ли доверять такому агенту как Маклин. Я ответил, что несу ответственность за подписанные мною директивы, но о работе Маклина я имею сведения лишь до 1939 года, а с 1942 года у меня вообще нет о нем никаких сообщений, при этом я добавил: «Каждый источник важной информации должен в обязательном порядке регулярно проверяться и оцениваться заново, так что кембриджская группа не может быть исключением».

В конце разговора я напомнил Вышинскому, что Сталин лично распорядился, чтобы НКВД не разыскивал Орлова за рубежом и не преследовал членов его семьи.

После моего напоминания Вышинский, казалось, убедился, что оснований не доверять надежности нашего агента нет, а значит, следует доложить о сообщении Сталину. Если же информация Маклина была, так сказать, с душком, то Вышинский понимал, что сможет умыть руки, сославшись на приказ Сталина оставить Орлова в покое. Кроме того, наш разговор с Вышинским происходил в присутствии Федотова, которого можно было использовать как свидетеля против меня, если информация Маклина оказалась бы ложной.

В сообщении Маклина также говорилось, что «план Маршалла» предусматривает прекращение выплаты Германией репараций. Это сразу же насторожило советское руководство, поскольку в то время репарации являлись, по

существо, единственным источником внешних средств для восстановления разрушенного войной народного хозяйства.

В Ялте и Потсдаме стороны пришли к соглашению, что Германия будет выплачивать репарации в виде оборудования, промышленных станков и машин, легковых автомобилей, грузовиков и строительных материалов регулярно – в течение пяти лет. Особенно важны эти поставки были для нашей химической и машиностроительной промышленности, нуждавшейся в модернизации. Причем использование поставок в Советском Союзе не подлежало международному контролю, это означало, что мы могли использовать их на любые цели, которые сочтем необходимыми.

По «плану Маршалла» реализация всех проектов зарубежной экономической помощи должна была находиться под международным, фактически американским контролем. План этот мог быть приемлемым, если бы являлся дополнением к регулярному поступлению репараций из Германии и Финляндии. Сообщение, полученное от Маклина, однако, ясно давало понять, что британское и американское правительства хотели с помощью «плана Маршалла» приостановить репарации Советскому Союзу и странам Восточной Европы и предоставить международную помощь, основанную не на двусторонних соглашениях, а на международном контроле.

Подобная ситуация для нас была абсолютно неприемлема, она препятствовала бы нашему контролю над Восточной Европой. А это означало, что коммунистические партии, уже утвердившиеся в Румынии, Болгарии, Польше, Чехословакии и Венгрии, будут лишены экономических рычагов власти. Знаменательно, что через полгода после того, как «план Маршалла» был нами отвергнут, многопартийная система в Восточной Европе была ликвидирована при нашем активном участии.

По указанию Сталина Вышинский направил находившемуся в Париже Молотову шифровку, где кратко суммировалось сообщение Маклина. Основываясь на этой информации, Сталин предложил Молотову выступить против реализации «плана Маршалла» в Восточной Европе.

Противодействие этому плану проводилось различными путями. К примеру, Вышинский лично вел переговоры с румынским королем Михаем о его отречении в обмен на гарантированные условия проживания в Мексике. Мы также наградили его орденом «Победы», румынское правительство установило ему высокое пожизненное содержание.

Уникальная ситуация сложилась в Болгарии. Во время войны мне приходилось часто встречаться с Георгием Димитровым, возглавлявшим Коминтерн до того, как он был распущен в 1943 году. В течение года он являлся заведующим международным отделом ЦК ВКП(б). Когда в 1944 году Димитров вернулся в Болгарию, он позволил царице и её сыну, наследнику престола, покинуть страну, забрав с собой все семейные ценности. Зная, какую угрозу могут представлять монархические круги в эмиграции, Димитров решил уничтожить всю политическую оппозицию внутри страны: ключевые фигуры бывшего парламента и царского

правительства Болгарии подверглись репрессиям и были ликвидированы. В результате этой акции Димитров стал единственным коммунистическим руководителем в Восточной Европе, не имевшим среди эмиграции организованной оппозиции, реально претендующей на власть. Преемники Димитрова пользовались плодами этого положения более тридцати лет. Генерал Иван Винаров, один из руководителей разведки Болгарии, работавший под моим началом в 4-м управлении в годы войны, позднее, когда мы встретились с ним в 70-х в Москве, говорил: мы использовали ваш опыт и уничтожили всех диссидентов до того, как они смогли сбежать на Запад.

Иным было положение в Чехословакии.

Наш резидент в Праге Борис Рыбкин к концу 1947 года создал нелегальную резидентуру, действовавшую под прикрытием экспортно-импортной компании по производству бижутерии, используя ее в качестве базы для возможных диверсионных операций в Западной Европе и на Ближнем Востоке. Чешская бижутерия известна во всем мире, и это облегчало Рыбкину задачу создания дочерних компаний-«дистрибьюторов» в наиболее важных столицах Западной Европы и Ближнего Востока. В задачи Рыбкина входило использование курдского движения против шаха Ирана и правителей Ирака, короля Фейсала Второго и премьер-министра Нури Саида. В конце 1947 года Рыбкин погиб в автомобильной катастрофе в Праге, но к этому времени его организация уже начала активно действовать.

В 1948 году, накануне перехода власти от Эдварда Бенеша к Клементу Готвальду, Молотов вызвал меня в свой кремлевский кабинет и приказал ехать в Прагу, чтобы, организовав тайную встречу с Бенешем, предложить ему с достоинством покинуть свой пост, передав власть Готвальду, лидеру компартии Чехословакии. Чтобы напомнить Бенешу о его тесных неофициальных связях с Кремлем, я должен был предъявить ему расписку на десять тысяч долларов, подписанную его секретарем в 1938 году, когда эти деньги нужны были Бенешу и его людям для переезда в Великобританию. В противном случае мне предписывалось сказать ему, что мы найдем способ организовать утечку слухов об обстоятельствах его бегства из страны и оказанной ему финансовой помощи для этого, тайном соглашении о сотрудничестве чешской и советской разведки, подписанном в 1935 году в Москве, секретном договоре о передаче нам Карпатской Украины и об участии самого Бенеша в подготовке политического переворота в 1938 году и покушения на премьер-министра Югославии.

Молотов подчеркнул, что я не уполномочен вести какие-либо переговоры по вопросам чешской политики: моя задача заключалась лишь в том, чтобы передать наши условия, предоставив Бенешу право решать, как он их выполнит. Молотов повторил свои инструкции очень четко, пристально глядя на меня сквозь пенсне. Я ответил, что считаю такое деликатное задание более подходящим для человека, лично знающего Бенеша и непосредственно с ним связанного по прежней работе. Таким человеком был Зубов, наш резидент в Праге в предвоенные годы, которого Сталин и Молотов в свое время посадили в тюрьму за то, что он в 1938 году сообщил о несостоятельности плана Бенеша опереться на сомнительных людей в

Белграде и более того – денег им не дал. Молотов на это сказал, чтобы я лично выполнил поручение с привлечением нужных людей, а как – это уже на мое усмотрение. Было ясно, что он не хотел брать на себя ответственность за то, какими методами я буду действовать: его интересовал только результат. Я должен был покинуть Прагу через двенадцать часов после разговора с Бенешем, не дожидаясь ответа.

Вместе с Зубовым (с сентября 1946 года Зубов находился на пенсии; после систематических избиений в тюрьме, которым подвергал его следователь Родос, он стал фактически инвалидом: довольно заметно прихрамывал и ходил, опираясь на палку) мы приехали в Прагу поездом в январе 1948 года, но остановились не в посольстве, а в скромном отеле, где представились членами советской торговой миссии. Наша бригада специального назначения – 400 человек, переодетых в штатское, – уже была в Праге. Эту группу скрытно переправили для поддержки и защиты Готвальда.

Официальные советские представители и без того оказывали на Бенеша весьма сильный нажим, а тут еще и мы должны были внести свою лепту. Зубов и я провели в Праге целую неделю, и за это время Зубову, который перед войной встречался с Бенешем в присутствии нашего посла Александровского, удалось, используя все свое умение и прошлые связи, на пятнадцать минут встретиться с Бенешем в его резиденции, расположенной в самом центре Праги. Смысл нашего послания он довел до президента, сказав, что в стране произойдут кардинальные перемены независимо от того, сохранится нынешнее руководство или нет, но, по его мнению, Бенеш был единственным, кто мог бы обеспечить плавную и бескровную передачу власти.

В соответствии с инструкциями Зубов сказал Бенешу, что не ожидает от него ответа, а всего-навсего передает ему неофициальное послание. По словам Зубова, Бенеш казался сломленным, больным человеком, который постарается сделать все, что можно, чтобы избежать взрыва насилия и беспорядков в Чехословакии.

Выполнив свою миссию, мы сели в поезд Прага – Москва. Как только поезд пересек границу, я сразу же, используя каналы связи местного обкома партии, послал, как мне и было приказано, шифровку Молотову и ее копию Абакумову, тогдашнему министру госбезопасности: «Лев получил аудиенцию и передал послание» («Лев» – кодовое имя Зубова). Через месяц Бенеш мирно уступил бразды правления Готвальду.

В конце войны мое служебное положение еще больше упрочилось: 4-е управление, которым я руководил, внесло общепризнанный вклад в нашу победу. Среди двадцати восьми чекистов, удостоенных высшей награды страны – звания Героя Советского Союза, двадцать три были офицерами и сотрудниками моего управления. В декабре 1945 года мне была оказана редкая честь выступить с официальным докладом на ежегодном собрании сотрудников аппарата НКГБ – НКВД, посвященном очередной годовщине образования ЧК. Вскоре я был избран членом парткома Министерства государственной безопасности (МГБ): весной 1946 года Наркомат государственной безопасности (НКГБ) стал называться министерством.

Еще в июле 1945 года, сразу же после окончания войны, накануне Потсдамской конференции, Сталин подписал постановление правительства о введении для офицеров и руководящего состава госбезопасности и внутренних дел аналогичных с Красной Армией воинских званий (старший майор – полковник; комиссар госбезопасности – генерал-майор; комиссар госбезопасности 3-го ранга – генерал-лейтенант, 2-го ранга – генерал-полковник, 1-го ранга – генерал армии; генеральный комиссар – маршал). Берия получил звание маршала в июле 1945 года. Фитину и мне тем же постановлением правительства присвоили звание генерал-лейтенанта, а Эйтингону – генерал-майора. Так в первый раз мое имя и имя Эйтингона было упомянуто на страницах нашей прессы среди руководящих работников НКВД, которым были присвоены генеральские звания.

Между тем «холодная война» приняла ожесточенный характер, что в конце 1947 года привело к важной реорганизации структур наших разведорганов. Война показала, что политическая и военная разведка не всегда квалифицированно справлялась с оценкой и анализом всей информации, которую она получала по своим каналам. И тогда Молотов, который перед Ялтинской конференцией несколько раз председательствовал на совещаниях руководителей разведслужб, предложил объединить их в одну централизованную организацию. Сталин согласился с этим предложением – так появился на свет Комитет информации, куда вошли 1-е управление МГБ и Главное разведуправление Министерства обороны (ГРУ). Что касается Министерства госбезопасности, то решено было также сохранить в его составе специальную службу разведки и диверсий – на случай возможной войны или локальных военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Европе, на Балканах или на Дальнем Востоке. Аналогичное спецподразделение было сохранено в Министерстве обороны.

Оглядываясь на прошлое, я вижу, что вполне здравая идея создания единого аналитического центра для обработки разведывательной информации была реализована на практике не так, как следовало. Оперативное руководство разведывательными операциями не надо было передавать в чужие руки. Что же касается нового Комитета информации, то его задачи надо было ограничить анализом материалов разведки.

Эффективность и продуманность операций зарубежной разведки органов безопасности и Генштаба Вооруженных Сил в значительной мере зависели от взаимодействия этих служб. Разведслужба МГБ сотрудничала с контрразведкой, а ГРУ контактировало с соответствующими отделами управлений Генштаба. Ни ГРУ, ни разведка МГБ, отличаясь высоким профессионализмом при выполнении заданий военного или политического характера, сами не определяли приоритеты и цели своей деятельности, касающиеся проникновения наших спецслужб и внедрения наших агентов на объекты противника. При новой системе любые запросы о содействии от высшего военного командования или Министерства госбезопасности сначала поступали к Сталину, а затем к Молотову как к главе Комитета информации, а это, естественно, увеличивало поток бюрократических бумаг и неизбежных согласований, затрудняя процесс принятия решений.

Прежнее разведуправление НКВД – НКГБ, являвшееся основным

инструментом обеспечения интересов госбезопасности за рубежом, по существу, превратилось в придаток Министерства иностранных дел, основная деятельность которого – дипломатия, а не разведка. Как и Комитет информации, министерство находилось под контролем Молотова. В результате такие операции как проникновение в эмигрантские организации, внедрение наших агентов в британские и американские спецслужбы и сотрудничество с органами контрразведки в подавлении националистических движений в Прибалтике и в Западной Украине, прежде успешно осуществлявшиеся НКВД – НКГБ, начали заметно терять свое значение. Комитет информации был учрежден одновременно образованием ЦРУ в Соединенных Штатах. Это была попытка – глубоко ошибочная! – аналогичным образом отреагировать на происходящие изменения в Америке.

Даже сейчас, после развала Советского Союза, я все еще убежден: эффективное функционирование спецслужб в России зависит от их тесного сотрудничества с органами безопасности. Мы не имеем прочной оперативной самостоятельной базы для работы, скажем, налоговой полиции, таможенной службы и т. п. На Западе все эти службы обладают серьезными рычагами контроля над важными сферами жизни общества. В России же эти службы лишь рождаются. Вместе с тем орган по анализу и оценке разведанных должен действовать самостоятельно, непосредственно обслуживать руководство страны, а не быть в подчинении у бюрократов и тех или иных влиятельных политиков или руководителей спецслужб.

К такому выводу пришли не сразу, а постепенно, к 1951, точнее, к 1952 году, когда Сталин распорядился, чтобы вся оперативная разведывательная работа была вновь сосредоточена в разведывательном управлении Министерства обороны и новом 1 – м главном управлении (внешняя разведка) Министерства государственной безопасности. Комитет информации стал играть роль аналитического центра по обработке материалов военной и политической разведки. Там начали работать Берджес и Маклин, когда им удалось бежать в Советский Союз.

Возможно, по этой причине в 1960-е годы Хрущев создал отдел международной информации при ЦК КПСС для анализа и обработки материалов по внешнеэкономическим и внешнеполитическим вопросам. После событий в августе 1991 года Горбачев и Ельцин совершили ту же ошибку: вместо того, чтобы выработать механизм общественно-демократического и парламентского контроля за деятельностью спецслужб, они объединили политическую и оперативную работу и создали службу внешней разведки, которая в своей зарубежной деятельности не может не опираться на материалы контрразведки. Отсутствие эффективной координации действий с органами внутренней безопасности, налоговой полицией и таможней остается уязвимым местом в ее работе.

Упомянутый Комитет информации возглавлялся сначала Молотовым, затем три месяца Вышинским, а после него Зориным, впоследствии нашим представителем в Организации Объединенных Наций. Мне довелось присутствовать на нескольких совещаниях при Вышинском: до последнего дня своего пребывания на посту председателя комитета он умудрился лично не подписать ни одного сколько-нибудь важного документа, переложив всю ответственность на своих заместителей. При этом он неизменно повторял: «В столь серьезном деле я

совершенно некомпетентен».

По его словам, он дважды говорил товарищу Сталину о своей некомпетентности в вопросах разведывательной деятельности. Всякий раз, бывая у Сталина, Вышинский брал с собой и своего заместителя. Он совершенно откровенно хотел, чтобы кто-то еще делил с ним ответственность за решения: это давало ему возможность в случае неудачи переложить вину на другого. Кстати, Вышинский был куда более компетентен, чем пытался представить. Как-то в неофициальной обстановке он признался, что разведка, как правило, связана с неприятностями, а не с успехами в работе. Он был прав: в нашем деле действительно нельзя рассчитывать только на успех – риск остается всегда достаточно высоким. В конце концов он убедил Сталина, что его следует освободить от этого груза забот. Просьбу Вышинского удовлетворили, назначив Зорина на пост председателя Комитета информации.

Еще до этих перемен, в июне 1946 года неожиданно для меня с поста министра госбезопасности был смещен Меркулов. Делались смутные намеки, что спецслужбы, дескать, не справились со своими обязанностями, допустив ошибки в проведении традиционной первомайской демонстрации. Речь шла о возникших во время празднования Первомая пробках на столичных улицах. Вскоре мне стало совершенно ясно, что это был просто предлог, чтобы снять Меркулова.

После окончания войны на первый план выдвигалась проблема реорганизации Вооруженных сил. Вслед за этим Сталин предложил Политбюро рассмотреть деятельность органов госбезопасности и поставить перед ними новые задачи. Позднее Мамулов и Людвигов рассказали мне, что от Меркулова потребовали представить на Политбюро план реорганизации Министерства госбезопасности. На заседании Берия, по их словам (оба они, как я упоминал, возглавляли секретариат Берии), обрушился на Меркулова за неспособность определить направления в работе контрразведки в послевоенное время. К нему присоединился и Сталин, обвинив Меркулова в полной некомпетентности.

На заседании, где присутствовали заместители Меркулова, должны были обсудить новые задачи Министерства госбезопасности. Военная контрразведка (СМЕРШ), которая в годы войны находилась в ведении Наркомата обороны, возглавлялась Абакумовым и контролировалась Сталиным, вновь возвращалась в состав Министерства госбезопасности, поскольку Сталин перестал возглавлять Наркомат обороны. Министром обороны был назначен Булганин, сугубо штатский человек, не имевший военного образования – его срочно произвели в маршалы, после чего последовало это назначение.

Тогда, на совещании, произошла интересная сцена. Сталин спросил, почему начальник военной контрразведки не может быть одновременно заместителем министра госбезопасности. Меркулов тут же с ним согласился, чтобы Абакумов был назначен первым заместителем министра. При этом Сталин саркастически заметил, что Меркулов ведет себя на Политбюро как двурушник и целесообразно заменить его на посту министра госбезопасности. Похоже, Меркулов совершил ошибку, так легко согласившись с предложением Сталина, но на самом деле Сталин просто искал подходящий предлог, чтобы его убрать. У Сталина была уже готова и

кандидатура – Огольцов, честный человек, но провинциал, никогда не работавший в Центре; всего полгода, как его перевели из Красноярского управления госбезопасности в Москву. Огольцов умолял Сталина не назначать его на эту должность. «Как честный коммунист, – заявил он на Политбюро, – я совершенно не подхожу для такого высокого поста, поскольку у меня недостает для столь ответственной работы необходимых знаний и опыта». Тогда Сталин тут же предложил назначить министром Абакумова. Берия и Молотов промолчали, зато член Политбюро Жданов горячо поддержал эту идею.

Через неделю Эйтингона и меня вызвали к Абакумову.

– Почти два года назад, – начал он, – я принял решение никогда с вами не работать. Но товарищ Сталин, когда я предложил освободить вас от выполняемых вами обязанностей, сказал, что вы должны продолжать работать в прежней должности. Так что, – заключил новый министр, – давайте срабатываться.

Сперва мы с Эйтингоном почувствовали облегчение – подкупила его искренность. Однако последующие события показали, что нам не следовало слишком предаваться благодущию. Через несколько дней нас вызвали на заседание специальной комиссии ЦК КПСС, на котором председательствовал новый куратор органов безопасности секретарь ЦК А. Кузнецов.

Комиссия рассматривала «преступные ошибки» и случаи служебной халатности, допущенные прежним руководством Министерства госбезопасности. Это было обычной практикой: всякий раз при смене руководства в министерствах (обороны, безопасности или иностранных дел) Центральный комитет назначал комиссию для рассмотрения деятельности старого руководства и передачи дел.

Среди вопросов, которые изучала комиссия Кузнецова, был и такой: приостановление Меркуловым уголовного преследования сторонников Троцкого в 1941–1945 годах. Неожиданно всплыли мои и Эйтингона подозрительные связи с известными «врагами народа» – руководителями разведки О ГПУ– НКВД в 30-е годы. Абакумов прямо обвинил меня и Эйтингона в «преступных махинациях»: мы вызволили своих «друзжков» из тюрьмы в 1941 году и помогли им избежать заслуженного наказания. Сказанное возмутило меня до глубины души: речь шла о клевете на героев войны, людей, преданных нашему делу. Охваченный яростью, я резко оборвал его.

– Не позволю топтать сапогами память героев, погибших в войне, тех, которые проявили мужество и преданность своей Родине в борьбе с фашизмом. В присутствии представителя Центрального комитета я докажу, что дела этих чекистов были сфабрикованы в результате преступной деятельности Ежова, – заявил я в запальчивости.

Кузнецов (он знал меня лично – мы встречались на соседней даче, у вдовы Емельяна Ярославского), вмешавшись, поспешил сказать, что вопрос закрыт. Обсуждение на этом закончилось, и я ушел.

Вернувшись к себе, я тут же вызвал в кабинет Серебрянского, Зубова, Прокопюка, Медведева и других сотрудников, подвергавшихся арестам и увольнению в 1930-х годах, и предложил им немедленно подать в отставку.

Особенно уязвимым было положение Зубова и Серебрянского, чьи дела вел в свое время Абакумов.

В июле 1946 года – впервые за восемь лет – я взял отпуск и отправился с женой и детьми под Ригу, на прибалтийский курорт Майори. Вначале мы жили в военном санатории, но известный латышский писатель Вилис Лацис, одно время бывший народным комиссаром внутренних дел Латвии, а затем председателем Совета Министров, пригласил нас в свою резиденцию. Когда я вернулся в Москву после отпуска, начальник секретариата Министерства госбезопасности Чернов сообщил мне, что 4-е управление, которым я руководил, расформировано. Поскольку нашего подразделения больше не существовало, я получил указание от министра представить ему свои предложения по использованию личного состава. У меня фактически не было возможности маневра: с одной стороны Молотов, намеренный создать Комитет информации, а с другой – Абакумов, министр госбезопасности.

Я все еще являлся руководителем разведывательного бюро Спецкомитета правительства по атомной проблеме. От Огольцова я узнал: Абакумова раздражало, что я до сих пор занимаю этот пост и имею прямой доступ в Кремль. Он ничего не мог с этим поделать, поскольку атомная проблема не относилась к его компетенции.

Новый Комитет информации, как предполагалось, должен был объединить военную и политическую разведку, что не могло не затронуть работу Специального разведывательного бюро по атомной проблеме, которое занималось координацией деятельности ГРУ и МГБ по сбору разведданных, связанных с ядерным оружием. Чем же должно было заниматься данное подразделение теперь? В конце 1946 года этот вопрос стоял ребром, а мне все никак не удавалось переговорить с Берией, который был заместителем главы правительства и членом Политбюро. В конце концов я позвонил ему и спросил, каким должен быть статус, и кому должно подчиняться разведывательное бюро Спецкомитета правительства по «проблеме номер один» в связи с организацией Комитета информации.

Ответ Берии озадачил меня.

– У вас есть свой министр для решения таких вопросов, – резко бросил он и повесил трубку.

Я понимал, что если у меня все еще есть министр – Абакумов, то он никогда не поддержит меня.

Вот почему я тут же предложил, чтобы функции 2-го разведывательного бюро были переданы Комитету информации. Учитывая важность атомной проблемы, этими вопросами должен был заниматься самостоятельный отдел научно-технической разведки. На должность начальника отдела научно-технической разведки я рекомендовал назначить Василевского. Федотов, который вначале сменил Фитина в должности начальника разведки МГБ, а потом стал заместителем Молотова в Комитете информации, согласился, но Василевский проработал всего несколько месяцев. Его убрали из Комитета информации во время антисемитской кампании, начавшейся в стране, позволив, правда, выйти в 1948 году на пенсию в звании полковника по выслуге лет.

Мое служебное положение было определено лишь осенью 1946 года, когда

решением ЦК и правительства была создана спецслужба разведки и диверсий при министре госбезопасности СССР (с 1950 года она называлась Бюро МГБ № 1 по диверсионной работе за границей), и я был назначен начальником, а Эйтингон моим заместителем. Моя задача заключалась в том, чтобы организовать самостоятельную службу, которая могла бы в случае войны быть преобразована в самые сжатые сроки в орган, направляющий боевую работу. Речь шла также о действиях на случай возникновения очагов напряженности внутри Советского Союза, которые могли перерасти в вооруженные конфликты в связи с разгулом бандитизма в Прибалтике и Западной Украине.

Я сохранил свое положение как начальник самостоятельного подразделения в системе Министерства госбезопасности. Абакумов проявил достаточно такта, чтобы не лишать меня тех привилегий, которые я получал в годы войны: мне сохранили государственную дачу, меня продолжали включать в список лиц, получавших сверх служебного оклада ежемесячное денежное вознаграждение, а также имевших право на спецобслуживание и питание в кремлевской столовой. Мое положение изменилось лишь в одном отношении: меня больше не приглашали на регулярные совещания начальников управлений под председательством министра, как это было в годы войны. Интересно, что коллегия в МГБ при Сталине так и не была создана. С Абакумовым мы практически не общались, пока в один прекрасный день я неожиданно не услышал по телефону требовательный и уверенный, как обычно, голос Абакумова.

– До меня дошли слухи, что ваши сыновья планируют покушение на товарища Сталина.

– Что вы имеете в виду?

– То, что сказал, – ответил Абакумов.

– А вы знаете, сколько им лет? – спросил я.

– Какая разница, – ответил министр.

– Товарищ министр, я не знаю, кто вам об этом доложил, но подобные обвинения просто невероятны. Ведь моему младшему сыну – пять лет, а старшему – восемь.

Абакумов бросил трубку. И в течение года я не слышал от него ни одного слова на темы, не касавшиеся работы. Он ни разу не встретился со мной, хотя я и находился в его непосредственном подчинении. Все вопросы решались только по телефону.

В конце 1946– начале 1947 года продолжалась серьезная реорганизация управления разведкой: в июле 1946 года было ликвидировано 4-е управление; в конце 1946 – начале 1947 года разведывательное управление МГБ передали в Комитет информации, созданный лишь в марте 1947 года, – полгода шел «раздел агентурного аппарата». Проработавший в 4-м управлении под моим началом всю войну Фишер, отвечавший за службу радиоразведки, был переведен в Комитет информации. С помощью Огольцова, первого заместителя Абакумова, мне удалось убедить Федотова, заместителя Молотова, что моей службе необходим свой

радиоцентр. Принятое решение, что комитет и бюро должны пользоваться услугами одного и того же радиоцентра, не обрадовало меня. В комитете начальником управления по работе с нелегалами был назначен Коротков – он-то и разработал план использования Фишера (позже приобретшего известность под псевдонимом «Рудольф Абель») в качестве руководителя сети нелегалов в США и Западной Европе.

План Короткова должен был вначале получить мое одобрение, так как одной из основных его задач было проникновение на военные базы и сооружения в Бергене (Норвегия), Гавре и Шербуре (Франция). Я высказался категорически против, так как считал, что куда полезнее будет, если Фишер, работая за рубежом, усовершенствует нашу систему радиосвязи, вместо того чтобы подвергаться ненужному риску, руководя сетью нелегалов. Нелегальные радисты и агенты-нелегалы должны быть либо мужем и женой, либо работать отдельно друг от друга, поддерживая связь с помощью связного, чтобы максимально снизить риск быть захваченными вместе и провалить тем самым всю сеть. Именно несоблюдение этого правила привело к трагическим потерям в «Красной капелле» в годы войны. Коротков же, по существу, настаивал на том, чтобы Фишер сочетал руководство агентурной сетью и контроль за радистами.

Решение об отправке Фишера за рубеж было принято лишь в конце 1947 года. Я предложил Федотову направить его в Западную Европу и в Северную Америку, с тем, чтобы проверить на месте, чем располагает наша агентурная сеть во Франции, Норвегии, Соединенных Штатах и Канаде. Он должен был обеспечить доступ на военные объекты, склады и хранилища боеприпасов. Нам позарез надо было знать, как быстро американцы смогут перебросить подкрепления в Европу в случае, если «холодная война» перерастет в горячую.

Эйтингон, в свою очередь, предложил Фишеру получить гражданство США и наладить собственную систему радиосвязи с Москвой и лично поддерживать ее. По легенде он должен был вести свободный образ жизни и не ставить себя в зависимость от радиста. Он сам был радистом очень высокой квалификации. Я согласился с Эйтингоном, подчеркнув, что Фишеру ни в коем случае не следует полагаться на старые источники информации. Он должен установить новые конфиденциальные контакты, а затем проверить тех людей, которых мы использовали в 30-40-е годы: в каждом отдельном случае он сам решит, стоит ли выходить с ними на связь или нет, то есть мы ничего не станем им сообщать о появлении их нового куратора на Западе.

Приоритетным в США было для нас Западное побережье – именно там, на Лонг-Бич, находились военные объекты. Фишер получил указание сообщать нам об американских военных поставках китайским националистам, которые в то время все еще вели ожесточенные сражения с китайской Народно-освободительной армией.

Фишеру удалось создать новую агентурную сеть, объединявшую агентов в Калифорнии и нелегалов, укрывавшихся под видом чехословацких эмигрантов в Бразилии, Мексике и Аргентине. Его люди докладывали о движении военной техники и боеприпасов, которые отправлялись из американских портов на Тихоокеанском побережье в порты Дальнего Востока. Нелегалы довольно часто

приезжали из Латинской Америки в Соединенные Штаты по делам, связанным с их бизнесом, что было для них отличным прикрытием. Все они были настоящими специалистами по проведению диверсионных операций, получившими большой опыт во время партизанской войны против немцев. В эту латиноамериканскую группу входили Гринченко, Филоненко и бывшая секретарша Троцкого Мария де Лас Эрас (кодовое имя «Патрия»). Получив соответствующий приказ из Центра, они могли привлечь для диверсионных операций и калифорнийских агентов.

Полковник Филоненко и его жена, майор разведки, вместе с тремя детьми жили в Аргентине, Бразилии и Парагвае, выдавая себя за чешских бизнесменов, бежавших из Шанхая от китайских коммунистов. В случае надобности супруги Филоненко могли использовать проживавших в Калифорнии китайцев, чтобы пронести взрывчатку на американские суда, перевозившие военные грузы на Дальний Восток. Чтобы свести риск до минимума, Филоненко предпочитал регулярные визиты в Соединенные Штаты постоянному проживанию там. К счастью, приказа о проведении диверсий на американских судах так и не поступило.

Другая агентурная сеть Фишера – немецкие иммигранты на Восточном побережье США. В частности, Курт Визель, бывший помощник Эрнста Волльвебера, специалист по проведению диверсий еще в довоенной Европе. В Америке ему удалось продвинуться по службе и занять должность ведущего инженера судостроительной компании, дававшей доступ к закрытой информации. Его компания находилась то ли под Норфолком, то ли под Филадельфией, и у него были обширные связи в тамошней немецкой колонии. С помощью докеров и обслуживающего персонала, нуждавшегося в дополнительных денежных средствах, Визель создал надежную группу для проведения диверсионных актов. В 1949–1950 годах у него было несколько явочных квартир, расположенных в непосредственной близости от портовых сооружений.

В конце 40-х кое у кого было немалое искушение снабдить Визеля и Филоненко взрывными устройствами, но я категорически возражал против этого предложения, считая, что не было никакой необходимости подвергать наших людей неоправданному риску. Когда осенью 1950 года кризис в корейской войне достиг своего апогея, из Латинской Америки в Соединенные Штаты приехали наши специалисты, которые могли собрать взрывные устройства на месте. В Соединенных Штатах они провели два месяца, но использовать на деле свои способности им так и не довелось, поскольку приказа из Центра не последовало, и наши офицеры благополучно вернулись в Аргентину, а оттуда через Вену в Москву.

Во время пребывания Фишера, приехавшего в отпуск, в Москве Абакумов или, кажется, Молотов подняли вопрос о розыске Орлова. Я решительно возражал, напомнив, что Центральный комитет запретил нам его преследовать. Кроме того, Орлов сразу заметит слежку или любые попытки наших агентов найти подходы к его родственникам. Мысль об использовании Фишера для поисков Орлова подал Коротков (кодовое имя «Длинный») – в свое время предполагалось, что он будет помощником Орлова по руководству агентурной сетью во Франции, и ему было известно о планах использования Фишера в качестве радиста у Орлова, так и не реализованных в 30-е годы.

Позднее именно Коротков стал виновником провала Фишера. В 1955 году он в качестве помощника направил к Фишеру агента Рейно Хэйханена, финна по происхождению. Тот любил выпить и, растратив оперативные средства, нарушил правила конспирации, а когда его решили отозвать в Москву, остался в Америке и выдал Фишера (Рудольфа Абеля).

Поскольку мы так и не осуществили планы диверсий в Соединенных Штатах во время корейской войны, Фишер был переведен в управление нелегальной разведки Комитета информации, хотя я по-прежнему имел на него определенные виды. В 1951 или 1952 году новый министр госбезопасности Игнатъев отдал приказ, чтобы мое бюро вместе с ГРУ подготовило план диверсионных операций на американских военных объектах и базах – на случай войны или возможного ограниченного военного конфликта вблизи наших границ. Мы определили сто целей, разбив их на три категории: военные базы, где размещались стратегические военно-воздушные силы с ядерным оружием; военные сооружения со складами боеприпасов и боевой техники, предназначенной для снабжения американской армии в Европе и на Дальнем Востоке; и, наконец, нефтепроводы и хранилища топлива для обеспечения размещенных в Европе американских и натовских воинских частей, а также их войск, находящихся на Ближнем и Дальнем Востоке возле наших границ.

К началу 50-х годов мы имели в своем распоряжении агентов, которые могли проникнуть на военные базы и объекты в Норвегии, Франции, Австрии, Германии, Соединенных Штатах и Канаде. План заключался в том, чтобы установить постоянное наблюдение и контроль за стратегическими объектами НАТО, фиксируя любую их активность. Фишер, наш главный резидент-нелегал в Соединенных Штатах, должен был установить постоянную надежную радиосвязь с нашими боевыми группами, которые мы держали в резерве в Латинской Америке. В случае необходимости все эти люди были готовы через мексиканскую границу перебраться в США под видом сезонных рабочих.

В Европе между тем князь Гагарин, наш давнишний агент, выдававший себя за антисоветски настроенного эмигранта и в годы Второй мировой войны служивший в армии Власова, переехал из Германии во Францию. В его задачу входило создание базы для диверсионных действий в морских портах и на военных аэродромах, а также группы боевиков, которые в случае войны или усиления напряженности вдоль наших границ были бы в состоянии вывести из строя систему коммуникаций и связь штаб-квартиры НАТО, находившейся в Фонтенбло – пригороде Парижа. В Москве мне передали группу специалистов по нефти, нефтепереработке и хранению топлива, с которыми мы обсуждали технические характеристики и расположение основных нефтепроводов в Западной Европе. Затем мы дали своим офицерам задание вербовать агентов-диверсантов из числа обслуживающего персонала нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводного хозяйства.

В 1952 году мне пришло сообщение, что Фишер получил гражданство США и обрел таким образом надежную «крышу». Теперь он мог заниматься, вполне официально, одной из своих профессий, которые указал, – артиста или свободного художника. Ему удалось оборудовать три радиоквартиры: между Нью-Йорком и Норфолком, возле Великих озер и на Западном побережье. Это последнее, что я о

нем слышал перед своим арестом и до того момента, когда его обменяли на американского военного пилота Пауэрса, отбывавшего свое наказание во Владимирской тюрьме, где в то время был и я.

Сменивший Абакумова на посту министра госбезопасности Игнатъев и министр обороны маршал Василевский в 1952 году одобрили план действий, направленных против американских и натовских стратегических военных баз в случае войны или вышедших из-под контроля локальных конфликтов. План предусматривал, что первой акцией при возникновении военного конфликта в Европе должно стать уничтожение коммуникаций натовской штаб-квартиры. План этот был подписан мной и тогдашним начальником ГРУ генералом Захаровым. Однако мое предложение о расширении базы действий наших агентов в Париже совершенно неожиданно натолкнулось на серьезные трудности.

Хохлов (кодовое имя «Свистун»), один из наших агентов-ветеранов, активно работавший в годы войны, вдруг оказался «засвечен» контрразведкой противника, позднее он бежал на Запад. Хохлов был профессиональным актером, обладал приятной внешностью (блондин с голубыми глазами) и к тому же бегло говорил по-немецки, что делало его весьма ценным разведчиком для Маклярского и Ильина. Перед войной Хохлов в основном «работал» в среде московской интеллигенции. Мы планировали использовать его как связного для агентурной сети, которая создавалась в Москве на случай, если ее займут немцы. Позднее, в Минске, он выступал в роли немецкого офицера, находившегося в отпуске. Ему удалось завязать знакомство с женской прислугой в доме немецкого гауляйтера Белоруссии. В 1943 году в спальне хозяина дома под матрац была заложена мина с часовым механизмом, и во время взрыва гауляйтер Кубе погиб.

Я взял с собой Хохлова в Румынию, чтоб он, пожив там какое-то время, адаптировался к жизни на Западе. Вернувшись в Москву, Хохлов находился в резерве МГБ в группе секретных агентов, которых планировалось использовать для «глубокого проникновения» на Запад. Для всех он вел жизнь обычного советского студента, получая на самом деле жалованье в моем бюро, где проходил по негласному штату как младший офицер разведки. Его учеба в институте была прервана войной, и я без вступительных экзаменов устроил его на филологический факультет МГУ. Правда, помочь ему получить хорошую квартиру я не смог, и, женившись, он продолжал жить на старом месте, где стало особенно тесно после того, как у него родился сын. С 1950 года Хохлов начал регулярно ездить на Запад. Мы его снабдили подложными документами на имя Хофбауэра. В моем бюро Хохлова курировала Тамара Иванова, начальник отделения по подготовке нелегалов. Она успешно работала в Венгрии и Австрии, в 1945 году участвовала в перевербовке немцев в операции «Березино», но в 1948 году была отозвана согласно директиве о прекращении работы и возвращении всех нелегалов из социалистических стран Восточной Европы.

Хохлов несколько раз выезжал в Германию, Австрию и Швейцарию. Я хотел, чтобы он, используя свои внешние данные, а также свой артистизм, познакомился с балериной грузинского происхождения, танцевавшей в парижской опере, которую часто видели в компании с американскими офицерами и персоналом натовской

штаб-квартиры. Его хорошие манеры и общительность помогли ему создать группу по сбору информации и, что было еще важнее, организовать боевой резерв для чрезвычайных ситуаций.

Сам Хохлов об этих планах ничего не знал. К моему сожалению и негодованию, он совершил непростительную ошибку, которую сам вначале не принял всерьез. В моих глазах, однако, это перечеркнуло всю его карьеру нелегала.

А дело было вот в чем. Хохлов попытался тайком вывезти в Австрию купленный в Швейцарии аккордеон. Таможенники задержали его, тщательно проверили документы и на несколько часов забрали паспорт. Как только Хохлов доложил о случившемся в Центр, мне стало ясно: легенде о герре Хофбауэре наступил конец. В результате незначительного на первый взгляд инцидента на границе Хохлов привлек к себе внимание властей и наверняка попал в список подозрительных лиц. Отныне западные спецслужбы даже при обычной проверке уже не оставят его в покое. Понятно, что для подготовки боевых операций по этой легенде он больше не годится. Хохлов сам попросил освободить его от выполнения своих обязанностей, и я удовлетворил его просьбу. В его личном деле должен храниться подписанный мною рапорт об отчислении его из бюро.

К несчастью, несколько позднее его послали в качестве оперработника и переводчика в наше представительство в Германии, а в 1954 году, уже после моего ареста, поручили возглавить группу боевиков для ликвидации Околовича, руководителя русской националистической организации НТС, активно сотрудничавшей с немцами в годы войны. Хохлова задержали, после чего он был завербован ЦРУ и стал «знаменитостью»: американцы использовали его как «звезду» в антисоветском пропагандистском шоу, заставили играть навязанную ему роль. В прессе его представляли как горячего сторонника Запада, который решил открыться перед Окаловичем и рассказать американцам о готовившемся убийстве. Скандал разразился на пресс-конференции во Франкфурте, устроенной ЦРУ, где Хохлов публично выступил со своими разоблачениями. Особенно поразило всех утверждение, будто жена умоляла его не выполнять полученного задания. Ее тут же арестовали в Москве, и она провела год в тюрьме вместе с сыном, после чего была на пять лет сослана в Сибирь. Хохлов охарактеризовал ее как антисоветчицу, которая, дескать, и вдохновила его на побег. Он говорил также, что она глубоко верующий человек. Все это не соответствовало действительности. В 1957 году он заявлял, что КГБ предприняло попытку отравить его, подсыпав в коктейль радиоактивный талий, от которого Хохлова спасли медики из ЦРУ.

В мае 1992 года Хохлов на короткое время появился в Москве после того, как Ельцин подписал указ о его помиловании, но вскоре снова уехал в Соединенные Штаты. Лорд Бэтел из Европейского парламента обратился с просьбой побеседовать со мной относительно дела Хохлова, и после разрешения прокуратуры, которая вновь начала расследование побега Хохлова на Запад, наша беседа состоялась. Его статья появилась в газете «Дейли телеграф» и в журнале «Новое время», но там отсутствует ряд весьма важных подробностей.

Один из последних начальников Хохлова, Герой Советского Союза Мирковский, мой бывший заместитель, рассказал мне, что его подопечный не хотел

ехать на последнее задание. Посылали его не для ликвидации Околовича, а для подготовки этого убийства, выполнить которое должна была группа немецких агентов. Хохлов также не хотел брать с собой жену и сына в Австрию. Это означало, что он совсем не собирался бежать на Запад. На пресс-конференции, проводившейся в ЦРУ, он, однако, заявил, будто они с женой только и мечтали о побеге. Он приобрел шумную известность в западной прессе своими обращениями к правительствам «свободного мира» с просьбой добиться выезда к нему жены и сына. Мирковский полагает, что с нашей стороны было ошибкой позволить Хохлову появляться на Западе с паспортом, который однажды уже привлек внимание спецслужб. Как мы предполагаем, он попал в руки ЦРУ, и его принудили к сотрудничеству, но в этой отчаянной ситуации ему все-таки удалось послать условную открытку жене. Хотя она и была просмотрена ЦРУ, в ней все же содержался предупредительный сигнал о том, что он работает под «враждебным контролем». Ему не повезло – этот сигнал не был вовремя замечен. Два других агента, посланных нами для работы с Хохловым, были схвачены американцами: его заставили их выдать.

В своей книге «Во имя совести» (1957) Хохлов говорит о себе как о специалисте по проведению партизанских операций в годы войны, но совершенно не касается неудачной карьеры в разведке. Кстати, работая на ЦРУ по специальным контрактам (обучал тактике антипартизанских операций на Тайване и в Южном Вьетнаме), он также провалился, потому что имел лишь опыт агента-нелегала, вербовщика привлекательных женщин и осведомителей, а не специалиста по боевым операциям. На мой взгляд, Хохлов поступил совершенно правильно, выбрав впоследствии научную карьеру и распрощившись навсегда с жизнью разведчика. От перехода Хохлова на Запад пострадала его семья, особенно тяжело пришлось жене. Она так ничего и не сказала своему сыну про отца, перебежавшего на Запад. Сын Хохловых стал профессором биологии в Московском университете и как научный эксперт ездил в Соединенные Штаты. Впрочем, с отцом своим впервые он встретился только тогда, когда тот появился в их московской квартире в мае 1992 года.

Зарождение «холодной войны» тесно увязано с поддержкой Западом вооруженных националистических выступлений в странах Прибалтики и в Западной Украине. В основном борьбу с ними вели местные органы безопасности, но Москва держала эти операции под своим контролем, выделяя в помощь местным властям оружие и советников. Я оказался вовлеченным в водоворот событий в Западной Украине – учитывался мой опыт работы по борьбе с украинскими националистами.

Как-то летом 1946 года меня вызвали вместе с Абакумовым в Центральный комитет партии на Старой площади. Там в кабинете секретаря ЦК Кузнецова, державшегося, несмотря на наше формальное знакомство, на редкость официально, я увидел Хрущева, первого секретаря компартии Украины. Кузнецов информировал меня о том, что Центральный комитет согласился с предложением Кагановича и Хрущева тайно ликвидировать руководителя украинских националистов Шуйского. По сведениям МГБ Украины Шумский установил контакты с эмигрантскими кругами на Западе, вел закулисные интриги, с тем чтобы войти в состав формируемого в эмиграции временного правительства – Украинскую Головную

Вызвольную Раду. Было известно также, что в разговоре со своими друзьями он проявлял неуважение по отношению к Сталину, позволял оспаривать его мнение о себе и выдвигал свою версию обсуждения со Сталиным вопроса о составе украинского правительства в конце 20-х – начале 30-х годов. Шумский пользовался известностью в националистических кругах как человек, подвергшийся еще в начале 30-х годов репрессиям в ходе внутривластной борьбы. Его имя предавалось анафеме на всех партийных съездах в республике, а на свободе он оказался лишь потому, что был частично парализован, и его пришлось по состоянию здоровья выпустить из тюрьмы.

Шумский имел глупость, находясь в ссылке в Саратове, вступить в контакт с украинскими деятелями культуры в Киеве и за рубежом. По словам Кузнецова, он явно переоценил свой авторитет среди украинских эмигрантов и обратился с дерзким письмом к Сталину, угрожая покончить с собой, если ему не разрешат вернуться на Украину. Хрущев, со своей стороны, добавил, что, по имеющимся у него сведениям, Шумский уже купил билет на поезд и намерен вернуться на Украину, чтобы организовать вооруженное националистическое движение или бежать за границу и войти в состав украинского правительства в эмиграции.

На это Абакумов заметил, что, поскольку я являюсь специалистом по украинским делам, мне следует проследить связи Шумского с националистическим подпольем и украинскими эмигрантами. Абакумов также сказал, что направит в Саратов спецгруппу, чтобы ликвидировать Шумского, а в мою задачу входит устроить так, чтобы его сторонники не догадались, что его ликвидировали. Майроновский, в то время начальник токсикологической лаборатории МГБ, был срочно вызван в Саратов, где в больнице лежал Шумский. Яд из его лаборатории сделал свое дело: официально считалось, что Шумский умер от сердечной недостаточности. Кстати, установить его зарубежные связи нам так и не удалось. В Москве этой операции придали небывалое значение. В Саратов выезжали заместитель министра МГБ Огольцов, которому подчинялся Майроновский, и лично знавший Шумского Каганович.

Наши заверения Рузвельту накануне Ялты в том, что советские граждане пользуются свободой вероисповедания, вовсе не означали конца противоборства с украинскими католиками, или униатами. Григулевич, наш агент в Риме, получивший костариканское гражданство и ставший после войны послом Коста-Рики в Ватикане и Югославии, информировал нас о том, что Ватикан намерен занять твердую позицию по отношению к Москве из-за преследований украинской католической церкви.

Что касается самой униатской церкви, то она находилась в весьма своеобразном положении: подчиняясь Ватикану, униаты проводили богослужение на украинском языке. Возглавлял церковь митрополит Андрей Шептицкий, польский граф и бывший офицер австрийской армии. Главой украинских униатов он был назначен папой еще перед Первой мировой войной и ради церкви пожертвовал военной карьерой. Во время Первой мировой войны он сотрудничал с австрийской разведкой, был арестован царской военной контрразведкой и сослан, а в 1917 году освобожден Временным правительством и вернулся во Львов, где была создана

украинская военная националистическая организация во главе с полковником Коновальцем.

В 1941 году, когда началась война, и Львов оккупировали немцы, Шептицкий послал поздравления от униатской церкви Гитлеру, надеясь на освобождение Украины от большевиков. Он зашел так далеко, что даже благословил созданную в ноябре 1943 года дивизию СС «Галичина», специальное украинское формирование, находившееся под командованием офицеров немецкого гестапо. Дивизия присягнула на верность Гитлеру и использовалась для карательных акций против мирного населения и евреев, которых уничтожали на Украине, в Словакии и Югославии. Капелланом дивизии Шептицкий назначил архиепископа Иосифа Слипого.

Отдельные подразделения этой дивизии попали в плен к англичанам в Италии и Австрии, а в мае 1947 года командиры этих подразделений были посланы в Англию. В 1931 году «Интеллидженс сервис» использовала их как агентов-диверсантов и забросила в Западную Украину на парашютах, где они должны были возглавить движение сопротивления.

В 1944 году Шептицкий был уже стар и находился при смерти. Заботясь о судьбе украинской униатской церкви, он, проявив мудрость, направил в Москву миссию, включавшую его младшего брата, архиепископа Иосифа Слипого и архиепископа Гавриила Костельника. Они через Президиум Верховного Совета попросили принять их Патриарха Русской православной церкви, которая никогда не была в хороших отношениях с униатами. Президиум Верховного Совета, однако, направил делегацию в НКВД, чтобы прояснить вопрос о сотрудничестве руководства униатской церкви с немцами.

Мне и генералу Мамулову, начальнику секретариата НКВД, было приказано принять украинскую церковную делегацию. К их удивлению, я на западно-украинском диалекте изложил им данные о сотрудничестве руководства униатской церкви с немцами и, как мне было приказано, заверил их, что, если они раскаются, и выяснится, что иерархи церкви сами лично не совершили военных преступлений, преследовать их не будут.

Последующие события развивались трагически. После смерти митрополита Александра Шептицкого, в 1945 году среди униатских священнослужителей разгорелся ожесточенный конфликт. Дело в том, что внутри униатской церкви давно существовало сильное движение за объединение с православной церковью. Те священники в окружении Александра Шептицкого, которые противостояли такому союзу, оказались серьезно скомпрометированными своим сотрудничеством с немцами. Архиепископ Гавриил Костельник, высказывавшийся на протяжении почти трех десятилетий за объединение с православной церковью, стал во главе этого движения. Приходилось часто слышать, будто он является агентом НКВД, но это утверждение не имеет под собой никаких оснований. В действительности двое его сыновей были вовлечены в движение бандеровцев, и оба погибли в боях с частями НКВД. В 1946 году Костельник собрал конгрегацию униатских священнослужителей, проголосовавших за воссоединение с православной церковью. Архиепископ Гавриил Слипый был арестован и сослан. Воссоединение нанесло решающий удар по украинскому партизанскому националистическому

движению под руководством Бандеры – ведь большинство их командиров было из семей униатских священников.

Изо всех сил стремясь сохранить националистическое движение, Бандера прибегнул к террору, ставшему повседневным явлением в жизни Западной Украины. Местные власти, по существу, потеряли контроль над сельской местностью. Вожаки-националисты запрещали молодежи идти на призывные пункты для службы в Красной Армии; люди Бандеры вырезали семьи призывников и сжигали их дома, пытаясь установить власть ОУН над сельскими территориями. Убийство Костельника на ступенях Львовского собора, когда он выходил после службы, стало кульминацией кампании террора. Убийца был окружен толпой верующих и застрелен; его опознали – им оказался член террористической группы, руководимой заместителем Бандеры Шухевичем, семь лет возглавлявшим украинское подполье. Во время войны Шухевич имел чин гауптштурмфюрера и был одним из командиров карательного батальона «Nachtigal». Командовали батальоном в основном немцы, а состоял он из бандеровцев. После массового расстрела в июле 1941 года во Львове евреев и многих представителей польской интеллигенции бандеровцы провозгласили создание правительства независимой Украины во главе со Стецко.

Однако немецкие власти немедленно разогнали это правительство. Ряд политических деятелей ОУН были интернированы, в том числе и Бандера. Гитлер рассматривал оуновское движение лишь как полицейскую силу в установлении германского господства на славянской территории. Немцы поддерживали украинский национализм только в создании местных органов управления под своим контролем и вплоть до 1944 года категорически не признавали ОУН как политическую силу.

Позднее, в 1945 году, часть батальона «Nachtigal» влилась в элитное карательное подразделение вооруженных сил фашистской Германии – дивизию «Галичина».

Полученная нами в 1947 году информация из-за рубежа о том, что Ватикан ищет поддержки американских и английских властей для оказания помощи униатской церкви и тесно связанным с ней бандеровским формированиям, была передана не только Сталину и Молотову, но и Хрущеву, первому секретарю ЦК компартии Украины. Хрущев обратился к Сталину с просьбой разрешить ему тайно ликвидировать всю униатскую церковную верхушку в бывшем венгерском городе Ужгороде. В письме, направленном в два адреса – Сталину и Абакумову, – Хрущев и Савченко, министр госбезопасности Украины, утверждали, что архиепископ украинской униатской церкви Ромжа активно сотрудничает с главарями бандеровского движения и поддерживает связь с тайными эмиссарами Ватикана, которые ведут активную борьбу с советской властью и оказывают всяческое содействие бандеровцам. Они писали также, что Ромжа и его группа представляют серьезную угрозу для политической стабильности в регионе, недавно вошедшем в состав Советского Союза.

Кроме того, Хрущев знал, что Ромжа располагает информацией о положении в руководящих кругах Украины и планировавшихся мероприятиях по подавлению

украинского националистического движения. Сведения поступали от монашеских унитаров, находившихся в тесном контакте с женой Туреницы, первого секретаря обкома партии и председателя облисполкома. Оба поста он занимал одновременно и пользовался большим уважением и любовью населения. На лозунгах и транспарантах, развешанных в Ужгороде к ноябрьским праздникам, было написано: «Да здравствует 30-я годовщина Октябрьской революции и Иван Иванович Туреница!».

Информация об обстановке в украинском руководстве через Ромжу просачивалась за границу, а оттуда бумерангом в Москву. Все это создавало реальную опасность для Хрущева. Не справившись с ситуацией, Хрущев выступил инициатором тайной физической расправы с Ромжей.

Министр госбезопасности СССР Абакумов показал мне письмо Хрущева и Савченко и предупредил: не оказывать украинским органам госбезопасности никакого содействия в этой акции до получения прямого указания Сталина.

Сталин согласился с предложением Хрущева, что настало время уничтожить «террористическое гнездо» Ватикана в Ужгороде.

Однако нападение на Ромжу было подготовлено плохо: в результате автомобильной аварии, организованной Савченко и его людьми, Ромжа был только ранен и доставлен в одну из больниц Ужгорода. Хрущев запаниковал и снова обратился за помощью к Сталину. Он утверждал, что Ромжа готовился к встрече с высокопоставленными связными из Ватикана.

Я выехал в Ужгород со своей группой, чтобы выявить связи и контакты Ромжи, потому что лично знал все руководство украинских националистов с того времени, когда был внедрен в штаб-квартиру ОУН.

В Ужгороде я провел почти две недели. В это время мне позвонил Абакумов и сказал, что через неделю в Ужгород приезжают Савченко и Майрановский, начальник токсикологической лаборатории, с приказом ликвидировать Ромжу. Савченко и Майрановский рассказали мне, что в Киеве на вокзале, в своем железнодорожном вагоне, их принял Хрущев, дал четкие указания и пожелал успеха. Два дня спустя Савченко доложил Хрущеву по телефону, что к выполнению операции все готово, и Хрущев отдал приказание о проведении акции. Майрановский передал ампулу с ядом кураре агенту местных органов безопасности – это была медсестра в больнице, где лежал Ромжа. Она-то и сделала смертельный укол.

В результате этой операции Савченко получил повышение, через год его перевели в Москву и назначили заместителем Молотова в Комитете информации...

В ноябре 1949 года украинский писатель Ярослав Галан, который яростно разоблачал связи украинских иерархов униатской церкви с гитлеровцами и Ватиканом, был зарублен гуцульским топориком в своей квартире во Львове.

После ликвидации Ромжи примерно год у меня не было никаких контактов с Абакумовым, но однажды около четырех часов утра раздался телефонный звонок.

– В десять будьте готовы для выполнения срочного задания. Вылет из Внукова.

В аэропорт я прибыл вместе с Эйтинггоном, который провожал меня. Здесь уже ждал генерал-лейтенант Селивановский, заместитель Абакумова. Лишь когда мы подлетали к Киеву, он сказал: конечная цель нашего пути – Львов. Однако густой туман помешал самолету приземлиться во Львове, и он вернулся в Киев, откуда мы уже поездом выехали во Львов. По дороге Селивановский рассказал о злодейском убийстве Галана бандеровцами. Товарищ Сталин, по его словам, крайне неудовлетворен работой органов безопасности по борьбе с бандитизмом в Западной Украине. В этой связи мне приказано сосредоточиться на розыске главарей бандеровского подполья и их ликвидации. Это было сказано непререкаемым тоном. Мне стало ясно: мое будущее ставилось в зависимость от выполнения этого задания.

Во Львове мы сразу же попали на партактив, который проводил Хрущев, специально прибывший из Киева, чтобы взять под личный контроль розыск убийц Галана. На совещании у меня с Хрущевым возник спор. Он был явно не в духе: над ним висела угроза сталинской опалы из-за того, что не удалось положить конец разгулу бандитизма в Западной Украине. Я еще больше вывел его из себя, когда возразил против предложения ввести для жителей Западной Украины специальные паспорта. Хрущев также предложил мобилизовать молодежь на работу в Донбасс и на учебу в фабрично-заводские училища Восточной Украины и таким своеобразным методом лишить бандеровские формирования пополнения. Я твердо заявил, что введение особых паспортов и фактическое переселение молодежи с тем, чтобы оборвать всякую связь с националистически настроенными родителями и друзьями, – явная дискриминация; это может еще больше ожесточить местное население. Что касается молодежи, то, уклоняясь от насильственной высылки, она наверняка уйдет в леса и вольется в ряды вооруженных бандитских формирований. Хрущев раздраженно сказал, что это не мое дело, поскольку моя задача сводится к одному – обезглавить руководство вооруженного подполья, а другие вопросы будут решать те, кому положено.

Мое вмешательство, однако, оказалось весьма своевременным, и идея насчет специальных паспортов была похоронена, а планы мобилизации молодежи осуществились частично – только на учебу в ФЗУ. Объявленная вскоре амнистия распространялась на тех, кто соглашался добровольно сдать оружие в отделение милиции или в местные органы безопасности: этот шаг оказался особенно эффективным, и уже в первую неделю нового, 1950 года оружие сдали восемь тысяч человек. В подавляющем большинстве их действительно не преследовали. Кстати, как нам удалось выяснить, из этих восьми тысяч примерно пять составляли молодые люди от пятнадцати до двадцати лет, которые бежали из дома в банды после того, как прослышали насчет принудительного труда на шахтах Донбасса.

По нашим сведениям, вооруженное сопротивление координировалось также Шухевичем. С 1943 по 1950-й год он возглавлял бандеровское подполье на Украине. Этот человек обладал незаурядной храбростью и имел опыт конспиративной работы, что позволило ему еще и через семь лет после ухода немцев заниматься активной подрывной деятельностью. В то время как мы разыскивали его в окрестностях Львова, он находился в кардиологическом санатории на берегу Черного моря под Одессой. Потом, как нам стало известно, он объявился во Львове, где встретился с несколькими видными деятелями культуры и даже послал венок от

своего имени на похороны одного из них. Его рискованный жест вызвал разговоры в городе, и наш агент, бывшая актриса театра «Березиль» в Харькове, писавшая для «Известий», подтвердила присутствие Шухевича в районе Львова. Нам, в свою очередь, удалось установить личность четырех его телохранителей-женщин, которые одновременно были и его любовницами.

В то время вооруженное сопротивление советской власти пользовалось поддержкой населения, проживавшего в районе Львова. Вместе с Лебедем, в прошлом крупным деятелем ОУН, мы отправились в глухую деревню на Львовщине. Там разыскали родственников Лебеда – двое его племянников руководили местной бандитской группой. Ранее двоюродный брат Лебеда был застрелен бандеровцами за то, что согласился стать председателем колхоза, хотя им было прекрасно известно, что его дочь и двое сыновей – активные участники антисоветского подполья. Лебедь хотел убедить их отказаться от вооруженной борьбы. Дочь застреленного председателя колхоза, несмотря на потрясение, считала гибель отца возмездием за то, что он пошел на сотрудничество с советской властью.

Во Львове я оставался полгода – развязка хоть и была неизбежной, но, как это часто бывает, все равно оказалась неожиданной. Шухевич слишком уж полагался на свои старые связи военного времени и ослабил бдительность. Между тем мы вышли на семью Горбового, адвоката и влиятельного участника бандеровского движения. Как оказалось, Горбовой и его семья хотели идти на компромисс с советской властью и не желали лично участвовать в убийствах. Я сумел найти подход к Горбовому и его друзьям и предложил от имени советского руководства: войну нужно как можно скорее закончить и вернуть людей к нормальной жизни. Я обещал похлопотать об освобождении племянницы Горбового из лагеря в России, куда ее отправили только за то, что она была его родственницей. Свое обещание я сдержал – после моего звонка лично Абакумову племянницу Горбового тут же освободили и на самолете доставили во Львов.

В ответ Горбовой указал нам места, где мог скрываться Шухевич. К тому времени нам удалось перетянуть на свою сторону и связного Шухевича, игрока местной футбольной команды «Динамо». Горбовой и его единомышленник академик Крилякевич, сын которого активно участвовал в бандеровском движении, раскаялись и публично заявили об ошибочности своих политических взглядов; они не были репрессированы.

Шухевич между тем совершил еще одну роковую ошибку. Когда в доме, где он жил с одной из своих телохранительниц, Дарьей Гусьяк, появился милиционер для обычной проверки документов, нервы его сдали. Шухевич застрелил милиционера, и все трое – он сам, Дарья и ее мать – бежали. Наши поиски привели в глухую деревушку, где мы нашли только мать Дарьи. Шухевича там не было, но присутствие этой женщины указывало, что далеко уйти он не мог. Позднее, когда Дарья была арестована, она показала, что умолила Шухевича не убивать мать: у нее был деревянный протез, и он боялся, что с ней будет трудно бежать. Тогда-то они и оставили ее в деревне.

Наша группа по захвату Шухевича расположилась в доме, где жила мать Дарьи. Довольно скоро там появилась молодая симпатичная студентка-медичка из Львова,

племянница Дарьи. Она приехала повидаться с родными и выступить, как она сказала, по поручению институтского комитета комсомола с беседами о вреде национализма. Во время нашего дружеского разговора (я представился новым заместителем председателя райисполкома), отвечая на мой осторожный вопрос, где находится сейчас ее тетя, девушка ответила, что она живет в общежитии ее института и время от времени наведывается в Лесную академию, куда собирается вскоре поступать.

Группа наружного наблюдения быстро установила, в какую «академию» ходит Дарья: она совершала регулярные поездки в деревню под Львовом, где часами оставалась в кооперативной лавке. Это заставило нас предположить, что там в это время бывает Шухевич. К несчастью, молодые офицеры, проводившие слежку в марте 1950 года, были малоопытными и для прикрытия пытались за ней ухаживать. Когда лейтенант Ревенко протянул Дарье руку и сказал по-украински, что хотел бы поближе познакомиться с такой очаровательной женщиной, она почувствовала ловушку и, недолго думая, в упор застрелила его. Ее тут же схватили, но не мои люди, а местные жители, ставшие свидетелями совершенного на их глазах убийства.

Моим людям удалось отбить ее у толпы и отвести в местное отделение МГБ. Через полчаса старший группы, мой ближайший помощник, был уже там, он немедленно приказал распустить на базаре слух, что женщина убила лейтенанта и застрелилась на любовной почве. Дарья была надежно изолирована, а я, генерал Дроздов и двадцать оперативников окружили сельпо, чтобы блокировать возможные пути бегства Шухевича. Дроздов потребовал от Шухевича сложить оружие – в этом случае ему гарантировали жизнь.

В ответ прозвучала автоматная очередь. Шухевич, пытаясь прорвать кольцо окружения, бросил из укрытия две ручные гранаты. Завязалась перестрелка, в результате которой Шухевич был убит.

После смерти Шухевича движение сопротивления в Западной Украине пошло на убыль и вскоре затихло. Нам удалось выяснить, что Шухевич создал весьма опасную агентурную сеть. За полгода до описываемых событий, в июне 1949 года, Дарья, как оказалось, две недели жила в Москве в гостинице «Метрополь» по паспорту на чужое имя. У нее в номере хранились взрывные устройства. В течение этих двух недель она неоднократно посещала Красную площадь в поисках подходящей «мишени». Предполагалось, что этот взрыв произведет впечатление на Западе, и ОУН получит финансовую поддержку.

Архивные материалы бандеровского движения были тайно вывезены националистами из Львова в Ленинград и спрятаны в отделе редких рукописей Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Крах украинской «эпопеи» наступил через год. Чекистским органам и лично Хамазюку, оперативнику из моей группы, удалось заслать агента в сохранившийся еще отряд бандеровцев, перебравшийся к тому времени с Украины в Чехословакию, а оттуда в Германию. Британская разведка, выйдя на этих людей, перевезла их в Англию для обучения подрывной деятельности. Наш человек был представлен бандеровцам как один из близких к Шухевичу активистов. Находясь в Мюнхене, он

поддерживал с нами контакты, но как только группа перебралась в Англию, мы решили пока не рисковать и не выходить с ним на связь. Оуновские вожаки за рубежом сильно тревожились из-за отсутствия радиосвязи с Шухевичем. Они, поддерживаемые англичанами, решили направить на Украину начальника оуновской службы безопасности Матвиейко. Ему поручалось узнать о судьбе молчавшего Шухевича и активизировать подпольное движение. Мы дали указание нашему агенту отправить зашифрованную открытку в Германию по указанному адресу с сообщением о маршруте группы Матвиейко. Предполагалось, что эмиссары Бандеры высадутся в районе города Ровно. Наша служба противовоздушной обороны получила указание не сбивать британский самолет, который и должен был, взяв группу Матвиенко, лететь с Мальты, а затем сбросить всех на парашютах под Ровно. Это было сделано не только с целью защиты нашего агента, находившегося в составе группы диверсантов, но и потому, что мы намеревались захватить всех живыми.

Членов группы тепло встретили на явочной квартире люди Райхмана, заместителя начальника контрразведки, искусно сыгравшие роль подпольщиков, которых рассчитывал застать там Матвиейко. После выпивки – в спиртное было подмешано снотворное – «гости» мирно уснули и проснулись уже во внутренней тюрьме областного управления МГБ.

Все это происходило в мае 1951 года. В три часа ночи в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил секретарь Абакумова: мне надлежало срочно явиться в кабинет министра. У Абакумова шел допрос Матвиейко, который проводили сам министр и его заместитель Питовранов. Вначале я выступил в роли переводчика, поскольку Матвиейко говорил только на западно-украинском диалекте. Допрос продолжился два часа. Затем Абакумов приказал мне самому заняться Матвиейко. Я работал с ним примерно месяц. Это были не допросы, а беседы, то есть протоколы не велись. Они проходили в кабинете начальника внутренней тюрьмы Миронова, где Матвиейко имел возможность даже смотреть телевизор. Помню, как его поразила опера «Богдан Хмельницкий» на украинском языке. Этот спектакль шел в рамках декады украинского искусства в Москве. Ни в Польше, ни в Западной Украине Матвиейко никогда не бывал на оперных спектаклях, исполнявшихся на его родном языке. Ему это казалось невероятным, и чтобы убедить его окончательно в подлинности увиденного, я взял Матвиейко с собой в театр на украинскую декаду, правда, в сопровождении «эскорта».

После бесед со мной он убедился: кроме, быть может, фамилий нескольких второстепенных агентов, нам, по существу, было известно все об украинской эмигрантской организации и бандеровском движении. Он был потрясен, когда я стал излагать биографии всех известных ему руководителей украинских националистов, приводить подробности их личной жизни, рассказывать об их взаимных распрях. Заверив Матвиейко, что не собираюсь его вербовать, я объяснил: самое главное для нас – прекратить вооруженную борьбу в Западной Украине. С разрешения Абакумова я позвонил Мельникову, первому секретарю компартии Украины, сменившему на этом посту Хрущева, и попросил принять Матвиейко в Киеве и показать ему, что Украина, и в частности, Западная Украина, – это не оккупированная русскими территория, а свободные земли, где живут свободные

люди.

С Матвиейко я больше не встречался. В Киеве его поместили на конспиративной квартире под домашний арест, при этом дали возможность свободно передвигаться по городу. Затем его перевели во Львов, где он жил в особняке. Оттуда он и сбежал. Какой тут поднялся переполох в Киеве и Москве! Был объявлен всесоюзный розыск. Министр госбезопасности Украины немедленно приказал арестовать всех, кто отвечал за охрану Матвиейко. Оказалось, что ушел он весьма просто: вышел из ворот особняка и попрощался с охранником, который за прошедшие десять дней привык к тому, что Матвиейко свободно приходит и уходит (правда, в сопровождении офицеров госбезопасности), и не остановил его, хотя никакого сопровождения на сей раз не было.

Эти дни он жил на квартире своего старого знакомого, не связанного с бандеровцами. Матвиейко сказал ему, что приехал из Москвы по делам и поживет у него недолго. За это время он обошел бандеровские явки и проверил Львовские связи, о которых не дал никаких показаний в Москве. К своему ужасу, он обнаружил, что их агентурная сеть не существует: два адреса оказались неверными, а люди, связанные с подпольем, были вымышленными. Все это было фантазиями составителей отчетов о дутых успехах бандеровского движения, посылавшихся в штаб-квартиры ОУН в Лондоне и Мюнхене. Матвиейко был достаточно опытным разведчиком, чтобы понять: оставшиеся явки наверняка находятся под наблюдением советской контрразведки, их сохранили только для того, чтобы использовать в качестве ловушек для незадачливых визитеров из-за рубежа.

Через три дня Матвиейко сам сдался органам безопасности во Львове. На пресс-конференции, устроенной украинским руководством, он выступил с осуждением бандеровского движения. Используя свой авторитет, Матвиейко призвал эмиграцию и оуновцев, сражавшихся в бандитских отрядах, к примирению. Впоследствии он начал новую жизнь – работал бухгалтером, женился, вырастил троих детей и мирно скончался в 1974 году.

История с Матвиейко приобретает новое звучание в свете провозглашения украинской независимости. На Западе никогда не отдавали себе отчета в том, что после революции 1917 года Украина впервые в своей истории обрела государственность в составе Советского Союза. Подлинный расцвет наступил в национальном искусстве, литературе, системе образования на родном языке, что совершенно невозможно было представить ни при царизме, ни при австрийском и польском господстве в Галиции.

Украинских партийных руководителей, в отличие от их коллег из других союзных республик, в Москве всегда встречали с особым почетом, и они оказывали существенное влияние на формирование внутренней и внешней политики кремлевского руководства. Украина была постоянным резервом выдвижения кадров на руководящую работу в Москве. Украинская компартия имела свое политбюро, чего не было ни в одной республике, состояла членом Организации Объединенных Наций. Да, до 1992 года Украина не являлась полностью независимым государством, но я по-прежнему считаю себя украинцем – одним из тех, кто в какой-то мере способствовал созданию того положения, какое она приобрела в рамках Советского

Союза. Вес, который имела Украина, укрепление ее престижа в СССР и за рубежом стали прелюдией к обретению ею совершенно нового статуса независимого государства после распада Советского Союза.

В 1946 или 1947 году вооруженные отряды курдов под командованием муллы Мустафы Барзани вступили в бои с шахскими войсками, перешли нашу границу с Ираном и оказались на территории Азербайджана.

Курды, проживавшие в Ираке, Иране и Турции, испытывали всяческие притеснения, а представители английских властей, которые заигрывали с курдами в период оживления прогерманских настроений в руководящих кругах Тегерана в 1939–1941 годах, после ввода английских и советских войск в Иран отказали им в поддержке.

Прорвавшиеся через границу боевые отряды Барзани насчитывали до двух тысяч бойцов, с ними находилось столько же членов их семей. Советские власти сначала интернировали курдов и поместили в лагерь, а в 1947 году Абакумов приказал мне провести переговоры с Барзани и предложить ему и прибывшим с ним людям политическое убежище с последующим временным расселением в сельских районах Узбекистана поблизости от Ташкента.

Барзани я был представлен как Матвеев, заместитель генерального директора ТАСС и официальный представитель советского правительства. Впервые в своей жизни встречался я с настоящим вельможей-феодалом. Вместе с тем Барзани произвел на меня впечатление весьма пронизательного политика и опытного военного руководителя. Он сказал, что за последние сто лет курды поднимали восемьдесят восстаний против персов, иракцев, турок и англичан, более чем в шестидесяти случаях обращались за помощью к России и, как правило, ее получали. Поэтому, по его словам, с их стороны вполне естественно обратиться к нам за помощью в тяжелое для них время, когда иранские власти ликвидировали Курдскую республику.

Незадолго до этих событий руководители иранских курдов-повстанцев попали в устроенную шахом ловушку: они были приглашены в Тегеран для переговоров, схвачены там и повешены. Лишь Барзани избежал этой участи. Когда шах пригласил на переговоры самого Барзани, тот ответил, что приедет только в том случае, если шах пришлет членов своей семьи в качестве заложников в его штаб-квартиру. Пока проходили предварительные переговоры с шахом, Барзани перебросил большую часть своих сил в северные районы Ирана, ближе к советской границе. Мы же, со своей стороны, были заинтересованы в использовании курдов в проводимой нами линии по ослаблению английского и американского влияния в странах Ближнего Востока, граничащих с Советским Союзом. Я объявил Барзани, что советская сторона согласилась, чтобы Барзани и часть его офицеров прошли спецобучение в наших военных училищах и академии. Я также заверил его, что расселение в Средней Азии будет временным, пока не созреют условия для их возвращения в Курдистан.

Абакумов запретил мне сообщать руководителю компартии Азербайджана Багирову о содержании переговоров с Барзани и особенно о согласии Сталина

предоставить возможность курдским офицерам пройти подготовку в наших военных учебных заведениях.

Дело в том, что Багиров стремился использовать Барзани и его людей для дестабилизации обстановки в Иранском Азербайджане. Однако в Москве полагали, что Барзани сможет сыграть более важную роль в свержении проанглийского режима в Ираке. И кроме того, что особенно важно, с помощью курдов мы могли надолго вывести из строя нефтепромыслы в Ираке (Мосул), имевшие тогда исключительно важное значение в снабжении нефтепродуктами всей англо-американской военной группировки на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.

После переговоров с Барзани я вылетел в Ташкент и проинформировал узбекское руководство о его предстоящем приезде. Затем возвратился в Москву.

Барзани вместе со своими разоруженными отрядами и членами их семей был отправлен в Узбекистан. Через пять лет, в марте 1952 года, меня послали в Узбекистан для встречи с Барзани под Ташкентом, чтобы разрешить возникшие проблемы. Барзани не устраивало положение пассивного ожидания и отношение местных властей. Он обратился к Сталину за помощью и потребовал выполнения ранее данных ему обещаний. Он настаивал на формировании курдских боевых частей. Барзани хотел также сохранить свое влияние на соплеменников, расселенных по колхозам вокруг Ташкента, и контроль над ними.

Встреча с Барзани состоялась на правительственной даче. Моим переводчиком был майор Земсков, он так же, как и Барзани, бегло говорил по-английски. Барзани рассказал мне, как американцы и англичане хотели подкупить его для проведения акции давления на иракское, иранское и турецкое правительства.

Разработанный мною по поручению нового министра госбезопасности Игнатьева план заключался в том, чтобы сформировать из курдов специальную бригаду – полторы тысячи человек – для диверсионных операций на Ближнем Востоке. Ее можно было использовать и для намечавшегося свержения правительства Нури Саида в Багдаде, что серьезно подорвало бы влияние англичан во всем ближневосточном регионе. (При помощи курдов это удалось осуществить в 1958 году, когда я уже сидел в тюрьме.) Курды также должны были играть определенную роль в наших планах, связанных с выведением из строя нефтепроводов на территории Ирака, Ирана и Сирии в случае вспышки военных действий или прямой угрозы ядерного нападения на СССР.

Барзани выразил согласие подписать соглашение о сотрудничестве с советским правительством в обмен на наши гарантии содействия в создании Курдской республики, которую Барзани видел прежде всего в районе компактного проживания курдов на стыке границ Северного Ирака, Ирана и Турции.

Выслушав Барзани, я ответил, что не имею полномочий обсуждать соглашение такого рода. Однако мы не возражали против создания курдского правительства в изгнании. Сопровождавший меня ответственный сотрудник Международного отдела ЦК партии Маньчха, участвовавший в переговорах, предложил создать демократическую партию Курдистана во главе с Барзани. По замыслу Маньчхи, партия должна была координировать деятельность представителей правительства

Барзани во всех районах проживания курдского населения. Штаб-квартира партии могла бы, по его словам, разместиться в правлении колхоза, находившегося километрах в пятнадцати от Ташкента.

Я не вмешивался в этот разговор, но слушал внимательно. Когда беседа закончилась, Барзани пригласил меня на встречу с офицерами своего штаба. При нашем появлении человек тридцать, находившихся в комнате, вытянулись по стойке «смирно». Затем как по команде все они упали на колени и поползли к Барзани, моля позволить им поцеловать край его одежды и сапоги. Естественно, что все иллюзии насчет демократического Курдистана, которые я до тех пор мог питать, тотчас испарились. Мне стаю совершенно ясно, что это еще одна идеологическая инициатива, возникшая в недрах ЦК на Старой площади.

В апреле 1952 года Барзани, окруженный членами своей семьи и соплеменниками, обосновался в большом колхозе под Ташкентом. В Москве было решено, что курдам предоставят статус автономного района. Министерству госбезопасности предписывалось организовать для курдов военное обучение и оказывать содействие в установлении связи с зарубежными соотечественниками. Наши попытки внедрить в окружение Барзани своих людей и завербовать кого-либо из курдов были успешно блокированы их службой безопасности. Правда, Земскову, имевшему немалый опыт общения с курдами, удалось завербовать одного младшего офицера, учившегося в нашей военной академии, но после возвращения в Ташкент он вскоре бесследно исчез. Отыскать его мы так и не смогли и пришли к выводу, что его ликвидировали по приказу Барзани.

Благодаря курдскому вопросу я впервые познакомился с бюрократическими порядками в подготовке документов для Политбюро. Игнатьев приказал мне оставаться в кабинете Маньчхи, пока будет согласован документ с нашими предложениями по курдской проблеме. Игнатьев всегда был неизменно вежлив и корректен, но когда я сказал, что у меня в московской гостинице назначена встреча с Барзани, он резко отчитал меня за непонимание политической важности вопроса и приказал мне отменить встречу: прежде всего нам необходимо как можно скорее получить решение Политбюро по курдскому вопросу. Вместе со мной и Маньчхой Игнатьев побывал у Молотова и Вышинского, чтобы получить их визы на проект решения. Кстати, тогда впервые Молотов и Вышинский показались мне постаревшими, безвольными и крайне усталыми. Однако у них хватило настойчивости вычеркнуть из проекта документа один и тот же пункт, в котором содержалось поручение Министерству иностранных дел провести переговоры и консультации по курдской проблеме. Они также настаивали на том, что этот вопрос должен быть рассмотрен в Политбюро по представлению Министерства госбезопасности, а не как совместное предложение Министерства иностранных дел и нашего. Когда мы вышли в сопровождении офицера охраны, в портфеле которого был проект документа, я предложил Маньчхе поехать ко мне на Лубянку и там напечатать окончательный текст документа, приняв во внимание комментарии Молотова и Вышинского. Игнатьев согласился.

И тут началось совсем непонятное для меня. Мы представили окончательный текст решения Игнатьеву, и он одобрил его. Но для министра было не менее важным

сопроводительное письмо – пояснительная записка к тексту решения, рассылавшегося членам Политбюро. Игнатъев трижды заставлял менять порядок в списке членов Политбюро, которым должен был поступить наш документ. Он даже спросил Маньчху, должна ли рассылка соответствовать алфавитному порядку или сначала перечислить членов комиссии Политбюро по внешней политике. В этом случае Хрущев должен был идти в списке перед Булганиным. А как быть с Берией? Должен ли он быть впереди Маленкова? Эти нюансы, о которых я не имел ни малейшего понятия, просто ошарашили меня. Зато Маньчха оказался настоящим экспертом по части составления сопроводительных писем и давал соответствующие советы Игнатъеву. Машинистки недоумевали, зачем перепечатывать документ, в котором все оставалось прежним, кроме порядка перечисления членов ЦК и правительства.

Весной 1953 года со мной произошел курьезный случай, нарушивший правила конспирации. Барзани посещал лекции в военной академии, в которой занимался и я. Однажды он увидел меня там в форме генерал-лейтенанта. Хитро подмигнув мне, он через своего переводчика, молодого лейтенанта, сказал:

– Рад иметь дело с представителем советского правительства в столь высоком воинском звании.

Я со своей стороны в ответ пожелал ему успехов в освоении военных дисциплин.

В последний раз я случайно встретил Барзани накануне своего ареста на улице Горького. Я был в штатском. Он заметил меня и хотел, по-видимому, подойти, но мне эта встреча при моем положении была ни к чему: я предпочел сделать вид, что не увидел его, и поскорее затерялся в толпе.

Барзани был достаточно умен, чтобы понять: будущее курдов зависит от того, как удастся сыграть на противоречиях между сверхдержавами, имеющими свои интересы на Ближнем Востоке. Бросая ретроспективный взгляд, видишь, что сверхдержавы вовсе не стремились к справедливому решению курдской проблемы. Судьбу Курдистана с точки зрения его интересов никогда не рассматривали в Кремле, как, впрочем, и в Лондоне, и Вашингтоне. И Запад, и нас интересовало одно – доступ к месторождениям нефти в странах Ближнего Востока, как ни цинично это выглядит. Суслов, которому позднее поручили заниматься курдским вопросом, обещал Барзани всестороннюю поддержку в борьбе за автономию только ради того, чтобы с помощью курдов свергнуть Нури Саида в Ираке. Американцы, со своей стороны, также обещали Барзани поддержку, чтобы с его помощью свергнуть проанглийское руководство в Ираке и заменить его своими ставленниками, но в критический момент заняли выжидательную позицию, договорившись с англичанами. Словом, судьбой курдов играли как могли.

В 40—50-х годах наша цель заключалась в том, чтобы использовать движение курдов в конфронтации с Западом в обстановке «холодной войны». Идея создания Курдской республики позволила нам проводить политику, направленную на ослабление британских и американских позиций на Ближнем Востоке, но широкие слои курдского населения были безразличны к действиям, направленным против

англичан и американцев в этом регионе.

До второй половины 50-х годов курды были единственными нашими союзниками на Ближнем Востоке. Когда режим Нури Саида был свергнут в результате военного переворота (при нашей поддержке), мы приобрели таких союзников как Ирак, Сирия, Египет, которые с точки зрения геополитических интересов Советского Союза были куда важнее, чем курды. Ирак и Сирия стали играть главную роль в нашей ближневосточной политике и противостоянии Западу в этом беспокойном регионе.

Трагедия самого Барзани и его народа заключалась в том, что в интересах СССР и Запада (до известной степени также арабских государств и Ирана) курдов рассматривали как своего рода устрашающую силу в регионе или разменную монету в конфликтных столкновениях турецких, иранских и иракских правителей.

Разумным решением курдской проблемы могло бы стать предоставление международных гарантий автономии, какой бы ограниченной она ни была. По существу, никто ни на Западе, ни в странах Арабского Востока не хотел, чтобы нефтяные месторождения Мосула оказались на территории независимого курдского государства и под его контролем.

В 1963 году, когда у нас возникли осложнения с правительством Касема и сменившими его иракскими националистами, я, находясь в тюрьме, посылал оттуда свои предложения по возможным контактам с Барзани и был уведомлен, что мои предложения приняты. Курдам направили помощь – вооружение и боеприпасы, чтобы они защитили свои земли от карательных экспедиций иракской армии. Однако наши попытки сделать курдов своими стратегическими союзниками, чтобы иметь возможность влиять на события в Ираке, не увенчались успехом.

Глава 9

Рауль Валленберг. «Лаборатория X»

Тайна, окружавшая имя Рауля Валленберга, шведского дипломата, широко известного в мире благодаря своей деятельности по спасению евреев во время Второй мировой войны и исчезнувшего в 1945 году, до сих пор не раскрыта.

Валленберг был задержан военной контрразведкой СМЕРШ в 1945 году в Будапеште и тайно ликвидирован, как я предполагаю, во внутренней тюрьме МГБ в 1947 году.

Прошло почти полвека в бесплодных расследованиях, проводимых как официальными лицами из КГБ, так и журналистами, но дело Валленберга так и не обнаружено.

Недавно найдено письмо начальника разведуправления НКГБ СССР Фитина в адрес СМЕРШ, арестовавшего Валленберга в 1945 году с требованием передать его в распоряжение разведки в оперативных целях. Однако Абакумов это представление отклонил, стремясь, видимо, приписать «лавры» успешной работы с Валленбергом своему аппарату.

Рауль Валленберг принадлежал к известному семейству финансовых магнатов, которое поддерживало с начала 1944 года тайные контакты с представителями советского правительства. Хотя мне не поручалось разрабатывать Валленберга и его связи с немецкими и американскими спецслужбами, я знал о вкладе, который внесла его семья в заключение сепаратного мира с Финляндией. Характер донесений военной контрразведки о Рауле Валленберге и о контактах всей семьи говорил о том, что дипломат – подходящий объект для вербовки или роли заложника. Арест Валленберга, допросы, обстоятельства гибели – все подтверждает, что была попытка завербовать его, но он отказался сотрудничать с нами. Возможно, страх, что неудачная попытка вербовки станет известна, если отпустить Валленберга, заставил ликвидировать его.

В годы войны наша резидентура в Стокгольме получила указание найти влиятельных людей в шведском обществе, которые могли бы стать посредниками при проведении переговоров с финнами о заключении сепаратного мира. Вот тогда мы и установили контакты с семейством Валленбергов.

Сталин был озабочен тем, что Финляндия, союзник Германии с 1941 года, может подписать мирный договор с американцами, не учтя наших интересов в Прибалтике. Американцы, в свою очередь, опасались, что мы оккупируем Финляндию. Однако такой необходимости у нас не было: нам был важен нейтралитет ближайшей соседней страны, чтобы использовать его в своих интересах через агентов влияния в главных политических партиях Финляндии. Эти люди соглашались сотрудничать с нами, если мы обеспечим нейтралитет финского государства. Кроме того, они хотели играть роль посредника между Востоком и Западом.

Знаменательно, что в 70—80-е годы финскому примеру стремились последовать

влиятельные политические круги в Польше, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, а также в Прибалтийских республиках, выступавшие за возрождение своей государственной независимости. Эти попытки обе стороны – предпринимавшие их и препятствовавшие им – называли финляндизацией.

Я помню, как в 1938-м, за год до начала советско-финской войны, Сталин распорядился о передаче двухсот тысяч долларов для политической поддержки финской партии мелких хозяев, чтобы она сыграла определенную роль в формировании позиции правительства по урегулированию пограничных вопросов. Деньги финнам передал полковник Рыбкин, мой друг, бывший тогда первым секретарем советского посольства в Финляндии и известный там под фамилией Ярцев. Сталин лично инструктировал его, как разговаривать с политическими деятелями, получившими от нас деньги, а также и по вопросу о подготовке секретных переговоров с представителями финского правительства с целью заключения пакта о ненападении и сотрудничестве, планировавшихся с участием доверенного лица советского правительства, лично известного Маннергейму. Это был граф Игнатъев, автор книги «Пятьдесят лет в строю». Переданные Ярцевым предложения финскому правительству Маннергейм отверг, однако проинформировал Гитлера о необычном предложении советской стороны. Таким образом, германское руководство, принимая решение о начале переговоров с нами по заключению пакта о ненападении, прекрасно знало, что их предложение не может рассматриваться Москвой как совершенно неожиданное и неприемлемое.

В годы войны Рыбкин и его жена руководили нашей резидентурой в Стокгольме. Одна из их задач заключалась в поддержании контактов с агентурной сетью «Красной капеллы» в Германии через шведские каналы. Жена Рыбкина известна многим как детская писательница по книгам «Сердце матери», «Сквозь ледяную мглу», «Костры» и др. – она печаталась под своей девичьей фамилией Воскресенская. В дипломатических кругах Стокгольма и Москвы эту русскую красавицу знали как Зою Ярцеву, блиставшую не только красотой, но и прекрасным знанием немецкого и финского языков. Рыбкин, высокий, прекрасно сложенный, обаятельный человек, обладал тонким чувством юмора и был великолепным рассказчиком. Супруги пользовались большой популярностью среди дипломатов в шведской столице, что позволило им быть в курсе зондажных попыток немцев выяснить возможности сепаратного мирного соглашения с Соединенными Штатами Америки и Великобританией без участия Советского Союза. Кстати, немецкая разведка в провокационных целях распространяла в Стокгольме в 1943–1944 годах слухи о возможных секретных переговорах между СССР и Германией о сепаратном мире без участия американцев и англичан.

Рыбкины принимали активное участие в подготовке и оформлении секретных экономических соглашений. В 1942 году с помощью нашего агента, известного шведского актера и сатирика Карла Герхарда, им удалось заключить бартерную сделку: мы получили высококачественную шведскую сталь, крайне необходимую для самолетостроения, в обмен на платину. Нейтралитет Швеции был грубо нарушен, но банк, осуществивший эту сделку, получил солидную прибыль. Контрольным пакетом акций банка владела семья Валленбергов.

Карл Герхард поддерживал дружеские отношения с дядей Рауля Маркусом Валленбергом и по утвержденному в Москве плану представил ему на приеме Зою Рыбкину.

Зоя очаровала Маркуса Валленберга. Они встретились еще раз на уик-энде в роскошном отеле, принадлежавшем семейству Валленбергов под Стокгольмом. Разговор шел о том, как можно устроить встречу дипломатов двух стран – СССР и Финляндии, – находящихся в состоянии войны, на которой они могли бы обсудить заключение сепаратного мирного договора. Зоя Рыбкина сказала Валленбергу, что необходимо довести до сведения финнов: советская сторона гарантирует полную государственную независимость по окончании войны, но ввиду продолжения военных действий на Балтийском театре рассчитывает получить право на ограниченное военное присутствие в портах Финляндии и ограниченное размещение военно-морских и военно-воздушных баз на ее территории.

Семейство Валленбергов, в свою очередь, имело финансовые интересы в Финляндии и было очень заинтересовано в мирном урегулировании советско-финских отношений.

Всего неделя понадобилась Маркусу Валленбергу, чтобы организовать встречу Зои с представителем финского правительства Юхо Кусту Паасикиви, ставшим позднее президентом, сменив на этом посту Карла Густава Маннергейма. Советскую сторону на переговорах представляла Александра Коллонтай, наш посол в Швеции, долго остававшаяся первой и единственной женщиной в ранге посла. Только в 70-х годах в ранге посла вновь оказалась женщина – Зоя Миронова, возглавившая советскую миссию при международных организациях, аккредитованных в Женеве.

Консультации продолжались все лето, и наконец 4 сентября 1944 года был заключен мирный договор между СССР и Финляндией.

После того, как Рауль Валленберг оказался в наших руках в качестве заложника или объекта возможной вербовки, Сталин и Молотов, вероятно, рассчитывали использовать положение семьи Валленбергов для получения выгодных кредитов на Западе.

В 1945 году советское руководство распространило слухи о том, что в Крыму будет создана еврейская автономная республика, куда смогут приехать евреи со всего света, особенно из Европы, пострадавшие от фашизма. Сталин блефовал, преследуя несколько целей. Во-первых, этой приманкой – еврейская республика – он надеялся успокоить британских союзников, опасавшихся, что еврейское государство будет создано в Палестине, которая находилась под их протекторатом. Во-вторых, Сталин стремился выяснить возможности привлечения западного капитала для восстановления разрушенного войной народного хозяйства.

От Берии я получил указание прозондировать американцев по этому вопросу во время бесед с их послом в Москве Гарриманом (в 1945 году я встречался с ним под фамилией Матвеев).

К моменту ареста военной контрразведкой Рауль Валленберг был известен своей деятельностью по спасению и вывозу евреев из Германии и Венгрии в Палестину. Мы знали о высокой репутации Валленберга среди руководителей

международных сионистских организаций. Арестовать его, как и любого западного дипломата, без прямого указания Москвы было немыслимо. Даже если предположить, что он был задержан случайно (в это же время задержали более тридцати дипломатов некоторых европейских стран, почти всех освободили через несколько месяцев в обмен на военнопленных и военнослужащих Советской Армии, оставшихся на Западе), то руководители военной контрразведки в Будапеште должны были обязательно доложить об этом в Москву. Теперь известно, что приказ об аресте Валленберга подписал Булганин, заместитель Сталина по Наркомату обороны, и приказ был немедленно выполнен.

Мой бывший коллега, генерал-лейтенант Белкин, в свое время заместитель начальника СМЕРШ, был знаком с делом Валленберга. Он рассказывал мне, что в 1945 году фронтовые органы СМЕРШ получили ориентировку на Валленберга, в которой указывалось, что он подозревается в сотрудничестве с германской, американской и английской разведками, и предписывалось установить постоянное наблюдение за ним, отслеживать и изучать его контакты, прежде всего с немецкими спецслужбами.

О работе Валленберга, как я припоминаю, сообщал наш агент Кутузов (он принадлежал к роду великого полководца), эмигрант, привлеченный к сотрудничеству с советской разведкой еще в начале 30-х годов. Кутузов работал в миссии Красного Креста в Будапеште и участвовал в разработке Валленберга. Согласно сообщениям Кутузова, Рауль Ватленберг активно сотрудничал с немецкой разведкой. Кутузов интерпретировал его поведение как двойную или даже тройную игру. Конечно, в таком рискованном деле – спасение евреев – необходимо было поддерживать тесные контакты с официальными лицами и немецкими спецслужбами. Я помню, что Белкин говорил мне о нескольких зафиксированных встречах Валленберга с начальником немецкой разведки Шелленбергом.

Обстоятельства сложились так, что Валленберг оказался в сфере повышенного внимания наших разведорганов. Может быть, через него советское руководство рассчитывало добиться более тесного сотрудничества семейства Валленбергов с нашими представителями в скандинавских странах, чтобы заручиться доверием международного капитала для получения кредитов. Не исключено, что план вербовки или использования его как заложника в возможной политической игре возник потому, что Валленберг рассматривался как важный свидетель закулисных связей деловых кругов Америки и фашистской Германии, а также спецслужб этих стран в годы войны. Когда союзники достигли тайной договоренности о круге обвинений, которые будут предъявлены руководителям третьего рейха на Нюрнбергском процессе, надобность в Валленберге отпала – он был уничтожен.

Рауля Валленберга задержали (фактически это был арест) в его квартире: к нему явились сотрудники контрразведки и предложили поехать в штаб группы советских войск. Валленберг сказал тогда одному из своих друзей: не знаю, кем я буду – гостем или пленником.

В Москву его везли под охраной, но в спальном вагоне обращались как с «гостем», еду приносили из вагона-ресторана. Кутузова также доставили в Москву, отдельно от Валленберга. Вскоре Кутузова, в отличие от Валленберга, освободили из

тюрьмы и разрешили ему выехать на Запад, разумеется, с условием продолжать активное сотрудничество с советской разведкой. В конце концов он обосновался в Ирландии, где скончался в 1967 году.

В Москве Валленберга поместили в специальный блок внутренней тюрьмы на Лубянке, где содержались под стражей особо важные лица, которых склоняли к сотрудничеству; если они отказывались – их ликвидировали.

Немецкому отделу нашей разведки регулярно пересылались протоколы допросов Валленберга. Возможно, следователи запугивали его, обвиняя в связях с гестапо.

Из опубликованных в прессе материалов ясно: Валленберга держали в Москве в двух тюрьмах – во внутренней на Лубянке и в Лефортовской. Сотрудники МГБ – КГБ вспоминают, что после допросов «с пристрастием» в Лефортове Валленберга вновь переводили в специальный блок внутренней тюрьмы на Лубянке.

Спецблок внутренней тюрьмы скорее напоминал гостиницу. Помещения, в которых содержались заключенные, можно было назвать камерами лишь условно: высокие потолки, нормальная мебель. Еду приносили из столовой и ресторана НКВД, по качеству она, конечно, сильно отличалась от тюремной. Однако место это при Сталине было зловещим. В этом здании находилась комендатура НКВД – МГБ, где в 1937–1930 годах приводились в исполнение приговоры в отношении лиц, осужденных к смертной казни, а также тех, кого правительство считало необходимым ликвидировать в особом, то есть несудебном порядке.

В Варсонофьевском переулке, за лубянской тюрьмой, располагалась непосредственно подчиненная министру и комендатуре токсикологическая лаборатория и спецкамера при ней. Токсикологическая лаборатория в официальных документах именовалась «Лабораторией-Х». Начальник лаборатории полковник медицинской службы, профессор Майрановский занимался исследованиями влияния смертоносных газов и ядов на злокачественные опухоли. Профессора высоко ценили в медицинских кругах.

В 1937 году исследовательская группа Майрановского из Института биохимии, возглавляемого академиком Бахом, была передана в НКВД и подчинялась непосредственно начальнику спецотдела оперативной техники при комендатуре НКВД – МГБ. Комендатура отвечала за охрану здания НКВД, поддержание режима секретности и безопасности и за исполнение смертных приговоров.

Вся работа лаборатории, привлечение ее сотрудников к операциям спецслужб, а также доступ в лабораторию, строго ограниченный даже для руководящего состава НКВД – МГБ, регламентировались Положением, утвержденным правительством, и приказами по НКВД – МГБ. Ни я, ни мой заместитель Эйтингон не имели допуска в «Лабораторию– Х» и спецкамеру.

Непосредственно работу лаборатории курировал министр госбезопасности или его первый заместитель. По поводу этой лаборатории до сих пор ходит много чудовищных слухов.

Проверка, проведенная еще при Сталине, после ареста Майрановского, а затем

при Хрущеве в 1960 году, в целях антисталинских разоблачений, показала, что Майрановский и сотрудники его группы привлекались для приведения в исполнение смертных приговоров и ликвидации неугодных лиц по прямому решению правительства в 1937–1947 годах и в 1950 году, используя для этого яды. Мне известно, что подобного рода акции осуществлялись нашей разведкой за рубежом также и в 60—70-е годы. Об этом говорил и писал генерал-майор КГБ Олег Калугин.

Допросы Валленберга вели офицеры разведки, чаще других – подполковник Копелянский, свободно говоривший по-немецки. Его уволили из органов в 1951 году из-за еврейского происхождения. Хотя участие Копелянского в допросах подтверждено документально – его фамилия значится в тюремном журнале регистрации вызова заключенного на допрос к следователю, – он отрицал это и говорил, что не помнит подследственного с таким именем. Однако по этим записям в журнале видно, что именно Копелянский вызывал Валленберга из камеры на допрос за день до его смерти.

Дело Валленберга к началу июля 1947 года зашло в тупик. Он отказался сотрудничать с советской разведкой и был уже не нужен ни как свидетель тайных политических игр, ни как заложник – Нюрнбергский процесс закончился.

Похоже, Валленберг был переведен в спецкамеру «Лаборатории-Х», где ему сделали смертельную инъекцию под видом лечения (в то же время руководство страны продолжало уверять шведов, что ничего не знает о местонахождении и судьбе Валленберга). Мед служба тюрьмы не имела ни малейшего представления об этом, и его смерть была констатирована в обычном порядке. Однако министр госбезопасности Абакумов, очевидно, осведомленный о подлинной причине смерти Валленберга, запретил вскрытие тела и приказал кремировать его.

Существовала специальная практика кремации тех, кто был уничтожен по особому правительственному решению: вскрытие тела не производилось, прах подлежал захоронению как невостребованный в общей могиле. Позднее власти очень неохотно признали, что прах таких известных людей как Тухачевский, Якир, Уборевич, Мейерхольд и другие захоронен в этой общей могиле. Крематорий Донского монастыря тогда был единственным, поэтому, возможно, в одной и той же могиле лежит прах моего начальника, друга и наставника Шпигельгласа и одного из руководителей разведки Серебрянского. Весьма вероятно, что прах Валленберга и Берии захоронен там же.

Как следует из воспоминаний бывших сотрудников МГБ– КГБ, журнал специальных записей всех ликвидаций со ссылками на соответствующие решения высших инстанций в запечатанном конверте с надписью «без разрешения министра не вскрывать» и грифом «совершенно секретно» после ареста Берии был отправлен Суханову, помощнику Маленкова, заведующему особым сектором Президиума ЦК КПСС. В 1966 году полковник Студников, сразу же после моего ареста сменивший меня в должности начальника по разведывательно-диверсионной работе за границей, его заместитель Гудимович и полковник Василевский подтвердили в ЦК, что этот пакет был изъят из сейфа на Лубянке и передан в особый сектор Президиума ЦК. С тех пор он находится в недрах архивов или уничтожен по указанию высшего руководства, так как содержит свидетельства прямой

ответственности за акции, осуществленные «Лабораторией-Х», не только Ежова, Берии, Абакумова, Меркулова, но и высшего руководства страны – Сталина, Молотова, Маленкова, Булганина, Хрущева.

В июне 1993 года «Известия» опубликовали статью Максимовой «Валленберг мертв. К сожалению, доказательств достаточно», а газета «Сегодня» статью Абарина «Отмывают не только деньги, но и версии». В обеих статьях приводятся выдержки из документов, касающихся судьбы Валленберга.

Из служебной записки Вышинского Молотову (1947 г.) явствует, что в конце 1944 года шведы обратились в Народный комиссариат иностранных дел СССР «с просьбой взять под защиту первого секретаря шведской миссии в Будапеште Рауля Валленберга».

В 1943 году, в начале января, шведов информировали, что Валленберг обнаружен и взят под защиту советских военных частей (на самом деле Валленберг был арестован военной контрразведкой в Будапеште).

Через некоторое время шведы уведомили МИД, что среди сотрудников их миссии, выехавших из Будапешта, Валленберга нет, и просили разыскать его. По этому вопросу они направили восемь нот в советские инстанции и сделали пять устных запросов. Посол Швеции в Москве Седерблом в 1946 году обратился к Сталину (он был им принят) с личной просьбой – выяснить судьбу Валленберга.

В свою очередь, МИД тоже несколько раз запрашивал о Валленберге СМЕРШ и Министерство госбезопасности. Наконец в феврале 1947 года МИД был проинформирован, что Валленберг находится в распоряжении МГБ.

В упомянутой выше служебной записке Вышинский писал: «Поскольку дело Валленберга до настоящего времени продолжает оставаться без движения, я прошу Вас обязать тов. Абакумова представить справку по существу дела и предложения о его ликвидации».

Для меня нет сомнений в зловещем смысле последних слов Вышинского. Он не предлагает закрыть дело (тогда была бы другая формулировка – «прекратить дело»), а почти «требует», чтобы Абакумов представил предложения об уничтожении Валленберга как нежелательного лица для советского руководства.

Итак, Вышинский выступил с такой просьбой – это крайне важно, – будучи заместителем Молотова по разведывательной работе, которая осуществлялась в те годы Комитетом информации. Федотов, который сообщил Вышинскому о том, что Валленберг находится в тюрьме, также в тот период был одним из руководителей Комитета информации.

Резолюция Молотова на записке Вышинского также имеет большое значение: «Тов. Абакумову. Прошу доложить мне. 18.V.47 г.».

Фактически это было распоряжение заместителя главы правительства и руководителя разведки представить предложения о том, как ликвидировать Валленберга. Такова была обычная практика тех лет. (Недавно опубликован и показан по телевидению документ, направленный Сталину и Молотову в 1947 году, касающийся американского гражданина, закордонного агента НКВД Исаака

Оггинса, подозревавшегося в двойной игре. Этот документ содержит такую же формулировку.)

После того, как предложение было рассмотрено, Сталин или Молотов давали свое согласие в устной, а иногда письменной форме. Если в устной, то Абакумов, как было установлено в ходе проверок и следствия по его делу, делал пометку на таких документах: «Согласие тт. Сталина, Молотова получено» и проставлял дату.

Из официальных документов явствует: Валленберг умер 17 июля 1947 года. Однако 18 августа того же года Вышинский информировал шведского посла о том, что советское правительство не располагает сведениями о Валленберге, и что он не мог быть задержан советскими властями, а скорее всего стал случайной жертвой уличных боев в Будапеште (в январе 1945 года мы информировали шведов, что Валленберг находится под защитой советских военных частей).

В марте-мае 1956 года в ходе советско-шведских переговоров, проходивших в Москве, шведская сторона предоставила нашему правительству материалы, относящиеся к Раулю Валленбергу. Тогда же ЦК партии принял решение о проверке и выяснении обстоятельств гибели шведского дипломата. Это решение ЦК КПСС до сих пор не опубликовано.

В 1957 году ЦК КПСС утвердил проект меморандума советского правительства о судьбе Валленберга, подготовленный в МИДе (министр иностранных дел Шепилов) и КГБ (председатель Серов).

Советское правительство информировало шведское, что компетентные органы изучили и проверили представленные шведами материалы о Рауле Валленберге. Тщательные поиски в архивах внутренней тюрьмы на Лубянке, Лефортовской, а также Владимирской и других тюрем ничего не дали: сведений о пребывании Валленберга в Советском Союзе не обнаружили (в 1947 году были: мы сообщали МИДу, что Валленберг находится в распоряжении МГБ). Компетентные органы провели после этого проверку всех архивных документов вспомогательных служб, и в результате в документах медицинской службы внутренней тюрьмы на Лубянке обнаружили рапорт начальника этой службы Смольцова, адресованный бывшему министру госбезопасности Абакумову. В рапорте говорилось, что лично известный министру заключенный Валленберг неожиданно скончался у себя в камере вечером 17 июля 1947 года. Причина смерти – инфаркт.

Заканчивался меморандум, как положено, искренними сожалениями и глубокими соболезнованиями по поводу смерти Рауля Валленберга.

Обращает на себя внимание немаловажная деталь: на рапорте Смольцова от 17 июля 1947 года сделана приписка, что о смерти Валленберга доложено лично министру и тело приказано кремировать без вскрытия.

Я полагаю, что уничтожение архивных материалов по делу Валленберга началось в процессе подготовки меморандума. Обусловлено это было, видимо, тем, что непосредственные инициаторы его ареста и убийства – Молотов и Булганин – все еще находились у власти и занимали ведущее положение в руководстве страны. Булганин, подписавший приказ об аресте Валленберга, был главой правительства, а Молотов, отдавший приказ о ликвидации шведского дипломата, входил в высшее

руководство государства.

Наше правительство официально признало факт ареста Валленберга, заключения его в тюрьму и смерти от «инфаркта» спустя десять лет после его гибели. Оно также заявило, что Рауль Валленберг был незаконно арестован по приказу Абакумова, который за совершенные им преступления, в том числе арест Валленберга, понес самое суровое наказание.

Это была циничная ложь. В ходе судебного процесса и следствия Абакумову такого обвинения не предъявлялось.

До сих пор не найдена в архивах КГБ записка Абакумова Молотову, в которой, вероятно, должны были излагаться суть дела Валленберга и, по-видимому, содержаться роковые для его участи предложения, инициированные Вышинским. Хотя записка не найдена, следы ее, видимо, могут отыскаться в переписке Министерства госбезопасности и МИДа, председателя КГБ с руководством ЦК КПСС и правительства в указанный период времени. В регистрационном журнале секретариата Молотова имеется кодовый номер, по которому можно проследить прохождение этого документа.

Зато в архивах КГБ, как заявили моему сыну осенью 1994 года, удалось найти документ, из которого следует, что председатель КГБ Серов просил Молотова принять его по делу Валленберга в феврале 1957 года, когда готовился проект меморандума шведскому правительству с признанием ареста Валленберга и его смерти.

Не обнаружена пока и записка Серова, в которой он, прежде чем был подготовлен официальный меморандум советского правительства, должен был сообщить Хрущеву и Булганину, соответственно первому секретарю ЦК и председателю Совета Министров, о том, что в действительности произошло с Валленбергом.

Зная повадки Хрущева, я утверждаю, что он сохранил в своем архиве записку Серова, безусловно содержащую серьезный компромат на Молотова. Для Хрущева эта записка имела существенное значение в обстановке обострившейся борьбы за власть в начале 1957 года, завершившейся, как известно, разгромом так называемой антипартийной группы Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова. Однако в силу неясных для меня причин Хрущев не использовал дело Валленберга против Молотова. Я помню, как следователи весьма настойчиво добивались от меня данных об участии Молотова в секретных сделках с западными промышленниками и дипломатами, и я понимал, что их вопросы далеко не случайны. Однако имя Валленберга тогда не фигурировало.

Серов должен был обязательно обратиться к Хрущеву за разрешением на уничтожение материалов по делу Валленберга. Вполне вероятно, что после этого они и были уничтожены. Причина ясна: Молотов в феврале 1957 года был еще в силе и оставался весьма влиятельной фигурой в руководстве. Он, как и другие государственные деятели, имевшие прямое отношение к скандальным и преступным акциям, был заинтересован, чтобы документальные свидетельства исчезли.

Должно сохраниться и другое письмо Серова, в котором он обязан был

доложить Хрущеву, что дело Валленберга уничтожено.

Последний раз дело Валленберга расследовалось по приказу Горбачева под наблюдением Бакатина, председателя КГБ. Новое расследование подтвердило, что Валленберг действительно умер в тюрьме. Было также установлено, что его следственно-архивное и тюремное дела уничтожены.

Вероятно, некоторые подробности поисков материала по делу Валленберга знает внук Молотова Никонов, профессор, депутат Государственной Думы, бывший тогда помощником Бакатина.

К сожалению, архивы, как и рукописи, увы, горят и уничтожаются. Но следы остаются. Бывают находки совершенно случайные и неожиданные. Так, технический сотрудник в архиве КГБ, не имевший никакого отношения к расследованию дела Валленберга, обнаружил его дипломатический паспорт и личные вещи в пакете, выпавшем из увесистой пачки неразобранных документов.

После громкого скандала, вызванного выходом в свет моей книги на Западе, я написал в мае 1994 года по просьбе русско-шведской комиссии по делу Валленберга объяснение в учетно-архивный отдел Федеральной службы безопасности. Мой сын беседовал с шведскими представителями: выяснение истины о деле Рауля Валленберга зависит в немалой степени и от шведской стороны, которая упорно отказывается предать гласности данные его отчетов о контактах с немецкими и американскими спецслужбами в 1941–1945 годах.

Я думаю, что когда-нибудь исследователи все-таки доберутся до наших и зарубежных архивных материалов, как это произошло с катынским делом, и поставят точку в запутанной и трагической истории Валленберга.

Попытка наших властей, надо сказать, небезуспешная, скрыть правду о Валленберге напоминает дело о расстреле в 1940 году польских военнопленных в Катынском лесу под Смоленском и других местах. Только в 1992 году в прессе были опубликованы архивные материалы этого дела, в частности, рапорт бывшего председателя КГБ Шелепина об уничтожении документов, связанных с преступной акцией (Шелепин в 1959 году обращался к Хрущеву, чтобы получить разрешение на их уничтожение). Все это дает основание предполагать, что и с делом Валленберга поступили так же.

Хотя Борис Николаевич Ельцин передал Леху Валенсе документы, и дело о польских военнопленных вроде бы уже закрыто, покров тайны все еще не сброшен до конца. В извлеченных из архивов КГБ документах нет сведений о том, как планировалась и проводилась эта акция. Даже те, кто активно занимался вербовкой польских офицеров, не представляли, какая судьба ожидает военнопленных, отказавшихся сотрудничать с НКВД. Я предполагаю, что об этом знал Райхман, имевший отношение к польским делам.

Официальное сообщение правительства гласило, что польские военнопленные, находящиеся в лагерях, попали в руки немцев и были расстреляны. Действительно, некоторые польские офицеры были убиты из немецкого оружия. Тогда многие, и я тоже, поверили этой версии.

Впервые я услышал, что польских военнопленных расстреляли мы, от генерал-майора КГБ Кеворкова, заместителя генерального директора ТАСС в 80-е годы. Он сказал, что Фалин, заведовавший Международным отделом ЦК КПСС, в 70-е годы получил выговор от Андропова за проявленный интерес к катынскому делу и предложение начать новое расследование. Меня поразило, что, по словам Кеворкова, в ЦК больше всего были озабочены, как скрыть, что уничтожение польских офицеров было проведено по решению Политбюро.

Говоря о преступном массовом уничтожении польских военнопленных и попытках Хрущева и Горбачева скрыть эту трагедию, надо отметить и то обстоятельство, что, возможно, расстрел поляков в 1940 году был своего рода мщением, сведением счетов с ярыми антисоветчиками, польскими офицерами, за уничтожение сорока тысяч (по разным данным разные цифры) наших военнопленных в польских концентрационных лагерях после поражения Красной Армии в 1920 году под Варшавой.

В 1953 году меня и Эйтингона обвинили в том, что мы организовывали ликвидацию негодных Берии людей с помощью ядов на специальных конспиративных квартирах, в загородных резиденциях и эти убийства преподносили как смерть от несчастных случаев. Абакумов также обвинялся в уничтожении негодных ему людей. Вопреки требованиям закона, ни в обвинительном заключении, ни в приговоре по нашим делам не фигурировали имена «наших жертв». И это не было случайностью или результатом небрежной работы следователей, нет, – они свое дело знали. Жертв просто не было, не существовало. В сведениях личных счетов Берии и Абакумова с их противниками ни я, ни Эйтингон участия не принимали.

Все тайные ликвидации двойных агентов и политических противников Сталина, Молотова, Хрущева в 1930–1950 годах осуществлялись по приказу правительства. Именно поэтому конкретные боевые операции, проводимые моими подчиненными совместно с сотрудниками «Лаборатории-Х» против врагов, действительно опасных для советского государства, как тогда представлялось, ни мне, ни Эйтингону в вину не ставили. Абакумову, лично отдававшему приказы от имени правительства о проведении операций, они также не ставились в вину. Берия же в 1945–1953 годах не имел к этим делам никакого отношения и даже не знал о них.

Вся работа «Лаборатории-Х», не только научная, была хорошо известна как тем, кто занимался расследованием дела Берии и Абакумова, так и правительству и ЦК партии, наблюдавшим и направлявшим ход следствия по этим делам и определявшим его содержание.

В обвинительном же заключении по моему делу утверждалось, что именно я наблюдал за работой сверхсекретной токсикологической лаборатории, которая экспериментировала с ядами на приговоренных к смерти заключенных в период с 1942 по 1946 год. Это обвинение было снято при моей реабилитации, поскольку в архивах ЦК КПСС и КГБ обнаружили утвержденное правительством Положение, регулировавшее всю деятельность этой лаборатории и порядок отчетности о ее работе. «Лаборатория-Х» мне не была подконтрольна. Я не мог ни отдавать приказы

ее начальнику Майрановскому, ни использовать яды против кого-либо, ни тем более проводить с ними эксперименты на людях. И сейчас показаниями, выбитыми у Майрановского, якобы участника сионистского заговора в МГБ, которого никогда не существовало, пытаются спекулировать, чтобы дискредитировать меня и Эйтингона. Причем делают это люди, прекрасно отдающие себе отчет в том, что использование потерявших юридическое значение показаний против реабилитированных людей выставляет их самих в неприглядном свете.

В 1951 году Майрановский вместе с Эйтингоном, Райхманом, Матусовым и А. Свердловым были арестованы и обвинены в незаконном хранении ядов, а также в том, что они являются участниками сионистского заговора, цель которого – захват власти и уничтожение высших руководителей государства, включая Сталина. Рюмину, который возглавлял следствие по этому делу, удалось выбить фантастические признания у Майрановского (он отказался от них в 1958 году) и заместителя начальника секретариата Абакумова Бровермана. Когда в конце 1952 года Рюмин, будучи заместителем министра госбезопасности Игнатьева, был снят с должности, следственная часть не могла представить обвинительное заключение против Майрановского в том виде, в каком его подготовил Рюмин. Показания начальника токсикологической лаборатории не подкреплялись признаниями врачей, арестованных по делу Абакумова, которые не имели понятия об этой лаборатории.

Никто из арестованных врачей ничего не знал о секретной деятельности Майрановского: он сам проводил эксперименты с ядами на приговоренных к смертной казни в соответствии с установленным правительством и Министерством госбезопасности порядком. Зафиксировать в полном виде признания Майрановского было чересчур рискованно, поскольку он ссылался на указания высших инстанций и полученные им награды. Именно поэтому его дело поступило на рассмотрение во внесудебный орган – Особое совещание при министре госбезопасности. Повидимому, имелись какие-то планы использовать в дальнейшем Майрановского в качестве свидетеля против кого-либо в высшем руководстве. Его оставили в живых и в феврале 1953 года приговорили к десяти годам лишения свободы за незаконное хранение ядов и злоупотребление служебным положением.

Майрановский был осужден незадолго до смерти Сталина. Когда Берия вновь возглавил органы безопасности, Майрановский направил ему огромное количество заявлений-просьб об освобождении, писал о своей невинности и ссылался на работу под его непосредственным руководством в 1938–1945 годах. Берия, видимо, собирался освободить его, но вскоре сам был арестован. Прокуратура немедленно использовала заявления Майрановского против него самого, против Берии, Абакумова и Меркулова. Теперь Майрановский был представлен как сообщник Берии в его мифических планах ликвидации советского руководства с помощью ядов.

Мне известно о четырех фактах ликвидации опасных врагов советского государства, как тогда однозначно понималось, проведенных с участием Майрановского в 1946–1947 годах. Я имею в виду известных украинских националистов, о которых я уже рассказывал, а также иностранцев – Самета и Оггинса.

Самет, польский инженер еврейской национальности, интернированный нами в 1939 году, занимался совершенно секретными работами по использованию трофейного немецкого оборудования на наших подлодках, которое давало большое преимущество в длительности пребывания под водой. Самет связался с англичанами: он собирался выехать в Палестину. Чтобы внедрить агента в окружение Самета и контролировать его связи с иностранцами, в Ульяновск, где все происходило, направили Эйтингона. Приехавший позже Майрановский вместе с агентом, врачом заводской поликлиники, сделал Самету во время профилактического осмотра инъекцию яда кураре.

Генерал Волкогонov в 1992 году представил в конгресс США список американцев, погибших в Советском Союзе в годы Второй мировой войны, а также «холодной», и выразил от имени президента Ельцина сожаление в связи с их гибелью. В этом списке был и Оггинс. Ликвидировали Оггинса, как считает Волкогонov, чтобы он не смог рассказать правду о советских тюрьмах и концлагерях.

На Западе к тому времени было достаточно хорошо известно о ГУЛАГе, и причина, по которой уничтожили Оггинса, не так проста, как писали в наших газетах. Судя по публикациям, Оггинс был незаконно арестован НКВД и приговорен Особым совещанием к восьми годам заключения якобы за антисоветскую пропаганду. На самом деле Оггинс приехал в Советский Союз по фальшивому чехословацкому паспорту – об этом в прессе не было ни слова. Он действительно симпатизировал коммунистическим идеям и являлся негласным членом компартии США. Оггинс также был старым агентом Коминтерна и НКВД в Китае, на Дальнем Востоке и США. Его жена Нора входила в агентурную сеть НКВД в Америке и Западной Европе и отвечала за обслуживание наших конспиративных квартир во Франции и США в 1938–1941 годах. Оггинса арестовали в 1938 году, подозревая в двойной игре. Его жена вернулась в США в 1939-м. Вначале она считала, что муж находится в Советском Союзе по оперативным соображениям, но потом поняла, что он арестован. У нас были основания предполагать, что Нора начала сотрудничать с ФБР и другими американскими и японскими спецслужбами. Она попыталась, может быть, по заданию американской контрразведки, восстановить прерванные с 1942 года связи с нашей агентурой в Америке. В конце войны Нора Оггинс обратилась к американским властям, чтобы они помогли разыскать ее мужа, рассчитывая добиться его освобождения. В период наших хороших отношений с Америкой сотруднику американского посольства в Москве разрешили встретиться с Оггинсом в Бутырской тюрьме, преследуя свои цели – выявить, что известно американцам о его деятельности.

После провала нашей разведывательной сети в США и Канаде в 1946–1947 годах Молотов опасался, что если освободить и Оггинса, то американцы могут привлечь его в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности и использовать как свидетеля против компартии США. Кроме того, по мнению наших спецслужб, контакты Норы Оггинс с американскими властями и сотрудничество с ФБР уже нанесли серьезный урон нашим агентурным позициям в США и Франции.

Абакумов, зная это, предложил ликвидировать Оггинса, решение было принято

Сталиным и Молотовым. В 1947 году Майрановский во время медицинского обследования сделал Оттинсу, находившемуся в тюрьме, смертельный укол. Мне и Эйтингону поручили организовать его похороны на еврейском кладбище в Пензе и оформить дату захоронения 1944 или 1945 годом.

Сейчас, вспоминая этого человека, я испытываю сожаление. Но тогда, в годы «холодной войны» ни мы, ни американцы не задумывались о моральных аспектах ликвидации опасных противников, агентов-двойников.

В 60-70-е годы и в 1990-м прокуратура, КГБ и Комитет партийного контроля при ЦК КПСС расследовали случаи использования ядов в операциях спецслужб. Было установлено, что Майрановский имел отношение к применению ядов спецслужбами в 1937–1947 годах. С 1952 года использование ядов возобновилось уже без участия Майрановского и, как всегда, регламентировалось соответствующими приказами правительства. Никто из реально руководивших всеми действиями по применению ядов ни из службы комендатуры КГБ, ни из оперативно-технического управления не был привлечен даже к административной ответственности. Козлами отпущения сделали меня и Эйтингона.

Токсикологическая лаборатория была создана в 1921 году при председателе Совнаркома В.И. Ленине, задолго до Берии, и именовалась «Специальным кабинетом». Возможно, что Ленин просил Сталина достать ему яд именно из запасов этой лаборатории-«кабинета».

Первым начальником лаборатории в 30-х годах был профессор Казаков, его расстреляли в 1938 году по процессу Бухарина.

Научно-исследовательские работы по тематике лаборатории проводились специалистами Института биохимии под руководством Майрановского. В 1937 году лаборатория-«кабинет» и исследовательская группа Майрановского были переданы в НКВД. В 60-70-х годах она получила название Спецлаборатории № 12 Института специальных и новых технологий КГБ.

Мрачная известность лаборатории продолжала волновать воображение советских руководителей. В 1988 году генерал-майор КГБ Шадрин рассказывал мне, что высшая инстанция, то есть Горбачев, проявляет интерес к практике устранения политических соперников в прежние времена. Тогда получили распространение слухи о том, что председатель КГБ Семичастный в 1964 году якобы отказался выполнить намек-поручение Брежнева о негласной ликвидации Хрущева. Однако Семичастный, по словам Шадрина, отказался представить письменное объяснение по этому вопросу в 1988 или 1989 году.

В 1990 году меня и Олега Калугина вызвали в прокуратуру. Меня допрашивали по делу Оггинса, Калугина – по делу Маркова, болгарского диссидента, убитого в Лондоне, где он в 1978 году работал на Би-би-си. Калугин подтвердил прокурору то, о чем говорил в своих выступлениях в прессе.

Он, занимая должность начальника службы внешней контрразведки КГБ, консультировал болгарскую разведку в проведении операции по ликвидации Маркова с помощью яда, полученного из Спецлаборатории, которую раньше возглавлял Майрановский. Марков погиб от укола зонтиком, изготовленным в этой

лаборатории.

Участие Калугина в операции, проводимой болгарской разведкой, соответствовало его служебным обязанностям: он отвечал за мероприятия по борьбе с агентурой западных спецслужб за рубежом и должен был оказывать содействие спецслужбам социалистических стран. Марков же считался в то время видным агентом английской разведки. Как мне рассказывали, болгарское правительство наградило Калугина за эту операцию орденом и браунингом. Не так давно Калугин поведал, что получил орден Красного Знамени еще за одну ликвидацию – похищение в Вене советского перебежчика, офицера ВМФ Артамонова, проведенное с использованием токсикологических препаратов, от которых Артамонов умер у него на руках.

Объяснение Калугиным его участия в ликвидации и похищении неугодных советскому правительству людей было аналогично моему. Другой вопрос: для нашей так называемой «демократической общественности» Калугин – борец за справедливость и права человека, а я, мягко говоря, – одиозная личность.

Калугин и поддерживавшая его пресса справедливо поставили вопрос о контроле над работой токсикологических подразделений спецслужб. Однако, на мой взгляд, дело не только в контроле. Токсикологические лаборатории всегда будут в составе служб технического обеспечения деятельности органов госбезопасности и разведки.

Преступные злоупотребления в этой сфере были установлены и в операциях ЦРУ. В 1977 году Огородник, сотрудник Министерства иностранных дел, являвшийся агентом ЦРУ, покончил жизнь самоубийством, проглотив ампулу с ядом в момент ареста. Однако до этого он с санкции ЦРУ ликвидировал с помощью изготовленного в США яда скрытого действия ни в чем повинную женщину, советскую гражданку, имевшую некоторые основания подозревать его в шпионаже.

Возникает вопрос: оправданно ли применение наркотиков или ядов в борьбе с терроризмом? Конечно, смертный приговор или уничтожение террориста должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями закона. К сожалению, правовые аспекты действий спецслужб в боевой обстановке, например, при вынужденной ликвидации опасных террористов, не разработаны ни у нас, ни за рубежом.

Однако опасность заключается в том, что столь мощное оружие может быть использовано правящим режимом для уничтожения нежелательных людей, политических противников и соперников, как уже было в нашей истории. Разумеется, токсикологическая служба обязана подчиняться строгим правилам и контролироваться. Но, повторяю, дело не только в контроле – важен статус персонала.

Я думаю, что сотрудники токсикологических подразделений спецслужб не должны находиться на действительной военной службе. Это позволит контролировать их действия в рамках реального Прокурорского надзора. Не являясь военнослужащими, они не должны будут подчиняться в своих действиях требованиям дисциплинарного Устава Вооруженных Сил, согласно которому приказ начальника является законом дня подчиненного, а уголовную ответственность за

незаконно отданный воинский приказ несет высшее должностное лицо, его отдавшее. Может быть, это станет какой-то гарантией против злоупотреблений в использовании токсикологических служб в политической борьбе.

То, что я рассказал, кому-то покажется схематичным, кому-то – попыткой скрыть от общественности механизм страшной работы «Лаборатории-Х». Проверка сфальсифицированных против меня обвинений в том, что я контролировал работу лаборатории и отдавал ее начальнику приказы, показала, что я, как и руководители других самостоятельных служб и управлений МГБ – КГБ, имел самое общее представление о работе лаборатории и никакого участия в деятельности токсикологического подразделения не принимал.

Впервые этот материал, но, естественно, в другой форме, я представил в ЦК КПСС в 60-х годах, в своих заявлениях, добиваясь сначала освобождения из тюрьмы, затем реабилитации. Напрасно так называемые демократические журналисты пытаются обвинить меня в том, что я утаиваю невыгодные для себя обстоятельства, но при этом используют факты из моей книги, изданной на Западе, без ссылок на нее (например, публикация Ваксберга о деле Оггинса в «Литературной газете»).

Глава 10

«Калифорния в Крыму»

В 1942–1945 годах так называемый еврейский вопрос в свете отношений с союзниками приобрел существенное значение во внешней и внутренней политике советского государства.

В Кремле рассчитывали получить значительные средства на восстановление народного хозяйства под видом оказания помощи еврейскому населению СССР, пострадавшему от гитлеровского нашествия. Правительство, продолжая старую линию заигрывания с сионистскими кругами, стремилось использовать «палестинский вопрос» в качестве козырной карты в переговорах с англичанами, опасавшимися за свои позиции на Ближнем Востоке и препятствовавшими массовому переселению евреев в Палестину и образованию там еврейского государства.

В начале 1920-х годов, когда советская власть лишь становилась на ноги, среди руководителей всех уровней было немало лиц с еврейскими фамилиями. Замечу, что в то время не существовало паспортов, так что официально никто не делил людей по национальному признаку.

В 1922–1923 годах в стране были ликвидированы многие еврейские и другие националистические организации и арестованы их руководители. Одной из наиболее активных групп подобного толка была, к примеру, «Поалей Цион» в Одессе: члены этой подпольной организации, сумев нейтрализовать службу наружного наблюдения, заманили нескольких оперработников на заброшенное кладбище и жестоко их избили. Другая подпольная группа, «Хагана», зародилась в Житомире, но по иронии судьбы именно работавшим в этом городе сотрудникам ГПУ – евреям было поручено возглавить операцию против этой еврейской националистической группы. Среди разгромленных еврейских организаций был и Бунд, входивший в социалистический интернационал. Была распущена и Еврейская коммунистическая партия, ранее отколовшаяся от Бунда: это соответствовало нашей политике ликвидации любых построенных по национальному принципу фракций коммунистических партий, как входивших в ВКП(б), так и вне ее. Кстати, тогда же распустили так называемую Украинскую коммунистическую партию. Коммунистическая партия Украины (большевиков) стала единственной правящей партией в республике и единственной, кроме ВКП(б) – КПСС, имевшей собственное Политбюро.

Руководители этих еврейских организаций были либо высланы, либо выехали за границу. Это им позволили сделать: до 1928 года в стране фактически не существовало препятствий для выезда за границу, и процедура была очень проста. У советских евреев больше не осталось своих националистических организаций, и постепенно произошло то, что можно назвать интенсивным процессом ассимиляции. Если говорить о еврейской интеллигенции, то она полностью утратила свое политическое значение. В 1933 году в связи с коллективизацией была введена паспортная система для строгого контроля проживания в городах и упрощения учета

движения населения. Евреи были выделены в отдельную национальную группу, хотя у них не было своего государственного образования.

Во всех крупных ведомствах евреи в то время занимали влиятельное положение. Мне припоминается, что в 1939 году мы получили устную директиву, обязывавшую нас – это происходило уже после массовых репрессий – следить за тем, какой процент лиц той или иной национальности находится в руководстве наиболее ответственных с точки зрения безопасности ведомств. Но директива эта оказалась куда более глубокой по своему замыслу, чем я предполагал. Впервые вступила в действие система квот. К счастью, большинство моих товарищей по оружию успели к этому времени достичь больших успехов, доказали свою преданность партии и не подпали под действие этой новой директивы.

Образование Еврейской автономной области с центром в Биробиджане было предпринято Сталиным для усиления пограничного режима на Дальнем Востоке путем создания там своего рода заслона, а совсем не как шаг к созданию еврейского государства. Граница в этих местах нередко нарушалась китайскими и белогвардейскими террористическими группами. Идея Сталина заключалась в том, чтобы поставить преграду на их пути в виде поселений, жители которых настроены враждебно к белоэмигрантам, и особенно к казачеству. Статус региона был дальновидно определен как автономная область, а не республика, что означало: здесь не будет ни своего законодательного органа, ни верховного суда, ни управленческих структур министерского уровня. Хотя область и имела автономию, она была всего лишь приграничной особой территорией, а не политическим центром.

Перед войной в верхах была идея использовать лидеров социалистического Бунда – Генрика Эрлиха и Виктора Альгера – во внешнеполитических целях. Бывший заместитель начальника 2-го контрразведывательного управления генерал Райхман в 1970 году рассказывал мне, что эти бундовские лидеры были арестованы нами в Восточной Польше в сентябре-октябре 1939 года. Когда началась война с Германией, в сентябре 1941 года их выпустили. На встрече с Берией им предложили создать еврейский антигитлеровский комитет: первоначально планировалось, что председателем комитета будет Эрлих, его заместителем – Михоэлс, а ответственным секретарем – Альтер. От плана пришлось отказаться, поскольку Эрлих и Альтер слишком много знали о намерениях Сталина воспользоваться ими для выколачивания денег на Западе. В декабре 1941 года Альтер и Эрлих были вновь арестованы, хотя против них не выдвинули никаких обвинений. 27 декабря 1941 года Эрлих обратился к председателю Президиума Верховного Совета СССР Калинину, протестуя против ареста и доказывая, что он является сторонником советского правительства и готов сотрудничать с НКВД.

Из этого письма было ясно, что именно НКВД стремился инициировать через Эрлиха создание Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Главная задача комитета, говорилось в письме, должна состоять в интенсивной пропаганде среди еврейских общин Соединенных Штатов и Англии положения евреев в Советском Союзе с тем, чтобы получить максимальную помощь, необходимую СССР в борьбе против гитлеровской агрессии. Все предложения ЕАК получили полное одобрение

руководства, и НКВД было поручено подобрать подходящее место для штаб-квартиры комитета. Во главе ЕАК стали: Михоэлс, главный режиссер и замечательный актер Еврейского государственного театра, Фефер, популярный поэт, и Эпштейн, публицист и литературный критик.

Ответа на свое письмо Эрлих так и не получил. Архивы свидетельствуют, что в декабре Берия распорядился перевести Эрлиха и Альтера в камеры-одиночки. Эти заключенные были известны под номерами 41 и 42, допрашивать их или заполнять на них регистрационные карточки в куйбышевской тюрьме НКВД, где они содержались, было запрещено. Генерал Райхман позднее рассказывал мне, что существовал специальный приказ, в соответствии с которым даже персонал тюрьмы не имел права знать их подлинные имена. Эти указания исходили от Сталина, Молотова и Берии.

В 1942 году американский политический деятель Уинделл Уилки и Вильям Грин, президент Американской федерации труда, направили запрос о судьбе Эрлиха и Альтера через советского посла в Америке Литвинова. С аналогичным запросом обратился к нам и польский посол в Москве Станислав Кот. Заместитель министра иностранных дел Вышинский в своем ответе Коту намекнул, что Эрлих и Альтер были помилованы ошибочно: и тот, и другой, как установлено, тайно вступили в сговор с немцами. В конце 1942 года Уилки обратился к нам с новым запросом, но до февраля 1943 года не получал никакого ответа. Молотов между тем поручил Литвинову объявить, что 23 декабря 1941 года Эрлих и Альтер были расстреляны, поскольку в октябре и ноябре того же года систематически занимались предательской деятельностью, предпринимали попытки распространять в Советском Союзе враждебную информацию, направленную на прекращение военных действий и подписание мирного договора с фашистской Германией.

Это была заведомая ложь. Эрлих покончил жизнь самоубийством – 14 мая 1942 года он повесился в камере. Альтер оставался в одиночном заключении до 17 февраля 1943 года и был тайно расстрелян по приказу Берии. Во время описываемых событий я ничего не знал об их судьбе. Все, что я пишу о них, происходило перед визитом Михоэлса в Соединенные Штаты.

Лишь в сентябре 1992 года из публикации в еженедельной газете МВД «Щит и меч» стала известна истинная судьба Эрлиха и Альтера. Их уничтожили, чтобы скрыть тайные неофициальные контакты советского руководства с влиятельными представителями зарубежных еврейских общин. Эрлиха и Альтера устранили еще и потому, что Сталин боялся их политического влияния за пределами Советского Союза.

Сразу же после образования Еврейского антифашистского комитета советская разведка решила использовать связи еврейской интеллигенции для выяснения возможностей получить дополнительную экономическую помощь в борьбе с фашистской Германией через сионистские круги. Еще с 1925 года по директиве Держинского мы активно разрабатывали и проникали в сионистские организации США, Западной Европы и Палестины. Особо разветвленную агентурную сеть в сионистском движении удалось создать в начале 30-х годов Серебрянскому. Теперь ЕАК мог быть прикрытием для восстановления агентурных позиций в сионистском

движении, утраченных в 1938 году в связи с арестом почти всего оперативного состава группы Серебрянского.

С этой целью Михоэлсу и Феферу, нашему проверенному агенту, было поручено прозондировать реакцию влиятельных зарубежных сионистских организаций на создание еврейской республики в Крыму. Эта задача специального разведывательного зондажа – установление под руководством нашей резидентуры в США контактов с американским сионистским движением в 1943–1944 годах – была успешно выполнена. Припоминаю также, что в этот период в советском руководстве действительно подумывали о возможности создания еврейской республики в Крыму на базе существовавших там до войны трех национальных еврейских районов. По предложению Молотова руководство ЕАК подготовило письмо, адресованное Сталину, с предложением создать в Крыму еврейскую республику.

В письме, в частности, говорилось (впервые опубликовано не полностью в 1993 году в «Литературной газете»), что создание Еврейской советской республики в соответствии с большевистскими принципами и в духе ленинско-сталинской национальной политики раз и навсегда решит проблему законной государственности еврейского народа и дальнейшего развития его многовековой культуры. Эту проблему не удавалось решить никому в течение столетий. Ее можно наконец разрешить только в нашей великой социалистической стране.

Это письмо, зафиксированное в регистрационных журналах, хранящихся в партийном архиве, до сих пор не рассекречено полностью. Его не показывали, когда во время визита президента Ельцина в 1992 году в Вашингтоне демонстрировали архивные материалы ЕАК.

13 февраля 1944 года проект письма был представлен Молотову. По его указанию Лозовский, заместитель Молотова, редактировал этот документ. Письмо было переадресовано Молотову и поставлена новая дата – 21 февраля. Тремя днями позже оно было зарегистрировано в секретариате правительства СССР под номером М-23314 и в тот же день направлено секретарю ЦК Маленкову, секретарю Московского городского комитета партии, начальнику Главного политического управления Вооруженных сил Щербакову и председателю Госплана Вознесенскому с поручением рассмотреть этот вопрос.

Должен отметить, что Литвинов, будучи послом в США в годы войны, в переписке с Молотовым и НКВД решительно выступал против связей с сионистским движением, а также против нашего активного участия в решении палестинской проблемы. Точной мотивировки позиции Литвинова я не помню, но смысл ее сводился к тому, что наше возможное воздействие на сионистское движение будет крайне незначительно. Поэтому Литвинов полагал целесообразным поручать все контакты с сионистскими кругами исключительно сотрудникам советских спецслужб либо особо проверенной агентуре. В этих рекомендациях нет ничего удивительного: возглавляя боевую подпольную организацию большевиков до революции, Литвинов имел очень большой опыт агентурнооперативной работы, в том числе по привлечению к сотрудничеству с партией большевиков людей из враждебных ей кругов.

Наш оперативный работник Хейфец, весьма успешно проявивший себя в получении материалов из США по атомной бомбе, рассказывал мне, что письмо, о котором идет речь, в сущности являлось предложением об образовании еврейской республики в Крыму, куда могли бы приехать евреи со всего мира. Это, естественно, потребовало бы переселения жителей Крыма. В марте и апреле 1944 года крымские татары были депортированы: из Крыма выселили и перевезли в Узбекистан сто пятьдесят тысяч человек. То, что письмо с одной стороны и приказ о депортации с другой датированы практически тем же числом (15 и 14 февраля соответственно), является совпадением. Приказ Сталина о высылке крымских татар, которых обвиняли в массовом сотрудничестве с немцами, был подписан раньше, но на исполнение к Берии попал за день до того, как поступило письмо из Еврейского антифашистского комитета.

Координация и исполнение сталинского плана по привлечению еврейского капитала были поручены Хейфецу и нашему резиденту в Вашингтоне Зарубину, которые организовали поездку Михоэлса в Америку в 1943 году.

Перед поездкой в Соединенные Штаты Михоэлса вызвал на Лубянку Берия и проинструктировал его, как завязать широкие контакты с американскими евреями. Наш план заключался в том, чтобы заручиться поддержкой американской общественности и получить кредиты, необходимые для развития металлургической и угольной промышленности. Михоэлс и Фефер блестяще справились со своей миссией.

Успех поездки Михоэлса в Америку сразу же сделал его подозрительным в глазах Сталина. Еще бы, ведь он, представитель еврейской культуры, стал подлинным героем, известным во всем мире, поэтому ему была уготована судьба Эрлиха и Альтера.

Существенной была роль Михоэлса и Фефера также и в разведывательной операции по выходу на близкие к Эйнштейну круги ученых-специалистов, занятых разработкой в то время никому не известного «сверхоружия». Эти люди встречались с близкими к семье Эйнштейна русскими эмигрантами супругами Коненковыми, и через них, правда, в устной форме, к нам поступала важная информация о перспективах нового «сверхоружия», обсуждавшихся в Принстоне при участии Ферми и Оппенгеймера. Координацией всей этой работы по линии нашей разведки в США занимались, кроме Зарубиных, Хейфен и Пастельняк.

Поговаривали, что Михоэлсу может быть предложен пост председателя Верховного Совета в еврейской республике. Кроме Молотова, Лозовского и нескольких ответственных сотрудников Министерства иностранных дел, Михоэлс был единственным человеком, знавшим о существовании сталинского плана создания еврейского государства в Крыму. Таким путем Сталин рассчитывал получить от Запада 10 миллиардов долларов на восстановление разрушенной войной экономики.

Я не знал о деталях письма Еврейского антифашистского комитета Сталину. Берия же был в курсе, что наша инициатива поддержана американской стороной, а точнее – еврейскими организациями США, поскольку лично принимал и Михоэлса,

и Фефера после поездки в Америку. Обсуждение вопроса о создании еврейской республики в рамках Советского Союза я лично рассматривал как своего рода зондирование Запада с тем, чтобы выяснить, насколько далеко идут их планы предоставления нам экономической помощи после окончания войны. Однако решение вопроса о создании еврейской республики было отложено до окончания войны, и письмо лежало без движения в течение четырех лет, о его содержании ходили самые разные слухи. Затем, уже в 1948 году, Маленков воспользовался им для проведения кампании против членов ЕАК, а позднее и против старой гвардии в руководстве страной. Молотов, Микоян, Ворошилов, Вознесенский и, наконец, сам Берия, причастные к обсуждению создания еврейской республики на территории Крыма, сами из-за того, что у них имелись родственники-евреи, оказались уязвимы в ходе этой кампании.

План по привлечению американского капитала был, как я уже упоминал, связан с идеей создания еврейской республики в Крыму, так называемой «крымской Калифорнии». Эта идея широко обсуждалась в кругах американских евреев, о чем рассказывал мне Хейфец. По его словам, проектом особенно интересовался президент американской торговой палаты Эрик Джонстон, которого в июне 1943 года вместе с американским послом Авереллом Гарриманом принял Сталин для обсуждения проблем возрождения областей, бывших главными еврейскими поселениями в Белоруссии, и переселения евреев в Крым. Джонстон нарисовал перед Сталиным весьма радужную картину, говоря, что для этой цели Советскому Союзу после войны будут предоставлены долгосрочные американские кредиты.

Мысль о создании еврейской социалистической республики в Крыму открыто обсуждалась в Москве не только среди еврейского населения, но и в высших эшелонах власти.

Известно, что Михоэлс как председатель Еврейского антифашистского комитета в своей деятельности в значительной степени полагался на Фефера, крупного агента НКВД (Михоэлс, разумеется, не знал об этом), которого «вел» комиссар госбезопасности Райхман. Случалось, что Фефера принимал на явочной квартире сам Берия для обсуждения вопроса о создании еврейской республики в Крыму.

До июня 1943 года этот проект, казалось, оставался в силе и должен был уже реализовываться. Во время подготовки Ялтинской конференции Гарриман спрашивал у меня и помощника Молотова Новикова, как идут дела с образованием еврейской республики в связи с будущими американскими кредитами под этот проект. Вспоминаю, видел сообщение о том, что Сталин сразу же после войны обсуждал с делегацией американских сенаторов план создания еврейской республики в Крыму и возрождения Гомельской области, места компактного проживания евреев в Белоруссии. Он просил их не ограничивать кредиты и техническую помощь этими двумя регионами, а предоставить ее без привязки к конкретным проектам.

Затем, в июне 1945 года, после Ялты и победы над гитлеровской Германией, Президиум Верховного Совета СССР принял указ: Крым стал административной областью в составе РСФСР. Между тем, перед войной Крым являлся автономной республикой со значительным представительством татарского населения во всех

управленческих структурах. В ноябре 1945 года, когда Гарриман попытался связаться со Сталиным через Молотова, чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества, его просьба о личной встрече была отклонена по указанию Сталина.

После войны Сталин предпочел вести другую линию: усилились попытки проникновения в ряды сионистского движения. До 1948 года Великобритания имела от Лиги Наций мандат на управление территорией Палестины. Сталин и Молотов надеялись успокоить англичан, опасавшихся быть вышвырнутыми из Палестины после создания там еврейского государства. Проект еврейской автономии в Крыму должен был отвлечь внимание лидеров мирового еврейства от Палестины как единственного варианта для решения еврейской проблемы. Когда в конце 1945 года стало ясно, что Сталин не считает себя связанным с прежним неофициальным зондажем, англичане и американцы организовали Англо-американский комитет по Палестине без участия Советского Союза. Это противоречило ранее достигнутому соглашению о совместных консультациях военных союзников по палестинской проблеме.

И вот в апреле 1946 года заместители министра иностранных дел Деканозов и Вышинский направили служебную записку правительству, где подчеркивали, что интересы Советского Союза игнорируются: палестинский вопрос будет решаться без участия нашего государства. В этом документе они предлагали проводить политику благоприятного отношения к созданию еврейского государства в Палестине.

С согласия Молотова Вышинский публикует под псевдонимом статью в журнале «Новое время», в которой говорит о необходимости создания демократического еврейского государства на подмандатной территории Палестины. Расчет заключался в том, чтобы усилить советскую позицию на Ближнем Востоке и вместе с тем подорвать британское влияние в арабских странах, противившихся появлению нового государства, показав, что англичане не способны остановить евреев в их стремлении создать свое государство.

Одновременно с предпринимавшимися политическими шагами было получено указание в 1946 году забросить наших агентов в Палестину через Румынию. Они должны были создать в Палестине нелегальную агентурную сеть, которую можно было бы использовать в боевых и диверсионных операциях против англичан. Для этой цели я выделил трех офицеров: Гарбуза, Семенова (настоящее имя Таубман – он являлся помощником Григулевича по литовскому подполью и помогал ликвидировать в Париже в 1938 году Рудольфа Клемента) и Колесникова. У Гарбуза и Колесникова был опыт партизанской войны на Украине и в Белоруссии, где они участвовали в операциях против немецких оккупационных властей.

Семенов и Колесников обосновались в Хайфе и создали две агентурные сети, но участия в диверсиях против англичан не принимали. Колесников сумел организовать доставку из Румынии в Палестину стрелкового оружия и противотанковых гранат, захваченных у немцев. Семенов, со своей стороны, попытался возобновить контакт с нашим агентом в организации «Штерн». Это была антибританская террористическая группа, куда Серебрянскому в 1937 году удалось

заслать своего человека. Гарбуз оставался в Румынии, отбирая там кандидатов для будущего переселения в Израиль.

Мне с самого начала было ясно, что, помогая, казалось бы, евреям, на самом деле мы ставили своей задачей создание собственной агентурной сети внутри сионистской политической и военной структуры. Евреи стремились к независимости и были тесно связаны с Америкой. Но у нас не было уверенности, что мы сумеем влиять на них, как в Восточной Европе. Однако мы считали крайне важным обозначить до известной степени там свое присутствие. Как рассказывал мне Хейфец, еще в 1943 году Литвинов в своем послании Молотову из Вашингтона подчеркивал, что Палестина и создание еврейского государства сделаются одним из главных вопросов послевоенной мировой политики.

Во второй половине 1946 года Сталин занял позицию активного противодействия деятельности международных еврейских организаций и британо-американской политике по палестинскому вопросу – он был раздражен требованиями советских евреев по улучшению условий их проживания, когда они вернулись из эвакуации. Он стал подогревать антисемитскую кампанию в СССР: начались чистки в партийном аппарате, дипломатической службе, военном руководстве и разведке. Кульминацией кампании стал «заговор врачей» и обвинения врачей-евреев в сионизме. Антисемитская кампания стала повторением чисток 30-х годов, еще одним сталинским маневром для перетасовки всего партийного и советского аппарата с тем, чтобы заменить старое руководство – Молотова, Микояна, Берия и других новыми людьми, которые не угрожали бы его положению единственного правителя страны.

В октябре 1946 года впервые был поднят жупел еврейского буржуазного национализма в качестве угрозы коммунистической идеологии. Только что назначенный министром госбезопасности Абакумов в письме вождю обвинил руководителей Еврейского антифашистского комитета в националистической пропаганде, в том, что, по его мнению, они ставят еврейские интересы выше интересов советской страны. Подобное обвинение прозвучало серьезным предостережением. Хейфец, который блестяще проявил себя в получении информации по атомной бомбе и сумел установить контакты на высоком уровне в американской еврейской общине, впал в немилость. Он продолжал работать в Еврейском антифашистском комитете секретарем по зарубежным связям, однако был вынужден прервать свои контакты с американской еврейской общественностью.

В письме Абакумов обвинял комитет в том, что он в конце войны взял на себя функцию представлять интересы еврейского населения при возвращении собственности вернувшимся в родные края людям. Тысячи евреев во время войны бежали из Киева, Минска, Риги, Ленинграда и Москвы, спасаясь от наступающих немецких войск. Нацисты приходили под лозунгами освобождения украинцев и прибалтов от «еврейского господства». Это находило благодатную почву среди националистов, захватывавших дома, квартиры и прочую собственность евреев. Когда в 1945 году оставшиеся в живых евреи стали возвращаться домой, они увидели, что их имущество находится в чужих руках.

Помню, как Хрущев, тогда секретарь коммунистической партии Украины,

звонил Усману Юсупову, секретарю коммунистической партии Узбекистана, и жаловался ему, что эвакуированные во время войны в Ташкент и Самарканд евреи «слетаются на Украину как вороны». В этом разговоре, состоявшемся в 1947 году, он заявил, что у него просто нет места, чтобы принять всех, так как город разрушен, и необходимо остановить этот поток, иначе в Киеве начнутся погромы. Я в тот момент находился в кабинете Юсупова, и он пересказал мне этот разговор, поскольку я пришел к нему с просьбой о расселении трех тысяч курдов, бежавших из Ирана в Азербайджан во главе с Барзани. Было крайне опасно оставлять их на Кавказе, и руководство решило переселить курдов в Узбекистан. В то время трудно было найти жилье для возвращавшейся в Киев еврейской интеллигенции. Проблему их размещения нельзя было решить путем создания нескольких колхозов, как это сделали для курдских беженцев.

Председатель Еврейского антифашистского комитета Михоэлс всячески старался защищать интересы евреев в имущественных и жилищных вопросах. Абакумов же стремился доказать, что попытка комитета защитить интересы евреев-беженцев была проявлением еврейского буржуазного национализма. Его письмо отражало обеспокоенность местных партийных руководителей, которым приходилось заниматься этими проблемами. Поведение Михоэлса, выступавшего от имени возвращавшихся домой евреев, не просто встревожило Сталина – оно усилило его подозрительность. И действительно, только представьте себе: в советской системе, со строгой иерархией, неожиданно появляется человек, пользующийся международным авторитетом и безупречной репутацией, и начинает действовать по своей собственной инициативе.

Ситуация еще более ухудшилась в 1947 году. Я помню устное указание Обручникова, заместителя министра госбезопасности по кадрам, не принимать евреев на офицерские должности в органы госбезопасности. Я не мог себе представить, что такой откровенно антисемитский приказ исходил непосредственно от Сталина, и считал, что все это дело рук Абакумова. Мне стало ясно, что грандиозный план использования советской еврейской интеллигенции для укрепления международного сотрудничества со всемирным еврейством был отвергнут. Эйтингон, все время жаловавшийся на притеснения его родственников в университете и в медицинских учреждениях, был убежден, что антисемитизм являлся существенным элементом государственной политики. Оглядываясь назад, я признаю, что он понимал ситуацию куда лучше, чем я.

Берия и Богдан Кобулов часто рассказывали мне, что Сталин любил шутки и анекдоты антимусульманского, и в частности антиазербайджанского толка, особенно когда их рассказывали в присутствии Багирова, первого секретаря компартии Азербайджана, который просто не выносил издевательских интонаций Кобулова, произносившего русские слова с азербайджанским акцентом. Это заставляет меня думать, что юмор, направленный против той или иной национальной группы, был по душе Сталину, и он в сущности являлся антисемитом не больше, чем антимусульманином.

Сталин и его ближайшие помощники проявляли интерес к еврейскому вопросу, чтобы извлечь политические дивиденды в борьбе за власть и для консолидации

своих сил. Так начались антисемитские «игры» в высших партийных эшелонах. После того как Сталин начал кампанию против космополитов в 1946–1947 годах, руководящий состав среднего уровня и рядовые партийные чиновники стали воспринимать антисемитизм как официальную линию партии. Термин «безродный космополит» сделался синонимом слова «еврей»: он означал, что советские граждане еврейской национальности разделяли мировоззрение евреев Запада и в силу этого не могли быть полностью преданными советскому государству.

Кампания против космополитов совпала с изменением баланса политических сил вокруг Сталина. Был понижен в должности Маленков, а Берия отстранен от курирования любых дел, связанных с госбезопасностью. Начали циркулировать слухи, что Молотов и он окружили себя евреями.

Усилия Сталина после войны были направлены на то, чтобы распространить влияние Советского Союза сначала на страны Восточной Европы, находившиеся у наших границ, а затем везде, где нам составляла конкуренцию Великобритания. Сталин предвидел, что арабские страны повернутся в сторону Советского Союза, разочаровавшись в англичанах и американцах из-за их поддержки Израиля. Арабы поэтому должны были оценить антиссионистские тенденции в советской внешней политике. Помощник Молотова Ветров, позднее наш посол в Дании, пересказывал мне слова Сталина: «Давайте согласимся с образованием Израиля. Это будет как шило в заднице для арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии. В конечном счете британское влияние будет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке».

«Холодная война» началась по-настоящему в 1946–1947 годах, когда исчезли иллюзии насчет нашего послевоенного сотрудничества с Западом. Союзнические отношения во время войны с Англией и Америкой обернулись конфронтацией. Гражданская война в Китае становилась все более интенсивной; возрастала также напряженность в Италии и Франции, где коммунисты вели ожесточенную политическую борьбу за власть. С наступлением «холодной войны» наши надежды на получение еврейских капиталов улетучились. Руководству страны стало ясно, что полагаться на поддержку еврейских деловых кругов за рубежом и их инвестиции уже не приходится.

И первой жертвой смены курса стал Михоэлс, находившийся в самом центре дискуссий по созданию еврейской республики в Крыму.

Кроме того, к Сталину поступили оперативные материалы о том, что Михоэлс якобы стремится заручиться поддержкой его зятя Г. Мороза, чтобы обеспечить в советском руководстве выгодное ему решение еврейского вопроса по улучшению положения еврейского населения и развития еврейской культуры. МГБ также подозревало, что через связи Михоэлса с сионистскими организациями в Америке стали известны некоторые трагические события в жизни Аллилуевых, родственников Сталина. Сталин, вероятно, опасался, что большой личный авторитет Михоэлса может быть использован международным сионистским движением в своих целях. Михоэлс пользовался мировой известностью и, безусловно, был сильной незаурядной личностью, поэтому в условиях тоталитарного режима того времени не могло быть и речи о применении к нему отработанной схемы ареста и

расправы, прикрытой фиговым листком судебного разбирательства.

Михоэлс был ликвидирован в так называемом специальном порядке в январе 1948 года. К моему счастью, к этой операции я не имел никакого отношения. Подробности убийства мне стали известны лишь в апреле 1953 года. Помнится, что непосредственно этой операцией на месте руководили заместитель Абакумова Огольцов и министр госбезопасности Белоруссии Цанава. Михоэлса и сопровождавшего его Голубова заманили на дачу Цанавы под предлогом встречи с ведущими белорусскими актерами, сделали смертельный укол и бросили под колеса грузовика, чтобы инсценировать бандитский наезд на окраинной улице Минска. За рулем грузовика сидел сотрудник транспортного отдела МГБ по Белорусской железной дороге.

Голубов был агентом МГБ в среде творческой интеллигенции, чего Михоэлс, конечно, не знал. В той ситуации, однако, он оказался нежелательным свидетелем, поскольку именно с его помощью удалось привезти Михоэлса на дачу.

Известие о гибели Михоэлса пробудило в моей душе подозрения, о которых я никому не стал говорить. Однако я не мог себе представить, что Огольцов сам отправится в Минск, чтобы лично руководить операцией. Убийство совершил, как я считал, какой-нибудь антисемитски настроенный бандит, которому заранее сказали, где и когда он может найти человека, возомнившего себя выразителем еврейских интересов.

Большую часть 1948 года я занимался берлинским кризисом и созданием курдской подпольной сети в Иране, Ираке и Турции с целью свержения правительства Нури Саида и Фейсала в Ираке, а также чехословацкими делами. Я летал в Прагу вместе с Зубовым, чтобы попытаться нейтрализовать сторонников президента Бенеша при передаче власти новому правительству во главе с Готвальдом.

В 1947 году моя жена серьезно заболела и вскоре вышла на пенсию. Еще в 1940 году она проявила достаточно мудрости, чтобы отойти от оперативной работы, и была назначена старшим преподавателем спецдисциплин в Высшей школе НКВД (позднее МГБ). Время от времени ее использовали для контактов с агентами-женщинами, предоставлявшими особый интерес для руководства контрразведывательного управления, но большей частью она старалась держаться в тени и не привлекать к себе внимания. Ее болезнь совпала с кампанией по чистке евреев в МВД, МГБ и Министерстве иностранных дел. Она вышла в отставку в звании подполковника в 1949 году и проходила по спискам личного состава под своей девичьей фамилией Каганова.

В 1949 и 1950 годах, когда мне приходилось часто выезжать в Прагу, Западную Украину, Азербайджан и Узбекистан, Эйтингон исполнял мои обязанности в бюро по разведке и диверсионной работе. Он навещал Эмму и рассказывал ей об антисемитской кампании, которая набирала обороты и принимала все больший размах. Сестра Эйтингона Соня, известный терапевт и главврач поликлиники автозавода (ныне ЗИЛ), была арестована, младшую сестру моей жены Елизавету отчислили из аспирантуры медицинского института в Киеве. Мы пытались как-то

помочь им, используя дружеские отношения с Музиченко, директором МОНИКИ в Москве. В 30-х годах он был нелегалом НКВД во Франции и Австрии, но в 1938 году ушел из разведки и смог вернуться к своей прежней профессии врача. Он устроил на работу Елизавету, которая, кстати, работает в этом институте и поныне.

Для меня явилось большим ударом известие об аресте Хейфеца в 1948 или 1949 году: здесь заступничество, мое или Эйтингона, было бесполезно. И я, и он связывали этот арест с антисемитской кампанией. В результате почти все члены Еврейского антифашистского комитета и другие деятели еврейской культуры были арестованы и отданы под суд по обвинению в заговоре с целью отделения Крыма от СССР.

Внутренняя борьба за власть в период с 1948 по 1952 год вызвала новую волну антисемитизма – возникло «дело врачей». Хотя оно и было частью антисемитской кампании, одними евреями не ограничились. Скорее можно сказать, что «дело врачей» явилось продолжением борьбы, в которой сводились старые счеты в руководстве страны. Сталин с помощью Маленкова и Хрущева хотел провести чистку в рядах старой гвардии и отстранить Берию. Главными фигурами в пресловутом «деле врачей» должны были стать Молотов, Ворошилов и Микоян, эти «последние из могикан» в сталинском Политбюро. Однако вся правда в отношении «дела врачей» так никогда и не была обнародована, даже в период горбачевской гласности. Причина в том, что речь шла о грязной борьбе за власть, развернувшейся в Кремле перед смертью Сталина и захватившей по существу все руководство.

Принято считать, что «дело врачей» началось с истерического письма Сталину, в котором врачи-евреи обвинялись в вынашивании планов умерщвления руководителей страны с помощью неправильных методов лечения и ядов. Автором письма была приобретающая скандальную известность Лидия Тимашук, врач кремлевской поликлиники. Письмо Тимашук, однако, было послано Сталину не в 1952 году, накануне арестов врачей, а в августе 1948 года. В нем утверждалось, что академик Виноградов неправильно лечил Жданова и других руководителей, в результате чего Жданов умер. Тогда реакция Сталина выразилась в презрительном «чепуха», и письмо пошло в архив. Там оно и оставалось без всякого движения в течение трех лет, пока его не извлекли в конце 1951 года. Письмо понадобилось как орудие в борьбе за власть. О письме знали все члены Политбюро – знали они и о сталинской реакции. Однако самое важное заключается в том, что Тимашук никого не обвиняла в заговоре. В письме она лишь сигнализировала об имевших место недостатках и упущениях, наполовину выдуманных, в обеспечении лечением руководителей партии и государства. По этой причине текст письма так до сих пор и не опубликован, в нем излагаются, по существу, взаимные претензии лечебного персонала друг другу, как правило, склочного характера. Об этом мне уже во Владимирской тюрьме рассказывал полковник Людвиг, помощник Берии по делам Политбюро и Совета Министров.

Я всегда считал, что «дело врачей» затеял Абакумов как продолжение кампании против космополитов. Однако в 1990 году, попав в военную прокуратуру, куда меня вызвали как свидетеля в связи с новым расследованием дела Абакумова в послевоенные годы, я узнал нечто иное. Оказалось, что инициатором «дела врачей»

он не был, напротив, Абакумов, арестованный в 1951 году, обвинялся в том, что скрывал данные о заговоре, целью которого было убийство Сталина. Делал он это якобы для того, чтобы захватить власть. При этом Абакумов, по словам его обвинителей, опирался на врачей-евреев и евреев-сотрудников в аппарате министра госбезопасности, в частности, на Эйтингона.

Маленков и Берия, несомненно, стремились устранить Абакумова, и оба были готовы для достижения своей цели использовать любые средства. Суханов, помощник Маленкова, весной 1951 года принял в приемной ЦК следователя Следственной части по особо важным делам МГБ подполковника Рюмина, известного своим антисемитизмом. Результат этой встречи стал роковым для судьбы советской еврейской интеллигенции. В то время Рюмин опасался увольнения из органов госбезопасности из-за выговора, полученного за то, что забыл папку с материалами следствия в служебном автобусе. Кроме того, он скрыл от партии и управления кадров госбезопасности, что отец его был кулаком, что его родные брат и сестра обвинялись в воровстве, а тесть служил в армии Колчака.

Надо отдать должное Абакумову: он прекрасно понимал, что предпринимаемые ранее Рюминым попытки представить арестованных врачей террористами были всего лишь прелюдией к «делу врачей». В течение нескольких месяцев 1950 года ему как-то удавалось держать Рюмина в узде. Чтобы спасти карьеру и дать выход своим антисемитским настроениям, Рюмин охотно пошел навстречу требованию Суханова написать Сталину письмо с разоблачением Абакумова.

Через тридцать лет после описываемых событий моя родственница, работавшая машинисткой в секретариате Маленкова (ее непосредственным начальником был Суханов), рассказала мне, что Рюмин был настолько необразован и безграмотен, что одиннадцать раз переписывал свое письмо с обвинениями в адрес Абакумова. Суханов держал его в приемной около шести часов, а сам вел переговоры с Маленковым по поводу содержания письма Сталину. Лишь Суханов знает, почему выбрали Рюмина, чтобы обвинить Абакумова в заговоре. Однако он ничего не сказал об этой стороне дела, когда выступал по российскому телевидению в июле 1992 года в передаче об истории «заговора врачей».

В своем письме, обвинявшем Абакумова (с подачи Маленкова), Рюмин заявлял, что тот приказал Следственной части не давать хода материалам по сионистскому заговору, направленному против руководителей советского государства.

К этому времени уже арестовали за антисоветскую сионистскую пропаганду целый ряд хорошо известных врачей-евреев. Самый, пожалуй, знаменитый из них, специалист с мировым именем Этингер трагически погиб в тюрьме во время допроса. Это случилось еще до ареста Абакумова. Рюмин обвинил Абакумова в том, что именно он несет ответственность за смерть Этингера, так как специально поместил его в холодную камеру в Лефортовской тюрьме с целью убрать одного из участников «заговора врачей» и тем самым помешать ему выдать других заговорщиков-сионистов. Для придания этим обвинениям большей убедительности на свет было извлечено из архива письмо Тимашук.

Абакумов, более опытный в подобных интригах, чем Рюмин, опасался чрезмерно раздувать «сионистский заговор», прибегая к слишком явным фальсификациям. Он предвидел, что Сталин может потребовать реальных улик в этой весьма рискованной провокационной игре. Кроме того, Абакумов прекрасно знал, что в делах, где инициатива принадлежала высшему руководству, не полагалось проявлять своей собственной. Некоторые из арестованных медиков были лечащими врачами Сталина. Многие из них с членами Политбюро связывали подчас не только профессиональные, но и доверительные отношения.

Учитывая все обстоятельства, Абакумов не горел желанием расширять рамки дела Еврейского антифашистского комитета до уровня мирового заговора. Он знал, что такие обвинения наверняка вызовут напряженность в верхах, особенно Ворошилова и Молотова, женатых на еврейках, и Кагановича, который сам был евреем. Осторожность, проявленная Абакумовым, сыграла в его судьбе роковую роль.

Энергичный Рюмин между тем был назначен начальником Следственной части по особо важным делам, а потом заместителем министра госбезопасности по следственной работе. Это развязало ему руки для подтасовки материалов против Абакумова с тем, чтобы, устранив его, свободно раскручивать дело о «заговоре врачей» и участвующих в нем руководящих работников МГБ – евреев по национальности.

Рюминские следователи потребовали от Абакумова назвать членов своего кабинета министров, который он якобы предполагал создать после свержения Сталина. Его также обвинили в сокрытии предательских замыслов жены Молотова Полины Жемчужиной, в частности, ее контактов с израильским политическим деятелем Голдой Мейер.

Абакумов яростно отрицал свою вину, доказывая, что не скрывал никаких материалов о «заговоре врачей» и тем более не являлся его руководителем или вдохновителем и не привлекал к «заговору» подчиненных сотрудников-евреев из Министерства госбезопасности. Он продолжал полностью отрицать предъявлявшиеся ему обвинения даже под пытками, «признания» от него так и не добились. Таким образом, дело о «заговоре» в Министерстве госбезопасности зависело от признаний полковника Шварцмана, журналиста по профессии. Работая в Следственной части, он, как правило, сам не занимался допросами, а в основном редактировал фальсифицированные показания, вырванные у заключенных. Когда Сталин распорядился арестовать начальника Следственной части Леонова и его заместителей, одним из арестованных оказался и Шварцман, еврей по национальности. Он показал, что является помощником Абакумова по сионистской террористической организации, куда входили все высшие офицеры МГБ. На допросе он «признался», что якобы получил от Абакумова задание создать в Министерстве госбезопасности группу евреев-заговорщиков для разработки террористических акций против членов правительства.

Шварцман также «признался», что, будучи гомосексуалистом, находился в интимных отношениях с Абакумовым, его сыном и послом Великобритании в Москве. Свои гомосексуальные контакты с американскими агентами-двойниками

Гавриловым и Лаврентьевым он, по его словам, использовал для того, чтобы через этих внедренных в посольство США людей получать инструкции и приказы для еврейских заговорщиков.

Шварцман хорошо знал, как работает машина следствия, и, чтобы доказать свое сотрудничество, выдвигал против должностных лиц еврейской национальности одно обвинение за другим. В то же самое время он выдумывал самые невероятные истории вроде такой: в террористической деятельности ему помогал сионистский «суп», который по старинным рецептам варила его тетка. Он также рассказал следователям, что спал с падчерицей и в то же время имел гомосексуальные отношения с сыном. Он добивался, чтобы его направили на психиатрическую экспертизу, – и такое предложение внес заместитель военного прокурора полковник Успенский. Когда о выдвинутых Шварцманом обвинениях против тридцати сотрудников Министерства госбезопасности еврейской национальности, занимавшихся терроризмом, доложили Сталину, он заявил Игнатьеву и Рюмину: «Вы оба дураки. Этот подонок просто тянет время. Никакой экспертизы. Немедленно арестовать всю группу». (Об этом мне рассказывал Людвиг, когда мы оба находились в тюрьме.)

По распоряжению Сталина были арестованы все евреи – ответственные сотрудники центрального аппарата Министерства госбезопасности. Так оказались за решеткой Эйтингон, Райхман, заместители министра госбезопасности генерал-лейтенанты Питовранов и Селивановский. Арестовали и полковника в отставке Маклярского, ставшего к тому времени весьма известным киносценаристом, специализировавшимся на сценариях из жизни разведчиков: Шварцман в своих показаниях упомянул и его. Был брошен в тюрьму и сын первого главы советского государства Свердлова полковник Андрей Свердлов.

Вместе с этими людьми также были арестованы и их непосредственные подчиненные, по национальности русские. В МГБ и Следственной части появились новые лица из партийных органов. Они, как правило, отличались полной некомпетентностью. На волне набравшей силу антисемитской кампании и истерии руководство Следственной части по особо важным делам МГБ было усилено в 1951–1953 годах по специальным решениям ЦК КПСС Коняхиным и Месяцевым. Последний имел большой опыт работы в годы войны в качестве начальника следственного отдела во фронтовых органах военной контрразведки СМЕРШ. В 60—70-е годы он стал председателем Гостелерадио СССР, затем послом в Австралии.

Как писал в своей книге генерал-майор Калугин, танцовщица гастролировавшего в Австралии ансамбля пожаловалась, что ее изнасиловал в номере гостиницы советский посол. КГБ проверил ее заявление и немедленно проинформировал об этом ЦК партии. Месяцев был отозван в Советский Союз, исключен из партии и уволен из МИДа. Ныне он по-прежнему активен и в качестве чрезвычайного посла в отставке входит в правление общественной организации «За чистоту Родины».

Когда такие люди из ЦК как Коняхин и Месяцев руководили Следственной частью, иногда участвуя в допросах, вспоминает полковник в отставке писатель Ананьин, подследственных зверски избивали, помещали в камеры-карцеры со

специальным охлаждением, почти постоянно держали в наручниках и кандалах, а нежелательные протоколы допросов и постановлений уничтожались.

Из всех арестованных «заговорщиков в МГБ» только Абакумов, Эйтингон, Питовранов и Матусов ни в чем не признали себя виновными.

Арестованные Рюминым врачи-евреи, находившиеся под следствием, обвинялись в том, что выполняли задания Абакумова. Приписывавшиеся участникам «заговора врачей» преступления казались мне невероятными. Один из этих «террористов», профессор Александр Фельдман, лечил всю нашу семью, пользовался нашим полным доверием, и я всегда поздравлял его с праздниками и посылал ему цветы.

По сценарию Рюмина в роли связного между врачами и «заговорщиками в МГБ» должна была выступать сестра Эйтингона Соня, которая якобы поддерживала связь между учеными-медиками и братом, планировавшим убийство руководителей страны.

Об арестах публично не сообщалось, и я не сразу осознал, какие масштабы приняла эта чистка в МГБ. Серьезность угрозы я почувствовал, предприняв попытку связаться с полковником Шубняковым, заместителем начальника Главного контрразведывательного управления. Попытка оказалась безуспешной, хотя мне в тот момент срочно требовалась справка-проверка на одного важного агента. Сведения, которые были мне нужны, мог дать только он, а Шубняков как в воду канул. Между тем никто не хотел внятно объяснить, куда он подевался, хотя по своему служебному положению (начальник Специального бюро по разведке и диверсиям) и званию (генерал-лейтенант) я имел на это право. Возмущенный, я позвонил Питовранову, начальнику контрразведывательной службы, но оказалось, что и с ним нельзя связаться: он таинственно исчез. Тут до меня дошло, что повторяется то же самое, что было в период массовых арестов в предвоенные годы. И Шубняков, и Питовранов к тому времени уже находились в Лефортовской тюрьме.

В 1951 году, когда арестовали Абакумова, мне позвонил Рюмин, которого только что назначили начальником Следственной части МГБ. Он заявил, что в его распоряжении имеются серьезные компрометирующие материалы на Эйтингона и его сестру. Эйтингон в тот момент находился в трехмесячной командировке в Литве. Я попросил, чтобы мне принесли эти материалы: я хотел с ними лично ознакомиться. Через час появился Рюмин с тощим досье. Против Эйтингона не было никаких данных, но против Сони были выдержки из агентурных сообщений, будто она отказывала в медицинской помощи русским, а лечила и консультировала только евреев. Я заявил Рюмину, что меня это совершенно не убеждает, и Эйтингон в моих глазах по-прежнему остается надежным и заслуживающим доверия ответственным сотрудником органов безопасности. Рюмин возразил:

– А вот Центральный комитет нашел эти данные вполне убедительными. – И тут же, выхватив папку из моих рук, с гневным видом удалился.

Ситуация, сложившаяся в Министерстве госбезопасности, была запутанной и крайне неопределенной. Министр Абакумов находился под арестом в «Матросской тишине». Однако его место оставалось вакантным – преемника не назначали. Когда

я позвонил заместителю министра Огольцову с тем, чтобы обсудить с ним положение с сестрой Эйтингона, он ответил:

– Это дело политическое, и рассматривать его можно лишь в ЦК.

По его словам, пока не будет назначен новый министр, он не будет подписывать никаких бумаг или давать какие-либо приказы.

После разговора с Огольцовым мне осталось только одно: позвонить Игнатьеву, тогдашнему секретарю ЦК партии, курировавшему работу МГБ – МВД. Он был членом созданной Сталиным комиссии ЦК по реорганизации министерства после ареста Абакумова. Меня уже вызывали на одно заседание, и я, признаюсь, критиковал руководство министерства за ошибки в проведении разведывательных и контрразведывательных операций за границей, а также в Западной Украине и Средней Азии. Игнатьев тогда сказал, что готов, если потребуется, обсудить со мной тот или иной неотложный вопрос. Когда я позвонил ему, он, казалось, с радостью согласился принять меня в ЦК на Старой площади.

Встретившись с ним, я сказал, что обеспокоен попытками оклеветать Эйтингона и его сестру, приписав им националистические взгляды. Игнатьев вызвал в кабинет Рюмина с материалами на Эйтингона и его сестру. В моем присутствии Рюмин, открыв папку, начал зачитывать крайне невразумительные показания против Эйтингона и его сестры, в которых утверждалось, что они оба проявляют враждебность по отношению к советскому государству. На сей раз агентурные сведения, что Соня отказывалась лечить русских, даже не были упомянуты.

– Как члены партии мы обязаны, – сказал я, – оценивать людей не по слухам, а по их делам. Вот работа Эйтингона: организатор акции по устранению Троцкого в Мексике, создатель успешно действовавшей агентурной сети за границей, наконец, он является одной из ключевых фигур в обеспечении нашей страны секретной информацией об атомном оружии.

Рюмин молчал. Игнатьев прервал меня:

– Давайте оставим Эйтингона и его семью в покое.

После встречи с Игнатьевым у меня отлегло от сердца: я подумал, что с Эйтингоним и его сестрой ничего плохого не произойдет.

Примерно месяц спустя Игнатьева назначили министром госбезопасности. А в октябре 1951 года именно по его прямому указанию Эйтингон был арестован, когда возвратился в Москву из Литвы, где ему удалось обезвредить руководство антисоветской подпольной организации. Его падчерица Зоя Зарубина сообщила мне, что Эйтингона арестовали на ее глазах в аэропорту Внуково.

Арест Эйтингона положил конец службе Зои Зарубиной в органах нашей разведки. Она успешно работала с материалами по атомному оружию, на Ялтинской и Потсдамской конференциях, но вынуждена была уйти из органов после его ареста. Прекрасное знание английского языка помогло ей стать одним из ведущих преподавателей Института иностранных языков, а позднее она руководила подготовкой переводчиков для Организации Объединенных Наций. З. Зарубина и сейчас прекрасный лектор, общественный деятель, участник многих

международных конференций.

Через несколько дней после ареста Эйтингона мне представилась возможность встретиться с Игнатьевым на совещании руководящего состава министерства. Отведя меня в сторону, он с упреком произнес:

– Вы ошибались насчет Эйтингона. Что вы сейчас о нем думаете?

До сих пор помню свой ответ:

– Моя оценка базируется на конкретных результатах работы людей и на линии партии.

Здесь я должен немного остановиться на своих иллюзиях. Я всегда рассматривал «дело врачей» и «сионистский заговор» как чистейший вымысел, распространявшийся такими преступниками как Рюмин, которые затем докладывали о «результатах» следствия некомпетентным людям вроде Игнатьева. Всякий раз, встречаясь с Игнатьевым, я поражался, насколько этот человек некомпетентен. Каждое агентурное сообщение воспринималось им как открытие Америки. Его можно было убедить в чем угодно: стоило ему прочесть любой документ, как он тут же подпадал под влияние прочитанного, не стараясь перепроверить факты.

Игнатьев совершенно не подходил для порученной ему работы. Как-то раз, проводя утром совещание по оперативным вопросам у себя в кабинете, на котором присутствовало более десяти человек, он вдруг впал в настоящую истерику из-за телефонного звонка генерала Блохина, начальника комендатуры МГБ. Помню, как он буквально прокричал в телефон:

– Вы обязаны действовать по закону. Никто не давал вам права втягивать меня в ваши дела!

Повесив трубку, он пояснил:

– Не выношу этих звонков Блохина. Вечно просит, чтобы я подписывал приказы о приведении в исполнение смертных приговоров. Говорит, что существует на этот счет инструкция. Почему я должен иметь ко всему этому какое-то отношение и подписывать эти бумаги?! Есть Верховный суд, пусть Блохин действует по закону.

Никто не ответил. В кабинете повисло неловкое молчание.

Игнатьев легко заводил уголовные дела против ни в чем не повинных людей. Позже я понял, что он действовал не по собственной инициативе, а выполнял приказы, полученные свыше от Сталина, Маленкова и других.

Когда ТАСС объявил о том, что широко известные в стране врачи и ученые-медики обвиняются в организации сионистского заговора с целью убийства Сталина и всего Политбюро путем неправильного лечения, я счел это провокацией, продолжением ранее начатой антисемитской кампании. Когда ко мне попали материалы с обвинениями против Эйтингона, я узнал, что он якобы обучал врачей-заговорщиков ведению террористических действий против Сталина и членов советского правительства. В этой связи, говорилось в обвинительном заключении, Эйтингон держал у себя в кабинете мины, взрывные устройства,

закамуфлированные под обычные электроприборы. Между тем все прекрасно знали, что это были образцы оперативной техники, постоянно находившейся в нашем распоряжении.

В те дни Москва была буквально наводнена слухами, один страшнее другого: еврейские врачи и фармацевты пытаются травить простых советских людей. Поговаривали и о возможных погромах. Меня охватило беспокойство, когда дети – им тогда было десять и двенадцать лет, – вернувшись из школы, рассказали нам об этих слухах. Жена и я оказались в весьма трудном положении: детям высокопоставленных сотрудников органов госбезопасности было крайне рискованно выступать против наглых антисемитских высказываний, поскольку любой спор просто привлек бы внимание к ним и их родителям. Это наверняка стало бы известно «наверху» – партийным органам, державшим под контролем все сферы общественной жизни. Наши дети ходили в школу вместе с детьми Маленкова и Кагановича – это значило, что школа была под постоянным наблюдением. Наши дети не могли даже позволить себе сказать, что Ленин и Сталин всегда были против проявлений антисемитизма, поскольку такого рода высказывание было бы немедленно истолковано совсем в ином духе и до неузнаваемости искажено.

Жена и я посоветовали сыновьям говорить, что нужно быть особенно бдительными, нельзя распространять слухи, которые являются провокацией. Нам всем приходилось тогда придерживаться официальной версии в изложении событий, которую давала газета «Правда», а в ней не было и намека на погромы. А распространение слухов – это игра с огнем, опасная в особенности потому, что она на руку врагам народа. Другое дело – чувство негодования по отношению к предателям и конкретным террористам, учили мы своих детей. Интересно, думал я, как они скажут это на пионерском собрании? Вскоре после этого разговора позвонил директор школы и поблагодарил за прекрасное воспитание детей. По его словам, он находился в довольно трудном положении: ведь в школе училось немало еврейских детей. Директор сказал жене: выступление ваших детей на пионерском собрании, что распространение слухов является провокацией, вызвало одобрителный гул и разрядило напряженную обстановку.

Постепенно кампания, раздувавшаяся вокруг «сионистского заговора», стала явно выходить из-под контроля ее организаторов. Рюмин и Игнатъев поддержали обвинения министра государственной безопасности Грузии Рухадзе в адрес Берии, что он скрывал свое еврейское происхождение и тайно готовил заговор против Сталина в Грузии. Было ясно, что Берия первый в сталинском списке на уничтожение. К августу 1952 года кончилось так называемое «крымское дело», тянувшееся с 1948 года, – все арестованные члены Еврейского антифашистского комитета, кроме Лины Штерн, и бывший заместитель министра иностранных дел Лозовский были расстреляны. По моему мнению, Хейфеца оставили в живых лишь для того, чтобы он мог свидетельствовать против Берии и Молотова, когда придет подходящее время предъявить им обвинения в установлении связи с кругами международного сионизма, под диктовку которых было инициировано предложение создать еврейскую республику в Крыму.

Мое мнение основано на чтении материалов дела Абакумова, с которыми я

познакомился в военной прокуратуре через сорок лет после описываемых событий, и книги Кирилла Стоярова «Голгофа», посвященной обстоятельствам гибели Абакумова. Я всегда считал, что Рюмин занимался расследованием «дела врачей» до самой смерти Сталина. Но Сталин оказался достаточно дальновидным, чтобы понять: заговор, каким рисовал его Рюмин, был слишком примитивен, и в него вряд ли можно было поверить. Рюмин дал лишь голую схему «заговора», но не мог наполнить ее убедительными деталями, позволявшими этому вымыслу выглядеть правдоподобным. 12 ноября 1952 года Сталин приказал уволить Рюмина из МГБ как не справившегося с обязанностями и откомандировать в резерв ЦК партии. Рюмин был назначен на скромную должность бухгалтера, которую занимал до начала работы в органах. А до этого Рюмин работал счетоводом в Архангельской потребкооперации.

Таким образом, с января 1953 года, когда опубликовали сообщение ТАСС о «заговоре врачей», ответственность за творившиеся беззакония и преступления в следственном аппарате МГБ несут министр госбезопасности Игнатъев, его первый заместитель Гоглидзе, заместитель по кадрам Епишев, руководители Следственной части Коняхин, Гришаев, Месяцев и другие. Те, кто пришел на руководящую работу в органы госбезопасности в этот особенно страшный период по решению ЦК – Игнатъев, Епишев, Месяцев, – не только не были привлечены к ответственности, но, наоборот, получили в 50-70-е годы высокие назначения на ответственную партийную и советскую работу. Козлами отпущения сделали Гоглидзе как сообщника Берии и малограмотного патологического антисемита Рюмина.

В конце февраля 1953 года, за несколько дней до смерти Сталина, я заметил в поведении Игнатъева нарастающую неуверенность. Интуиция подсказала мне, что вся антисемитская кампания вот-вот захлебнется, и ее организаторы станут нежелательными свидетелями и будут подвергнуты аресту. И действительно, после смерти Сталина Берия обвинил Игнатъева в обмане партии и добивался привлечения его к уголовной ответственности, но поддержки в Президиуме ЦК не получил.

Еще одна важная деталь этого дела: среди тех, кого допрашивали следователи МГБ по делу о так называемом «сионистском заговоре», был и Майрановский, начальник токсикологической лаборатории Министерства государственной безопасности («Лаборатория-Х»). В 1951 году он был арестован – его тут же сделали ключевой фигурой «сионистского заговора» в МГБ, поскольку он знал всех обвиняемых академиков-врачей и работал с ними в тесном контакте. Позднее его хотели сделать участником «заговора врачей».

По версии Рюмина, Майрановский действовал в соответствии с указаниями Эйтингона – с целью ликвидировать все высшее руководство страны. Рюмин не отдавал себе отчета, на какую зыбкую почву он ступает, ведь в своей сверхсекретной работе Майрановский выполнял приказы самого Сталина. На допросах начальник «Лаборатории-Х» признался во всем, чего от него добивались. Правда, Игнатъев вскоре почувствовал, что Рюмин зашел слишком далеко, и решил выделить Майрановского из дела о «заговоре врачей».

Смерть Сталина положила конец «делу врачей», но антисемитизм продолжал оставаться весьма грозной силой.

«Дело врачей» серьезно подорвало престиж медиков в обществе и вызвало волну недоверия к людям этой профессии. После разоблачения фальшивого заговора соперничавшие между собой группы в научных медицинских кругах попали в трудное положение. Мой друг, профессор Музиченко, ректор Московского областного научного института клинических исследований (МОНИКИ), рассказал мне, что в споре медиков всегда так или иначе замешаны влиятельные люди в правительстве, поскольку именно от них зависят ассигнования на научные исследования. «Дело врачей» научило чиновников избегать любых профессиональных споров, поскольку никогда нельзя предсказать, какая из конфликтующих сторон получит поддержку в верхах, а какая окажется в политическом проигрыше и потребует даже вмешательство органов безопасности. Это создавало неблагоприятную атмосферу для научных споров и затягивало принятие государственных решений об ассигнованиях на нужды здравоохранения. До сих пор сохраняются опасения, что конфликты по медицинским и другим профессиональным проблемам могут закончиться расследованием на Лубянке.

Сейчас говорят о том, будто накануне смерти Сталина существовал план депортации евреев из Москвы. Сам я никогда о нем не слышал, но если подобный план действительно существовал, то ссылки на него можно было бы легко найти в архивах органов госбезопасности и Московского комитета партии, потому что по своим масштабам он наверняка требовал большой предварительной подготовки. Операция по высылке – дело довольно трудное, особенно если ее подготовить скрытно. В этом случае должна была существовать какая-то директива, одобренная правительством по крайней мере за месяц до начала проведения такой акции. Поэтому я считаю, что речь идет только о слухе, возможно, основанном на высказываниях Сталина или Маленкова, выяснявших отношение общества к евреям в связи с «делом врачей».

Несмотря на атмосферу антисемитизма, возникшую при Сталине и сохранившуюся при Хрущеве, соблюдался так называемый выборочный подход к еврейской интеллигенции, в соответствии с которым отдельным небольшим группам творческой интеллигенции и высококвалифицированным профессионалам-специалистам было позволено занять видное положение в обществе. «Сионистский заговор» и устранение Берии положили конец приему евреев на ответственные посты в службе разведки и ЦК партии. Насколько я знаю, в Комитете госбезопасности в 1960—1970-х годах работали два рядовых оперативных работника-еврея, которые использовались против сионистских организаций.

С точки зрения советского мышления намерение создать еврейскую республику при поддержке из-за рубежа рассматривалось как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Иностранное участие – вещь неслыханная в нашем закрытом обществе.

Когда в свое время я зондировал отношение Гарримана к созданию еврейской республики, я следовал полученным от Берии инструкциям. Я знал, что подобный зондаж зачастую не приводит ни к каким результатам, а является всего-навсего общепринятой практикой сбора разведывательной информации. В то время я и представить себе не мог, что сам факт участия в таком обсуждении может грозить

мне смертным приговором.

Трагедия заключалась в том, что в закрытом обществе, каким был Советский Союз, создание государства Израиль в 1948 году воспринималось как нежелательное существование у евреев как бы второй родины. Особенно это проявилось после того, как Израиль нанес поражение арабам в ходе войны за независимость в 1948 году. Гордость израильтян за победу в этой войне привела к возрождению внутри нашей страны тяги к национальной еврейской культуре, которая была фактически уничтожена в 20—30-х годах. Евреи и немцы, у которых была историческая родина за границей и, следовательно, потенциальная поддержка, не получили разрешение на создание собственных республик в составе Союза. Дискриминация таких этнических групп была особенно жестокой. Это видно также на примере судьбы турок-месхетинцев, которые были высланы с Кавказа в Узбекистан.

Использование Сталиным антисемитизма и космополитизма в своих политических махинациях, всегда ему свойственных, обернулось развязыванием рук для тех руководителей, которые таили в душе ненависть к еврейскому населению. Для Сталина антисемитизм был орудием для достижения цели, но в руках его подчиненных он стал принципом государственной кадровой политики. Поддержка высшим руководством страны антисемитизма в конечном счете лишила государство способных людей, принявших революцию и трудившихся ради создания Советского государства. Когда наступили тяжелые времена, и СССР распался, значительная часть творческой и научной интеллигенции, предприимчивые люди оказались за пределами России, эмигрировав в Израиль и на Запад.

Глава 11

Последние годы правления Сталина

В 1946 году Сталин назначил Абакумова министром госбезопасности, и это изменило соотношение сил в его окружении. В то время он тщательно скрывал свои истинные цели, и мы думали, что новые назначения в кремлевских верхах (Жданова перевели из Ленинграда в Москву, Кузнецова ввели в секретариат ЦК, Родионов стал Председателем Совета Министров Российской Федерации) – всего лишь обычные малозначащие перестановки. Но это было не так. Сталин в очередной раз вводил новых людей в руководство, чтобы подчеркнуть свое превосходство над соперничающими группировками в Кремле. В 1946–1948 годах второй после Сталина голос в принятии партийных и правительственных решений был у Жданова.

Два эпизода проливают новый свет на борьбу за власть. Первый – дело о сокрытии фактов выпуска некачественной продукции в авиапромышленности; второй, связанный с первым, – отставка маршала Жукова и других героев войны. Началось все с обвинения главного маршала авиации Новикова и народного комиссара авиационной промышленности Шахурина в сокрытии дефектов на самолетах, что вызывало авиакатастрофы.

Абакумов, будучи главой военной контрразведки в 1945 году, сообщил о письмах летчиков, жаловавшихся на низкое качество самолетов. Когда его назначили министром госбезопасности, он по указанию Сталина возбудил уголовное дело против руководителей авиационной промышленности и Новикова, главкома ВВС, якобы скрывавших эти неполадки. Вопрос был весьма щекотливым. Сталин пришел в ярость, когда его сын Василий, генерал ВВС, и Абакумов сообщили, что высшие чины авиационной промышленности преднамеренно скрывали дефекты оборудования, чтобы получить премии и награды. Маленков по своему положению в Политбюро отвечал за промышленность и получил золотую медаль и звание Героя Социалистического Труда за выдающуюся работу в организации производства военной продукции.

Следствие показало, что число авиакатастроф с трагическими последствиями искажалось. В основном все эти случаи приписывались ошибкам летчиков, а не недостаткам оборудования. Перед войной за неудачи наказывали строжайшим образом. Когда Валерий Чкалов – летчик, совершивший беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку, – погиб в авиакатастрофе в 1938 году, сотрудник, отвечавший за безопасность Чкалова, был арестован, и его расстреляли за халатность, которая привела к гибели народного героя.

Когда Сталин на совещании высших чинов МГБ в июле 1946 года спросил Абакумова: «Вина Новикова и Шахурина доказана. Какую меру наказания вы предлагаете?», тот без промедления ответил: «Расстрел».

– Расстрелять просто; сложнее заставить работать. Мы должны заставить их работать, – неожиданно сказал Сталин.

Новикова и Шахурина арестовали, и Сталин потребовал получить от них признания для разоблачения военного руководства. Их признания были подшиты к делам маршала Жукова и других генералов и представляли серьезную угрозу для Маленкова. Эти признания Сталин использовал, чтобы снять маршала Жукова с должности своего заместителя и Главнокомандующего Сухопутными войсками в 1946 году. В приказе от 9 июня 1946 года, подписанном Верховным Главнокомандующим, Жуков обвинялся в «отсутствии скромности», «чрезмерных личных амбициях» и «приписывании себе решающей роли в выполнении всех основных боевых операций во время войны, включая те, в которых он не играл вообще никакой роли». Жуков был понижен в должности и назначен командующим Одесским военным округом. Приказ также гласил, что «маршал Жуков, чувствуя озлобление, решил собрать вокруг себя неудачников, командующих, освобожденных от занимаемых должностей, таким образом становясь в оппозицию правительству и Верховному командованию».

Эти обвинения были основаны на признаниях маршала Новикова, который под давлением был вынужден дать показания против Жукова. В письме Сталину он рассказал об амбициях Жукова и сообщил, что вел с ним «антисталинские разговоры», а также показал, что помогал ему скрыть, что он из семьи царского городского.

Снятие Жукова имело далеко идущие последствия. Это было началом кампании по развенчанию ряда военачальников – героев Великой Отечественной войны. Так Сталин хотел избавиться от потенциальных врагов. Вскоре адмирал Кузнецов, командующий Военно-Морским Флотом, был смещен, и в результате перестановки министром вооруженных сил стал Булганин. Он был не в состоянии справиться с серьезными проблемами мобилизации и изменений в структуре вооруженных сил. Я несколько раз сталкивался с ним в Кремле во время совещаний глав разведслужб. Его некомпетентность просто поражала. Булганин не разбирался в таких вопросах как быстрое развертывание сил и средств, состояние боевой готовности, стратегическое планирование. Он не понимал, что диверсии на тыловых складских сооружениях гораздо важнее, чем прямое нападение на аэродромы. Обсуждая эти планы, Булганин спорил со мной и генералом Захаровым, начальником разведывательного управления Генерального штаба, утверждая, что вместо взрывов в Инсбруке, в Австрии – в районах, где находятся американские склады горючего, – гораздо результативнее было бы взрывать американские самолеты прямо на аэродромах в Германии и Франции. Он говорил, что это подорвет американский боевой дух, и американцы не смогут пользоваться своими базами в Европе.

Булганин всеми средствами старался избегать ответственности за принятие решений. Письма, требующие немедленной реакции, месяцами оставались без подписи. Весь секретариат Совета Министров был в ужасе от такого стиля работы, особенно когда Сталин, уехав на Кавказ в отпуск, возложил исполнение обязанностей Председателя Совета Министров на Булганина. Берия лично обратился к Сталину с просьбой ускорить прохождение через Булганина документов по атомной бомбе, находившихся в секретариате Булганина. Сталин разрешил своим заместителям подписывать самые важные постановления в обход Булганина. Так в Совете Министров возник прецедент создания бюро по различным направлениям

работы правительства.

Внешность Булганина была обманчива. В отличие от Хрущева или Берии, Булганин, всегда прекрасно одетый, имел благородный вид. Позже я узнал, что он был алкоголиком и очень ценил балерин и певиц из Большого театра. У этого человека не было ни малейших политических принципов – послушный раб любого лидера. Сталин за преданность назначил его первым заместителем Председателя Совета Министров, а Хрущев за то же сделал его Председателем Совета Министров на смену Маленкову. Позднее, в 1957 году, когда Булганин вместе с Маленковым, Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым попытался сместить Хрущева, Никита Сергеевич на заседании партактива выдвинул против него оригинальное обвинение. «Он был сталинским стукачом. За это Сталин сделал его маршалом Советского Союза, – заявил Хрущев. – Конечно, после того, как мы раскрыли его антипартийное предательское поведение, мы лишим его звания и разжалуем». (Это рассказывал мне мой бывший заместитель, полковник Студников, который присутствовал на том заседании.)

В марте 1958 года Булганин был назначен председателем правления Госбанка, потом, три месяца спустя, отправлен на работу в ставропольский совнархоз, в область, где никому тогда не известный Михаил Горбачев начинал свою карьеру. Булганин в конце концов вышел на пенсию, и я встретил его в центре Москвы в начале 70-х в очереди за арбузами.

Назначив Булганина, которого военные не уважали, министром вооруженных сил, Сталин достиг цели и стал вершителем судеб как настоящих командующих – таких как Василевский, Жуков, Штеменко, Конев, Рокоссовский и Баграмян, – так и самого Булганина. Булганин никогда бы не взял на себя ответственность за любое серьезное решение, даже входящее в его компетенцию, хотя никто не мог ничего сделать без его резолюции. Таким образом, ни одна из сторон – ни истинные лидеры, ни дутая фигура – не могла действовать независимо от другой. Это поощряло вражду и соперничество между военными.

Абакумов арестовал генералов, близких к Жукову в Германии, по обвинениям, которые вначале казались неполитическими: растрата фондов и вывоз (для себя) ценностей, мебели, картин и драгоценностей из Германии и Австрии. Из опубликованных недавно архивных материалов видно, что из этих людей выбивали показания об антисталинских заявлениях Жукова. В 1944 году, во время войны, Сталин приказал, чтобы Богдан Кобулов, заместитель Берии, установил в московской квартире Жукова подслушивающие устройства. Прослушивание квартир Жукова и адмирала Кузнецова не дало результатов, на которые так надеялись. Однако некоторые известные маршалы и генералы были посажены в тюрьму, а часть из них расстреляна за антисталинские высказывания, записанные подслушивающими устройствами, или в связи с показаниями, которые были выбиты у них людьми Абакумова.

Жуков и Кузнецов, сохранив свое достоинство, открыто признали свои ошибки; Жуков «раскаялся» в том, что наградил орденом Красной Звезды знаменитую певицу Русланову. Хотя во время войны у него было такое право, в мирное время награждать мог лишь Верховный Совет.

Маршал Кулик и генерал Рыбальченко были расстреляны в 1950 году. Остальные сидели в тюрьме; их освободили после смерти Сталина. Новикова и адмирала Кузнецова восстановили в должности в 1951–1953 годах, и после смерти Сталина с них были сняты все обвинения. Жуков оставался на должности командующего военным округом, в 1952 году Сталин ввел его в состав ЦК. Лишь после марта 1953 года он был отозван обратно в Москву и назначен первым заместителем министра обороны.

Жуков, понятно, был настроен враждебно ко всему аппарату Министерства государственной безопасности. Ему было все равно, кто отдавал приказы следить за ним – Берия, Абакумов или Богдан Кобулов; они все лезли в его личную жизнь. Прослушивание квартиры Жукова было прекращено в 1953 году, после смерти Сталина, но возобновилось Хрущевым в 1957 году, а Брежнев продолжал прослушивание до смерти Жукова в 1974 году. Даже на пенсии Жуков оставался потенциальной угрозой для Хрущева и Брежнева, военным героем, который мог бы возглавить военную оппозицию, если бы его выдвинули военные.

Виктор Абакумов родился в 1908 году. Он занимал пост министра госбезопасности с 1946 по 1951 год. Это был высокий мужчина с копной темных волос и с сильным волевым лицом. Несмотря на то, что образования у него не было, он, благодаря своему врожденному уму и твердости характера, взобрался на самый верх. Его работа в ЧК начиналась с технического обеспечения операций, с агентами он дела не имел и занимался явочными квартирами, машинами. Позже, во время чистки 30-х годов, он сделал себе имя под начальством Богдана Кобулова, заместителя Берии. Незадолго до войны Абакумова повысили: он стал заместителем народного комиссара внутренних дел. Когда Михеев, начальник военной контрразведки, застрелился в окружении под Киевом, Сталин заменил его Абакумовым, которому тогда было всего тридцать четыре года. В новой должности Абакумов отвечал за политическую благонадежность войск и борьбу с немецким шпионажем в вооруженных силах; вместе с тем он набирался опыта в вопросах разведки и контрразведки. Его нельзя было сравнить с Берией по профессиональным способностям, но деловая хватка сильно отличала его от остальных аппаратчиков.

В декабре 1945 года Берия был освобожден от должности народного комиссара внутренних дел, которую занимал с 1938 года. Он уже не курировал органы безопасности, если это напрямую не касалось его основной работы: он руководил Специальным комитетом по проблеме № 1– атомной бомбе и топливно-энергетическим комплексом.

Когда Абакумова в 1946 году назначили вместо Меркулова министром госбезопасности, он не был близок к Берии. Напротив, Сталин дал Абакумову указание собрать компромат на всех, в чьих руках была власть, в том числе на Берию. Абакумов смог доказать, что Маленков прекрасно знал о сокрытии неполадок в авиапромышленности, и в 1947 году Маленков получил выговор, был смещен с должности и временно сослан в Казахстан. Его вывели из Секретариата ЦК, а его обязанности перешли к Кузнецову, протеже Жданова. Абакумов и Кузнецов установили самые тесные дружеские отношения.

Однако спустя два месяца Сталин назначил Маленкова заместителем Председателя Совета Министров. Берия в то время поддерживал Маленкова и не скрывал, что они часто встречаются. Абакумов со своей стороны сообщал Сталину о том, что Маленков и Берия сочувствуют репрессированным руководителям авиапромышленности и военным. Абакумов ознакомился с документами милиции об охранниках Берии, хватавших на улице женщин и приводивших их к нему, что вызывало жалобы мужей и родителей.

Расстановка сил в окружении Сталина была следующей: и Берия, и Маленков поддерживали тесные рабочие отношения с Первухиным и Сабуровым, занимавшимися экономическими вопросами. Все они входили в одну группировку. Они выдвигали своих людей на влиятельные должности в правительстве. Вторая группа, позднее получившая название ленинградской, включала Вознесенского, первого заместителя председателя Совета министров и главу Госплана; Жданова, второго секретаря ЦК партии; Кузнецова, секретаря ЦК, отвечавшего за кадры, в том числе и органов госбезопасности; Родионова, председателя Совета министров Российской Федерации; Косыгина, заместителя председателя Совета министров по легкой промышленности и финансам, выдвинутого в период подготовки и проведения денежной реформы (в 1948 году он был министром финансов), а после «ленинградского дела» переведенного на малопrestижную работу в Министерство легкой промышленности. Вторая группировка назначала своих людей на должности секретарей районных партийных организаций. Кузнецов в 1945 году выдвинул Попова, бывшего директора авиазавода, секретарем Московской парторганизации, и Попов стал членом Оргбюро ЦК и секретарем ЦК ВКП (б) одновременно. Жданов поощрял его попытки контролировать министров через выборы в Московский комитет партии. Жданов и Кузнецов осуществляли двойной контроль над членами правительства: через Попова и через Центральный Комитет (некто подобное пытался сделать Ельцин, став секретарем Московского комитета партии. В этом одна из причин его конфликта с аппаратом ЦК).

Таким образом, членами правительства можно было манипулировать без вмешательства Берии, Маленкова и Первухина. Когда в 1948 году Жданов умер, Попов потребовал, чтобы министры, как члены партии, подчинялись ему как главе Московского комитета партии. Маленков, стремясь убрать Попова, интерпретировал это его требование как свидетельство «заговора» и появления «независимого» центра власти в Московской парторганизации. Мнение Маленкова было поддержано министрами, которые жаловались Сталину, что Попов постоянно вмешивался в их работу. Хрущев еженедельно присутствовал на заседаниях Политбюро в Москве и в те годы был близок к группе Берии и Маленкова.

Сталин поощрял это соперничество; он понимал, что при этом его власть не пострадает. Кроме того, Сталин сознавал, что борьба за власть внутри его старой гвардии давала ему возможность при первой же необходимости избавиться от них всех. Он всегда мог заменить их молодыми партийными работниками с мест, которые не имели опыта интриг наверху.

Во время этой борьбы за власть Сталин и Жданов начали кампанию «по борьбе с космополитами», чтобы укрепить изоляцию страны и выбить из интеллигенции

любые посторонние идеологические влияния. Еще одной целью Сталина было укрепить позиции СССР в Восточной Европе и установить там в основном такой же режим, какой существовал в Советском Союзе.

Одновременно с этим победа Израиля в войне за независимость усилила среди советских евреев сознание собственной культурной общности.

Именно эта кампания позволила Сталину избавиться от давно раздражавших его лидеров Еврейского антифашистского комитета. Они настаивали на выполнении данных во время войны обещаний, о которых было известно за рубежом. Их столь нужные во время войны связи с влиятельными людьми на Западе стали достаточным поводом для того, чтобы Сталин решил уничтожить их. Немаловажную роль при этом сыграли антисемитские взгляды партийного руководителя.

Через год после того, как Черчилль в Фултоне в 1946 году произнес свою знаменитую речь, и «холодная война» началась, немедленно последовало похолодание во всех аспектах советской интеллектуальной жизни, возникли так называемые научные дискуссии в биологии, литературной критике и лингвистике, философии, политэкономии. Обе кремлевские группировки использовали эту кампанию каждая в своих интересах, пытаясь найти идеологические грехи у своих противников. Это было не просто противостояние евреев (космополитов) и правых коммунистов; суть кампании, скорее, была в кардинальной перетасовке кадров в научных и творческих кругах в интересах правящей верхушки.

Всем известно «дело биологов»: возникшие в 30-е годы споры по генетике быстро перешли из области науки в область политики. По одну сторону находились всемирно известные биологи, обосновавшие необходимость финансирования дальнейших исследований по генетике. Им противостояла группа карьеристов в науке, возглавляемая Трофимом Лысенко, который спекулировал марксистской идеологией. Он представил правительству картину бесперебойного снабжения продовольствием на основе достижений марксистской биологии, обещал через десять лет начало новой эры изобилия, открыто боролся против генетиков, утверждая, что они ставят палки в колеса прогресса.

Его обещания оказались блефом. Начались новые дебаты, статьи в научных журналах критиковали Лысенко и его последователей. Выдающиеся ученые писали в ЦК, вскрывая серьезные ошибки кремлевского биолога.

На должность заведующего Отделом науки ЦК КПСС Жданов выдвинул своего сына Юрия, который одно время был женат на дочери Сталина Светлане. Юрий Жданов поддерживал критиков Лысенко. При этом использовалась информация Абакумова из научных биологических кругов, полученная от заслуживающих доверия источников: академик Лысенко пытается обмануть правительство, голословно докладывая о своих достижениях в агробиологии, которые на самом деле отсутствуют. В своих письмах ученые говорили, что царствование Лысенко в агробиологии с 30-х годов и его неприятие любых исследований по генетике были губительными для научного прогресса.

Людвигов, начальник секретариата Берии в Совете Министров, рассказывал мне, как Жданов использовал эту ситуацию, чтобы усилить свое влияние в научных

кругах. Он не был сторонником свободы научной деятельности, его не интересовали собственно научные вопросы – его скорее волновало расширение своего влияния. Выступления ученых против Лысенко помогли ему назначать своих людей на посты, контролирующие науку и промышленность.

Официальная линия в науке после смерти Жданова вновь начала склоняться к поддержке Лысенко и неприятию генетики. К сожалению, опубликованные в 40-е годы работы о судьбе генетики почти не упоминают, что внезапные изменения в официальном отношении к ученым-генетикам совпали с кардинальными изменениями в партийном руководстве, отвечавшем за науку, и во многом были вызваны ими.

В конце 40-х годов я подружился с Анной Цукановой, заместителем заведующего Отделом руководящих партийных органов, то есть в сущности заместителем Маленкова.

Я знал, что у моей жены была подруга Анна, но не встречался с ней, пока однажды они не пригласили меня на обед в ресторан «Арарат» в центре Москвы. Когда я приехал на обед, познакомился с Анной и узнал ее полное имя, то понял, что это заместитель Маленкова. Мне сразу же понравилась ее приятная внешность и длинная темная коса, уложенная на затылке, – настоящая русская красавица. Это было началом нашей длительной дружбы. Мы с Анной говорили как коллеги, знавшие круг обязанностей друг друга; оба мы имели доступ к секретным материалам, так что могли свободно обсуждать нашу работу. И сейчас, спустя более сорока лет, мы остаемся друзьями.

Анна часто говорила, что линия товарища Сталина и его соратника Маленкова заключается в постоянных перемещениях партийных руководителей высокого ранга и чиновников госбезопасности – им не позволяли оставаться на одном и том же месте более трех лет подряд, чтобы не привыкали к власти.

Сильное впечатление на меня произвели слова Анны о том, что ЦК не всегда принимает меры по фактам взяточничества, «разложения» и т. п. по докладом Комиссии партийного контроля и органов безопасности. Сталин и Маленков предпочитали не наказывать преданных высокопоставленных чиновников. Если же они причислялись к соперникам, то этот компромат сразу же использовался для их увольнения или репрессий.

Анна открыла мне, что руководство знало об издержках почти каждой крупной идеологической кампании, но цель, как говорил Маленков, оправдывала эти издержки. Сейчас очевидно, что та страшная цена, которую заплатили за идеологические кампании и чистки, была преступной ошибкой тогдашних правителей и подорвала всю систему.

Анна не подозревала, что открыла мне глаза на реальное положение дел в верхах, сказав, что ЦК знал: кампания против космополитов была раздута и преувеличена. Правда, она была уверена, что со временем эти ошибки будут исправлены.

Именно от нее я узнал, что сам Сталин принял решение о чистке грузинской партийной организации. Она сказала, что в ЦК все боялись предложить какие бы то

ни было изменения в кадровом составе руководства грузинской компартии, так как вопрос затрагивал личные связи Сталина, и это могло его задеть. Мы с Анной думали, что Сталин так отреагировал на взяточничество в Грузии. Теперь из архивных документов нам известно, что так называемое «мингрельское дело», одна из последних чисток, организовано самим Сталиным.

В последние годы правления Сталина в небольшой круг руководителей входили Маленков, Булганин, Хрущев и Берия, а Сталин всячески способствовал разжиганию среди них соперничества. В 1951 году в немилость попал Берия. Сталин приказал поставить подслушивающие устройства в квартире матери Берии, решив, что ни Берия, ни его жена не позволят никаких антисталинских высказываний, но его мать, Марта, жила в Грузии и вполне могла высказать сочувствие преследуемым мингрельским националистам. Берия был мингрел, а мингрелы не ладили с гурийцами, которым больше всего доверял Сталин. Дело мингрелов, в сущности, основываюсь на сфабрикованных обвинениях в заговоре с целью отделения от Советского Союза. Сталин затеял это дело, желая избавиться от Берии. Он потребовал, чтобы Берия уничтожил своих самых верных товарищей. Делая вид, что он все еще доверяет Берии, Сталин предоставил ему редкую честь обратиться к партийному и государственному активу на праздновании тридцать четвертой годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1951 года.

В 1948 году, за четыре года до грузинской чистки, Сталин назначил министром госбезопасности Грузии генерала Рухадзе. В годы войны тот возглавлял военную контрразведку на Кавказе. Его антибериевские настроения были общеизвестны. По личному приказу Сталина Рухадзе с помощью Рюмина, пользовавшегося дурной славой, собирал компромат на Берию и его окружение. Вначале была просто ежедневная слежка за грузинскими родственниками Берии. Берия не скрывал ни от Сталина, ни от Молотова, что дядя его жены, Гегечкори, – министр иностранных дел в меньшевистском правительстве Грузии в Париже; не скрывал и того, что его племянник сотрудничал с немцами, будучи во время войны в плену.

В конце 30-х годов, а потом после войны советская разведка занималась грузинскими эмигрантами во Франции. Наиболее успешной в этом отношении была работа офицера НКВД Вардо Максимальшвили, бывшего секретаря Берии.

В то время в правительственных кругах ходили слухи о том, что сын Берии Сергей собирается жениться на Светлане Аллилуевой после ее развода с сыном Жданова. Секретарь Берии Людвигов, рассказавший мне эту историю во Владимирской тюрьме, говорил, что Нина, жена Берии, и сам Берия были решительно против этого брака. Берия знал, что его противники из Политбюро используют этот брак в борьбе за власть, что силы Сталина уже не те, и если Берия свяжет себя со Сталиным семейными узами, то в случае смерти Сталина он будет обречен. Ситуация породила их взаимную неприязнь, и с этой точки зрения можно объяснить, почему в 1951 году Сталин приказал генералу Рухадзе продолжать расследование о взяточничестве грузинских чиновников-мингрелов. Надо заметить, что в Грузии в органах безопасности и на руководящей работе прослойка мингрелов была очень значительной.

Сталин приказал Рухадзе найти доказательства и выискать свидетельства

зарубежных связей мингрелов Грузии, тогда он мог бы подытожить: «Этим мингрелам вообще нельзя доверять. Я не хочу, чтобы меня окружали люди с сомнительными связями за рубежом». Этого было достаточно, чтобы Рухадзе понял, что он должен сфабриковать заговор. Как рассказал мне писатель Столяров, работающий над книгой «Преторианцы», вскоре после этой встречи Рухадзе присутствовал на званом ужине, где, сильно выпив, прихвастнул, что он близок к Сталину, и тот давал ему инструкции по проведению диверсий и похищений в Турции и Франции. На ужине также присутствовал министр внутренних дел Грузии Бзиава, мингрел, который на следующий день написал письмо только что назначенному министру госбезопасности Игнатьеву в Москву и в нем сообщил о поведении Рухадзе на ужине. Игнатьев доложил об этом Сталину. Сталин приказал показать это письмо Рухадзе и в его присутствии уничтожить письмо. Игнатьев предупредил Рухадзе, что, хотя тот и пользуется еще расположением Сталина, «нельзя позволять себе распускаться».

Следующим шагом Рухадзе был арест бывшего министра госбезопасности Грузии Рапавы, генерального прокурора Шония и академика Шариа – члена мандатной комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР, некоторое время работавшего заместителем начальника внешней разведки НКВД. Всех их обвинили в связях с эмигрантскими организациями через агента НКВД Гигелия, который вернулся из Парижа с женой-француженкой в 1947 году. Гигелия и его жена, невзирая на ее французское подданство, были арестованы по приказу Сталина, их пытали, чтобы заставить действовать по заранее продуманному сценарию.

Так началась чистка грузинского руководства, тех, кто был близок к Берии. Кампания против взяточничества в Грузии переросла в обвинения в заговоре с целью отделения мингрелов от Советского Союза. Сталин пошел на это из-за личной неприязни к Берии и для того, чтобы лишить Берию основ его влияния в Грузии.

Сталин начал эту кампанию в 1951 году, вскоре после заметного роста популярности Берии в связи с успешной работой по атомной проблеме и проведением второго испытательного взрыва атомной бомбы. «Хозяин» знал, что это было особое достижение, потому что ядерное устройство не копировало американские образцы атомной бомбы, но вместо того, чтобы поощрить успех своего протеже, Сталин захотел, чтобы теперь этим делом занимался более зависимый от него человек.

Политбюро предложило Берии возглавить партийную комиссию по расследованию дела «мингрельских уклонистов», отправив его в Тбилиси, чтобы тот разоблачил «мингрельский национализм» и уволил своего ближайшего соратника, первого секретаря ЦК компартии Грузии Чарквиани, которого по приказу Сталина сменил давний враг Берии Мгеладзе. Берии, кроме того, пришлось закрыть мингрельские газеты.

В тот момент, когда Берия обращался к участникам торжественного заседания по поводу празднования годовщины Октябрьской революции, Сталин направил в Тбилиси к арестованным мингрелам группу следователей, чтобы получить признания, которые опорочили бы Берию и его жену Нину. Мингрелы ни в чем не

признались. Они полтора года провели в тюрьме, им не давали спать, их пытали, и Берия освободил их лишь после смерти Сталина. За восемь месяцев до своей смерти Сталин арестовал Рухадзе, который стал для него нежелательным свидетелем. Официально же его обвинили в обмане партии и правительства.

Теперь Кирилл Столяров прояснил мне ситуацию, в которую я попал в Грузии в 1951 (или 1952) году, когда Игнатъев приказал мне выехать в Тбилиси. Я должен был оценить возможности местной грузинской разведслужбы и помочь им подготовить похищение лидеров грузинских меньшевиков в Париже, родственников жены Берии, Нины Гегечкори. Докладывать я должен был лично Игнатъеву. Мне сообщили, что инициатива по проведению этой операции исходила из Тбилиси, от генерала Рухадзе, и Сталин лично ее одобрил. Рухадзе настаивал на том, чтобы грузинские агенты взяли эту операцию на себя. С этой идеей он прибыл в Москву и пошел на прием к Игнатъеву. Отправляясь обратно в Тбилиси, он пригласил меня лететь вместе с ним. Я предпочел поехать поездом.

То, что я увидел в Тбилиси, меня глубоко потрясло. Единственный способный агент с хорошими связями во Франции, Гигелия, сидел в тюрьме по обвинению в шпионаже и мингрельском национализме. Агентам Рухадзе нельзя было доверять; они даже отказались говорить со мной по-русски. Заместитель Рухадзе, планировавший поехать в Париж, никогда не был за границей. Он был уверен, что если привезет грузинским эмигрантам шашлык и корзину грузинского вина, устроит пирушку в самом знаменитом ресторане Парижа, то завоюет их расположение. Предлагали также послать в Париж делегацию деятелей культуры, но все понимали, что эти грандиозные планы маскируют желание Рухадзе отправить в Париж свою жену. Она была скромной женщиной и хорошей певицей, но могла представлять в делегации только Тбилисскую консерваторию. О планах мужа она не имела ни малейшего понятия.

Группа следователей из Москвы, занимавшаяся делом мингрелов, между тем радостно сообщила Рухадзе, что они уже почти установили связь между семьей Берии и арестованными националистами. Тогда в кабинете Рухадзе я заметил под стеклом на столе портрет молодого Берии – одного из его заклятых врагов. Рухадзе стал союзником Абакумова, который еще в 1946 году пытался компрометировать сначала бывших подчиненных Берии по разведслужбе, а потом и его самого.

Любительский авантюризм Рухадзе испугал меня, и я поспешил вернуться в Москву, чтобы доложить обо всем Игнатъеву. Он и его первый заместитель Огольцов внимательно выслушали меня, но заметили, что судить об этом деле надо не нам, а «инстанции», так как Рухадзе лично переписывается со Сталиным на грузинском языке. Сталин, однако, понимал, что Рухадзе и Рюмин становились опасны: вместо того, чтобы просто добиваться признаний в измене, они в ходе следствия проявляли большой интерес к интригам в партийной и правительственной верхушке. Абакумов писал из тюрьмы Берии и Маленкову 11 октября 1952 года, что Рюмин интересовался внутренними отношениями в Политбюро, пользуясь информацией из совершенно секретных докладных, направлявшихся МГБ Сталину.

Сталин решил принести в жертву Рюмина и Рухадзе. Рухадзе вскоре посадили в Лефортово; Рюмина сняли с должности заместителя министра госбезопасности и

уволоили из органов в ноябре 1952 года. После смерти Сталина его арестовали, но даже если бы Сталин был жив, он все равно бы его уничтожил.

После смерти Сталина Берия не выпустил Рухадзе из тюрьмы, но жертвы Рухадзе были освобождены. Рухадзе и Рюмин, оба находясь под арестом, закидали Берию письмами с просьбой об освобождении, обращаясь к нему как к «Великому Человеку». Три месяца спустя, когда Хрущев и Маленков арестовали Берию, эти письма впутали их в организованный якобы Берией заговор. Таким образом, Рухадзе был расстрелян в Тбилиси в 1955 году вместе со своими бывшими жертвами, которые вновь были арестованы за связь с Берией.

Скрытые мотивы и амбиции в конце 40-х – начале 50-х годов играли гораздо более важную роль в политических событиях, чем казалось в то время и кажется сейчас. Мы (те, кто видел все это и в результате страдал от этого) позже пришли к выводу, что партийная верхушка (Сталин и те, кто шел за ним) использовала кампании борьбы с космополитизмом и с последствиями культа личности только для того, чтобы убрать с дороги своих противников и оппонентов. Их целью было добиться абсолютной власти или ввести новые фигуры в свое окружение. Они рассчитывали, что Комитет партийного контроля и органы безопасности постоянно будут снабжать их компрометирующими материалами. Общим правилом было собирать компрометирующие факты против всех, а при необходимости использовать эту информацию. Я был и инструментом, и жертвой этой системы.

Абакумов докладывал компрометирующий материал лично Сталину, и на основе этой информации Сталин мог шантажировать всю верхушку. После смерти Жданова нарушился хрупкий баланс власти. Сталин не позволил Жданову окончательно избавиться от Маленкова, когда тот оказался замешанным в скандальную историю с авиационной промышленностью; вместо этого он просто понизил его в должности, но оставил влиятельным членом Политбюро. Сталин заставил Маленкова «курировать» исправление ошибок в авиационной промышленности, зная, что Маленков будет лезть из кожи вон, боясь дальнейших разоблачений. Таким образом, он оставался на своем месте как противовес Жданову, чьи последователи вскоре дорого заплатились.

От Анны Цукановой я узнал поразительные факты о «ленинградском деле», во время которого все люди Жданова и соперники Маленкова и Берии были осуждены и расстреляны. В 1949 году мы не знали об ужасающих обвинениях против них. В то время Анна мне сказала лишь, что Кузнецов и Вознесенский освобождены от своих постов, потому что замешаны в фальсификации результатов партийных выборов на Ленинградской городской партконференции. Дружба Кузнецова с Абакумовым его не спасла; Сталин проверил искренность Абакумова, заставив его уничтожить своего друга.

Мы должны помнить о том, что часто упускают из виду: о менталитете идеалистически настроенных коммунистов в конце 40-х – начале 50-х. Для нас самым ужасным преступлением высокопоставленного партийного или государственного деятеля была измена, но не меньшим преступлением была и фальсификация партийных выборов. Дело партии было священным, и в особенности внутрипартийные выборы тайным голосованием, которые считались

наиболее эффективным инструментом внутрипартийной демократии. Поэтому, когда Анна рассказала мне, что партийные лидеры Ленинграда фальсифицировали результаты выборов на партконференции, эти люди для меня перестали существовать.

Конкретные подробности «ленинградского дела» оставались тайной для партийного актива; даже Анна не представляла тяжести обвинений. Теперь мы знаем, что их обвинили в попытке раскола компартии с помощью организации оппозиционного центра в Ленинграде. Одного из осужденных, Капустина, обвинили в шпионаже, но доказательства представлены не были.

Все это было сфабриковано и вызвано непрекращающейся борьбой среди помощников Сталина. Мотивы, заставившие Маленкова, Берию и Хрущева уничтожить ленинградскую группировку, были ЯСНЫ: усилить свою власть. Они боялись, что молодая ленинградская команда придет на смену Сталину. Теперь мы знаем, что результаты подсчета голосов при тайном голосовании в Ленинграде в 1948 году действительно были сфальсифицированы, но осужденные не имели к этому никакого отношения. Политбюро в полном составе, включая Сталина, Маленкова, Хрущева и Берию, единогласно приняло решение, обязывающее Абакумова арестовать и судить ленинградскую группу, но, что бы ни писали в школьных учебниках по истории партии, и что бы ни писал Хрущев в своих воспоминаниях, инициатором дела был не Абакумов. Действительно, его подчиненные под его руководством сфабриковали это дело, но Абакумов действовал в соответствии с полученным приказом.

Сначала всех арестованных обвинили в преступлениях средней тяжести. Например, Вознесенского – в утрате документов из секретариата и в семейственности: его младший брат и сестра занимали ответственные посты в Москве и Ленинграде. Косвенно это задело и Микояна: один из его сыновей женился на дочери Кузнецова.

«Ленинградское дело» оставалось тайной и после смерти Сталина, и даже я, хоть и был начальником самостоятельной службы МГБ, не знал о судьбе тех, кто погиб в неизвестности.

Глава ленинградского МГБ генерал Кубаткин был репрессирован и расстрелян после закрытого суда. Теперь документы «ленинградского дела» частично опубликованы. Руки всех, кто был в тот период членом Политбюро, в крови, потому что они подписали смертный приговор обвиняемым за три недели до начала процесса в Ленинграде.

«Ленинградское дело» совпало также с резким развенчанием Молотова, который, холь и оставался членом Политбюро, был снят с поста министра иностранных дел в марте 1949 года. Его сменил Вышинский. Молотов очень тяжело переживал арест жены, Полины Жемчужиной, еврейки; сначала ее обвинили в превышении власти и утере секретных документов (которые могли украсть и по указанию Сталина). По приказу Сталина под принуждением следователей, чтобы скомпрометировать Жемчужину в глазах мужа и Политбюро, двух ее подчиненных заставили оболгать ее и признаться, что они были с ней в интимной связи. Она

провела в тюрьме год, а потом ее выслали в Казахстан. Сталин надеялся получить от Жемчужиной компромат на Молотова. Ее арест держали в секрете, и я узнал о нем лишь перед самой смертью Сталина, когда Фитин, бывший в то время министром госбезопасности Казахстана, пожаловался мне, как тяжело лично отвечать за Жемчужину. Игнатьев все время запрашивал о ней, пытаясь узнать о ее связях с сионистами и послом Израиля в СССР Голдой Мейер. В январе или феврале 1953 года Фитина вызвал Гоглидзе, первый заместитель министра госбезопасности, и приказал перевести Жемчужину на Лубянку. Фитин понял, что главной целью всего этого было обвинить Молотова в связях с сионистами, и забеспокоился, что изменения в руководстве могут коснуться тех, кто работал с Молотовым, в том числе и его.

В то время, в конце 1952 – начале 1953 года, мы не знали, что Сталин открыто выступил против Молотова и Микояна на Пленуме ЦК. Сталин объявил их заговорщиками. Он обвинил Молотова в том, что тот уступил перед шантажом и давлением со стороны империалистических кругов, подразумевая, что Жемчужина (хотя ее имя не было упомянуто) имела отношение к сионистскому заговору и тайным связям с Голдой Мейер.

Сразу после пленума от Молотова потребовали вернуть в секретариат Сталина оригиналы документов по пакту Молотова-Риббентропа, включая секретные протоколы. С того дня и до тех пор, когда в 1992 году их опубликовали, они хранились в секретных архивах Политбюро. Я не исключаю возможности того, что Сталин собирался предъявить Молотову обвинения в прогерманских симпатиях или заискивании перед Гитлером во время этих тайных переговоров.

В сентябре 1950 года Дроздов, заместитель министра госбезопасности Украины, был переведен в Москву. Мы знали друг друга почти тридцать лет. Моя жена дружила с его женой. Приехав во Львов, чтобы найти руководителя подпольной ОУН Шухевича, я жил у Дроздова на даче недалеко от города. В Москве Дроздова поставили во главе Специального бюро № 2 МГБ СССР, которое должно было заниматься тайной слежкой и похищением сталинских врагов внутри страны – как реальных, так, как я теперь понимаю, и выдуманных.

Вначале Абакумов и Огольцов решили, что заниматься подобными операциями, как в стране, так и за рубежом, будет мое бюро по диверсиям и разведке, а Дроздов будет моим заместителем, так как Эйтингон впал в немилость. Это не устраивало Абакумова, он так организовал работу, что внутренние операции поручили Дроздову. У Дроздова не было связей в Москве, но ему доверили эти щекотливые дела. Первое его задание было проконтролировать надежность системы по подслушиванию и убедиться, что наши «жучки» не обнаружены. Именно тогда от Дроздова я узнал, что в 1942 году Сталин приказал Богдану Кобулову, заместителю Берии, установить подслушивающую аппаратуру в квартирах маршалов Ворошилова, Буденного и Жукова. Позже, в 1950 году, к этому списку были добавлены имена Молотова и Микояна. Существовали грандиозные планы по тайному подслушиванию всех телефонных разговоров в руководстве ЦК, но это было исполнено только во времена Брежнева, когда техника достигла необходимого уровня.

Дроздов был рад, что он не вовлечен ни в какие похищения по приказу Сталина, но его подчиненным дважды приходилось работать на Главное управление контрразведки: они должны были заговаривать на улице с иностранными дипломатами, которые встречались с русскими писателями, и затевать потасовки. Первое, что сделал Берия, став министром внутренних дел после смерти Сталина, – уволил Дроздова, поскольку тот слишком много знал о внутренних интригах и потому, что он был в плохих отношениях с Богданом Кобуловым. Увольнение Дроздова в пятьдесят лет было просто спасением для него, хоть и казалось тогда крахом: иначе он был бы арестован вместе с Берией.

В июле 1951 года арестовали Абакумова. В последний год его работы на посту министра, особенно в последние девять месяцев, он был абсолютно изолирован от Сталина. Кремлевский список посетителей показывает, что после ноября 1950 года Сталин Абакумова не принимал. Сталин считал, что Абакумов слишком много знал. Для меня его крах был как гром среди ясного неба.

В мае или июне 1951 года, когда я в последний раз провел несколько часов в кабинете Абакумова, он выглядел весьма уверенным в себе, без колебаний принимал решения. Лишь позже я узнал от моего сокамерника Мамулова, что в последние месяцы 1950 года Абакумов пытался ближе сойтись с ним, так как знал, что у него были прямые выходы к Берии. Мамулов рассказал, что Абакумов просил его устроить так, чтобы Берия его принял, и утверждал, что он всегда был лоялен и никогда не участвовал в интригах против него.

Абакумова обвинили в затягивании расследования по важным преступлениям и сокрытии информации о том, что Гаврилов и Лаврентьев (гомосексуалисты, которых внедрились в американское посольство) были двойными агентами ЦРУ и МГБ.

Конечно, на совести Абакумова были сфабрикованные признания и ложные показания, данные под пытками, но правда и то, что сперва прокуратура, а после и Рюмин обвинили его в преступлениях, которых он не совершал. Он никогда не был политиком и не мог организовать заговор с целью захвата власти; он был абсолютно предан Сталину и верил в него.

Сначала я не понимал обстоятельств краха Абакумова; мы с ним часто придерживались противоположных точек зрения, и мне казалось, что руководство партии хотело исправить серьезные ошибки в работе МГБ. Комиссия Политбюро, в которую входили Берия, Маленков, Игнатъев и Шкирятов (глава Комиссии партийного контроля), с самого начала казалась заинтересованной в проверке эффективности разведывательных и контрразведывательных операций. Вскоре, однако, стало ясно, что арест Абакумова был началом новой чистки. В результате позиции Маленкова усилились, так как Сталин назначил своего бывшего секретаря, впоследствии заведомо руководящих партийных и советских органов ЦК, Игнатъева на пост министра госбезопасности. В отсутствие и Абакумова, и ленинградской группы Маленков и Игнатъев в союзе с Хрущевым образовали новый центр власти в руководстве.

После встречи с Игнатъевым и его новым первым заместителем Гоглидзе я вернулся к себе в кабинет в унынии. Их представления о наших активных операциях

за границей отличались от моих. Они планировали начать ликвидацию глав эмигрантских группировок в Германии и Париже, чтобы доложить об этих громких делах Сталину. Их не заботило, что нам гораздо выгоднее влиять на деятельность эмиграции. Они собирались использовать двух агентов, семейную пару, для расправы с генералом в отставке Капустянским, украинским националистом, получившим этот чин от самого царя. Ему было за семьдесят, он отошел от политики и был нам не опасен, но Игнатъев хотел поскорей доложить о его ликвидации, чтобы произвести впечатление на правительство. Я был категорически против и убедил Игнатъева и его зама Епишева не делать этого, поскольку смерть Капустянского лишит нас доступа к его почте, которая была нашим важнейшим источником регулярной информации о положении в эмиграции.

Помню, Игнатъев и Епишев подписали директиву для наших зарубежных резидентур усилить проникновение агентов в меньшевистские организации, которые якобы относились к числу наших главных противников. Это происходило в 1952 году, спустя тридцать пять лет после 1917 года. Я резко заявил, что наша резидентура в Вене занимается только американскими военными объектами в Европе, и у нее нет ни времени, ни людей для того, чтобы выслеживать меньшевиков. Игнатъев, несмотря на то, что оба его зама Рясной и Епишев поддержали его, сказал: «Директива хорошая, но вы правы. Давайте ее отзовем».

Мою жену и меня беспокоили частые аресты среди работников МГБ. И в антисемитской кампании, и во внутриправительственных интригах была заметна нарастающая напряженность. Жена чувствовала, что она и я проходим по показаниям тех, кто был арестован – Райхмана, Эйтингона, Матусова, Свердлова. Когда к нам в гости пришла Анна, я впервые в жизни заговорил с женой о перспективах и возможности найти другую работу. Будучи начальником службы при некомпетентном министре с заместителями типа Рюмина, авантюристами и карьеристами, я неизбежно должен был попасть в сложное положение. Я только что получил диплом военной академии, и это давало мне надежду на новую работу в военной или партийной сфере. Анна согласилась мне помочь...

В 1952 году Сталин не поехал, как обычно, в отпуск на Кавказ. Кажется, тогда нам позвонил Маленков и сообщил, что ЦК поручает мне важное задание, в детали которого меня посвятит Игнатъев. Вскоре я был приглашен к нему в кабинет, где, как ни странно, он был один. Поздоровавшись, Игнатъев сказал: «Наверху весьма озабочены возможностью формирования «Антибольшевистского блока народов» во главе с Керенским. Эту инициативу американской реакции необходимо решительно пресечь, а верхушку блока обезглавить». Мне приказали безотлагательно подготовить план действий в Париже и Лондоне, куда предполагался приезд Керенского.

Через неделю, однако, я доложил Игнатъеву, что в подготовке операции возникли сложности, так как наш человек в Париже, Хохлов, который мог найти подходы к Керенскому, попал в поле зрения контрразведки противника. Когда он в последний раз пересекал границу, его документами заинтересовалась австрийская полиция, а его фальшивый паспорт был изъят для проверки.

Нашу нелегальную боевую группу в Париже возглавлял князь Гагарин, чьей

задачей был поиск подходов к штаб-квартире НАТО в Фонтенбло для уничтожения систем связи и тревоги в случае обострения ситуации или начала военных действий. О существовании этой боевой группы докладывали по различным поводам и Сталину, и Маленкову. Я спросил Игнатъева, должны ли мы переориентировать эту агентуру на ликвидацию Керенского.

Игнатъев, который никогда не шел на риск, сказал, что это должны решать наверху. Спустя день или два я прочел сообщение ТАСС о том, что украинские националисты и хорватские эмигранты не согласились на создание «Антибольшевистского блока» под председательством Керенского – они не желали иметь русского во главе этой организации.

На следующее утро я направил рапорт Игнатъеву о работе боевой группы, приложив информацию ТАСС, чтобы он понял, что Керенский уже не представляет угрозы для Советского Союза. Игнатъев вызвал в кабинет меня, Рясного и Савченко. Он начал с упреков, что они предложили ликвидацию Керенского, не вникнув во внутреннюю вражду в антикоммунистических группировках. Игнатъев подчеркнул, что товарищ Маленков особенно озабочен тем, чтобы мы не уходили в сторону от основной акции, борьбы с главным противником – Соединенными Штатами.

После совещания Игнатъев предложил нам подготовить предложения по реорганизации разведывательной работы за рубежом. Этой реорганизацией руководил лично Сталин. По его инициативе в конце 1952 года в МГБ было создано Главное разведывательное управление, позднее ставшее знаменитым 1-м Главным управлением КГБ СССР. Начальник разведки занял должность замминистра, что означало увеличение расходов и повышение престижа проведения разведопераций за рубежом.

Меня не пригласили в Кремль на совещание по этому вопросу, на котором председательствовал Сталин, но Маленков официально объявил на совещании в МГБ о решении, которое охарактеризовал как план создания «мощной разведывательной агентурной сети за рубежом». Маленков при этом цитировал Сталина: «Работа против нашего главного противника невозможна без создания мощного агентурно-диверсионного аппарата за рубежом. Необязательно создавать резидентуры непосредственно в США, но мы должны действовать против американцев решительно, прежде всего в Европе и на Ближнем Востоке. Мы должны использовать новые возможности, открывшиеся для нас в связи с усилением китайской эмиграции в Соединенные Штаты. Уязвимость Америки – в многонациональной структуре ее населения. Мы должны искать новые возможности использования национальных меньшинств в Америке. Ни одного некоренного американца, который работает на нас, нельзя заставлять работать против страны, откуда он родом. Мы должны максимально использовать в Соединенных Штатах иммигрантов из Германии, Италии и Франции, убеждать их, что, помогая нам, они работают на свою родину, унижаемую американским господством».

Начался 1953 год, и я был сильно обеспокоен кадровыми перестановками в МГБ по инициативе Сталина. Я знал, что мое имя было в списке из 213 человек, в который входили имена руководящих работников высшего ранга, проходивших по показаниям репрессированных в связи с «ленинградским делом», делом Еврейского

антифашистского комитета и «заговором врачей». Используя эти материалы, Маленков снимал с должности или вовсе убирал из Москвы многих сотрудников, начав серьезную кадровую перестановку в высших партийных и правительственных структурах. Он хотел привлечь в аппарат новых людей, которые были бы плохо знакомы с механизмами власти в Москве и выполнили бы любой приказ без малейшего колебания.

Эта чистка вскоре стала кровавой. Генерал-лейтенант Власик, начальник кремлевской охраны, был отправлен в Сибирь на должность начальника лагеря и там тайно арестован. Власику предъявили обвинения в сокрытии знаменитого письма Л. Тимашук, которое Рюмин использовал для начала «дела врачей», «в подозрительных связях с агентами зарубежных разведок и тайном сговоре с Абакумовым».

После ареста Власика немилосердно избивали и мучили. Его отчаянные письма к Сталину о невинности остались без ответа. Власика вынудили признать, что он злоупотреблял властью, что он позволял подозрительным людям присутствовать на официальных приемах в Кремле, на Красной площади и в Большом театре, где бывали Сталин и члены Политбюро, которые, таким образом, могли быть подставлены под удар террористов. Власик оставался в заключении до 1955 года, когда его осудили теперь уже за растрату фондов на проведение Ялтинской и Потсдамской конференций, а потом амнистировали. Несмотря на поддержку маршала Жукова, его просьбы о реабилитации были отклонены.

Увольнение Власика вовсе не означало, что Берия теперь мог менять людей в личной охране Сталина. В 1952 году, после ареста Власика, Игнатъев лично возглавил Управление охраны Кремля, совмещая эту должность с постом министра госбезопасности.

Все сплетни о том, что Сталина убили люди Берии, голословны. Без ведома Игнатъева и Маленкова получить выход на Сталина никто из сталинского окружения не мог. Это был старый, больной человек с прогрессирующей паранойей, но до своего последнего дня он оставался всемогущим правителем. Он дважды открыто объявлял о своем желании уйти на покой, первый раз после празднования Победы в Кремле в 1945-м и еще раз на Пленуме Центрального комитета в октябре 1952 года, но это были всего лишь уловки, чтобы выявить расстановку сил в своем окружении и разжечь соперничество внутри Политбюро.

В январе 1953 года Маленков и Игнатъев приказали мне подготовить предложения, как использовать отзыв нашего советника в Китае, который доложил Сталину о директиве китайского руководства вербовать агентов из числа работавших там советских специалистов. Товарищ Сталин, по словам Маленкова, решил послать копию этого сообщения Мао Цзэдуну, объявив, что мы отзываем нашего советника потому, что полностью доверяем китайскому руководству. Ковалева, по-моему, так его фамилия, тут же назначили помощником Сталина в аппарате Совета Министров. Маленков приказал мне посоветоваться с Ковалевым по поводу создания новой разведывательной сети на Дальнем Востоке, чтобы получать достоверную информацию о Китае. При этом он подчеркнул, что эта сеть не должна иметь связи со старыми источниками, которые могут быть известны

китайцам еще со времен Коминтерна.

Атмосфера была напряженной. В конце февраля 1953 года меня вызвали в кабинет Игнатьева, где находились Гоглидзе, его первый заместитель, и Коняхин, заместитель начальника следственной части. Игнатьев сказал, что мы едем в «инстанцию». Был поздний час – Игнатьев, Гоглидзе и Коняхин вошли в кабинет Сталина, а я около часа оставался в приемной. Потом Гоглидзе и Коняхин вышли, а меня попросили зайти.

Я был очень возбужден, когда вошел в кабинет, но стоило мне посмотреть на Сталина, как это ощущение исчезло. То, что я увидел, меня поразило. Я увидел уставшего старика. Сталин очень изменился. Его волосы сильно поредели, и хотя он всегда говорил медленно, теперь он явно произносил слова как бы через силу, а паузы между словами стали длиннее. Видимо, слухи о двух инсультах были верны: один он перенес после Ялтинской конференции, а другой – накануне семидесятилетия, в 1949 году.

Сталин начал с обсуждения намеченной реорганизации зарубежной разведки. Игнатьев спросил, есть ли необходимость оставлять в Министерстве госбезопасности два независимых разведывательных центра: Бюро по диверсиям за рубежом и Главное разведуправление. Мне предложили высказаться. Я пояснил, что для выполнения операций против американских стратегических баз и баз НАТО, окружавших наши границы, мы должны постоянно сотрудничать с разведкой МГБ и Министерства обороны. Быстрое развертывание сил для выполнения специальных задач, таких как диверсии, требует взаимодействия.

Я подчеркнул, что успех наших диверсионных операций против немцев в большой степени зависел от качества агентурной сети, раскинутой в непосредственной близости от баз, которые нужно уничтожить, добавив, что мы были готовы в соответствии с директивой ЦК взорвать американские склады с горючим в Инсбруке, в Австрии. Мы не просто отравили туда оперативную группу. Наши агенты имели прямой доступ к объектам, но неожиданный приказ Абакумова об отмене операции, которая могла сильно затруднить американские воздушные перевозки в Берлин, сбил нас с толку.

Сталин ничего не ответил. На несколько минут воцарилась неловкая пауза. Потом он сказал: «Бюро по диверсиям за рубежом следует сохранить как самостоятельный аппарат с непосредственным подчинением министру. Оно будет важным инструментом в случае войны для причинения серьезного ущерба противнику в самом начале военных действий. Судоплатова также следует сделать заместителем начальника Главного разведуправления, чтобы он был в курсе всех наших агентурных возможностей, чтобы все это использовать в диверсионных целях».

Сталин спросил меня, знаком ли я с Мироновым, помощником Епишева, заместителем министра МГБ по кадрам, и предложил, чтобы Миронов возглавил Главное разведуправление МГБ. Я ответил, что встречался с Мироновым лишь однажды, когда по приказу министра рассказал ему об основных задачах бюро.

Возникла еще одна неловкая пауза. Сталин передал мне написанный от руки

документ и попросил прокомментировать его. Это был план покушения на маршала Тито. Я никогда раньше не видел этого документа, но Игнатъев пояснил, что инициатива исходила от Рясного и Савченко, заместителей министра госбезопасности, и что Питовранов в курсе этой акции.

Питовранов резко выделялся своим интеллектом и кругозором среди руководства МГБ. Во время войны он стал начальником управления НКВД в Горьком. На какое-то время Рюмин засадил его в тюрьму по обвинению в «заговоре Абакумова», но его освободили в 1952 году. Он дружил с моим заместителем Эйтингоном, но был вынужден, подчиняясь приказу, организовать его арест в октябре 1951 года. Спустя два дня он сам попал в Лефортово и сидел в камере напротив Эйтингона. Позже я слышал, что Питовранов написал из тюрьмы письмо на имя Сталина, где обвинял Рюмина в провокационном срыве планов активных операций нашей контрразведки. Его освободили, он вернулся на свое прежнее место, месяц полечившись в Архангельском, в военном санатории для высшего командования.

Я сказал Сталину, что в документе предлагаются наивные методы ликвидации Тито, которые отражают опасную некомпетентность в подготовке плана. Письмо Сталину гласило:

«МГБ СССР просит разрешения на подготовку и организацию теракта против Тито, с использованием агента-нелегала «Макса» – тов. Григулевича И.Р., гражданина СССР, члена КПСС с 1950 года (справка прилагается).

«Макс» был переброшен нами по костариканскому паспорту в Италию, где ему удалось завоевать доверие и войти в среду дипломатов южноамериканских стран и видных костариканских деятелей и коммерсантов, посещавших Италию.

Используя свои связи, «Макс» по нашему заданию добился назначения на пост Чрезвычайного и Полномочного посланника Коста-Рики в Италии и одновременно в Югославии. Выполняя свои дипломатические обязанности, он во второй половине 1952 года дважды посетил Югославию, где был хорошо принят, имел доступ в круги, близкие к клике Тито, и получил обещание личной аудиенции у него. Занимаемое «Максом» в настоящее время положение позволяет использовать его возможности для проведения активных действий против Тито.

В начале февраля с.г. «Макс» был вызван нами в Вену, где с ним была организована встреча в конспиративных условиях. В ходе обсуждения возможностей «Макса» перед ним был поставлен вопрос, чем он мог бы быть наиболее полезен, учитывая его положение. «Макс» предложил предпринять какое-либо действенное мероприятие лично против Тито.

В связи с этим предложением с ним была проведена беседа о том, как он себе это представляет, в результате чего выявились следующие возможные варианты осуществления теракта против Тито.

Поручить «Максу» добиться личной аудиенции у Тито, во время которой он должен будет из замаскированного в одежде бесшумно действующего механизма выпустить дозу бактерий легочной чумы, что гарантирует заражение и смерть Тито и присутствующих в помещении лиц. Сам «Макс» не будет знать о существовании

применяемого препарата. В целях сохранения жизни «Максу» будет предварительно привита противочумная сыворотка.

В связи с ожидаемой поездкой Тито в Лондон командировать туда «Макса», используя свое официальное положение и хорошие личные отношения с югославским послом в Англии Велсбитом, попасть на прием в югославском посольстве, который, как следует ожидать, Велебит даст в честь Тито.

Теракт произвести путем бесшумного выстрела из замаскированного под предмет личного обихода механизма с одновременным выпуском слезоточивых газов для создания паники среди присутствующих, чтобы создать обстановку, благоприятную для отхода «Макса» и скрытия следов.

Воспользоваться одним из официальных приемов в Белграде, на который приглашаются жены дипломатического корпуса. Теракт произвести таким же путем, как и во втором варианте, поручив его самому Максу», который как дипломат, аккредитованный при югославском правительстве, будет приглашен на такой прием.

Кроме того, поручить «Максу» разработать вариант и подготовить условия вручения через одного из костариканских представителей подарка Тито в виде каких-либо драгоценностей в шкатулке, раскрытие которой приведет в действие механизм, выбрасывающий моментально действующее отравляющее вещество.

«Максу» предложено было еще раз подумать и внести предложения, каким образом он мог бы осуществить наиболее действенные мероприятия против Тито. С ним обусловлены способы связи и договорено, что ему будут даны дополнительные указания.

Считали бы целесообразным использовать возможности «Макса» для совершения теракта против Тито. «Макс» по своим личным качествам и опыту работы в разведке подходит для выполнения такого задания.

Просим Вашего согласия».

Сталин не сделал никаких пометок на документе. Письмо не было подписано. В кабинете Сталина, глядя ему в глаза, я сказал, что «Макс» не подходит для подобного поручения, так как он никогда не был боевиком-террористом. Он участвовал в операции против Троцкого в Мексике, против агента охраны в Литве, в ликвидации лидера троцкистов Испании А. Нина, но лишь с задачей обеспечения выхода боевиков на объект акции. Кроме того, из документа не следует, что прямой выход на Тито гарантирован. Как бы мы о Тито ни думали, мы должны отнестись к нему как к серьезному противнику, который участвовал в боевых операциях в военные годы и, безусловно, сохранит присутствие духа и отразит нападение. Я сослался на нашего агента «Вала» – Момо Джуровича, генерал-майора в охране Тито. По его отчетам, Тито был всегда начеку из-за напряженного внутреннего положения в Югославии. К сожалению, «Вал» в связи с внутренними интригами, не так уж отличавшимися от наших, потерял расположение Тито и в настоящее время сидел в тюрьме.

Будет разумнее использовать разногласия в окружении Тито, отметил я, лихорадочно придумывая, каким образом ввести в игру находившегося под арестом

Эйтингона, чтобы он отвечал за исполнение операции, так как Григулевич очень ценил его – они в течение пяти лет работали бок о бок за границей.

Игнатьеву не понравились мои замечания, но я внезапно почувствовал уверенность, поскольку упоминание высокопоставленного источника информации из службы безопасности Тито произвело впечатление на Сталина.

Однако Сталин прервал меня и, обращаясь к Игнатьеву, сказал, что это дело надо еще раз обдумать, приняв во внимание внутренние «драчки» в руководстве Югославии. Потом он пристально посмотрел на меня и сказал, что, так как это задание важно для укрепления наших позиций в Восточной Европе и для нашего влияния на Балканах, подойти надо к нему исключительно ответственно, чтобы избежать провала, подобного тому, который имел место в Турции в 1942 году, когда сорвалось покушение на посла Германии фон Папена. Все мои надежды поднять вопрос об освобождении Эйтингона мгновенно улетучились.

На следующий день в министерстве мне выдали два литерных дела – «Стервятник» и «Нерон», содержащих компромат на Тито. Там также были еженедельные отчеты от нашей резидентуры в Белграде. Досье включали в себя идиотские резолюции Молотова: искать связи Тито с профашистскими группировками и хорватскими националистами. В досье я не нашел никаких реальных фактов, дающих возможность подступиться к ближайшему окружению Тито, чтобы наши агенты могли подойти достаточно близко для нанесения удара.

Когда меня вызвали на следующий день в кабинет Игнатьева, там были четверо из людей Хрущева – заместитель министра Серов, Савченко, Рясной и Епишев, – и я сразу же почувствовал себя не в своей тарелке, потому что прежде обсуждал столь деликатные вопросы лишь наедине с Берией или Сталиным. Среди присутствующих я был единственным профессионалом разведки, имевшим опыт работы за рубежом. Как можно было сказать заместителям министра, что план их наивен? Я не поверил своим ушам, когда Епишев прочел пятнадцатиминутную лекцию о политической важности задания. Потом включились Рясной и Савченко, сказав, что Григулевич как никто подходит для такой работы, и с этими словами показали его письмо к жене, в котором он говорил о намерении пожертвовать собой во имя общего дела. Григулевича, видимо, страхуясь, вынудили написать это письмо.

Я понял, что мои предостережения не подействуют, и сказал, что как член партии считаю своим долгом заявить им и товарищу Сталину, что мы не имеем права посылать агента на верную смерть в мирное время. План операции должен обязательно предусматривать возможности ухода боевика после акции, нельзя согласиться с планом, в котором агенту приказывали уничтожить серьезно охраняемый объект без предварительного анализа оперативной обстановки. В заключение Игнатьев подчеркнул, что все мы должны думать, думать и еще раз думать о том, как выполнить директиву партии.

Это совещание оказалось моей последней деловой встречей с Игнатьевым и Епишевым. Через десять дней Игнатьев поднял оперативный состав и войска МГБ по тревоге и конфиденциально проинформировал начальников управлений и самостоятельных служб о болезни Сталина. Через два дня Сталин умер, и идея

покушения на Тито была окончательно похоронена.

Тем временем мои попытки перейти на работу в партийные органы или Совет Министров, казалось, начали приносить плоды. В 1952 году я отправил в ЦК информацию, полученную от нашей резидентуры в Вене, о планах американцев похитить секретаря ЦК австрийской компартии. Меня вызвали в ЦК к Суслову, чтобы обсудить эти данные. Спустя несколько дней, в первые дни марта 1953 года, мне сказали, что мою кандидатуру рассматривают на замещение вакансии заместителя председателя недавно сформированной иностранной комиссии ЦК КПСС по «нелегальным» связям с иностранными коммунистическими партиями. Мы с женой были полны надежд, что, может быть, придет конец моей службе в органах безопасности, которые возглавлялись абсолютно некомпетентными людьми, совершавшими преступления как по причине некомпетентности, так и из карьеристских побуждений.

Но быстро разворачивавшиеся события коренным образом изменили мою судьбу. 5 марта Сталин умер, и в тот же день поздно вечером Берия назначили министром расширенного Министерства внутренних дел, которое теперь включало в себя и милицию, и аппарат органов безопасности (МГБ). Я был на похоронах Сталина и видел, как непрофессионально Серов, Гоглидзе и Рясной контролировали положение в городе. Прежде, чем я смог добраться до Колонного зала, чтобы встать в караул от моего министерства, кордон из грузовиков перекрыл путь, так что мне пришлось пробираться через кабины машин. Не продумали даже, как разместить все делегации, прибывавшие на похороны. Была какая-то идиотская неразбериха, из-за которой сотни скорбящих людей, к сожалению, погибли в давке.

Во время похорон Сталина мое горе было искренним; я думал, что его жестокость и расправы были ошибками, совершенными из-за авантюризма и некомпетентности Ежова, Абакумова, Игнатьева и их подручных.

На следующий день после похорон я понял, что началась другая эпоха. Секретарь Берии позвонил мне в шесть вечера и сообщил, что новый Хозяин покинул кабинет и приказал не ждать его возвращения. С этого момента я мог уходить с работы ежедневно в шесть вечера в отличие от тех лет, когда приходилось работать до двух или трех утра, пока Сталин сидел за рабочим столом в Кремле или у себя на даче.

Началась перетряска кадров в новом министерстве; Круглов, который работал с Маленковым в ЦК в 30-е годы и на протяжении последних семи лет был министром внутренних дел, стал первым заместителем Берии в расширенном МВД. Гоглидзе, который невольно оказался причастным к «мингрельскому делу», перестал занимать пост заместителя министра и возглавил военную контрразведку. Богдан Кобулов, протеже Берии, которого Абакумов в 1946-м уволил из органов госбезопасности, вернулся на Лубянку в должности заместителя Берии. Серов, человек Хрущева, сохранил свое положение и остался первым заместителем Берии. Рясной и Савченко, которые, как и Серов, работали с Хрущевым на Украине, возглавили Главное разведуправление. Федотов, всегда уравновешенный и дисциплинированный, ненадолго сменивший в 1946 году Фитина в руководстве внешней разведки, а позже работавший в Комитете информации, вновь, как и до

войны, возглавил Главное контрразведывательное управление. Берия назначил генерал-лейтенанта Сазыкина, моего бывшего заместителя по отделу «атомной» разведки, начальником Управления по борьбе с идеологическими диверсиями и национализмом, будущего 5-го «политического» управления КГБ.

Параллельно с этими быстрыми назначениями шло развенчание обвинителей по делу сионистского заговора и «делу врачей». Эйтингон, Райхман, Селивановский, Белкин, Шубняков и другие высокопоставленные работники, арестованные по обвинениям в сокрытии сионистского заговора или содействии Абакумову в планах захватить власть, были освобождены в конце марта 1953 года. Дело Жемчужиной закрыл сам Берия 23 марта, но освободили ее на следующий день после похорон Сталина, по случаю дня рождения Молотова, 9 марта. Берия приказал пересмотреть дела Эйтингона и Райхмана и быстро утрясти все формальности, необходимые для их освобождения.

Позже Эйтингон рассказал мне, что не ждал ничего хорошего, когда после смерти Сталина, о которой он не знал, его вызвали к следователю. К его удивлению, он увидел там Гоглидзе и Кобулова, который был уволен из органов еще семь лет назад. Он сразу понял, что произошли большие перемены. Ему был задан лишь один вопрос: будет ли он после освобождения продолжать службу? Он чувствовал себя неважно, но после лечения был готов продолжить работу.

Потом Кобулов сказал Эйтингону, что Сталин умер, и он, Кобулов, говорит от имени Берии, недавно назначенного главой расширенного Министерства внутренних дел, а он – его заместитель по следственной работе и контрразведке. Кобулов обещал, что, хотя формальности займут несколько дней, Эйтингон может спокойно отдыхать в камере в ожидании освобождения. Эйтингон попросил перевести его подальше от следственного блока, чтобы ему не приходилось слышать крики заключенных, на которых Рюмин пробует «активные методы следствия». Кобулов ответил, что Рюмин сам находится под арестом за совершенные преступления, а Берия, став министром, первым же приказом запретил избиения и пытки подследственных на Лубянке и в Лефортове.

Потом Кобулов вызвал конвой, и в следственную комнату вошел конвоир, чтобы сопроводить Эйтингона до его камеры. Рисуясь перед Кобуловым, охранник приказал Эйтингону: «Руки за спину!» – обычное обращение с заключенными. Кобулов немедленно оборвал его и приказал обращаться с Эйтингоном с подобающим уважением, как с генерал-майором госбезопасности, так как он уже не под следствием, а под административным арестом. Это, наконец, убедило Эйтингона в том, что все происходящее не игра.

Берия приказал мне и другим генералам проверить сфабрикованные обвинения по сионистскому заговору. Больше всего меня поразило то, что Жемчужина, жена Молотова, якобы установила тайные контакты через Михоэлса и еврейских активистов со своим братом в Соединенных Штатах. Ее письмо к брату, датированное октябрём 1944 года, вообще к политике не имело никакого отношения. Как офицер разведки, я тут же понял, что руководство разрешило ей написать это письмо, чтобы установить формальный тайный канат связи с американскими сионистскими организациями. Я не мог представить себе, что Жемчужина способна

написать подобное письмо без соответствующей санкции.

Я вспомнил о своих контактах с Гарриманом по поводу создания еврейской республики в Крыму; из показаний Жемчужиной я понял, что зондаж американских представителей по этому вопросу осуществлялся не только через меня, но и по другим направлениям, в частности, через Михоэлса. Это убедило меня в том, что мое общение с Гарриманом – лишь одна из немногих попыток обсудить, как можно использовать еврейский вопрос в более широком контексте советско-американских отношений.

Когда я начал обсуждать с Берией ту роль, которую могла бы сыграть Жемчужина в обновлении неформальных контактов с международным еврейским сообществом, он оборвал меня, сказав, что этот вопрос в разведоперациях закрыт раз и навсегда.

Вместо этого он указал на Майского, который, по его словам, фигура гораздо более важная – и идеальная кандидатура для того, чтобы осуществить зондаж наших новых инициатив на Западе. Он мог завязать личные контакты на высоком уровне, чтобы проводить нашу резко изменившуюся после смерти Сталина политику. Академику Майскому, бывшему послу в Лондоне и заместителю министра иностранных дел, тогда уже было под семьдесят. Когда-то он был одним из меньшевистских лидеров, оппонентов Ленина, но позже достиг удивительных высот на советской дипломатической службе. Его в 1952-м тоже обвинили в сионистском заговоре. Против него были сфабрикованы абсурдные обвинения: утверждалось, что еврейские организации за рубежом хотели назначить его министром иностранных дел в новом правительстве после того, как «Абакумов захватит власть».

Берия сказал мне: «Так как вы знали Майского во время войны, еще до Ялты, а ваша жена подружилась с его женой, вы должны подготовиться для работы с ним в будущем».

Начальник контрразведки Федотов, который «пересматривал» дело Майского, посоветовал мне пока с ним не встречаться. «Павел Анатольевич, с первой же моей встречи с ним, когда я официально ему объявил: «Вы находитесь в ведении начальника контрразведки генерала Федотова, которому поручено рассмотреть абсурдные обвинения, выдвинутые против вас, и обстоятельства вашего незаконного ареста», он начал признаваться, что был японским шпионом, потом английским, а потом американским». Майский, конечно, пытался убедить Федотова в своей вине, чтобы избежать избиений и пыток. Он отказывался верить, что Сталин умер и похоронен в Мавзолее; он говорил, что это очередная провокация. Федотов предложил мне отложить все дискуссии по важным дипломатическим вопросам и вопросам разведки недели на две-три. Он по приказу Берии перевел его из камеры в комнату отдыха за своим кабинетом, где Майский смог увидеться с женой, и где ему показали документальные кадры похорон Сталина.

Трехнедельная отсрочка чуть не стала роковой, потому что дело Майского не было закрыто, в отличие от остальных, в мае 1953-го. Когда арестовали Берию, Майский, к которому Маленков и Молотов относились плохо, жил на Лубянке со своей женой, в комнате за кабинетом Федотова. Теперь Майского обвинили в

сговоре с Берией с целью стать при нем министром иностранных дел и вновь посадили в тюрьму, где у него произошел нервный срыв.

Позже моя жена встретила с его женой в приемной Бутырок, где сидели и Майский, и я. Майская сказала, что она ведет фантастическую жизнь, – хотя все деньги Майского и все государственные облигации были конфискованы, ее личные облигации последних пяти лет остались при ней, и одна из них выиграла по государственному займу 50000 рублей (тогда один рубль равнялся четырем американским долларам). Когда она встретила мою жену в тюрьме, куда они обе принесли передачи с едой для своих мужей, Майская не смогла сразу вспомнить, где они встречались. «В Париже, в Лондоне или на приеме в Кремле?» – спросила она. Моя жена улыбнулась и напомнила ей, что это было на даче Емельяна Ярославского, недалеко от нашей дачи, и на квартире Ярославского в центре Москвы.

Проведя в тюрьме четыре года, Майский наконец предстал перед Военной коллегией Верховного суда по обвинению в пособничестве Берии в захвате власти и поддержании связей между Берией и английской разведкой. Майский отвергал все обвинения, и Военная коллегия не смогла найти доказательств его вины. Был вызван Горский (резидент НКВД в Лондоне в то время, когда Майский был там послом), чтобы дать показания о предательской связи Майского с Берией, но он изменил свои первоначальные показания и не поддержал обвинение. Вина была уменьшена до превышения полномочий посла, так как Майский отправлял телеграммы из Лондона не только в Министерство иностранных дел, но и в НКВД Берии – вдруг ему поставили в вину стандартные требования рассылки спецсообщений послов. Его также обвинили в том, что он преступно восхищался западным образом жизни и культивировал западные манеры общения в советском посольстве в Лондоне. Майского приговорили к десяти годам тюрьмы, четыре с половиной из которых он уже отсидел, а вскоре он был амнистирован. Его реабилитировали лишь в 1964 году.

Академик Майский опубликовал свои воспоминания, ни разу не упомянув о зловключениях и злосчастном знакомстве с советской тюрьмой.

Дело по сионистскому заговору в органах безопасности было наконец закрыто в середине мая 1953 года, когда освободили Андрея Свердлова и Матусова, ответственных работников МГБ. Берия назначил Свердлова на должность начальника отдела, отвечавшего за расследования и проверку анонимок. Его коллега Матусов, из записей которого можно узнать весьма интересную хронологию чисток с 1930 по 1950 год, был освобожден в 1953 году, но не восстановлен на службе. Он умер в конце 60-х годов. Моя жена пользовалась его юридическими консультациями, чтобы подкрепить просьбы о моем освобождении. Матусова вскоре исключили из партии и лишили пенсии МГБ за причастность к репрессиям. Опираясь на поддержку Свердлова, он непрерывно апеллировал в КПК при ЦК КПСС.

В 1963 году Матусова и Свердлова вызвал заместитель председателя Комитета партийного контроля Сердюк, протеже Хрущева, который потребовал, чтобы они перестали писать письма в ЦК, иначе партия накажет их обоих за то, что они распускают сплетни, и сверх того – за незаконное преследование знаменитого писателя Александра Солженицына.

Свердлов и Матусов бурно протестовали, утверждая, что они не фабриковали это дело. Письмо Солженицына, критикующее советскую систему и лично Сталина за военные неудачи, было перехвачено во время войны военной цензурой, которая и начала дело против Солженицына. В условиях войны критика военного командования расценивалась по крайней мере как подозрительная. Сердюк прервал их и сказал, что, судя по имеющимся у Комиссии партийного контроля доказательствам, Солженицын всегда был нестигаемым ленинцем, и показал им письмо, которое Солженицын написал Хрущеву.

Свердлов получил выговор по партийной линии, но продолжал работать старшим научным сотрудником в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, куда его перевели после ареста Берии. Матусова же исключили из партии «навсегда». Было официально объявлено, что это решение никогда не будет пересмотрено, но его оставили в покое и позволили заниматься литературной деятельностью. Вместе со Свердловым он написал ряд детективных повестей.

Абакумова не освободили. Берия и Маленков имели на него зуб. Его обвинили в фальсификации дела Жемчужиной. В то время меня не интересовал Абакумов, у меня были свои причины его не любить, но я узнал от Райхмана, что Абакумов отрицал обвинения, связывающие его с сионистским заговором, несмотря на то, что Рюмин зверски его пытал. Райхман рассказал мне, что он вел себя как настоящий мужчина с сильной волей. В 1990 году меня вызвали в качестве свидетеля, когда его дело проверялось военной прокуратурой; я изменил свое мнение о нем, потому что, какие бы преступления он ни совершал, он заплатил за все сполна в тюрьме. Ему пришлось вынести невероятные страдания (он просидел три месяца в холодильнике в кандалах), но он нашел в себе силы не покориться палачам. Он боролся за жизнь, категорически отрицая «заговор врачей». Благодаря его твердости и мужеству в марте и апреле 1953 года стало возможным быстро освободить всех арестованных, замешанных в так называемом заговоре, поскольку именно Абакумову вменялось в вину, что он был их руководителем.

Однако Берия и Маленков решили покончить с Абакумовым. На совещании у себя в кабинете Берия официально объявил, что хотя обвинения Абакумова в заговоре были несостоятельны, но он все равно остается под следствием за разбазаривание правительственных средств, злоупотребление властью и, что было серьезней, за фальсификацию дела против бывшего руководства Министерства авиационной промышленности, командования ВВС, против Полины Жемчужиной, за убийство Михоэлса.

Как только 23 марта 1933 года освободили Эйтингона, его тут же положили в больницу из-за язвы и общего истощения. Он просил меня ускорить освобождение его сестры Сони, которую арестовали вместе с ним в 1931 году и приговорили к десяти годам тюремного заключения «за отказ лечить русских пациентов и содействие сионистскому заговору». Соню вначале приговорили к восьми годам, но прокурор Дарон, еврей по национальности, который наблюдал за следствием в МГБ, боясь обвинений в симпатии к евреям, настоял на большем сроке. Я воспользовался следующей своей встречей с Берией, чтобы передать ему письмо от Эйтингона, который просил за сестру. К счастью для Сони, первый заместитель Берии Круглов

тоже был тогда в кабинете Берии. Когда я попытался объяснить, в чем дело, Берия меня прервал, передал письмо Круглову, не подписывая его, и сказал: «Немедленно организуйте ее освобождение».

Я проследовал за Кругловым в его кабинет, где он продиктовал короткое представление в Верховный суд: «Предпринятая Министерством внутренних дел проверка обвинений против Сони Исааковны Эйтингон показала, что дело сфабриковано, а доказательства ее вины сфальсифицированы. МВД входит в Верховный суд с предложением приговор отменить, а дело против Эйтингон С.И. прекратить за отсутствием состава преступления». Подпись: «С. Круглов, первый заместитель министра внутренних дел СССР».

Я проследил, чтобы письмо было передано в Верховный суд, и попытался ускорить формальности, необходимые для ее освобождения. Определение Верховного суда было подписано только через три недели, но еще неделя потребовалась, чтобы его получила администрация лагеря, где она сидела. Я лично позвонил начальнику лагеря, прося о ее скорейшем освобождении, но он ответил, что она в больнице, и ей будут делать операцию. Используя свое положение, я отдал приказ немедленно выписать ее из лагеря и перевести в местную больницу, как только операция будет сделана.

Ей повезло, что Круглов, а не Берия подписал письмо о ее освобождении. Через несколько недель Берию арестовали, и его резолюция на письме не дала бы ей выйти из тюрьмы в течение как минимум двух лет, когда освободили и других заключенных, отбывавших срок по обвинениям в сионистском заговоре и агитации. Сонино дело было одним из первых в волне реабилитаций, начатой Берией после смерти Сталина.

Конечно, ясно, что даже эта волна, которая казалась исправлением прошлых ошибок, была вызвана амбициозными планами Берии.

Новый Устав Коммунистической партии был одобрен на XIX съезде КПСС в 1952 году, перед смертью Сталина. По этому Уставу правящий орган был лишь один – Президиум Центрального Комитета, сильно расширенный. Политбюро, в котором было только одиннадцать членов, было упразднено. В новом Президиуме было двадцать пять человек, включая старую гвардию – Молотова, Кагановича и Ворошилова – и относительно молодых людей типа Брежнева, Чеснокова и Суслова.

Однако реальная власть была сконцентрирована в Бюро Президиума, неизвестном широкой общественности, которое было выбрано на последнем Пленуме ЦК, где председательствовал Сталин, в октябре 1952 года. В Бюро входили Сталин, Маленков, Берия, Хрущев, Ворошилов, Каганович, Булганин, Сабуров, Первухин. Туда не входили Молотов и Микоян, влиятельные фигуры старой гвардии, которых к этому времени лишили реальной власти. В новом Бюро правили Сталин и молодое поколение.

На Пленуме ЦК 2 апреля 1953 года, когда еще не прошло и месяца после смерти Сталина, Берия обнародовал факты, что Сталин и Игнатьев злоупотребили властью, сфабриковав «дело врачей».

Игнатьев был человеком Маленкова. Его устранение после смерти Сталина как

секретаря ЦК, курировавшего органы безопасности, устраивало Берия и Хрущева, но не устраивало Маленкова, который терял свою опору в Секретариате ЦК партии. Для Маленкова это было особенно опасно, так как в апреле 1953 года он отошел от работы в аппарате ЦК КПСС, будучи освобожденным от должности секретаря ЦК.

Материалы апрельского Пленума 1953 года содержат в основном все те сенсационные обвинения, которыми Хрущев в 1956 году удивил мир в разоблачительном докладе на XX съезде партии.

Не вдаваясь в оценку мотивов инициатив Берии в апреле-июне 1953 года, нельзя не признать, что в его предложениях по ликвидации ГУЛАГа, освобождении политзаключенных, нормализации отношений с Югославией содержались все основные меры «ликвидации последствий культа личности», реализованные Хрущевым в годы «оттепели».

Во время последних лет сталинского правления Хрущев использовал союз с Маленковым и Берией, чтобы усилить свое влияние в партии и государстве. Он добился редкой чести обратиться к XIX съезду КПСС с отдельным докладом по Уставу партии. Одержав победу над своими соперниками с помощью интриг, он расставлял своих людей на влиятельных постах. Редко замечают, что Хрущев умудрился в последний год правления Сталина внедрить четырех своих ставленников в руководство МГБ – МВД: заместителями министра стали Серов, Савченко, Рясной и Епишев. Первые трое работали с ним на Украине. Четвертый служил под его началом секретарем обкома в Одессе и Харькове.

Сразу после Пленума ЦК в апреле 1953 года Маленков потерял свое руководящее положение в аппарате ЦК КПСС. Таким образом, его положение в руководстве теперь полностью зависело от союза с Берией. Он не понимал этого и преувеличивал свой авторитет, все еще думая, что он второй после Сталина человек в партии и государстве, и что все вокруг него, включая Президиум ЦК, заинтересованы в хороших с ним отношениях. Однако после смерти Сталина поведение членов советского руководства стало более независимым, и каждый хотел играть собственную роль. Таким образом, возникла новая обстановка, открывшая путь к восхождению Хрущева к вершинам власти.

Глава 12

Падение Берии и мой арест

В течение суток с момента смерти Сталина Министерство госбезопасности и Министерств о внутренних дел были объединены под единым руководством Берии. 10 марта 1953 года в министерстве были созданы четыре группы для проверки и пересмотра фальсифицированных дел: «заговора врачей», «сионистского заговора», «мингрельского дела» и «дела МГБ».

Сообщение МВД для печати об освобождении арестованных врачей значительно отличалось от решения ЦК КПСС. В этом сообщении Берия использовал более сильные выражения для осуждения незаконного ареста врачей. Однако его предложения по реабилитации расстрелянных членов Еврейского антифашистского комитета были отклонены Хрущевым и Маленковым. Члены ЕАК были реабилитированы лишь в 1955 году. Предложения Берии по реабилитации врачей и членов ЕАК породили ложные слухи о его еврейском происхождении и о его связях с евреями. В начале апреля 1953 года Хрущев направил закрытое письмо партийным организациям с требованием не комментировать сообщение МВД, опубликованное в прессе, и не обсуждать проблему антисемитизма на партийных собраниях.

2 апреля 1953 года Берия адресовал в Совет Министров СССР докладную записку, в которой констатировал, что Михоэлс был оклеветан и злодейски убит по приказу Сталина группой работников МГБ, возглавлявшейся Огольцовым и Цанавой, куда входили еще пять оперативных работников. Он предложил отменить Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении этих лиц орденами, а Огольцова и Цанаву, как исполнителей злодейской акции, арестовать по обвинению в убийстве. Однако Цанаву был арестован лишь полгода спустя, но не за участие в убийстве Михоэлса, а как «член банды Берии». Огольцова и его группу лишили наград, но под суд не отдали. Из партии Огольцова исключили только в 1954 году. Итак, за убийство Михоэлса по-настоящему никто не поплатился, если не считать того, что несколько человек должны были вернуть свои ордена.

Кстати, Берия выступил на Президиуме ЦК КПСС и представил на обсуждение проект более широкой амнистии для политических заключенных. Однако его предложения не были приняты. Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии касался всех лиц, включая и политзаключенных, осужденных на срок до пяти лет. Это решение оказалось непродуманным: свыше миллиона обычных уголовников – воров, насильников, мошенников, хулиганов – одновременно выпустили из лагерей. Города и поселки буквально наводнились шпаной и хулиганьем, обстановка стала опасной и напряженной. В связи с этим Берия перевел аппарат министерства на работу в усиленном режиме, приказал своим заместителям и начальникам управлений обеспечить общественный порядок в столице. Войска МВД были брошены на патрулирование Москвы и массовые обыски чердаков и подвалов. Порядок быстро восстановили. Несомненно, однако, что вызванный амнистией разгул преступности пошатнул поднявшийся было после освобождения

врачей престиж Берии. Знаменательно, что Берия принял решение о передаче ГУЛАГа из МВД в Министерство юстиции и поставил вопрос о его ликвидации. После ареста Берии это решение было отменено.

В апреле 1953 года в поведении Берии я стал замечать некоторые перемены: разговаривая по телефону в моем присутствии (а иногда и еще нескольких старших офицеров госбезопасности) с Маленковым, Булганиным и Хрущевым, он открыто критиковал членов Президиума ЦК партии, обращался к ним фамильярно, на «ты». Как-то раз в присутствии начальника управления идеологической контрразведки Сазыкина он начал вспоминать, как спас Илью Эренбурга от сталинского гнева. По его словам, в 1939 году он получил приказ Сталина арестовать Эренбурга, как только тот вернется из Франции. На Лубянке Берию ждала телеграмма от резидента НКВД в Париже Василевского, в которой тот высоко оценивал политический вклад Эренбурга в развитие советско-французских отношений и его антифашистскую деятельность. Вместо того, чтобы выполнить приказ Сталина, Берия на следующей встрече с ним показал телеграмму Василевского. В ответ Сталин пробормотал:

– Ну что ж, если ты так любишь этого еврея, работай с ним и дальше.

Однажды, зайдя в кабинет к Берии, я услышал, как он спорит по телефону с Хрущевым:

– Послушай, ты сам просил меня найти способ ликвидировать Бандеру, а сейчас ваш ЦК препятствует назначению в МВД компетентных работников, профессионалов по борьбе с национализмом.

Развязный тон Берии в общении с Хрущевым озадачивал меня: ведь раньше он никогда не позволял себе такую вольность, когда рядом были его подчиненные.

В мае 1953 года был отозван в Москву Григулевич. Это сделали по двум причинам: во-первых, надо было убедиться, не «засветил» ли его Орлов (Никольский) в своих разоблачительных статьях, опубликованных за месяц до этого в журнале «Лайф». Во-вторых, если он оставался вне подозрений, его предполагалось привлечь к бериевскому плану объединения Германии и урегулированию отношений с Югославией.

Весной 1953 года мое положение на службе было неопределенным. Заместитель Берии Богдан Кобулов хотел назначить меня начальником инспекции МВД, то есть курировать исполнение приказов и инструкций центрального аппарата всеми территориальными органами госбезопасности. Меня это не слишком устраивало, так как я должен был нести груз ответственности за всю машину министерства и заниматься разбором кадровых дел и конфликтных ситуаций на местах. Круглов, первый заместитель Берии, вместо этого предложил, чтобы Эйтингон и я, сохраняя свои должности в Бюро по разведке и диверсионной работе, были назначены заместителями начальника только что созданного управления идеологической контрразведки. Нашей основной задачей должен был стать окончательный разгром националистического подполья на территории Советского Союза, преимущественно в республиках Прибалтики и в Западной Украине.

Я согласился, но так и не приступил к новой работе. Не прошло и недели, как Берия предложил мне заменить начальника Главного контрразведывательного

управления Федотова. Однако на следующий день, когда мы с Федотовым пришли в кабинет Берии, Кобулов совершенно неожиданно предложил мне должность министра госбезопасности Украины; затем сказал, что, пожалуй, надо послать меня уполномоченным МВД по Германии, чтобы дать возможность пожить в более комфортных условиях. Зная Богдана Кобулова как большого мастера интриг, я ответил, что не могу принять эти предложения по причинам личного характера. Я сослался на состояние здоровья жены и назвал как возможного кандидата для работы в Германии Амаяка Кобулова, в то время начальника управления МВД по делам военнопленных.

Думаю, Богдан Кобулов просто хотел избавиться от меня в центральном аппарате министерства, потому что я слишком много знал об операциях, которые он и Берия проводили против грузинских эмигрантов в Париже. Я знал также, что племянник жены Берии, некто Шавдиа, был захвачен немцами в плен и действовал в качестве нашего агента-двойника, сотрудничая с гестапо в Париже. В 1945 году он вернулся в Москву, а затем уехал в Тбилиси. В 1951 году Сталин распорядился арестовать его за сотрудничество с нацистами и как одного из мингрельских националистов. Шавдиа был приговорен к двадцати пяти годам лагерей строгого режима. Берия не освободил его из заключения, когда возглавил МВД, но родственная связь с осужденным преступником оставалась темным пятном в его биографии и таила в себе потенциальную опасность.

Берия согласился со мной, что я не могу уехать из Москвы. В течение недели я получил назначение на должность начальника вновь созданного 9-го отдела МВД с подчинением непосредственно министру. 9-й отдел, более известный как Бюро специальных заданий, имел в своем подчинении бригаду спецвойск особого назначения для проведения диверсионных операций за рубежом. Хотя никто прямо не говорил о характере задач, которые должна выполнять бригада, моя новая работа соответствовала ранее высказанной Сталиным рекомендации – я фактически стал заместителем начальника Главного разведывательного управления госбезопасности и получил возможность мобилизовать все силы и средства разведки на случай чрезвычайных ситуаций.

После смерти Сталина мы начали пересматривать главные задачи в работе за рубежом и внутри страны. Берия взял инициативу в свои руки.

Я был среди тех, кому он поручил подготовить докладные записки с детальным перечнем и анализом ошибок, допущенных партийными организациями и органами госбезопасности в борьбе с националистическим подпольем в Литве и на Украине. Берия считал необходимым выдвигать местные кадры на руководящие посты, а на должности заместителей назначать людей славянских национальностей. В наших записках отмечались случаи ничем не оправданных депортаций и репрессий в отношении этнических групп, которые не занимались антисоветской деятельностью. Берия всячески настаивал на развитии национальных традиций в области культуры и языка. В частности, его заботила проблема воспитания нового поколения национальной интеллигенции, для которой были бы по-настоящему близки социалистические идеалы. Помню предложение Берии ввести в республиках собственные ордена и награды – это, считал он, поднимет чувство национальной

гордости.

Все это создавало подчас неловкие ситуации. Только что назначенный министр внутренних дел Литвы по наивности направил в секретариат Берии докладную на литовском языке, вызвав настоящий переполох, – никто в центре, разумеется, не знал литовского. Кроме того, когда министр приехал в Москву, чтобы встретиться с Берией, он не мог объяснить детали весьма деликатной операции – радиоигры с британской разведкой. Причина на сей раз заключалась в том, что он потерял портфель с документами в гостинице МВД в Колпачном переулке. Позднее прошел слух, что он потерял свои документы специально. Бывший партийный функционер, а затем председатель исполкома Вильнюса, он не имел ни малейшего желания работать в органах госбезопасности. Он достиг своей цели – ему дали работу в планово-экономическом ведомстве республики.

К сожалению, в то время, когда была подготовлена записка об ошибках в национальной политике на Украине, разгорелся конфликт между вновь назначенным министром внутренних дел Мешиком и местными партийными чиновниками, а также сотрудниками аппарата МВД Украины. Мешик во что бы то ни стало стремился выгнать с работы хрущевского протеже Строкача, которого в 1941 году уволили из органов за то, что он не сумел вывезти часть архива НКВД, когда немцы окружили Киев. К тому же Мешик не ладил с партийными руководителями Украины Сердюком и Шелестом. Сердюк пытался отобрать у МВД дом, использовавшийся под детский сад для детей сотрудников министерства: он облюбовал этот особняк во Львове для себя и своей семьи. Сердюк послал своего помощника в детский сад, а Мешик выставил охрану. Шелест, в то время секретарь Киевского обкома партии, взял в свое пользование для охоты катер пожарного надзора и не вернул. Об этом Мешик доложил в МВД и правительство.

Хотя на заседании украинского ЦК принято было говорить по-русски, Мешик позволил себе дерзко обратиться к присутствующим на украинском языке, порекомендовав шокированным русским, включая первого секретаря ЦК Мельникова, учить украинский язык. Его с энтузиазмом поддержал писатель Александр Корнейчук, также выступивший на украинском и превозносивший Берию, поскольку один из его ближайших родственников благодаря Берии был назначен начальником областного управления МВД и представлен к генеральскому званию.

Мешик с гордостью рассказывал мне об этих эпизодах, свидетельствовавших, по его словам, о правильной линии в национальной политике. Я сказал ему, что он дурак, если вступает в конфликты с местной властью. Потом познакомил его с Музиченко, который был в свое время нашим нелегалом в Париже и имел большой опыт работы с настоящими украинскими националистами. Мы знали, что он сможет отличить настоящих террористов от болтунов и поможет Мешику избежать ненужных столкновений. Музиченко, однако, пришлось отложить свою поездку в Киев, потому что в это время Берия по требованию Хрущева распорядился о доставке в Москву сестер Бандеры, сосланных в Сибирь. Здесь их поселили на явочной квартире, где они находились под домашним арестом, и Музиченко должен был убедить их передать Бандере в Германию послание, чтобы вынудить его пойти

на встречу с нашим представителем.

Музиченко находился в Москве, когда Берию и Мешика арестовали. Поскольку он еще не был утвержден в новой должности заместителя министра внутренних дел Украины, это спасло его от ареста. Он просто перестал являться на работу в органы госбезопасности и возобновил свою прежнюю врачебную деятельность в МОНИКИ. Его дважды допрашивали в прокуратуре относительно якобы имевшихся в деле Мешика планов возрождения буржуазного национализма на Украине. Но он был достаточно опытен и ответил, что ничего не знает, так как не приступал к новой работе.

Абакумов все это время оставался в тюрьме, несмотря на то, что почти все сотрудники госбезопасности, арестованные по тому же делу, были выпущены на свободу, кроме начальника его секретариата и руководителей Следственной части по особо важным делам СМЕРШ и бывшего МГБ.

Берия также положил конец расследованию так называемого «мингрельского дела», начатого два года назад по приказу Сталина. Он освободил секретарей ЦК компартии Грузии Барамиа и Шариа и бывшего министра госбезопасности Рапаву, который, невзирая на пытки, оставался непреклонен и не пошел на ложные признания. Однако главный организатор «мингрельского дела» Рухадзе, который по указке Сталина сфабриковал его, а также установил подслушивающие устройства на квартирах и дачах Берии и его матери в Абхазии и в Тбилиси, оставался в тюрьме.

Хрущев помог Берии поставить точку в «мингрельском деле», оформив это решением ЦК КПСС. Берия лично отправился в Тбилиси после того, как с грузинской партийной организации было снято обвинение в национализме. Мгеладзе, главный противник Берии, который плел против него интриги, был снят с поста первого секретаря ЦК компартии Грузии. С благословения Хрущева Берия назначил на место члена бюро ЦК по кадрам компартии Грузии бывшего начальника своего секретариата в Москве Мамулова. В республиканской компартии происходила крупномасштабная чистка. Позднее Мамулов рассказал мне, что проводить эту бескровную кампанию без арестов ему поручил не Берия, а Хрущев. Ирония судьбы заключалась в том, что Мамулову надо было отделаться от тех, кто обманывал Сталина и писал клеветнические письма в Москву о связи Берии и Маленкова с грузинскими меньшевиками и националистами, хотя именно Сталин приказал написать такие письма на грузинском языке, чтобы иметь компромат на Берию. Позже мы узнали, что Сталин, Рухадзе и Мгеладзе обсуждали за обедом, каким должно быть содержание этих доносов.

Мингрельское происхождение Берии и раньше мешало его карьере, а в конечном счете оказалось роковым. Сердечной дружбе Берии и Маленкова наступил конец в мае 1953 года. Известный драматург Мдивани, лично знавший Берию, вручил начальнику его секретариата Людвигову письмо, в котором обвинял Маленкова, только что ставшего председателем Совета министров СССР, в том, что он в своем докладе на XIX съезде партии будто бы использовал материал из речи царского министра внутренних дел Булыгина в Государственной Думе, когда говорил, что нужны новые Гоголи и Щедрины, чтобы поднять духовную атмосферу в обществе. Обвинение в таком заимствовании – речь шла о партийных документах

– являлось серьезным делом, особенно во время борьбы за власть, обострившейся после смерти Сталина. Берия с возмущением приказал Людвигову списать это письмо и прекратить общение с «грузинской сволочью». Однако письмо в мае 1953 года из секретариата Берии было переслано в секретариат Маленкова – «сердечной дружбе» пришел конец.

Эти интриги происходили как раз в тот момент, когда Берия приступил к осуществлению еще одной инициативы, на сей раз она касалась моего участка работы. На совещании начальников разведслужб Министерства обороны и МВД он резко критиковал Рясного, начальника зарубежной разведки МГБ, выдвиженца Хрущева, за примитивные и малоэффективные методы: сталинские директивы об уничтожении престарелых деятелей эмиграции (Керенского) и второстепенных фигур, по его словам, не имели никакого практического смысла.

Берия сказал, что сейчас главной задачей является создание мощной базы для проведения разведывательных операций. В Германии для этого нужно использовать то, что осталось от прежней агентурной сети «Красной капеллы» в Гамбурге. В странах, граничащих с Соединенными Штатами Америки, надлежало усилить позиции нелегалов. Необходимо также, продолжал он, подготовить решение правительства, обязывающее МИД, Министерство внешней торговли, ТАСС и другие советские загранучреждения расширить поддержку операций советской разведки за рубежом. Он также отметил целесообразность существования двух параллельных разведслужб – в Министерстве внутренних дел и в Министерстве обороны. Первой предстояло собирать развединформацию обычного типа, а второй – проводить специальные операции в случае возникновения опасности развязывания войны. Его аргументы в сущности были повторением сталинских установок с той только разницей, что отныне приостанавливались до особого распоряжения готовившиеся операции по диверсиям и ликвидации за рубежом неугодных правительству лиц.

Берия дал мне указание подготовить в течение недели вместе с начальником военной разведки генералом армии Захаровым и маршалом Головановым, командовавшим специальной бомбардировочной авиацией дальнего действия, доклад о мерах по нейтрализации американского стратегического превосходства в воздухе и проведению диверсий на ядерных и стратегических объектах США и НАТО. Берия приказал представить план выведения из строя базы снабжения ВВС и ВМФ США в Европе. На следующей неделе в просторном кабинете Берии в Кремле, где проходило совещание, адмирал Кузнецов, командующий ВМФ, поблагодарил Берию за то, что тот реабилитировал его помощника вице-адмирала Гончарова, умершего в 1948 году во время допроса. Абакумов обвинял его вместе с Кузнецовым в антисталинских взглядах. Почти все заместители Кузнецова были арестованы в 1948 году, а сам Кузнецов разжалован в контр-адмиралы и назначен командующим Тихоокеанским флотом. Три года спустя Кузнецов написал Сталину письмо с предложениями по стратегическому перевооружению военно-морского флота и по строительству большого подводного флота, созданию атомных подводных лодок. План Кузнецова предусматривал значительное изменение соотношения надводных и подводных кораблей в составе ВМФ. Сталин поддержал предложения Кузнецова и восстановил его в должности командующего военно-морскими силами, хотя его

бывшие заместители по-прежнему оставались в тюрьме. Я всегда относился к Кузнецову с большим уважением и считал его, как и многие другие, выдающимся военачальником, высоко ценимым в кругах нашей разведки. И в этот раз Кузнецов, как всегда и всюду, задавал тон работе совещания.

Я доложил план создания нелегальных резидентур, которые смогут вести регулярное наблюдение примерно за ста пятьюдесятью основными западными стратегическими объектами в Европе и Соединенных Штатах Америки. Адмирал Кузнецов представил на наше рассмотрение другой вариант действий. По его мнению, специальные операции и диверсии должны разрабатываться в соответствии с требованиями ведения современной войны. Нынешние военные конфликты скоротечны, сказал он, они должны заканчиваться быстрым и решительным исходом. Кузнецов предложил обсудить возможность нанесения упреждающих ударов, рассчитанных из-за ограниченности наших ресурсов на уничтожение 3–4 авианосцев США. По его мнению, это дало бы нашим подводникам большие преимущества при развертывании операций против морских коммуникаций противника. Имело бы смысл, продолжал он, провести диверсии на военно-морских базах и в портах Европы, чтобы предотвратить прибытие подкреплений американским войскам в Германии, Франции и Италии. Генерал армии Захаров, позднее начальник Генштаба, заметил, что вопрос об учреждающем ударе по стратегическим объектам противника является принципиально новым в военном искусстве, и его нужно серьезно проработать.

Маршал Голованов не согласился с нами. Он отметил, что в условиях войны, при ограниченных ресурсах, было бы реалистичнее предположить, что мы сможем нанести противнику не более 1–2 ударов по стратегическим сооружениям. И в этом случае следует не атаковать корабли на базах противника, а прежде всего уничтожить на аэродромах часть его мощных военно-воздушных сил, способных нанести ядерный удар по нашим городам.

Я поддержал Захарова, приведя примеры из практики Второй мировой войны и нашего небольшого опыта, полученного в корейской войне, – тогда наши легальные резидентуры имели возможность лишь вести наблюдения за военными базами США на Дальнем Востоке. Что касается опыта прошлой войны, то он ограничивался захватом отдельных объектов, а также лиц, владевших важнейшей оперативной и стратегической информацией. Новые требования в условиях предполагаемой ядерной войны вызвали к жизни необходимость пересмотра всей нашей системы диверсионных операций. Я сказал, что мы нуждаемся не только в индивидуально подготовленных агентах, но также в мобильных ударных группах, которые могли бы быть задействованы всеми основными нелегальными резидентурами. В их задачу должно входить нападение на склады ядерного оружия или базы, где находятся самолеты с ядерным оружием. Наша тактика нападений хорошо срабатывала против немцев в 1941–1944 годах. Однако наши успехи объяснялись отчасти тем, что немцы действовали на враждебной им территории, а в нашем распоряжении была сильная агентурная сеть. Я указал также, что опыт Второй мировой и корейской войн показывает: нарушение линий снабжения противника, особенно когда они растянуты на большие расстояния, может оказаться в оперативном плане куда более важным, чем прямые удары по военным целям. Правда, при прямых ударах

возникает паника в рядах противника и внешне это весьма эффективно, но разрушение линий снабжения является более значительным, а воздействие его – долгосрочным. К тому же военные объекты находятся под усиленной охраной, и при нападении не приходится рассчитывать на выведение из строя более 2–3 сооружений.

Выдвинутый мной план использования диверсионных операций вместо ограниченных нашими возможностями воздушных и военно-морских ударов показался военному руководству убедительным. Все присутствовавшие на совещании в кабинете Берии со мною согласились.

Берия внимательно выслушал меня. Но он еще не представлял, как реорганизованная служба диверсий с более широкими правами должна построить свою работу. Может быть, спросил он, речь идет о комбинированной разведывательно-диверсионной группе всех родов войск? Если так, то не будет ли это такой же неудачей, как созданный Комитет информации? В 1947–1949 годах комитет, разрабатывая операции, исходил прежде всего из потребностей внешнеполитического курса и упускал военные вопросы.

Во время обсуждения генерал Захаров предложил, чтобы диверсионные операции спецслужб проводились по линии всех видов вооруженных сил и Министерства внутренних дел. Однако, по его мнению, приоритет в агентурной работе должен принадлежать моей службе. В то же самое время должна существовать для координации постоянная рабочая группа на уровне заместителей начальников управлений военной разведки, МВД и служб разведки ВМФ и ВВС.

Берия согласился и закрыл совещание. Через месяц мы должны были представить детальный план с предложениями по координации диверсионной работы за границей. Берия обещал помочь ресурсами кадрами, особенно экспертами в области вооружений, нефтепереработки, транспорта и снабжения.

На следующий день Берия вызвал Круглова и меня и распорядился выделить мне дополнительные штаты и средства. Мы решили сформировать бригаду особого назначения для проведения диверсий. Такая же бригада находилась под моим командованием в годы войны и была распущена Абакумовым в 1946 году. Берия и Круглов одобрили мое предложение привлечь наших специалистов по разведке и партизанским операциям к активной работе в органах. Василевский, Зарубин и его жена, Серебрянский, Афанасьев, Семенов и Таубман, уволенные из органов, вновь были возвращены на Лубянку и заняли высокие должности в расширенном 9-м отделе МВД, но через три месяца после моего ареста их снова уволили, а Серебрянского арестовали вскоре после меня, и он погиб в тюрьме.

Между тем я посоветовался с маршалом Головановым относительно возможностей в нанесении воздушного удара по базам НАТО в Западной Европе. Я предложил осуществить пробный полет самолетов, способных атаковать стратегические объекты, и проверить, обнаружат ли их радары противника. Дело в том, что мы уже получили от нашего агента, голландского офицера-летчика, прикомандированного к штаб-квартире НАТО, специальный прибор («свой-чужой»), определяющий принадлежность самолета на экране радиолокатора. Наш

бомбардировщик-разведчик, снабженный этим устройством, вылетел из-под Мурманска в конце мая 1953 года и пролетел вдоль северной оконечности Норвегии, а затем Великобритании, приблизился к натовским стратегическим объектам на расстояние, достаточное для нанесения бомбового удара. Полет не был зафиксирован ПВО НАТО.

Пробный полет мы согласовали с командованием стратегической авиации. Наш офицер связи с Генштабом, по-моему, полковник Зимин, сообщил об успехе операции мне, а я – Берии. Генералы Штеменко и Захаров, как мне сказали, были под большим впечатлением от успеха этой разведоперации.

В мае того же года Берия, используя свое положение первого заместителя главы правительства, без предварительного согласования с Маленковым и Хрущевым, отдал приказ о подготовке и проведении испытания первой водородной бомбы.

Намерения Берии в отношении Германии и Югославии отражали царивший при Маленкове разброд среди руководителей страны. Мысль об объединении Германии вовсе не принадлежала лично Берии: в 1951 году Сталин предложил идею создания единой Германии с учетом интересов Советского Союза (проблема обсуждалась вплоть до строительства Берлинской стены в 1961 году). Игнатьев еще до смерти Сталина утвердил специальный зондажный вопросник наших спецслужб за рубежом по этой проблеме. Перед самым Первомаем 1953 года Берия поручил мне подготовить секретные разведывательные мероприятия для зондирования возможности воссоединения Германии. Он сказал мне, что нейтральная объединенная Германия с коалиционным правительством укрепит наше положение в мире. Восточная Германия, или Германская Демократическая Республика, стала бы автономной провинцией новой единой Германии. Объединенная Германия должна была стать своеобразным буфером между Америкой и Советским Союзом, чьи интересы сталкивались в Западной Европе. Это означало бы уступки с нашей стороны, но проблема могла быть решена путем выплаты нам компенсации, хотя это было бы больше похоже на предательство.

План Берии предусматривал использование немецких контактов Ольги Чеховой, князя Януша Радзивилла и связей Григулевича: в Ватикане они должны были пустить слух, что Советский Союз готов пойти на компромисс по вопросу объединения Германии. Нам необходимо было прощупать реакцию Ватикана и политических кругов Америки, а также влиятельных людей из окружения канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра. После такого зондажа Берия надеялся начать переговоры с западными державами.

К этому делу была привлечена полковник Зоя Рыбкина, начальник немецкого отдела 1-го Главного управления. Она должна была отправиться в Берлин и Вену и провести через Ольгу Чехову зондаж, который, как мы надеялись, повлечет за собой переговоры, подобно тому, как это было в Финляндии в 1944 году. Берия предупредил меня, что этот план является сверхсекретным, и аппарат Молотова, как и все Министерство иностранных дел, подключится к делу лишь на втором этапе, когда начнутся переговоры.

События в Восточной Германии вскоре вышли из-под нашего контроля –

отчасти из-за инициативы Берии. (Подробности о событиях в Германии в мае-июне 1953 года и о дебатах по германской политике, происходивших среди советского и гедезоровского руководства, я узнал от Зои Рыбкиной.) В мае мы вызвали в Москву генерала Волльвебера, министра госбезопасности ГДР, который сообщил нам о серьезном расколе в руководстве после заявления Вальтера Ульбрихта о том, что главная цель ГДР – строительство социалистического государства пролетарской диктатуры. Заявление Ульбрихта вызвало жаркие дискуссии и сильно обеспокоило Москву, поскольку приходилось считаться с настроениями западной общественности и политиков. Наш политический советник при Ульбрихте, бывший посол в Китае Юдин, получил нагоняй. Молотов предложил, чтобы Президиум ЦК партии принял специальное решение о том, что курс на ускоренное строительство социализма в Германии как главная цель является ошибочным. Но Берия, проводя свою линию и спекулируя лозунгом демократической, объединенной и нейтральной Германии, сказал: нам вообще не нужна постоянно нестабильная социалистическая Германия, существование которой целиком зависит от поддержки Советского Союза.

Молотов резко возражал, и вскоре была создана комиссия в составе Берии, Маленкова и Молотова для выработки политической линии по германскому вопросу. Комиссия должна была подготовить условия соглашения объединения Германии с учетом продления на 10 лет срока выплаты репараций в виде оборудования для восстановления промышленности и строительства автомобильных и железных дорог в СССР, что позволило бы нам решить транспортные проблемы и в случае войны быстро перебрасывать войска в Европу. Репарации составляли примерно 10 миллиардов долларов – это сумма, которую раньше мы рассчитывали получить в виде кредитов от международных еврейских организаций для восстановления народного хозяйства. План предусматривал укрепление нашей позиции как в Восточной Германии, так и в Польше, где свирепствовавший в то время экономический кризис заставлял тысячи поляков бежать в Западную Германию. Вопрос о воссоединении Германии стоял остро, потому что нам приходилось снабжать по дешевым ценам сырьем и продовольствием и Восточную Германию, и Польшу, прежде чем коллективное сельское хозяйство и восстановленная промышленность в этих странах смогут принести свои плоды.

5 июня 1953 года в Германию прибыл Семенов, вновь назначенный верховный комиссар, для наблюдения за выполнением московских директив не форсировать ход социалистического строительства и добиваться воссоединения Германии. Позже Семенов рассказывал Зое Рыбкиной, что немецкие руководители умоляли дать им две недели, чтобы они смогли обосновать изменение политического курса. Семенов настаивал на скорейшем ответе, утверждая, что ГДР станет автономной областью в составе объединенной Германии. Поэтому начиная с 5 июня правительство ГДР находилось в состоянии полного паралича – ходили слухи, что дни Ульбрихта сочтены.

Между тем в Москве генерал Волльвебер и полковник Фадейкин, заместитель нашего резидента в Берлине, рассказали мне о растущем недовольстве в Германии, вызванном экономическими трудностями и бездействием управленческих структур. Ульбрихт вместе с другими руководителями ГДР в начале июня был вызван в Москву, где их проинформировали о нашем новом политическом курсе в отношении

Восточной Германии, одобренном Президиумом ЦК партии 12 июня. В связи с заявлением Молотова о том, что в настоящее время ускоренное строительство социализма в Германии представляется бесперспективным, Президиум принял решение «О мерах по оздоровлению политической обстановки в ГДР». Этот документ обязывал Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта изменить направление своей политики и в какой-то степени отражал взгляды Берии (сегодня имеются ссылки на это решение в ряде официальных публикаций, но сам документ не обнаружен).

Несмотря на то, что я не присутствовал на встрече с делегацией из Восточной Германии, на которой были Берия, Маленков, Хрущев, Молотов, Семенов и командующий советскими войсками в Германии генерал Гречко, я узнал впоследствии, что Ульбрихт высказал серьезные возражения против нашего плана. Поэтому Берия, Маленков и Хрущев приняли решение отстранить его.

Вспышка забастовок и выступлений в ГДР 17 июня 1953 года была, возможно, спровоцирована ее зачинщиками, которые считали, что правительство не в силах предпринять ответные шаги и вот-вот падет под нажимом Москвы. Другая версия заключалась в том, что беспорядки были спровоцированы самим Ульбрихтом, отказавшимся выполнить требование бастовавших рабочих об увеличении заработной платы. Я, со своей стороны, полагаю, что имели место оба фактора. В Восточной Германии существовало ложное представление о том, что правительство Ульбрихта не поддерживается русскими, и они не выступят против забастовщиков. Когда произошли эти события, Берия приказал Гречко и Семенову навести порядок с помощью военной силы. Результат был трагическим – тысячи людей погибли. Однако Берия не оставил мысль о воссоединении Германии. Демонстрация силы, как он надеялся, лишь усилит наши шансы в достижении компромисса с западными державами по вопросу мирного объединения Германии. Запад, считал он, расстанется с иллюзией, будто советское присутствие в Германии может быть устранено путем массовых выступлений.

Как я уже говорил, для зондажа реакции Запада по вопросу объединения Германии в Берлин прибыла Зоя Рыбкина. Она встретила с Ольгой Чеховой и по спецсвязи сообщила мне, что контакт возобновлен. Доложить Берии о выполнении задания я не успел: 26 июня он был арестован в Кремле. Я, ничего не объясняя, приказал Рыбкиной немедленно возвращаться в Москву военным самолетом.

Но легче было приказать, чем выполнить приказ. Дело в том, что генерал Гречко получил инструкции из Москвы, обязывавшие его задержать всех сотрудников МВД, недавно прибывших в Германию. Амаяк Кобулов, представитель МВД в Германии, и Гоглидзе, не так давно назначенный Берией начальником военной контрразведки, приехавшие в Берлин, чтобы навести порядок, тут же были арестованы и под охраной отправлены в Москву. Все средства связи оказались под контролем Гречко. Зое Рыбкиной пришлось обратиться лично к нему с просьбой предоставить ей возможность вылететь в Москву. К счастью, генерал никогда не воспринимал женщин всерьез, тем более что она ничего не сообщила о своем задании. Арест Берии тогда еще держался в секрете. Она сказала, что получила приказ немедленно прибыть в Москву. Гречко не имел понятия о том, кто я такой, и

кем может быть эта женщина – полковник службы госбезопасности. Он разрешил ей вылететь, правда, в сопровождении офицеров военной разведки. Ей явно повезло: эти офицеры знали Рыбкину по частым приездам в Германию и сумели уговорить Гречко не задерживать ее. Им было известно также, что последние пять лет она была начальником немецкого направления в Комитете информации, а затем в Управлении разведки МГБ. И, наконец, ей повезло, что секретное задание было дано в устной форме и никаких письменных подтверждений не существовало. Зондаж Берии по поводу воссоединения Германии был прерван, не начавшись. 29 июня 1953 года Президиум ЦК КПСС отменил свое решение от 12 июня по германскому вопросу.

Аналогичная история произошла и с Югославией. Берия убедил Маленкова в необходимости примирения с Тито. План ликвидации Тито был отменен. Берия предложил послать своего представителя, полковника Федосеева, для установления контакта с югославским руководством. Он должен был сообщить югославам наш новый курс на восстановление сотрудничества между нашими странами. Выбор пал на Федосеева потому, что этот молодой энергичный сотрудник разведки имел уже немалый опыт и был недавно назначен на должность заместителя начальника разведывательного главка. Я знал его по годам войны, когда он возглавлял службу контрразведки в Московском городском управлении НКВД и оказывал нам весьма ценную помощь в проведении радиоигр с немецкой разведкой. С 1947 года он работал в Комитете информации. Поскольку он не выезжал на Запад, то не был известен зарубежным спецслужбам. Берия утвердил его резидентом в Белграде, и Маленков одобрил эту кандидатуру, что было документально подтверждено.

Ничего не зная о миссии Федосеева, я занимался проведением параллельного зондажа, направленного на примирение с Тито. Наш агент Григулевич был вызван в Москву для обсуждения с Берией вариантов по улучшению отношений с Югославией. И эта попытка также не состоялась из-за ареста Берии.

После опубликования статей Орлова (Никольского) в американском журнале «Лайф» мы сочли, что Григулевича рискованно направлять с этой миссией, поскольку он, может быть, уже засвечен западными спецслужбами. В результате Григулевич так и не вернулся в Италию, а правительство Коста-Рики, послом которого он был в Ватикане и Югославии, потеряло его из виду. В Москве он стал одним из ведущих ученых-латиноамериканистов. Федосеев, как и Григулевич, так и не поехал в Белград: когда ему надо было отправляться туда, Берию арестовали.

В планы Берии входила кадровая перестановка в венгерском руководстве. Он предложил в качестве кандидата в премьер-министры Имре Надя. С 30-х годов Имре Надь являлся штатным агентом НКВД (кодовое имя «Володя») и высоко ценился нашим руководством. Именно поэтому Берия планировал поставить его на ключевой пост в венгерском правительстве: не приходилось сомневаться, что Имре Надь будет послушно выполнять все приказы Москвы.

В 1956 году он возглавил восстание в Венгрии. Как мне позднее рассказывали, его заманили в ловушку – якобы на конспиративную зондажную беседу с представителями советского правительства. Он был немедленно арестован опергруппой КГБ во главе с Серовым, Коротковым и Крохиным. Сотрудничество Имре Надя с НКВД сыграло роковую роль в его жизни.

5 июня 1953 года мы с женой отправили детей на каникулы в Киев к родственникам, а сами переехали на дачу. Министр внутренних дел Украины Мешик устроил наших детей и присматривавшую за ними племянницу в правительственный дом отдыха. Все складывалось как нельзя лучше, и у меня не было оснований для беспокойства. Дела в Москве шли нормально. Мне не приходилось в эти дни докладывать Берии или его заместителю Круглову ни о каких срочных делах, и никто, в свою очередь, не беспокоил меня срочными поручениями.

Между тем в высшем руководстве обстановка делалась все более напряженной, о чем я тогда не догадывался. Правда, кое-что я заметил. Докладывая Берии об отправке в Берлин Зои Рыбкиной со специальным заданием и делаясь с ним своими планами восстановления в Германии наших агентурных связей военного времени (с использованием «остатков» «Красной капеллы» в Гамбурге и прежних контактов с промышленными кругами – руководством крупнейших фирм «АЭГ» и «Тиесен»), я обратил внимание, что он слушает меня невнимательно, явно чем-то озабоченный.

26 июня, возвращаясь с работы на дачу, я с удивлением увидел движущуюся колонну танков, заполнившую все шоссе, но подумал, что это обычные учения, плохо скоординированные со службой ГАИ. Когда я пришел на Лубянку на следующий день, то сразу понял: произошло что-то чрезвычайное. Портрет Берии, висевший у меня в приемной на седьмом этаже, отсутствовал. Дежурный офицер доложил, что портрет унес один из работников комендатуры, ничего не объяснив. В министерстве обстановка оставалась спокойной. Вопреки широко распространенным слухам не было издано никаких приказов о переброске войск МВД в Москву. Примерно через час меня вызвали в малый конференц-зал, где уже собрались все руководители самостоятельных отделов и управлений и все заместители министра, кроме Богдана Кобулова, Круглов и Серов сидели на председательских местах. Круглов сообщил, что за провокационные антигосударственные действия, предпринятые в последние дни, по распоряжению правительства Берия арестован и содержится под стражей, что министром внутренних дел назначен он. Круглов обратился к нам с просьбой продолжать спокойно работать и выполнять его приказы. Нас также обязали доложить лично ему обо всех известных нам провокационных шагах Берии. Серов прервал Круглова, объявив, что остается на посту первого заместителя министра. Он сообщил также об аресте Богдана Кобулова, его брата Амаяка и начальника военной контрразведки Гоглидзе за преступную связь с Берией. Кроме них, сказал Серов, арестованы министр внутренних дел Украины Мешик, начальник охраны Берии Саркисов и начальник его секретариата Людвигов. Мы все были поражены. Круглов поспешил закрыть заседание, сказав, что доложит товарищу Маленкову: Министерство внутренних дел и его войска остаются верны правительству и парши.

Я быстро пошел в свой кабинет и тут же вызвал Эйтингона. Нам обоим стало ясно, что предстоит серьезная чистка. Однако мы были настолько наивны, что полагали, будто Круглов, решая судьбу руководящих кадров, примет во внимание интересы защиты государства. Два месяца назад Берия пригласил Эйтингона и меня работать под его началом, хотя мы не были близки к нему. Эйтингон оказался большим реалистом, чем я. Он сразу понял, что первый удар будет нанесен по сотрудникам-евреям, недавно восстановленным на службе.

Я тут же позвонил секретарю партбюро 9-го отдела, вызвал его и проинформировал о том, что сказал нам Круглов: Берия арестован как враг народа. Он уставился на меня с недоверием. Я призвал его проявлять бдительность, но сохранять спокойствие и предупредить членов партии, чтобы они не распространяли никаких слухов. Круглов, сказал я, потребовал, чтобы арест Берии и его приспешников оставался в тайне до опубликования официального правительственного сообщения.

Список арестованных озадачил меня тем, что в него попали не только большие начальники, но и простые исполнители вроде Саркисова, отстраненного Берией за три недели до своего ареста. После этого Саркисова назначили на должность заместителя начальника отдела по специальным операциям контрразведки внутри страны, но начальник отдела полковник Прудников отказался взять его к себе. Заместитель Берии Богдан Кобулов заявил Прудникову, участнику партизанской войны, Герою Советского Союза:

– Во-первых, кто ты такой, чтобы оспаривать приказы министра? А во-вторых, не беспокойся, Саркисов скоро уедет из Москвы. Твоей карьере он не угрожает.

Словом, было совершенно ясно, что Саркисов не в фаворе. Это свидетельствовало о том, что решение об аресте Берии было принято раньше, когда Саркисов был еще близок к нему, или же его принимали люди, не знавшие, что Саркисов снят с поста начальника охраны министра.

Берия был арестован по приказу Маленкова. Однако я все же не могу себе представить, чтобы Берия мог выступить против Маленкова, с которым был в доверительных отношениях. Как только 26 июня 1953 года Берию арестовали, все сотрудники его секретариата, знавшие о письме Мдивани, порочившем Маленкова, были немедленно арестованы и брошены в тюрьму. И лишь после падения Хрущева, одиннадцать лет спустя, их амнистировали.

Не дожидаясь конца рабочего дня, я поехал к больной матери, которая уже две недели находилась в нашем госпитале. Об этом я уведомил секретариат Круглова. Позвонив жене на дачу, я договорился с ней встретиться после больницы в центре и вместе пообедать. Она была встревожена больше, чем я, и считала, что список арестованных будет пополняться, в него обязательно попаду и я. Как начальник особо важного подразделения министерства, хорошо известного Маленкову, Молотову и Хрущеву, я не мог избежать их пристального внимания. Все, что нам оставалось, – это быть тише воды и ниже травы, ничего не предпринимать и как можно скорее привезти детей из Киева. Жена тут же позвонила моему брату, директору консервного завода в Киеве, и попросила немедленно отправить детей в Москву, используя его собственные каналы, и ни в коем случае не обращаться за помощью к украинской службе госбезопасности. Она намекнула на человека, с которым он обедал, имея в виду Мешика, об аресте которого еще не было публично объявлено.

К счастью, в госпитале я встретился с Агаянцем, начальником одного из отделов разведуправления министерства, который еще не знал, что происходит. В случае необходимости он всегда мог подтвердить, что я действительно навещал

свою больную мать.

Вечером того же дня мы с женой были у моей старшей сестры, доверительно рассказав ей о происшедших событиях и о грозившем нам обоим аресте. От нас мы еще раз позвонили в Киев, чтобы не пользоваться нашим домашним телефоном. Старший брат Григорий подтвердил, что отправит наших детей вместе с племянницей в Москву на следующий день. Как директор завода, он имел право заказывать билеты на поезд и не должен был ни у кого просить одолжения. Мы решили, что моя старшая сестра Надежда встретит детей на вокзале и отвезет их к себе домой, если жену и меня уже арестуют. Я был уверен, что жену обязательно арестуют либо вместе со мной, либо вскоре после меня. В тот же день я узнал подробности об арестах. Богдана Кобулова арестовали в здании ЦК на Старой площади, куда его вызвали для обсуждения кадровых назначений, Мешика – в ЦК компартии Украины.

Важную информацию два дня спустя сообщил мне младший брат Константин, рядовой сотрудник Московского управления МВД. Его жена была машинисткой в секретариате Маленкова и работала в Кремле. От Константина я узнал, что Берия был арестован Жуковым и несколькими генералами на заседании Президиума ЦК партии и содержался в бункере штаба Московского военного округа. По ее словам, в Кремле в день ареста Берии царил нервная обстановка. Суханов, заведующий секретариатом Маленкова, распорядился, чтобы все сотрудники в течение трех часов – пока длилось заседание Президиума – оставались на рабочих местах и не выходили в коридор. От Константина я узнал, что в Кремле (вещь совершенно беспрецедентная!) появились более десяти вооруженных генералов из Министерства обороны, которых вызвали в Президиум ЦК КПСС. По приказу Серова и Круглова, первых заместителей Берии, охрана правительства передала им несение боевого дежурства в Кремле. Среди них был и Брежнев, заместитель начальника Главного политуправления Советской Армии и ВМФ. Арестованы были еще два сотрудника МВД, о чем никому не объявлялось: начальник управления охраны правительства генерал-майор Кузьмичев и начальник учетно-архивного спецотдела «А» генерал-майор Герцовский.

Информация Константина серьезно встревожила меня: борьба за власть в Кремле приняла опасные размеры. При Сталине входить в Кремль с оружием было строго-настрого запрещено – единственные, кто имел при себе оружие, были охранники. Какой прецедент создавал министр обороны Булганин, приведя группу вооруженных офицеров и генералов, скрытно пронесших свое оружие! Вооруженные офицеры ничего не знали о цели вызова в Кремль: министр обороны распорядился, чтобы они пришли со своим личным оружием, но ничего не объяснил. А что, если бы офицеров со спрятанным оружием остановила охрана, у кого-то не выдержали бы нервы, и в Кремле началась стрельба? Последствия могли быть трагическими. Позже я узнал, что маршал Жуков услышал о плане ареста Берии всего за несколько часов до того, как это произошло.

Людвигова арестовали на футбольном матче двое высокопоставленных офицеров оперативного управления МВД, поджидавшие его у выхода со стадиона «Динамо». Они официально объявили ему, что он находится под арестом, и отвезли

в Бутырскую тюрьму. Позже, в тюрьме, он рассказал мне, что в тот момент решил: его арестовывают по приказу Берии, и поэтому был потрясен, когда через несколько дней на допросе следователи сказали ему, что он обвиняется вместе с Берией в заговоре против советского правительства. Он подумал, не провокация ли это со стороны Берии, чтобы вырвать у него ложные признания и избавиться от него. Потом мелькнула мысль: раз он женат на племяннице Микояна, Берия, близко знавший Микояна и иногда ссорившийся с ним, хочет иметь на него компромат. Впрочем, достаточно скоро прокуроры убедили Людвигова в том, что обвинения против него и Берии могут закончиться расстрелом обоих.

Саркисова арестовали в отпуске, и он также был совершенно уверен, что это сделано по приказу Берии.

Было ясно, что за переворотом в Кремле стоял Хрущев, и арестовали Берию его люди, не Круглов и Серов, заместители министра внутренних дел, а военные, подчинявшиеся непосредственно Булганину, который, как было известно всем, являлся человеком Хрущева. В 30-х годах они вместе работали в Москве, Хрущев был первым секретарем МК и МГК партии, а Булганин председателем Моссовета. Тот факт, что Берию держали под арестом у военных, свидетельствовал: Хрущев взял «дело» Берии в свои руки.

Позже я узнал, что военные по приказу Булганина пошли на беспрецедентный шаг и не позволили Круглову, новому министру внутренних дел, провести допрос Берии. Маленков, формально все еще остававшийся главой правительства, хотя и отдал приказ об аресте Берии, на самом деле уже мало влиял на ход событий. Будучи близким к Берии человеком в предшествовавшее десятилетие, он, по существу, тоже был обречен.

Воспоминания Хрущева об аресте Берии выглядят неубедительными. Сейчас установлено, что Берия не вступал ни в какие заговоры с целью захвата власти и свержения коллективного руководства. Для этого у него не было реальной силы и поддержки в партийно-государственном аппарате. Предпринятые им инициативы показывали, что он хотел лишь усилить свое влияние в решении вопросов как внутренней, так и внешней политики. Берия использовал свои личные связи с Маленковым и фактически поставил его в трудное положение, изолировав от других членов Президиума ЦК партии. Однако положение Берии целиком зависело от Маленкова и его поддержки. Берия раздражал Маленкова в союзе с Хрущевым. Берия поспешил избавиться от Игнатьева, человека Маленкова, который отвечал за партийный контроль над органами безопасности. Маленков, в свою очередь, переоценил собственные силы; он не видел, что поддержка Берии была решающей для его положения в Президиуме ЦК. Дело в том, что Берия, Первухин, Сабуров и Маленков представляли относительно молодое поколение в советском руководстве. «Старики» – Молотов, Ворошилов, Микоян, Каганович, – лишённые Сталиным реальной власти в последние годы его правления, враждебно относились к этому молодому поколению, пришедшему к власти в результате репрессий 30-х—40-х годов. Между этими двумя возрастными группами в марте-апреле 1953 года установилось зыбкое равновесие, но общественный престиж старших лидеров был выше, чем у Маленкова, Хрущева и Берии, которые в глазах народа являлись

прислужниками Сталина, а вовсе не любимыми вождями.

Хрущев успешно маневрировал между двумя этими группами – он поддерживал Берию, чтобы ослабить Маленкова, когда Игнатьев оказался скомпрометированным после провала дела о «заговоре врачей». Поддерживал он его и тогда, когда надо было лишить Маленкова власти, которую давал ему пост секретаря ЦК. Сейчас мне совершенно ясно, что Хрущев вовремя воспользовался недовольством среди других руководителей, вызванным всплеском активности Берии, чтобы устранить его. В 1952 году был упразднен пост Генерального секретаря ЦК партии, это сделало Хрущева единственным членом Президиума ЦК КПСС среди секретарей ЦК. Для достижения высшей власти в стране ему необходимо было избавиться от Маленкова как от главы правительства и ЦК. Для этого нужно было разрушить альянс Маленков – Берия, который обеспечивал Маленкову реальную власть и контроль за работой партийного и государственного аппарата. Хрущеву необходимо было поставить во главе органов безопасности и прокуратуры преданных ему людей.

Архивные документы свидетельствуют, что Хрущев после ареста Берии перехватил инициативу. Под его нажимом Президиум ЦК снял генерального прокурора Сафонова и назначил на эту должность хрущевского протеже Руденко. Только что назначенному генеральному прокурору 29 июня 1953 года поручили расследование дела Берии. Чтобы представить себе, в какой спешке оно проводилось, следует иметь в виду, что его вели в основном те же следователи, которые до этого занимались прокурорским надзором так называемого «сионистского заговора» и «дела МГБ». Я никогда не верил, что Берия организовал заговор, чтобы захватить власть. Теперь меня в этом еще больше убедил писатель Кирилл Столяров, имевший возможность познакомиться с материалами дела Берии. В обвинительном заключении нет ссылок на его приказы, конкретные даты или устные распоряжения. Нет там и указания на места встреч «заговорщиков» и содержания их плана захвата власти. Напротив, материалы дела говорят о том, что Берия в это время был занят своими любовными похождениями. Столяров задал вопрос: как может человек, стремящийся к захвату власти, проводить время с любовницей в тот день, когда им якобы назначен государственный переворот? В деле нет никаких ссылок на то, какие силы он планировал использовать для переворота.

Обвинения против Берии базировались лишь на его «предательских инициативах» в области национальной политики, шагах, направленных на урегулирование отношений с Югославией, и его намерениях объединения Германии. По словам Столярова, версия о «заговоре» включала связь Берии с британской «Интеллидженс сервис»: прокурор сделал это заключение, основываясь на приказе Берии о прекращении следствия по делу Майского, нашего посла в Великобритании, обвинявшегося в шпионаже в пользу англичан. В обвинительном заключении, рассказал мне Столяров, утверждалось, что Майский должен был занять пост министра иностранных дел в правительстве Берии. Берию обвиняли в том, что он без санкции ЦК дал распоряжение о подготовке испытания водородной бомбы. Между тем этот приказ никто не отменил после его ареста, и подготовка продолжалась весь июнь, когда Берия уже сидел в тюрьме, а испытание провели в

августе.

Одно из главных обвинений против Берии заключалось в том, что во время гражданской войны, в 1919 году, он являлся агентом мусаватистской националистической разведки и якобы установил тайные контакты с британской спецслужбой в Баку, которая внедрила его в большевистскую организацию. В приговоре по его делу утверждалось, что Берия уничтожил всех свидетелей своего предательского поведения в годы гражданской войны на Кавказе и оклеветал память славного большевика Серго Орджоникидзе, героя грузинского народа и верного друга Ленина и Сталина.

Позднее, в 50-х годах и до августовского путча 1991 года, все руководители от Хрущева до Горбачева продолжали утверждать, что Орджоникидзе стал жертвой Сталина и Берии из-за своей оппозиции сталинским репрессиям 30-х годов. Однако архивные документы рисуют совершенно иную картину. По словам Мамулова, начальника секретариата Берии, Орджоникидзе подготовил и собственноручно написал заявление в Комиссию партконтроля, подтверждавшее, что Берия был послан коммунистической партией в организацию азербайджанских националистов, с тем, чтобы проникнуть в их спецслужбу. Его работа там представляла ценность для большевистского подполья Баку в период 1918–1920 годов. Этот документ находится в «фонде Берии», в президентском архиве. Там же должны быть документы, подтверждающие личные конфликты Сталина с Орджоникидзе. Последний защищал отдельных людей, но нет никаких свидетельств того, что он в принципе возражал против арестов и репрессий.

В январе 1991 года в журнале «Известия ЦК КПСС» был неожиданно напечатан протокол Пленума ЦК по делу Берии. Выступления на Пленуме Молотова, Маленкова, Хрущева, Микояна и других показывают, что обвинения против Берии основывались на слухах, которые сами же члены Президиума ЦК и распространяли. Протокол не содержит никаких прямых улик, зато пестрит неопределенными замечаниями: «Я думал», «С самого начала я ему не доверял» и тому подобное.

Вслед за арестом Берии, в конце июня или начале июля 1953 года, Маленков назначил секретаря ЦК партии Шаталина по совместительству первым заместителем министра внутренних дел, поручив ему курирование внешней разведки. Я сразу же доложил ему о своей работе, направленной против американских стратегических баз, и попросил дальнейших указаний, показывая, что меня волнуют серьезные дела, а не интриги властей. Я попросил его санкционировать дальнейшее изучение боеготовности натовских баз. В ответ он заявил:

– Я здесь не для того, чтобы что-то решать. И подписывать документы не собираюсь.

И возвратил мою записку-рапорт без комментариев.

После того как об аресте Берии объявили официально, и он был исключен из партии и назван врагом народа, состоялся партийный актив руководящего состава Министерства внутренних дел. Выступления Маленкова и Шаталина с объяснением причин ареста Берии для профессионалов, собравшихся в конференц-зале,

прозвучали наивно и по-детски беспомощно. Аудитория молча выслушала откровения Шаталина о том, что для усыпления бдительности Берии Центральный комитет сознательно пошел на обман, принимая заведомо ложные решения и отдавая соответствующие распоряжения. Все это было беспрецедентно. Все мы верили, что наше руководство ни при каких обстоятельствах не примет директивы для обмана членов партии даже ради самой благородной цели.

Я был тогда настолько наивен, что верил: при Сталине все было по-другому. Да и все мы полагали, что подобный цинизм невозможен. Шаталин между тем продолжал свое выступление. По его словам, руководство Центрального комитета партии и товарищ Маленков вместе с прославленными военачальниками – он упомянул маршала Жукова и генералов Батицкого и Москаленко, которые помогли провести арест Берии, – совершили героический подвиг.

– Совсем непросто было спланировать и провести арест такого злодея, – сказал Шаталин.

Эйтингон, Райхман и я, сидевшие рядом, обменялись многозначительными взглядами. Мы сразу поняли, что никакого бериевского заговора не существует, был анти-бериевский заговор в руководстве страны.

Сразу после Шаталина слово взял заместитель министра по кадрам Обручников и назвал Райхмана, Эйтингона и меня лицами, не заслуживающими доверия. Он вовсе не был нашим врагом – он выполнял то, что ему приказали. Обручников обрушился на меня за то, что я окружил себя одиозными и подозрительными личностями вроде Эйтингона, Серебрянского и Василевского, ранее арестовывавшимися и отстраненными от работы в разведке. Все мои попытки ответить на эти обвинения пресекались председательствовавшим Серовым.

Лишь в 1991 году я узнал: Обручников просто повторил слово в слово то, что сказал Круглов на Пленуме в Кремле.

В отличие от Серова, Круглов не был ключевой фигурой в заговоре против Берии: он так за себя боялся, что в эти тревожные дни потерял половину своего веса.

Шаталин сообщил, что начальник отделения в контрразведывательном управлении полковник Потапов проявил политическую близорукость и вопиющую некомпетентность: встречаясь со своими осведомителями накануне ареста Берии, он позволил себе восхвалить его политическую прозорливость. Шаталин процитировал письмо осведомителя, учившегося в Институте иностранных языков. Я увидел, как побледнело лицо Потапова, услышавшего вопрос Маленкова: «Этот человек здесь?». Потапов поднялся, но был не в состоянии что-либо сказать. Вмешался Серов, заявивший, что такие безответственные люди, допускающие антипартийные высказывания, не могут присутствовать на закрытых партсобраниях, и Потапов был выдворен из зала. К его счастью, он не занимал столь высокое положение, чтобы стоило затевать громкое дело, – его уволили из органов с партийным взысканием.

Хотя партактив и выбил меня из душевного равновесия, я все еще надеялся, что жизнь в министерстве вскоре снова войдет в нормальную колею. Я аккуратно являлся на работу, но никаких существенных дел мне не поручали. Судя по моим

заметкам, актив состоялся 15 июля, а 5 августа меня вызвали в кабинет к Круглову и приказали принести агентурное дело Стаменова, болгарского посла в Москве в 1941–1944 годах, агента НКВД, которого я курировал. Без всякого объяснения Круглов сказал, что нас ждут в «инстанции» – это означало, что мы едем в Кремль. Мы проехали через Спасские ворота и повернули направо к знакомому мне зданию Совета Министров. Там мы прошли тем же самым коридором, что и феврале 1953 года, когда я последний раз видел Сталина. Приняли нас весьма своеобразно. Мы с Кругловым сразу поняли: должно произойти что-то необычное. Вместо того, чтобы пригласить министра и его подчиненного в кабинет, начальник секретариата Маленкова попросил Круглова остаться в приемной (такого не случилось при Сталине), а мне предложил пройти в бывший кабинет Сталина.

За столом сидели Хрущев, Молотов, Маленков, Булганин и Ворошилов. Хотя считалось, что в качестве Председателя Совета Министров Маленков был главой коллективного руководства, приветствовал меня и предложил сесть не он, а Хрущев. По сложившейся практике на встречах такого рода было принято официальное обращение по фамилии с добавлением слова «товарищ». Однако Хрущев обратился ко мне иначе:

– Добрый день, товарищ генерал. Вы выглядите прямо как на картинке (я был в военной форме). Садитесь.

Потом он продолжал уже в обычной официальной манере партийного руководителя:

– Товарищ Судоплатов, вы знаете, что мы арестовали Берия за предательскую деятельность. Вы работали с ним многие годы. Берия пишет, что хочет с нами объясниться. Но мы не хотим с ним разговаривать. Мы пригласили вас, чтобы выяснить некоторые его предательские действия. Думаем, что вы будете откровенны в своих ответах перед партией.

Помолчав, я ответил:

– Мой партийный долг – представить руководству партии и правительства истинные факты. – Объяснив, что меня поразило разоблачение Берии как врага народа, я добавил. – К сожалению, я узнал о его заговоре против правительства лишь из официального сообщения.

В разговор вступил Маленков и потребовал, чтобы я объяснил свое участие в тайных попытках Берии в первые месяцы войны установить контакт с Гитлером, чтобы начать мирные переговоры на основе территориальных уступок.

Стаменов был нашим давним агентом, ответил я. В начале войны, 25 июля, Берия вызвал меня к себе и приказал встретиться со Стаменовым. Мне надлежало использовать его для распространения дезинформации среди дипломатического корпуса в Москве. Дезинформация сводилась к тому, что мирное урегулирование с немцами на основе территориальных уступок вполне возможно. Я уточнил при этом, что Берия хотел встретиться со Стаменовым сам, но ему запретил Молотов. По своей инициативе Стаменов, чтобы произвести впечатление на болгарского царя, должен был передать эти слухи, сославшись на «надежный источник в верхах». На этот счет не было никакого письменного приказа. Я рассказал также, что с

разрешения Молотова договорился об устройстве жены Стаменова на работу в Институт биохимии Академии наук СССР. Наша служба перехвата, имевшая доступ ко всем шифровкам Стаменова и дипломатической почте посольства, не обнаружила в сообщениях в Софию нашу дезинформацию – слух так и не вышел за пределы болгарского посольства. Операцию было решено свернуть.

Маленков прервал меня, предложив пройти в приемную и написать объяснительную записку по данному вопросу. Между тем в кабинет вызвали Круглова, а когда секретарь Маленкова доложил, что я уже написал объяснительную записку, меня снова пригласили в кабинет.

Позднее я узнал, что в показаниях Берии по этому эпизоду говорилось, что он получил от правительства приказ создать с помощью Стаменова условия, которые дали бы нам возможность маневра, чтобы выиграть время для собирания сил. Для этого решено было подбросить через Стаменова дезинформацию и помешать дальнейшему продвижению германских войск.

Хрущев огласил собравшимся мое объяснение, занявшее одну страничку. Молотов продолжал хранить молчание, и Хрущев снова взял инициативу в свои руки и предложил рассказать о моей работе при Абакумове и Берии в послевоенный период. И здесь, мне кажется, я допустил роковую ошибку.

После того как я обрисовал запланированные операции против военных баз НАТО, Хрущев попросил доложить о секретных ликвидациих. Я начал с акции против Коновальца и Троцкого, а затем перешел к специальным операциям в Минске и Берлине в годы войны. Я назвал четыре послевоенные акции: с Оггинсом, Саметом, Ромжой и Шумским – и в каждом случае указал, кто давал приказ о ликвидации, и что все эти действия предпринимались с одобрения не только Сталина, но также Молотова, Хрущева и Булганина. Хрущев тут же поправил меня и, обратившись к Президиуму, заявил, что в большинстве случаев инициатива исходила от Сталина и наших зарубежных товарищей. Наступившее неловкое молчание длилось целую минуту. Неожиданно я получил поддержку. Булганин сказал, что эти операции предпринимались против заклятых врагов социализма. Хрущев закончил беседу, обратившись ко мне:

– Партия ничего против вас не имеет. Мы вам верим. Продолжайте работать. Скоро мы попросим вас подготовить план ликвидации бандеровского руководства, стоящего во главе украинского фашистского движения в Западной Европе, которое имеет наглость оскорблять руководителей Советского Союза.

После этого он дал понять, что вопросов больше нет, и Круглов жестом показал, чтобы я ждал его в приемной. Я оставался там часа полтора, мое беспокойство постепенно росло. Я не поверил ни одному слову из того, что сказал мне Хрущев в заключение. Тяжелое впечатление произвели на меня враждебность Маленкова и молчание Молотова. Агентурное дело Стаменова, начатое в 1934 году, когда он был третьим секретарем болгарского посольства в Риме, мне так и не вернули. Я видел, как Молотов и Булганин внимательно его просматривали, когда я отвечал на вопросы. Оно потом осталось в Президиуме ЦК.

Я был сильно встревожен. Вероятность того, что Круглов выйдет из кабинета с

приказом на мой арест, казалась вполне реальной. Наконец он появился и сделал знак следовать за ним. Уже в машине он сказал, чтобы я немедленно представил ему собственноручно написанный рапорт обо всех известных мне случаях ликвидации – как внутри страны, так и за рубежом, – в том числе и об отмене приказов. Речь шла об операциях, приказы о проведении или отмене которых исходили от Берии, Абакумова и Игнатъева.

У себя в кабинете я составил перечень всех известных мне специальных акций и ознакомил с ними полковника Студникова, секретаря партбюро 9-го отдела. В рапорте я перечислил только те операции, которые были мне лично известны, и в которых я тем или иным образом был задействован. Затем попросил Студникова отнести документ в секретариат Круглова, так как хотел быть уверен, что у меня есть свидетель. А по министерству уже гуляли слухи, что моя служба несет ответственность за тайные массовые убийства, совершенные по приказу Берии.

После того, как секретарь Круглова подтвердил, что Студников передал мой рапорт в запечатанном конверте, я отправился на дачу, чтобы обсудить ситуацию с женой. Хотя мы старались сохранять оптимизм, она оказалась права, полагая, что скорее всего новое руководство рассматривает меня как активного соучастника всех дел Берии.

Через 2–3 дня я узнал от своего младшего брата Константина, что мое имя начало всплывать в протоколах допросов Берии, Кобулова и Майрановского. По вертушке мне я позвонил генеральный прокурор Руденко и потребовал явиться к нему, чтобы, как он выразился, «прояснить некоторые известные вам существенные факты». Прежде чем отправиться к генеральному прокурору на Пушкинскую улицу, я сказал себе: стреляться я не собираюсь и буду бороться до конца – я никогда не был ни сообщником Берии, ни даже человеком, входившим в его ближайшее окружение.

В Прокуратуре СССР я столкнулся в приемной с генералом армии, Героем Советского Союза Масленниковым, который вышел из кабинета Руденко. Мы кивнули друг другу, и я успел заметить, что лицо его было мрачным.

В качестве первого заместителя министра внутренних дел он командовал войсками МВД; звание Героя Советского Союза он получил как командующий фронтом во время войны. Я всегда относился к нему с большим уважением.

В кабинете Руденко находился полковник юстиции Цареградский: за время беседы он не произнес ни единого слова и лишь аккуратно записывал вопросы Руденко и мои ответы. Руденко заявил, что получил указание от Центрального комитета партии оформить мои объяснения, приобщив их затем к делу Берии, и сделал упор на то, что в моих объяснениях истории со Стаменовым содержатся ссылки на Сталина и Молотова. Их следует исключить, сказал он, и заменить ссылками на Берию, отдававшего вам все распоряжения и приказы, которые он получал в «инстанции».

Я не возражал: ведь для каждого, кто был знаком с порядками тех времен, такая постановка вопроса считается нормальной. Так, в своих докладных записках министру я никогда не писал, что предлагаю ту или иную акцию по распоряжению

товарища Хрущева или Маленкова. Вместо имен и должностей говорили и писали «инстанция», которая и признавала целесообразным провести ту или иную операцию.

С самого начала мне не понравился тон и сами вопросы, которые задавал Руденко. Они были примерно такого рода:

– Когда вы получили преступный приказ Берии начать зондаж возможности тайного мирного соглашения с Гитлером?

Я тут же запротестовал, отметив, что такие выражения как «преступный приказ» не использовались товарищами Маленковым и Хрущевым, когда они задавали вопросы и выслушивали мои объяснения. О преступных деяниях Берии я узнал лишь из официального сообщения правительства. Сам же я, как старший оперативный работник, не мог себе представить, что человек, назначенный правительством руководить органами безопасности, является преступником, ныне разоблаченным.

Моими запротоколированными ответами Руденко остался весьма недоволен. Хотя он и сохранил вежливость в обращении, но упрекнул меня за то, что я слишком официален и употребляю бюрократические выражения в разоблачении такого заклятого врага партии и правительства как Берия. На Лубянку я возвращался, естественно, в самом мрачном настроении: вновь прокручивая в памяти беседу в прокуратуре, я пытался представить себе, что за этим последует. Я понимал, что будущее ничего хорошего мне не сулит, и был абсолютно прав.

Вскоре я узнал о переменах весьма зловещего характера. Первый заместитель министра внутренних дел Серов объявил мне: 9-й отдел отныне больше не самостоятельное подразделение, а входит в состав Главного разведуправления, которое после ареста Берии возглавил Панюшкин. Это был самоуверенный, но лишенный всякой инициативы бюрократ, так и не приобретший никакого опыта в разведывательных операциях, несмотря на то, что был и послом, и резидентом в Китае, а затем в Вашингтоне в начале 50-х годов. Это явно шло вразрез с заверениями Хрущева о том, что я буду продолжать свою работу по-прежнему. Панюшкин и Серов старались выведать у меня как можно больше об оперативных планах моей службы. Хотя они и подтвердили, что я остаюсь заместителем начальника разведуправления, мне, к моему удивлению, предложили взять отпуск–отдохнуть, к примеру, в министерском санатории. Я согласился, но сказал, что скоро начинается учебный год, я мог бы взять отпуск после того, как дети пойдут в школу.

Обдумывая предложение насчет отпуска, я все больше склонялся к тому, что они, возможно, хотят арестовать меня без шума вне Москвы и сохранить арест в тайне. Поднявшись к себе на седьмой этаж, я узнал потрясшую меня новость – Масленников застрелился в своем кабинете. Позднее мне стало известно, что его допрашивали о якобы имевшихся у Берии планах ввести в Москву войска МВД, находившиеся под его командованием, и арестовать все правительство. Такого плана в действительности не существовало, и Масленников решил: лучше покончить с собой, чем подвергнуться аресту. Так он защитил свою честь генерала армии.

Ситуация была крайне напряженной. Жена позаботилась о том, чтобы дома у

меня не было доступа к оружию, – она боялась, что я покончу жизнь самоубийством, чтобы избежать ареста и спасти семью от высылки в Сибирь.

В эти дни нас навестил Райхман, увезенный Серовым через неделю после партактива по делу Берии. По словам Райхмана, у которого были связи в правительственных кругах, его заверили, что чистка будет ограничена лишь теми, кто уже арестован вместе с Берией, и он надеялся, что его и Эйтингона заставят только уйти в отставку. Мы оба хотели думать, что так и будет. Ведь мы никогда не принадлежали к числу лиц, близких к Берии, а те, кто действительно к ним относился, такие, как Круглов и Серов, по-прежнему находились у власти. Предположение Райхмана оказалось ошибочным.

Эйтингон, Елизавета и Василий Зарубины, Серебрянский, Афанасьев, Василевский и Семенов были отстранены от работы. Эйтингона и Серебрянского позже арестовали, а других уволили, хотя самому старшему из них было чуть больше пятидесяти. Семенов, известный своими героическими действиями в добывании атомных секретов для нашей страны, был изгнан из органов без пенсии. Через полгода после моего ареста из разведки уволили Зою Рыбкину. Ее послали служить в системе ГУЛАГ на Севере. В отставку она вышла в 1955 году, получив пенсию МВД, а не КГБ.

Прошло несколько дней, 21 августа 1953 года, меня арестовали. Это была пятница. Я находился у себя в кабинете, когда позвонил дежурный офицер секретариата министерства и осведомился, не собираюсь ли я вызвать Эйтингона, моего заместителя, для оформления его пенсионного дела ввиду отсутствия в кадрах документов по зарубежным командировкам. Дежурный офицер, подполковник, то есть младше меня по званию, интересовался делом, которое не входило в его служебную компетенцию. Я понял: это плохое предзнаменование... Через какое-то время позвонил Эйтингон и сказал, что его вызвали в отдел кадров министерства, а у него разыгралась язва, поэтому он не может поехать. Я ответил, что не знаю, зачем его вызывали. Прошел час – в дверях кабинета появился майор Бычков, мой секретарь. Доставлен пакет, сказал он, с секретной личной директивой министра. В это время у меня на докладе был Студников, один из моих заместителей и секретарь парторганизации. Я приказал ему выйти из кабинета, и Бычков ввел трех офицеров.

Одного из них я знал – это был подполковник Гордеев, начальник службы, отвечавшей за аресты, задержания и обыски в особо важных случаях. Гордеев лично проводил аресты Вознесенского, члена Политбюро, Кузнецова, секретаря ЦК партии, Шагурина, министра авиационной промышленности, и других высших должностных лиц. Я сразу спросил, есть ли у них ордер на мой арест. Гордеев предъявил его и сказал, что приказ подписан Кругловым, а ордер – Серовым. Тогда я предложил не проходить через приемную, чтобы у сотрудников не вызвать панику, а выйти в другую дверь. Это было грубым нарушением закона, но они согласились. По всем правилам я должен был подписать акт о проведении обыска у себя в кабинете и оставаться на месте, пока он не будет закончен.

Мы спустились вниз с седьмого этажа во внутреннюю тюрьму, находившуюся в подвале Лубянки. Без соблюдения формальностей я заполнил регистрационную карточку и был заперт в тюремной камере как заключенный под номером восемь.

Я так волновался, что не запомнил того, что происходило вокруг меня. Помню только – у меня страшно разболелась голова, но, к счастью, в кармане обнаружил таблетки. Тут я сообразил, к своему удивлению, что меня даже не подвергли личному обыску, только проверили, нет ли при мне оружия. Наступило время обеда, я с трудом заставил себя съесть ложку супа, чтобы проглотить таблетку, и начал обдумывать свое положение. В этот момент открылась дверь, и двое надзирателей поспешно вывели меня в административный блок тюрьмы, где и обыскали. У меня отобрали все, включая таблетки от головной боли. Сняли с руки швейцарские часы-хронометр, купленные мной пятнадцать лет назад в Бельгии, и положили в нагрудный карман моего пиджака. Меня провели к закрытой тюремной машине, и в последний момент один из надзирателей выхватил из кармана мои часы. Это мелкое воровство потрясло меня: я не мог себе представить, что надзиратели особо секретной внутренней тюрьмы могут вести себя как карманники. Вот о чем я думал в тот момент, хотя мне становилось все яснее, что я обречен. Потом я вдруг подумал, что, может быть, смогу использовать кражу часов в свою пользу.

Меня доставили в Бутырскую тюрьму, где снова повторился обыск, затем поместили в одиночную камеру, ничем не отличающуюся от камеры финской тюрьмы, где мне пришлось в молодые годы сидеть несколько месяцев. Первый допрос состоялся в тот же день, поздно вечером. Допрашивали меня Руденко и полковник юстиции Цареградский. Руденко грубым тоном объявил мне, что я арестован как активный участник заговора Берии, целью которого был захват власти, что я доверенное лицо и сообщник Берии в тайных сделках с иностранными державами против интересов советского государства, что я организовал ряд террористических актов против личных врагов Берии и планировал теракты против руководителей советского государства.

Выслушав эти чудовищные обвинения, я стал резко протестовать против незаконных в отношении меня как арестованного действий: я не присутствовал при обыске в своем кабинете, мне не дали опись изъятых при обыске вещей, и в завершении при доставке под конвоем в Бутырскую тюрьму у меня были похищены надзирателем швейцарские ручные часы-хронометр.

Руденко и Цареградский остолбенело уставились на меня, не веря собственным ушам. Наконец Руденко пришел в себя и сказал, что прикажет во всем разобраться. Пока оба были в замешательстве, я решил пойти дальше и выразить протест, что меня вопреки закону допрашивают в ночное время. Но Руденко был уже начеку и оборвал меня:

– Мы не будем придерживаться правил, допрашивая заклятых врагов Советской власти. Можно подумать, что у вас в НКВД соблюдались формальности. С вами, Берией и со всей вашей бандой будем поступать так же.

Копию протокола моего первого допроса от 21 августа 1953 года Руденко направил Маленкову. Я узнал об этом сорок лет спустя, когда советник президента Ельцина генерал-полковник Дмитрий Ваткогонов показал этот документ моему сыну. Протокол, надо отдать должное Руденко, не содержит фальсификаций и сфабрикованных признаний. В нем зафиксировано, что я не признал предъявленные мне обвинения, но о «предательской» деятельности Берии мне стало известно из

официального сообщения, и ни о каком заговоре в Министерстве внутренних дел я не знал. Правда, о моих протестах в протоколе не упоминалось.

На следующее утро в камере появился дежурный офицер с описью отображенных у меня при обыске вещей, среди них были часы-хронометр. Я подписал документ.

На втором допросе, который, кстати, проходил днем, Руденко вежливо спросил о моей биографии. Отвечая на его вопросы, я подчеркнул, что не имел никаких связей с Берией до назначения его в 1938 году в центральный аппарат НКВД.

Внезапно Руденко предложил мне дать свидетельские показания против Берии: рассказать о его плане тайного сговора с Гитлером по заключению сепаратного мира при посредничестве болгарского посла Стаменова, о привлечении «английского шпиона» Майского для установления тайных контактов с Черчиллем и, наконец, о готовившихся терактах по уничтожению советского руководства с помощью ядов. Руденко добавил, что Берия также отменил приказ правительства о похищении главарей грузинской эмиграции в Париже, поскольку среди них был дядя его жены. Помочь нам разоблачить злодейские планы Берии – ваш партийный долг, сказал он.

Во-первых, я не знал об этих чудовищных планах, ответил я, а во-вторых, Стаменов был нашим агентом, через него по приказу правительства запускалась дезинформация, рассчитанная на дипломатические круги и в конечном счете на немцев о возможном мирном договоре с Гитлером на основе территориальных уступок, чтобы выиграть время, остановить наступление немецких войск. Что касается Майского, то последний раз я беседовал с ним в 1946 году, когда Берия уже не руководил органами госбезопасности, а занимался только разведкой по атомному оружию, и я не имел с ним с тех пор никаких связей. Предъявленная мне на допросе докладная британского сектора, в которой анализировались контакты Майского, подписанная Федотовым, одним из руководителей Комитета информации в то время, представляла собой обычный служебный документ и рассылалась всем руководителям разведслужб. Я также отрицал участие в террористических планах против врагов Берии: в течение тридцатилетней службы в органах безопасности я делал все, зачастую рискуя жизнью, чтобы защитить правительство, государство и советских людей от наших общих врагов.

Руденко грубо прервал меня и предъявил еще одно обвинение: я не выполнил приказ Сталина и Маленкова о ликвидации таких злейших врагов советского государства как Керенский и Тито. Он сказал:

– Не питайте иллюзий, что если вы и Эйтингон много лет назад провели операции по ликвидации Троцкого и Коновальца, то это вас спасет. Партия и правительство предлагают вам сотрудничать с нами в разоблачении преступных действий Берии, и от того, как вы поможете нам, зависит ваша судьба. Если вы откажетесь сотрудничать с нами, то мы уничтожим не только вас, но и всю вашу семью. Сейчас вы являетесь заключенным номер восемь в составе группы из пятидесяти человек, арестованных по делу Берии.

За годы репрессий и показательных процессов я, конечно, знал, какими методами добывались признаний и лжесвидетельств. Ванников, заместитель Берии в спецкомитете по атомной проблеме, арестованный в 1941 году по приказу Сталина,

рассказывал мне, что его избивали, лишали сна, пока он не дал ложное показание, что занимался саботажем.

Из следственных дел наших разведчиков, арестованных в 1937–1938 годах (их досье я просматривал в 1941 году, когда предложил Берии освободить из тюрем сотрудников с опытом работы и борьбы с противником за рубежом), я понял одно: хотя твоя судьба и предопределена, единственный способ сохранить человеческое достоинство и свое имя чистым – отрицать приписываемые тебе преступления, пока хватит сил. Вместе с тем я понимал, что, спасая себя и свою семью, я не должен проявлять скептицизм по поводу существования заговора Берии. Именно поэтому я заявил, что готов сообщить о всех известных мне фактах. Одновременно я продолжал настаивать, что ничего не знал о заговоре Берии и ликвидациих неугодных ему людей. Я сказал, что приказ о планировавшемся похищении главарей грузинской эмиграции в Париже и отмена его исходили от правительства, что и было подтверждено после ареста Берии на заседании Президиума ЦК КПСС 5 августа 1953 года министром Кругловым в моем присутствии.

Это была моя последняя встреча с Руденко. Через день допросы возобновились, но вел их теперь Цареградский, предъявивший мне официальное обвинение в заговоре с участием Стаменова с целью заключения тайного сепаратного мира с Гитлером; в создании особой группы при наркоме внутренних дел для совершения по приказам Берии тайных убийств враждебно настроенных к нему лиц и руководителей партии и правительства, в сговоре с «сионистом» Майрановским, бывшим начальником «Лаборатории-Х», для совершения этих убийств с применением специальных ядов, которые нельзя обнаружить. По его словам, я использовал Майрановского, которого арестовали до меня, как якобы своего родственника и доверенное лицо для убийства врагов Берии на явочных конспиративных квартирах и дачах НКВД – МГБ.

К этим обвинениям он добавил еще участие в заговоре с целью захвата власти в стране и сокрытие от правительства информации о предательских действиях югославской «клики Тито» в 1947 и 1948 годах и намерении Берии убежать за границу. В частности, речь шла о плане Берии использовать для побега на Запад бомбардировщик с военно-воздушной базы вблизи Мурманска. Я отверг эти домыслы и заявил: военно-воздушные силы мне не подчинялись, и поэтому я не мог помочь в осуществлении подобного плана. Упоминание о базе ВВС под Мурманском ясно показывало, как исказили операцию по успешной проверке системы ПВО НАТО. Полет нашего бомбардировщика дальнего действия над военными объектами в Норвегии позволил определить уязвимость американцев и англичан. Когда, почти сорок лет спустя, я встретился с полковником Зиминным, нашим офицером, поддерживавшим контакты с Генштабом, он рассказал мне, что тот полет едва не привел к его аресту. Известно, что Берия, как первый заместитель главы правительства, санкционировал этот полет, но не доложил Маленкову. Вот этот-то факт и был приведен как доказательство, что Берия хотел использовать военно-воздушную базу под Мурманском в случае провала его заговора.

Генерал-полковник Штеменко, заместитель начальника Генштаба, как инициатор этих «предательских планов», которому не было тогда еще и пятидесяти,

вынужден был уйти в отставку. Хрущев и Маленков его пощадили – не хотели, чтобы перед судом по делу Берии предстали высшие военные чины. В действующую армию Штеменко вернул Брежнев почти пятнадцать лет спустя для разработки планов военного вторжения в Чехословакию. Штеменко выполнил задание блестяще и получил за это звание генерала армии и четвертую звезду Героя Советского Союза.

Цареградский предъявил мне обвинение в том, что я «самым трусливым и предательским» образом сорвал операцию по ликвидации Тито. Все протесты и требования дать мне возможность опровергнуть эти обвинения, конечно, игнорировались.

Цареградский инкриминировал мне связь с расстрелянными «врагами народа» – Шпигельгласом, Мали и другими разведчиками. Он старался представить меня их сообщником, заявляя, что Берия знал о существовании уличающих меня связей с ними, но предпочел умолчать о них, чтобы надежнее завербовать меня в свою организацию заговорщиков. Обманывая партию и правительство, я получал якобы из рук Берии незаслуженно высокие награды за свою работу. При этом, сказал он, Берия скрыл от ЦК и правительства, что на меня есть множество компрометирующих материалов в Следственной части НКВД, и добился моего назначения одним из руководителей советской разведки.

В годы войны я, по словам Цареградского, выполняя указания Берии, тайно заминировал правительственные дачи и загородные резиденции, а затем скрыл минирование этих объектов от Управления охраны Кремля, чтобы ликвидировать руководителей партии и правительства в подходящий для заговорщиков момент. Позднее я узнал, что в прокуратуру был вызван мой заместитель полковник Орлов, с которым мы работали вместе в годы войны – он являлся начальником штаба войск Особой группы при НКВД и командовал бригадой особого назначения. Ему приказали обследовать совместно с группой сотрудников правительственные резиденции в районе Минского шоссе в поисках заложенных по моему приказу мин. Поиски продолжались полтора месяца, никаких мин не обнаружили.

В действительности дело обстояло следующим образом. Мне было поручено руководить минированием дорог и объектов в Москве и Подмосковье, чтобы блокировать немецкое наступление в октябре 1941 года под Москвой. Но после того как немцев отбили, мины были сняты, причем делалось все это под строгим контролем по детально разработанному плану. Очевидно, Хрущев и Маленков поверили этой байке о минировании их дач, состряпанной в прокуратуре или добытой ценой вынужденных признаний. Специальные группы саперов также пытались обнаружить «спрятанные» Берией в спецтайниках сокровища: их искали возле его дачи, на явочных квартирах и дачах НКВД в Подмосковье, но ничего не нашли.

На допросах меня не били, но лишали сна. Следовательские бригады из молодых офицеров, сменявшие друг друга, до пяти утра без конца повторяли один и тот же вопрос: признаете ли вы свое участие в предательских планах и действиях Берии?

Примерно через полтора месяца мне стало ясно, что признание вовсе не важно для Цареградского. Меня просто подведут под формальное завершение дела и расстреляют как неразоружившегося врага партии и правительства, упорно отрицающего свою вину. Однако я понял, что некоторые арестованные, например, Богдан Кобулов, пытаются тянуть время. Цареградский показал мне выдержки из протокола его допроса: Кобулов не давал показаний о шпионаже, операциях с иностранными агентами, вместо этого он говорил, что аппарат Судоплатова «был засорен» подозрительными личностями. Опытный следователь, Кобулов старался создать впечатление, будто он сотрудничает с прокуратурой и может быть полезен ей в будущем. Для меня подобный вариант был неприемлем. Я понимал, что вхожу в список лиц и чинов МВД, подлежащих уничтожению. Обвинения против меня основывались на фактах, которые правительство страны рассматривало не в их истинном свете, а как повод, чтобы избавиться от меня – нежелательного свидетеля.

Пока шли допросы, я сидел в одиночной камере. Мне не устраивали очных ставок со свидетелями или так называемыми сообщниками, но у меня было чувство, что совсем рядом находятся другие ключевые фигуры по этому делу. Например, я узнал походку Меркулова, когда его вели на допрос по коридору мимо моей камеры. Я знал, что Меркулов был близок к Берии на Кавказе и позже в Москве, но в течение последних восьми лет не работал с ним, поскольку был снят с поста министра госбезопасности еще в 1946 году. Я понял, что Руденко получил указание оформить ликвидацию людей, которые входили в окружение Берии даже в прошлом. Я знал также, что Меркулов перенес инфаркт сразу после смерти Сталина и был серьезно болен. Если Берия планировал свой заговор, невозможно себе представить, чтобы Меркулов мог играть в нем сколько-нибудь серьезную роль.

На этом этапе следствия я решил действовать в духе советов, которые давал мой предшественник и наставник Шпигельглас своим нелегалам, пойманным с поличным и не имевшим возможности отрицать свою вину – постепенно надо перестать отвечать на вопросы, постепенно перестать есть, без объявления голодовки каждый день выбрасывать часть еды в парашу. Гарантировано, что через две-три недели вы впадете в прострацию, затем полный отказ от пищи. Пройдет еще какое-то время, прежде чем появится тюремный врач и поставит диагноз – истощение; потом госпитализация – и насильное кормление.

Я знал, что Шпигельгласа «сломали» в Лефортовской тюрьме. Он выдержал эту игру только два месяца. Для меня примером был Камо (Тер-Петросян), возглавлявший подпольную боевую группу, которая по приказу Ленина захватила деньги в Тбилисском банке в 1907 году и переправила их в Европу. Там Камо был схвачен немецкой полицией, когда его люди пытались обменять похищенные деньги. Царское правительство потребовало его выдачи, но Камо оказал пассивное сопротивление: притворился, что впал в ступор. Лучшие немецкие психиатры указали на ухудшение его умственного состояния. Это спасло Камо. После четырех лет пребывания в немецкой тюремной психиатрической лечебнице он был выдан России для продолжения медицинского лечения в тюремном лазарете, из которого ему удалось бежать. После революции Камо работал в ЧК с Берией на Кавказе и погиб в Тбилиси в 1922 году: он ехал на велосипеде по крутой улице и буквально скатился под колеса автомобиля.

Как рассказывал Камо молодым чекистам, наиболее ответственный момент наступает тогда, когда делают спинномозговую пункцию, чтобы проверить болевую реакцию пациента и вывести его из ступора. Если удастся выдержать страшную боль, любая комиссия психиатров подтвердит, что вы не можете подвергаться допросам или предстать перед судом.

К концу осени я начал терять силы. Цареградский старался обмануть меня, говорил, что для меня не все потеряно: прошлые заслуги могут быть приняты во внимание. Но я не отвечал на вопросы, которые он мне задавал. Действительно, охватившее меня отчаяние было столь сильным, что однажды я швырнул алюминиевую миску тюремной баланды в лицо надзирателю. Вскоре в камере появилась женщина-врач, я не отвечал ни на один вопрос, и она предложила перевести меня в больничный блок стационарного обследования.

В больничный блок меня доставили на носилках и оставили лежать в коридоре перед кабинетом врача. Неожиданно появилась группа заключенных уголовников, человека три или четыре, использовавшихся в качестве санитаров. Они начали орать, что надо покончить с этим легавым, и кинулись избивать меня. Я был слишком слаб, чтобы оказать сопротивление, и лишь увертывался, пытаясь ослабить силу ударов. Избиение длилось несколько минут, но у меня сложилось твердое убеждение, что за этой сценой наблюдали из своих кабинетов врачи. Вернувшаяся охрана прогнала моих мучителей. Я понял: уголовникам было дано указание не бить меня по голове.

В палате меня стали насильно кормить. Об этом времени сохранились самые смутные воспоминания, потому что я находился фактически в полубессознательном состоянии. Через несколько дней пребывания в больнице мне сделали пункцию – боль на самом деле была ужасной, но я все же выдержал и не закричал.

Из записей, которые вела жена, следует, что я оставался в психиатрическом отделении больницы в Бутырках больше года. И все это время меня принудительно кормили. Я смог выжить только благодаря тайной поддержке жены. Через два-три месяца я начал чувствовать эту поддержку: каждую неделю в тюрьму доставлялась передача, и санитары выкладывали передо мной ее содержимое, чтобы пробудить аппетит, – свежие фрукты, рыбу, помидоры, огурцы, жареную курицу... Я видел, что еда, которую мне приносили, не походила на ту, что дают иногда особо важным заключенным, чтобы заставить их заговорить, и знал, глядя на фаршированную рыбу: ее могла приготовить только теща. Сердце наполнялось радостью: в семье все в порядке, можно не беспокоиться, а Цареградский говорил, что мои близкие высланы и отреклись от меня как от врага народа.

Спустя несколько месяцев медсестра, постоянно дежурившая в моей палате, сказала поразившие меня слова:

– Павел Анатольевич, я вижу, вы не едите помидоры. – И, посмотрев мне в глаза, добавила. – Я сделаю вам томатный сок. Он вас подкрепит. Люди говорят, чтобы выжить, это просто необходимо.

Так завязались между нами особые дружеские отношения. Во время своих дежурств она присаживалась ко мне на больничную койку и молча читала книгу.

Однажды я обратил внимание на газету, в которую была завернута книга, и увидел сообщение о расстреле Абакумова. Это навело меня на мысль, что расстрелян, следовательно, и Берия, и все ответственные сотрудники, арестованные по его делу. Там же было несколько имен сотрудников МГБ гораздо ниже меня по званию. Что ж, решил я, пощады ждать не приходится. Значит, игру надо продолжать. Противясь принудительной кормежке – иногда это случалось при дружественно относившейся ко мне сестре, но чаще при других, – я нередко в борьбе с надзирателем, насильно кормившим меня, терял сознание от слабости. Но благодаря медсестре я знал теперь кое-что о том, что происходило на воле. Книжки, которые она читала, оказывались обернутыми в газету с важной для меня информацией. Я понял, ход с газетой придуман женой, которая смогла привлечь сестру на свою сторону. Каждую неделю жена появлялась в Бутырках – о ее визитах говорили передачи и небольшие денежные суммы, перечислявшиеся на мой счет.

Мне повезло, что я не попал в первую волну осужденных по делу Берии. Жены Берии, Гоглидзе, Кобулова, Мешика, Мамулова и других были арестованы и сосланы.

Вскоре после моего ареста Вера Спектор, наша соседка по дому (с ее мужем Марком Спектором в двадцатые годы жена работала в Одесском ГПУ), встретила мою жену и жестом показала, что хочет с ней поговорить без свидетелей на черной лестнице. При встрече она сказала:

– Марк передаст привет и просит, чтобы я обязательно сказала тебе: правительство отменило указ, по которому Министерство внутренних дел или любое другое ведомство имело право подвергать административной высылке членов семей врагов народа без соответствующего решения суда.

Хотя над женой всячески измывались и требовали, чтобы она освободила квартиру, она упорствовала и заявляла, что подчинится только решению суда.

Чрезвычайно важной оказалась ее встреча с самим Спектором, полковником госбезопасности в отставке. Это был весьма проницательный человек. Во время войны он возглавлял службу контрразведки ВМС на Северном флоте, а потом в течение года был заместителем начальника секретариата НКГБ – МГБ. Он перенес инфаркт и вышел в отставку в 1946 году, затем работал заместителем председателя Московской городской коллегии адвокатов.

Они встретились как бы случайно – в поликлинике МВД, а не у нас дома. Ко мне Спектор всегда относился с большой симпатией и прекрасно понимал, насколько абсурдны выдвинутые против меня обвинения. Когда до него дошли слухи о моем состоянии и о том, что я нахожусь фактически при смерти, он разработал план, как жене тайно установить со мной контакт. Марк устроил ей встречу с Волхонским, с которым мы с женой в свое время работали в Харькове в ГПУ Украины. Волхонский был заместителем начальника Главного управления мест заключения, и Бутырки также находились в его ведении. Узнав о моем критическом состоянии, Волхонский предложил следующий вариант: жена в заранее намеченный день, когда он будет вести прием родственников заключенных, явится к нему в кабинет в Бутырской тюрьме под предлогом, что не верит утверждениям, будто ее

муж жив, и хочет знать, почему – в нарушение всех тюремных правил – администрация Бутырок требует для него еженедельных передач с деликатесными продуктами. Она действительно приносила по настоянию врачей буквально все, кроме спиртных напитков.

Волхонский настоятельно просил, чтобы она явилась в строго определенное время, дабы у него была возможность вызвать к себе недавно назначенную медсестру, которая постоянно дежурит в моей камере-палате. Это и была та самая удивившая меня медсестра – молодая, лет двадцати пяти, добрая женщина.

– А дальше зависит от тебя, работай с ней и перевербуй ее на свою сторону, – напутствовал Волхонский.

В обязанности Марии Кузиной, вольнонаемной сотрудницы медчасти тюрьмы, входило докладывать начальству обо всех подозрительных контактах заключенных. Решили, что жена расскажет Марии об оклеветанном большевике, герое войны, и постарается добиться ее расположения. Со своей стороны, Волхонский предупредил жену, что может уделить на этот разговор не больше трех-четырех минут.

Не прошло и месяца, как план удалось осуществить. В назначенное время Волхонский вызвал к себе дежурившую Марию и в присутствии жены одного из заключенных, как он выразился, попросил сообщить о состоянии его здоровья. Жена стала умолять сестру помочь мне и сделать все возможное для моего лечения. Она говорила, что речь идет о человеке, не раз рисковавшем своей жизнью в годы войны, когда он вел подпольную работу против немцев. Она обратилась с просьбой и к Кузиной, и к Волхонскому спасти мне жизнь, чтобы я смог предстать перед судом, который справедливо решит мою участь. Конечно, вся беседа записывалась на пленку и попала затем в мое тюремное дело, но внимания прокуратуры она не должна была привлечь.

После того как Волхонский подтвердил, что Марию глубоко взволновала моя судьба, жена раздобыла ее телефон и сумела установить с ней доверительные отношения. Она как могла старалась отблагодарить эту добросердечную женщину, помогая ей материально. Мы поддерживали с ней дружеские отношения и после моего освобождения.

В тюрьме я никогда не разговаривал с Марией – она только нежно сжимала мою руку, показывая, что в газетной обертке на очередной книге я найду нужную дня себя информацию.

Так продолжалось около полугода, но вот неожиданно меня положили на носилки и в специальной медицинской машине под охраной отвезли на железнодорожный вокзал. Стояла зима 1955 года. С момента моего ареста миновало около полутора лет.

Двое вооруженных конвоиров в штатском пронесли меня в купированный вагон. Но куда отправлялся поезд? Этого я не знал. Однако, хотя была ночь, мне удалось прочесть табличку на вагоне: «Москва – Ленинград».

В купе разместились я и Мария. Сразу после отхода поезда конвоиры заперли дверь и удалились, сказав, что придут через полчаса. Я лежал на нижней полке, а

Мария – на верхней. Не говоря ни слова, она протянула мне книгу, обернутую в «Правду» с той же статьей о расстреле группы Абакумова. В статье говорилось также об освобождении Маленкова от должности главы правительства, вместо него назначили Булганина. Эта информация была особенно важна для меня.

Настроение у меня поднялось. Теперь, когда сняли Маленкова, появилась слабая надежда, что я смогу каким-нибудь образом обратить эту ситуацию в свою пользу. Поскольку я был уверен, что купе прослушивается, то никак не комментировал статью и не пытался даже заговорить с Марией, которая снова, по обыкновению, тихонько сжала мне руку. Вскоре вернулась охрана в подпитии, а я, измученный напряжением и неопределенностью своего положения, уснул как убитый.

На Московском вокзале в Ленинграде нас встретила карета «скорой помощи» и меня повезли в печально известные «Кресты» – тюрьму, которая в царское время использовалась для предварительного заключения. Одно крыло тюрьмы было превращено в психиатрическую больницу. Формальности здесь соблюдались довольно строго. Меня осматривал главный психиатр подполковник медицинской службы Петров, который впоследствии следил за «медицинским лечением» диссидента-правозащитника Владимира Буковского. И в мое время тюрьма была заполнена не только обычными уголовниками, но и политическими заключенными, некоторые из них находились здесь более пятнадцати лет.

Петров, казалось, был вполне удовлетворен обследованием и поместил меня в палату вместе с генералом Сумбатовым, начальником хозяйственного управления госбезопасности, и Саркисовым, начальником охраны Берии. Я понимал, что палата прослушивается. Оба моих соседа показались мне психически больными людьми. Саркисов, бывший когда-то рабочим текстильной фабрики в Тбилиси, все время жаловался, что ложные обвинения в измене, предъявляемые ему, срывают срочное выполнение пятилетнего плана в текстильной промышленности. Он просил врачей помочь ему разоблачить прокурора Руденко, который мешает внедрению изобретенного им станка и увеличению производства текстиля, тем самым не дает ему получить звание Героя Социалистического Труда.

Сумбатов сидел на постели, плакал и кричал. Из бессвязных отдельных слов можно было понять, что сокровища Берии зарыты на даче Совета Министров в Жуковке под Москвой, а не вывезены контрабандой за границу. Вскоре его крики сделались еще громче. Сначала я думал, это реакция на уколы, но когда он умер, мы узнали, что у него был рак, и его мучили невыносимые боли.

В «Крестах» я стал инвалидом. Там мне второй раз сделали спинномозговую пункцию и серьезно повредили позвоночник. Я потерял сознание, и лишь внутривенное питание вернуло меня к жизни.

Пробыл я в «Крестах» неделю, когда в Ленинград приехала жена. Это спасло меня, так как ей удалось призвать на помощь многих наших друзей, бывших сотрудников ленинградского МГБ. Больше всех помог дядя жены Кримкер, обаятельный человек необыкновенных способностей. Сменив в жизни не одну профессию, он в каждой добивался поразительных результатов. Начал он свою

деятельность грузчиком в Одесском порту, затем стал нелегалом ГПУ сначала в Румынии, потом в Аргентине, где жили его родственники, а с середины 50-х годов перешел на крупную хозяйственную работу в Ленинграде, затем одно время был коммерческим директором Ленфильма. Его изобретательный ум придумал специальную диету для жидкого кормления и обеспечил мне регулярные передачи в палату, а чтобы снабжать меня информацией, жена и Кримкер придумали иносказательную форму для получения мной информации. Прием был прежний: книга в руках медсестры была обернута в письма, якобы адресованные ей родственником.

Так жена дала знать, что «старик» (Сталин) был разоблачен на общем собрании «колхозников» (XX съезд партии), «бухгалтеры» (те, кто был арестован вместе со мной) плохо себя чувствуют, условия на «ферме» те же самые, но у нее достаточно денег и связей, чтобы продолжать все и дальше. Меня сбивала с толку фраза: «Никто не знает, когда Лев Семенович излечится от туберкулеза». Оказалось, что речь в письме шла о реальном человеке: Льве Семеновиче Рапопорте – дирижере театра Акимова. Он сдавал комнату детям моей медсестры, приехавшим учиться в Ленинград из деревни. Сделано это было из предосторожности, на тот случай, если бы письмо перехватили. Тогда можно было бы без труда доказать, что человек существует на самом деле. Я же думал, что Лев Семенович – мое зашифрованное имя, и что власти рассматривают меня как действительно больного и, значит, надо оставаться в больнице и продолжать тянуть время.

Регулярные уколы аминазина делали меня подавленным, и мое настроение часто менялось. Свиданий с женой не было до конца 1957 года. Прокуратура, стремясь закрыть мое дело, разрешила свидания. В декабре мы виделись с женой семь раз. На каждом свидании присутствовали следователь Цареградский и двое врачей. Я не произносил ни слова, но на втором свидании не смог сдержать слез. Жена сказала, что с детьми все в порядке, и в семье все здоровы. Я также узнал, что Райхман амнистирован, Эйтингон получил двенадцать лет, что никто не верит в мою вину, ее по-прежнему поддерживают старые друзья, и что мне следует начать есть. Я не отвечал ей. Я считал, что нам разрешили свидания, чтобы вывести меня из состояния ступора.

Через месяц, однако, я начал есть твердую пищу, хотя передние зубы были сломаны из-за длительного принудительного кормления. Я начал поправляться и отвечать на простые вопросы. Условия моего содержания сразу улучшились – я стал получать солдатский рацион вместо тюремного. Вдобавок у меня были еще передачи из дома. В апреле 1958 года подполковник Петров объявил, что, исходя из моего состояния здоровья, можно возобновить следствие. В тюремном «воронке» меня привезли на вокзал и поместили в вагон, в котором перевозят заключенных. В Москве я вновь очутился в знакомой уже мне Бутырской тюрьме.

Я сразу почувствовал, как резко изменилась политическая ситуация в стране. Уже через два-три дня меня навестили несколько надзирателей и начальник тюремного корпуса – бывшие офицеры и солдаты Бригады особого назначения, находившейся под моим началом в годы войны. Они приходили поприветствовать и подбодрить меня, открыто ругали Хрущева за то, что он отменил доплату за

воинские звания в МВД и тем самым поставил их в положение людей второго сорта по сравнению с военнослужащими Советской Армии и КГБ. Их также возмущало, что Хрущев отложил на двадцать лет выплату по облигациям государственных займов, на которые все мы обязаны были подписываться на сумму от десяти до двадцати процентов заработной платы. Я не знал, что им ответить, но благодарил за моральную поддержку и за возможность самому побриться – впервые за пять лет.

Глава 13

Суд, тюрьма, борьба за реабилитацию

Опять начались допросы. На этот раз уже не Цареградский вел мое дело (позже мне говорили, что его уволили из прокуратуры по подозрению во взяточничестве). Цареградского сменил специальный помощник Руденко Преображенский, работавший в паре со старшим следователем Андреевым. Преображенскому было за пятьдесят, он ходил на костылях, что отразилось на его характере – сквалыжном и замкнутым. Он, кстати, вошел в историю борьбы властей с интеллигенцией, подготовив для Руденко записку в ЦК, что Борис Пастернак якобы вел себя на допросах трусливо. Угрюмость Преображенского составляла разительный контраст с манерой поведения Андреева. Андреев был моложе, всегда аккуратно одет, ироничен и часто позволял себе шуточки по поводу выдвинутых против меня обвинений. Он протоколировал допрос, не искажая моих ответов, и я почувствовал, что он начал симпатизировать мне, после того как выяснил, что к убийству Михоэлса я не имел никакого отношения, как и к экспериментам на людях, приговоренных к смерти, проводившимся сотрудниками токсикологической лаборатории. Суть моего дела, по словам Андреева, была ясна, но большого тюремного срока мне все равно не избежать, учитывая отношение высшего руководства к людям, работавшим с Берией. Он предположил, что мне дадут пятнадцать лет.

Преображенский тем временем подготовил фальсифицированные протоколы допросов, но я отказался их подписать и вычеркнул все ложные обвинения, которые он мне инкриминировал. Затем Преображенский пытался шантажировать меня, заявив, что добавит новое обвинение – симуляцию сумасшествия, на что я спокойно ответил:

– Пожалуйста, но вам придется аннулировать два заключения медицинской комиссии, подтверждающие, что я находился в коматозном состоянии и совершенно не годился для допросов.

В свою очередь, я обвинил Цареградского и Руденко в том, что они довели меня, лишая сна более трех месяцев и заключив в камеру без окон, до того состояния, из которого нельзя выйти без длительного лечения.

Преображенский все время пытался выбить из меня признания, но я не поддавался. В конце концов он объявил: «Следствие по вашему делу закончено». И вот в первый – и единственный! – раз мне дали все четыре тома моего следственного дела. Обвинительное заключение занимало две странички. Читая его, я убедился, что Андреев сдержал свое слово – из-за отсутствия каких-либо доказательств обвинение в том, что я пытался в сговоре с Берией участвовать в захвате власти, было снято. Обвинения в том, что я сорвал операцию покушения на жизнь маршала Тито и в 1947–1948 годах скрыл имевшиеся у меня данные о готовившемся им заговоре против нашей страны, также были сняты. В моем деле больше не фигурировали фантастические планы бегства Берии на Запад со специальной военно-воздушной базы под Мурманском при содействии генерала Штеменко. Не

было и упоминания о Майрановском как о моем родственнике. Тем не менее, обвинительное заключение представляло меня закоренелым злодеем, с 1938 года находившимся в сговоре с врагами народа и выступавшим против партии и правительства. Для доказательства использовались обвинения против сотрудников разведки, которые в начале войны были освобождены из тюрем по моему настоянию, и мои связи с «врагами народа» – Шпигельгласом, Серебрянским, Мали и другими, хотя все они, кроме Серебрянского, были к тому времени уже реабилитированы посмертно. С точки зрения закона обвинения эти потеряли юридическую силу, но никого данное обстоятельство не волновало.

Из первоначально выдвинутых обвинений осталось три:

– первое – тайный сговор с Берией для достижения сепаратного мира с гитлеровской Германией в 1941 году свержения советского правительства;

– второе – как человек Берии и начальник Особой группы, созданной до войны, я осуществлял тайные убийства враждебно настроенных к Берии людей с помощью яда, выдавая их смерть за несчастные случаи;

– третье – с 1942 по 1946 год я наблюдал за работой «Лаборатории-Х»: спецкамеры, где проверялось действие ядов на приговоренных к смерти заключенных.

В обвинении не было названо ни одного конкретного случая умерщвления людей. Зато упоминался мой заместитель Эйтингон, арестованный в октябре 1951 года, «ошибочно и преступно» выпущенный Берией на свободу после смерти Сталина в марте 1953 года и вновь осужденный по тому же обвинению – измена Родине – в 1957 году.

Обвинительное заключение заканчивалось предложением о слушании моего дела в закрытом порядке Военной коллегией Верховного суда без участия прокурора и защиты.

Я вспомнил, как жена во время свидания в «Крестах» говорила о Райхмане и упомянула, что практика закрытых судов без участия защиты, введенная после убийства Кирова, запрещена законом с 1956 года. Райхман сумел избежать тайного судилища и был поэтому амнистирован. Передо мной стояла непростая задача; как сказать Преображенскому, что мне известно о законе, запрещающем рассматривать дела без защитника? Ведь я был в коматозном состоянии.

Тогда я обратился к Преображенскому с письменным ходатайством мотивировать, почему вносится предложение слушать дело без участия защитника. Он ответил, что в обвинительном заключении нет необходимости вдаваться в столь мелкие подробности, и объявил мне под расписку решение об отказе в предоставлении адвоката. Я потребовал Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы можно было реализовать конституционное право на защиту, но и это ходатайство было отвергнуто Преображенским также под расписку. Для меня было очень важно зафиксировать в письменной форме сознательное нарушение закона. Андреев, относившийся ко мне сочувственно, сказал, что было бы наивно с моей стороны рассчитывать, что к моему делу будет допущен адвокат.

После этого я обратился к заместителю начальника тюрьмы, моему бывшему подчиненному в годы войны, с ходатайством предоставить мне Уголовно-процессуальный кодекс. Надзиратель сообщил, что мое ходатайство отклонено, но заместитель начальника тюрьмы готов принять меня и выслушать мои жалобы, касающиеся условий содержания в тюрьме. Когда меня привели в его кабинет, который, конечно, прослушивался, мы ничем не выдали, что знаем друг друга. Он подтвердил, что мое ходатайство отклонено, но сказал, что я могу ознакомиться с инструкцией об условиях содержания подсудимых в тюрьме, прежде чем писать официальную жалобу. Я уловил в его фразе особенный смысл. На столе рядом с инструкцией лежало приложение, в котором было как раз то, что меня интересовало, – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1936 года об отмене особого порядка закрытого судебного разбирательства по делам о государственной измене без участия защиты.

Мое официальное заявление о предоставлении адвоката проигнорировали скорее всего по распоряжению «инстанций», то есть самого Хрущева, который к этому времени стал главой и партии, и правительства. Я решил подождать некоторое время и повторить свое требование о защитнике уже в ходе самого судебного разбирательства.

Последняя встреча со следователем кончилась для меня неожиданным поворотом. Преображенский вдруг потребовал, чтобы я написал об участии Молотова в зондаже Стаменова. Меня это крайне озадачило, и я понял, что Молотов сейчас, должно быть, не в фаворе. Я ничего не знал об «антипартийной группе», отстраненной от руководства в 1937 году, куда входили Молотов, Маленков и Каганович. Моя записка явно произвела на Преображенского впечатление, особенно сообщение, что Молотов устроил на работу жену Стаменова в Институт биохимии Академии наук СССР к академику Баху. Я также вспомнил, что с Молотовым консультировались насчет подарков, которые Стаменов вручал у себя на родине царской семье. Реакция следователя укрепила мою надежду, что, несмотря на закрытое заседание, меня оставят в живых как свидетеля против Молотова.

Тридцать три – таково было число моих заявлений, направленных Хрущеву, Руденко, секретарю Президиума Верховного Совета СССР Горкину, Серову, ставшему председателем КГБ, и другим с требованием предоставить мне защитника и протестом по поводу грубых фальсификаций, содержащихся в выдвинутых против меня обвинениях. Ни на одно из них я не получил ответа.

Обычно, когда следствие на высшем уровне по особо важным делам завершалось, дело незамедлительно передавалось в Верховный суд. В течение недели или в крайнем случае месяца я должен был получить уведомление о том, когда состоится слушание дела. Но прошло три месяца – и ни слова. Только в начале сентября 1958 года меня официально известили, что мое дело будет рассматриваться Военной коллегией 12 сентября без участия прокурора и защиты. Я был переведен во внутреннюю тюрьму Лубянки, а затем в Лефортово. Через много лет я узнал, что генерал-майор Борисоглебский, председатель Военной коллегии, трижды отсылал мое дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. И трижды дело возвращали с отказом.

Сейчас мне кажется, что моя судьба была предрешена заранее, но никто не хотел брать на себя ответственность за нарушение закона в период широковещательных заверений о соблюдении законности, наступивший после смерти Сталина и разоблачений Хрущевым его преступлений на XX съезде партии. Позднее мне стало известно, что мои обращения к Серову и Хрущеву, в которых я ссылаясь на наши встречи в Кремле и на оперативное сотрудничество в годы войны и после ее окончания, вызвали быструю реакцию. Мой бывший подчиненный полковник Алексахин был сразу направлен в прокуратуру для изъятия всех оперативных материалов из моего дела, касавшихся участия Хрущева в тайных операциях против украинских националистов. Прокуратура заверила его, что ни в одном из четырех томов моего уголовного дела нет ссылок на Хрущева.

Полковник Алексахин был опытным офицером разведки, и, когда ему показали обвинительное заключение против меня, он прямо сказал военному прокурору, что обвинения неконкретны и сфальсифицированы. Младшие офицеры-следователи согласились с ним, но сказали, что приказы не обсуждаются, а выполняются – они поступают сверху.

Алексахин взял в прокуратуре три запечатанных конверта с непросмотренными оперативными материалами, изъятими из моего служебного сейфа при обыске в 1953 году. Конверты он отдал в секретариат Серова и больше их никогда не видел. Я не могу вспомнить всего, что находилось у меня в сейфе, но знаю наверняка, что там были записи о санкциях тогдашнего высшего руководства – Сталина, Молотова, Маленкова, Хрущева и Булганина – на ликвидацию неугодных лиц и, кроме того, записи по агентурным делам нашей разведки о проникновении через сионистские круги в правительственные сферы и среду ученых, занимавшихся исследованиями по атомной энергии.

Позднее, в 1988 году, когда Алексахин с двумя ветеранами разведки ходатайствовали о пересмотре моего дела, они сослались на этот эпизод. И посоветовали молчать и не компрометировать партию еще больше, вытаскивая на свет Божий столь неблагоприятные дела.

В здание Верховного суда на улице Воровского меня привезли в тюремной машине. На мне не было наручников, и конвоирам КГБ, которые меня сопровождали, приказали ждать в приемной заместителя председателя Военной коллегии, то есть за пределами зала судебных заседаний. Им не разрешили войти в зал вопреки общепринятой процедуре. Я был в гражданском. Комната, куда я вошел, совсем не напоминала зал для слушания судебных дел. Это был хорошо обставленный кабинет с письменным столом в углу и длинным столом, предназначенным для совещаний, во главе которого сидел генерал-майор Костромин, представившийся заместителем председателя Военной коллегии. Другими судьями были полковник юстиции Романов и вице-адмирал Симонов. В комнате присутствовали также два секретаря – один из них, майор Афанасьев, позднее был секретарем на процессе Пеньковского.

Я сидел в торце длинного стола, а на другом конце располагались судьи – все трое. Заседание открыл Костромин, объявив имена и фамилии судей и осведомившись, не будет ли у меня возражений и отводов по составу суда. Я

ответил, что возражений и отводов не имею, но заявляю протест по поводу самого закрытого заседания и грубого нарушения моих конституционных прав на предоставление мне защиты. Я сказал, что закон запрещает закрытые заседания без участия защитника по уголовным делам, где в соответствии с Уголовным кодексом речь может идти о применении высшей меры наказания – смертной казни, а из-за серьезной болезни, которую перенес, я не могу квалифицированно осуществлять свою собственную защиту в судебном заседании.

Костромин остолбенел от этого заявления. Судьи встревоженно посмотрели на председателя, особенно обеспокоенным казался адмирал. Костромин объявил, что суд удаляется на совещание для рассмотрения моего ходатайства, и возмущенно заметил, что у меня нет никакого права оспаривать процессуальную форму слушания дела. Тут же он попросил секретаря проводить меня в приемную.

Судьи совещались примерно час, и за это время мне неожиданно удалось увидеть тех, кто должен был выступить против меня в качестве свидетелей. Первым из них в приемной появился академик Муромцев, заведовавший ранее бактериологической лабораторией НКВД – МГБ, где испытывали бактериологические средства на приговоренных к смерти вплоть до 1950 года. Я едва знал его и никогда с ним не работал, если не считать того, что посылал ему разведывательные материалы, полученные на Западе, по последним разработкам в области бактериологического оружия. Другим свидетелем был Майрановский: бледный и испуганный, он появился в приемной в сопровождении конвоя. На нем был поношенный костюм – сразу было видно, что его доставили прямо из тюрьмы. Мне стало ясно, что работа токсикологической «Лаборатории-Х» будет одним из главных пунктов обвинения в моем деле.

Увидев меня, Майрановский разрыдался. Он явно не ожидал застать меня в приемной, без конвоя, сидящим в кресле в хорошем костюме и при галстукке. Секретарь тут же приказал конвою вывести Майрановского и побежал докладывать Костромину. Он быстро вернулся и провел меня обратно в кабинет, где судьи уже ждали, чтобы продолжить заседание. Костромин объявил, что мое ходатайство о предоставлении защитника и заявление о незаконности слушания дела в закрытом заседании без участия адвоката отклонено лично председателем Верховного суда СССР. Это распоряжение только что получено по телефону правительственной связи. В том случае, если я буду упорствовать и откажусь отвечать на вопросы суда, слушание дела будет продолжено без меня. Верховный суд, заметил он, как высшая судебная инстанция имеет право устанавливать любые процедуры для слушания дел, представляющих особую важность для интересов государства. Он задал мне вопрос, признаю ли я себя виновным. Я категорически отверг все предъявленные мне обвинения. Затем он объявил, что двое свидетелей, бывшие сотрудники органов госбезопасности Галигузов и Иудин, не могут присутствовать на заседании суда по состоянию здоровья. Двое других, академик Муромцев и осужденный Майрановский, находятся в соседней комнате и готовы дать свидетельские показания.

Далее Костромин заявил: суд не убедили показания Берии во время предварительного следствия по его делу, что вы не являлись его доверенным лицом,

а лишь выполняли приказы, которые он передавал от имени правительства. Более того, сказал Костромин, суд считает, что Берия пытался скрыть факт государственной измены, и показания, имеющиеся в вашем следственном деле, не имеют значения для суда.

Эпизод со Стаменовым был лишь упомянут. Костромин подчеркнул факт несомненной государственной измены, добавив, что новые данные, свидетельствующие, что Берия обсуждал вопрос о контактах со Стаменовым и с другими членами правительства, будут доложены Верховному суду и, возможно, будет принято частное определение в адрес правительственных инстанций. Я решительно отрицал, что мною делались попытки установить тайные контакты в обход правительства, поскольку Молотов не только знал об этих контактах, но и санкционировал их, а санкционированный правительством зондаж в разведывательных целях нельзя классифицировать как факт государственной измены. Однако мое заявление суд проигнорировал. Более того, сказал я, лично товарищ Хрущев пять лет тому назад, 5 августа 1953 года, заверил меня, что не находит в моих действиях никакого преступного нарушения закона или вины в эпизоде со Стаменовым.

Побледнев, председатель запретил мне упоминать имя Хрущева. Секретари тут же перестали вести протокол. Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо и, не сдержавшись, выкрикнул:

– Вы судите человека, приговоренного к смерти фашистской ОУН, человека, который рисковал своей жизнью ради советского народа! Вы судите меня также, как ваши предшественники, которые подводили под расстрел героев советской разведки.

Я начал перечислять имена своих погибших друзей и коллег – Аргузова, Шпигельгласа, Мали, Серебрянского, Сосновского, Горожанина и других. Костромин был ошеломлен; вице-адмирал Симонов сидел бледный как мел.

После небольшой паузы Костромин взял себя в руки и проговорил:

– Никто заранее к смертной казни вас не приговаривал. Мы хотим установить истину.

Затем вызвали свидетеля Муромцева и в его присутствии зачитали показания, которые он давал пять лет назад. К удивлению и неудовольствию судей, Муромцев заявил, что не может подтвердить свои прежние показания. По его словам, он не помнит никаких фактов моей причастности к работе секретной бактериологической исследовательской лаборатории.

Затем вызвали Майрановского. Он показал, что консультировал меня в четырех случаях. С разрешения председателя я спросил его: был ли он подчинен мне по работе, были ли упомянутые им четыре случая экспериментами над людьми или боевыми операциями и, наконец, от кого он получал приказы по применению ядов? К моему удивлению, адмирал поддержал меня. И весь хорошо продуманный сценарий суда рассыпался. Майрановский дал показания, что никогда не был подчинен мне по работе и начал плакать. Сквозь слезы он признал, что эксперименты, о которых идет речь, на самом деле были боевыми операциями, а приказы об уничтожении людей отдавали Хрущев и Молотов. Он рассказал, как

встречался с Молотовым в здании Комитета информации, а затем, вызвав гнев председателя суда, упомянул о встрече с Хрущевым в железнодорожном вагоне в Киеве. Тут Костромин прервал его, сказав, что суду и так ясны его показания. После этого он нажал на кнопку, и появившийся конвой увел Майрановского. Я не видел его после этого три года – до того дня, когда мы повстречались на прогулке во внутреннем дворе Владимирской тюрьмы.

Судьи были явно растеряны. Они получили подтверждение, что так называемые террористические акты на самом деле являлись боевыми операциями, проводившимися против злейших противников советской власти по прямому приказу правительства, а не по моей инициативе. Я также указал, что не являлся старшим должностным лицом при выполнении данных операций, поскольку в каждом случае присутствовали специальные представители правительства – первый заместитель министра госбезопасности СССР Огольцов и министр госбезопасности Украины Савченко, а местные органы госбезопасности подчинялись непосредственно им. Я предложил вызвать их в качестве свидетелей и потребовал ответить мне, почему они не привлекались к ответственности за руководство этими акциями.

И снова судьи почувствовали себя не в своей тарелке. Я знал, что в протоколах моих допросов все упоминания о работе в период «холодной войны» 1946–1953 годов были крайне туманными и неконкретными. Мысль, проходившая красной нитью через все обвинения, сводилась к следующему: Майрановский с моей помощью убивал людей, враждебно настроенных к Берии. Я совершенно явственно чувствовал, что судьи не готовы признать самый факт, что все эти ликвидации санкционировались руководителями, стоявшими в табели о рангах выше Берии, а он к эпизодам, рассказанным на суде, вообще не имел отношения.

Костромин быстро и деловито подвел итог судебного заседания. По его словам, меня судят не за эти операции против врагов советской власти. Суд полагает, что я руководил на своей даче другими тайными операциями, направленными против врагов Берии. Я тут же попросил привести хотя бы один конкретный факт террористического акта с моим участием против правительства или врагов Берии. Костромин жестко возразил: дело Берии закрыто, и точно установлено, что такого рода акции совершались неоднократно, а поскольку я работал под его началом, то также являюсь виновным. Однако суд в данный момент еще не располагает на сей счет соответствующими доказательствами. С этими словами он закрыл слушание дела, дав мне возможность выступить с последним словом. Я был краток и заявил о своей невиновности и о том, что расправа надо мной происходит в интересах украинских фашистов, империалистических спецслужб и троцкистов за рубежом. И наконец я потребовал реализовать мое законное право ознакомиться с протоколом судебного заседания, внести в него свои замечания. В этом мне было тут же отказано.

Костромин объявил перерыв. Меня вывели в приемную, где предложили чай с бутербродами. Адмирал подошел ко мне, пожал руку и сказал, что я держался, как и положено мужчине. Он успокоил: всё будет хорошо. Через некоторое время меня ввели обратно в кабинет Костромина для зачтения приговора. Судьи встали, и

председательствующий зачитал написанный от руки приговор, который в точности повторял обвинительное заключение прокуратуры с одним добавлением: «Суд не считает целесообразным применение ко мне высшей меры наказания – смертной казни и основывает свой приговор на материалах, имеющихся в деле, но не рассмотренных в судебном заседании».

Меня приговорили к пятнадцати годам тюремного заключения. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал. Стояла осень 1958 года. Со времени своего ареста в 1953 году я уже провел в тюрьме пять лет.

Силы оставили меня. Я не мог выйти из состояния шока, почувствовал, что вот-вот упаду в обморок, и вынужден был присесть. Вскоре я уже был во внутренней тюрьме Лубянки. У меня началась страшная головная боль, и надзиратель даже дал мне таблетку. Я все еще не пришел в себя, когда меня неожиданно отвели в кабинет Серова – бывшие владения Берии. Мрачно взглянув на меня, Серов предложил сесть.

– Слушайте внимательно, – начал он. – У вас будет еще много времени обдумать свое положение. Вас отправят во Владимирскую тюрьму. И если там вы вспомните о каких-нибудь подозрительных действиях или преступных приказах Молотова и Маленкова, связанных с теми или иными делами внутри страны или за рубежом, сообщите мне, но не упоминайте Никиту Сергеевича. И если, – заключил он, – вы вспомните то, о чем я вам сказал, вы останетесь живы, и мы вас амнистируем.

Несмотря на страшную головную боль, я кивнул, выражая согласие. Больше я никогда его не видел.

Меня сразу же перевели в Лефортовскую тюрьму и через два дня разрешили свидание с женой и младшим братом Константином. Наконец-то я дал волю слезам, а они как могли утешали меня. Известие, что я буду находиться во Владимирской тюрьме, вызвало скрытую радость: в этом городе жила младшая сестра жены, ее муж Александр Комельков был ответственным сотрудником аппарата МВД Владимирской области, заместителем начальника ГАИ. Они жили в том же доме, где и все тюремное начальство, включая старших надзирателей. Со всеми своими соседями Комельков и его жена были в отличных отношениях. Вскоре на летние каникулы во Владимир приехал мой младший сын Анатолий. Там он подружился с Юрием, мальчиком своего возраста, сыном начальника Владимирской тюрьмы полковника Козика. С ними в компании была Ольга, дочка заместителя Козика, жившего по соседству.

Жене повезло, что ее не арестовали, когда я находился под следствием, как жен других должностных лиц, проходивших по делу Берии. Она предусмотрительно прервала знакомства с бывшими сослуживцами. Что касается наших друзей, не связанных с органами, то они очень поддерживали нас, особенно Марианна Ярославская. Ее отец Емельян Ярославский был секретарем ЦК партии с 1920-х по 1940-е годы. Неформально Ярославский считался идеологом партии. Я познакомился с ним и его обаятельной женой – старой революционеркой – в 1943 году, когда получил дачу рядом с его домом. Знакомство с семьей Ярославских

сыграло большую роль в моей жизни и помогло семье выстоять. Через Марианну жена завела друзей среди скульпторов, художников, писателей. После смерти Ярославского я оказывал внимание его семье и вдове Клавдии Ивановне Кирсановой. Она, в свою очередь, познакомила меня с секретарем ЦК партии Кузнецовым, поддерживавшим меня в конфликте с Абакумовым. Анна Цуканова, переведенная Суловым после падения Маленкова из ЦК на должность заместителя министра культуры РСФСР по кадрам, оказывала нам очень большую моральную поддержку и помощь. Именно Анна посоветовала жене делать вид, что она не знает, в чем обвиняют ее мужа. Поэтому ее ходатайства о справедливом рассмотрении моего дела, которые она направляла Хрущеву и Маленкову, всегда начинались с уверений в том, что ей неизвестно существо обвинений против меня. Она сняла копии с моих писем из-за рубежа, в которых я писал ей, что, несмотря на опасности, меня окружающие, я готов пожертвовать своей жизнью для дела партии и народа. Она посылала эти письма Хрущеву и Маленкову для доказательства того, что под арестом держат человека, всецело преданного идеалам партии. Жена собрала от тринадцати моих бывших коллег, из которых пять были Героями Советского Союза, отзывы обо мне, заверенные их партийными комитетами, и отправила их в прокуратуру и Военную коллегия Верховного суда с просьбой, чтобы этих людей вызвали в качестве свидетелей по моему делу. Когда я узнал об этом, я понял нерешительность судей и то, почему мой следователь Андреев был настроен сочувственно по отношению ко мне и вопреки правилам уклонился от подписания обвинительного заключения по моему делу.

Два обстоятельства, связанные с делом Берии, определенным образом замедлили поиски компромата на членов семей арестованных. И хотя невестка Берии, внучка Максима Горького, который в то время был в большом почете, развелась с мужем после того, как его вместе с матерью арестовали, а затем сослали, для властей эта родственная связь была крайне неудобна. Второе обстоятельство было связано с делом Суханова, начальника секретариата Маленкова в Президиуме ЦК и Совете Министров, который принимал самое активное участие в аресте Берии. Высшее руководство было буквально потрясено сообщением о том, что Суханов украл из сейфов Берии и его сотрудников золотые часы – а их было восемь, – облигации и крупную сумму денег, включая часть премии Берии за руководство работами по созданию атомной бомбы.

В 1956–1958 годах в высших кругах столицы ходили слухи о таинственных кражах, связанных с арестом Берии, и о том, куда ведут следы этих преступлений. Сейфы Берии и сотрудников его аппарата были, естественно, сразу после арестов вскрыты. По закону полагалось составить подробную опись изъятого. Однако военный прокурор Успенский и Суханов, которым помогал Пузанов (заведующий отделом ЦК партии и будущий посол СССР в Болгарии), не составили никакой описи.

Жена одного из арестованных сотрудников аппарата Берии, Ордынцева, заключенная в тюрьму, а затем освобожденная, но выгнанная с работы и лишенная средств к существованию, имела список номеров облигаций, принадлежавших ее мужу и хранившихся в сейфе у него на работе. Суханов потребовал включить в приговор суда по делу Ордынцева пункт о конфискации имущества. Но поскольку

тот не являлся сотрудником госбезопасности, не имел воинского звания и не обвинялся в государственной измене (ему инкриминировали лишь недоносительство о преступных замыслах Берии), суд не включил в приговор пункт о конфискации. Тогда жена Ордынцева начала добиваться через суд возвращения облигаций. Вначале ее просьбы не получали никакого отклика, но затем Хрущев распорядился, чтобы Серов разыскал эти облигации. В это время какая-то женщина предъявила в сберегательной кассе к оплате одну из пропавших облигаций, на которую выпал выигрыш. Ее задержали. Она оказалась машинисткой, работавшей у Суханова.

Суханов вынужден был сознаться в краже ценностей из сейфов Берии и его подчиненных, за что был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Об этом скандале, хотя никаких официальных сообщений не было, говорила вся Москва. Он подорвал доверие к следователям, которые занимались делом Берии, и даже интерес к разоблачениям всякого рода грязных интриг, которые ему приписывались, начал падать.

Положение моей жены в это время заметно улучшилось. Опасаясь, что ее лишат пенсии, она научилась шить и скоро как портниха стала пользоваться популярностью среди новых друзей из мира искусства, что приносило ей дополнительный заработок. И когда Хрущев урезал военные пенсии, она по-прежнему была в состоянии содержать детей и свою мать. МВД попыталось было отобрать у нас квартиру в центре Москвы, но не смогло сделать это на законных основаниях, поскольку жена была участником войны и получала военную пенсию. Анна Цуканова поддерживала жену в ее тяжбе с ХОЗУ МВД. Их тактика была простой: я еще не осужден, нахожусь в тюремной больнице и поэтому не могу быть выписан. Тогда ХОЗУ пошло на резкое повышение квартплаты, но, к счастью, жена имела возможность оплатить счета без особых трудностей.

В 1956–1957 годах ей стало ясно, что чистка в органах госбезопасности, жертвами которой стали Берия и я, закончилась. Свидетелей, которые слишком много знали, расстреляли, включая фальсификаторов уголовных дел.

Райхман благодаря вмешательству его жены, имевшей связи в кремлевских верхах, был обвинен только в превышении власти и вскоре амнистирован. Освободили из тюрьмы и Майского. Жена узнала, что Хрущев приказал исключить из партии и лишить воинских званий около ста генералов и полковников КГБ – МВД в отставке из числа тех, кто в 30-е годы, занимая руководящие должности, принимал активное участие в репрессиях или же слишком много знал о внутрипартийных интригах. В отличие от прошлых лет все эти люди, лишившись больших пенсий и партийных билетов, тем не менее, остались живы – их не расстреляли, не посадили в тюрьму. Среди них было двое отличившихся в делах атомной разведки: генерал-майор Овакимян, координировавший в 1941–1945 годах работу НКВД в Соединенных Штатах по сбору информации об атомной бомбе, и мой заместитель Василевский, единственным обвинением против которого была его якобы чересчур близкая связь с Берией.

Настроения в Москве явно менялись, и об этом, в частности, говорил тот факт, что Василевскому удалось восстановиться в партии. Он использовал свои прошлые

связи с Бруно Понтекорво, который в это время находился в Москве и стал академиком. Понтекорво лично просил Хрущева за своего друга. Василевский и Горский, проявившие себя по линии «атомной» разведки, занялись переводом приключенческих романов с английского и французского. Некоторые бывшие офицеры госбезопасности – при поддержке Ильина, ставшего после реабилитации в 1954 году оргсекретарем московского отделения Союза писателей СССР, – стали писателями и журналистами. Хотя реабилитация давала право на восстановление в прежней должности, практически это оказалось невозможным. Но все же людям позволили начать новую жизнь и получить более высокую пенсию.

К счастью, мое пребывание во Владимирской тюрьме совпало с кратким периодом либерализации пенитенциарной системы, осуществлявшейся при Хрущеве. Так, мне было разрешено получать до четырех продуктовых передач ежемесячно. И хотя на первых порах я нередко терял сознание и чувствовал сильные головокружения из-за страшных головных болей, силы мало-помалу начали ко мне возвращаться. Правда, держали меня в одиночной камере, но все же полностью я не был изолирован – имел доступ к газетам, мог слушать радио, пользоваться тюремной библиотекой.

Владимирская тюрьма была примечательной со многих точек зрения. Построенная при Николае II в начале нынешнего столетия, она использовалась как место заключения наиболее опасных с точки зрения государства преступников, которых властям всегда нужно было иметь под рукой. В сущности, ту же роль Владимирская тюрьма выполняла и при советской власти, и заключенных оттуда нередко возили в столицу для дополнительных допросов. По иронии судьбы меня поместили во втором корпусе тюрьмы, который до этого я дважды посещал для бесед с пленными немецкими генералами, отбывавшими здесь свой срок. В то время мне показали оставшуюся незанятой тюремную камеру, в которой сидел будущий герой революции и гражданской войны, один из организаторов Красной Армии Михаил Фрунзе.

В мое время тюрьма состояла из трех главных корпусов, в которых содержалось примерно пятьсот заключенных. После 1960 года тюрьму расширили, и теперь в трех перестроенных корпусах могло находиться до восьмисот человек. Режим в тюрьме отличался строгостью. Всех поднимали в шесть утра. Еду разносили по камерам: скудную пищу передавали через маленькое окошко, прорезанное в тяжелой металлической двери камеры. Голод был нашим постоянным спутником, достаточно было поглядеть в тусклые глаза заключенных, чтобы убедиться в этом. На первых порах постель поднималась к стене и запиралась на замок, так что днем полежать было нельзя. Можно было сидеть на стуле, привинченном к цементному полу камеры. В день нам разрешалась прогулка от полудня до сорока пяти минут в так называемом «боксе» – внутреннем дворике с высокими стенами, напоминавшем скорее комнату площадью примерно метров двадцать, только без потолка. Присутствие охраны было обязательным. Для дневного отдыха полагался всего один час после обеда, когда надзиратель отпирал кровать. Туалета в камере не было – его заменяла параша. Каждый раз, когда заключенному надо было пойти в уборную, он должен был обращаться к надзирателю. (Говорят, что сейчас в камерах Владимирской тюрьмы появились туалеты.) И хотя спать разрешалось с десяти

часов вечера, свет горел всю ночь.

После нескольких дней заключения я стал замечать сочувственное к себе отношение со стороны администрации тюрьмы. Меня перевели из одиночной камеры в тюремную больницу, где давали стакан молока в день и, что было куда важнее для меня, разрешали лежать в кровати днем столько времени, сколько я хотел.

Довольно скоро я обнаружил, что в тюрьме со мной было немало людей, хорошо мне известных. Например, Мунтерс, бывший министр иностранных дел Латвии. В 1940 году, после переворота в Латвии, я отвез его в Воронеж, где он стал работать преподавателем в местном университете. Или Шульгин, за которым разведка НКВД охотилась за границей лет двадцать. После взятия Белграда нашими войсками в 1945 году бывший заместитель председателя Государственной Думы был арестован, вывезен в Советский Союз и предан суду за антисоветскую деятельность во время гражданской войны и в последующие годы.

Через три или четыре камеры от меня находился некто Васильев: на самом деле это был сын Сталина, Василий, который и здесь, в тюрьме, умудрялся устраивать скандалы. Как-то раз, когда к нему на свидание приехала жена, дочка маршала Тимошенко, он набросился на нее с кулаками, требуя, чтобы она немедленно обратилась к Хрущеву и Ворошилову с просьбой о его освобождении.

Был во Владимирской тюрьме и Майрановский, сидевший тут с 1953 года, – я уже говорил, что ему дали десять лет. Его едва можно было узнать: казалось, от прежнего Майрановского сохранилась одна лишь оболочка. Чтобы выжить и спастись от тюремных побоев, он, сломленный и тщетно надеявшийся на освобождение, согласился давать показания против Берии, Меркулова и Абакумова, свидетельствующие об их участии в тайных убийствах. Правда, никаких имен жертв он не мог назвать. Всех троих – Берию, Меркулова и Абакумова – расстреляли, а Майрановский продолжал отбывать срок, иногда его допрашивали сотрудники госбезопасности и прокуратуры в качестве свидетеля по интересующим их делам.

Когда на судебном заседании слушалось мое дело, он показал, что никогда не получал от меня приказов ни на производство экспериментов с ядами над живыми людьми, ни на их уничтожение и вообще не был у меня в подчинении. Я благодарен ему за это, как и за ту в высшей степени опасную работу, которую этот человек проводил в годы войны. Разоружение террористов было крайне опасным делом. Это были парашютисты, пришедшие на явочную квартиру, не вызывавшую у них никаких подозрений. В то время как усыпленные Майрановским с помощью лекарств агенты абвера «отключались», он успевал заменить вшитые в воротник ампулы с ядом, чтобы потом, когда этих агентов арестуют, они не могли бы покончить жизнь самоубийством.

Иногда мы с ним встречались на прогулке в тюремном дворе, и, если была возможность перекинуться парой слов, я советовал ему искать поддержку среди ученых-медиков, которых он лично знал, и которые высоко ценили его. Майрановского освободили в декабре 1961 года, о его реабилитации ходатайствовал Блохин, президент Академии медицинских наук.

Через два дня после того, как Майрановский побывал в приемной Хрущева в здании ЦК партии и подал ходатайство о реабилитации, где упоминался эпизод их встречи в вагоне специального поезда в конце 1947 года в Киеве, КГБ его вновь арестовало. По своей наивности он не понимал, что нельзя обращаться к Хрущеву за помощью и напоминать об их встрече, связанной с ликвидацией архиепископа Ромжи в Ужгороде. Ему следовало иметь в виду, что находящийся у власти Хрущев хотел бы вычеркнуть из памяти все связанное с такого рода делами. К несчастью, Майрановский, постоянно напоминая о себе, стал нежелательным свидетелем. Он был немедленно лишен профессорского звания и всех ученых степеней и сослан в Махачкалу. В этом городе он стал работать начальником химической лаборатории.

Время от времени Майрановский навещал академика Блохина в Москве, надеясь восстановить свою научную карьеру. В декабре 1964 года, накануне очередной встречи для обсуждения результатов проводившихся им экспериментов со злокачественными опухолями, Майрановский таинственным образом скончался. Диагноз по иронии судьбы был тем же самым, что и у Валленберга и Оггинса: сердечная недостаточность.

Во Владимирской тюрьме возник необычный «клуб» бывших высокопоставленных сотрудников НКВД – МВД. Среди них был Эйтингон, прибывший во Владимир в марте 1957 года с двенадцатилетним сроком, Мамулов, начальник секретариата Берии и заместитель министра внутренних дел, отвечавший за золотодобычу. Хотя Мамулов и был армянином, он в свое время являлся секретарем по кадрам ЦК компартии Грузии. Его сокамерник, также секретарь ЦК компартии Грузии, академик Шариа, одно время работал заместителем начальника зарубежной разведки НКВД. После того как Шариа был выпущен из тюрьмы, куда его посадили как мингрельского националиста, академик получил новое назначение – помощником в аппарат Берии в Совете Министров, где он отвечал за внешнеполитические вопросы, и он попал в сеть, что была расставлена для Берии – такова уж была его несчастная судьба.

Полковник Людвиг, начальник секретариата Берии в Министерстве внутренних дел, был арестован потому, что слишком много знал о нем и его любовных похождениях. Людвиг был женат на племяннице Микояна, что и помогло ему выйти из тюрьмы уже через десять дней после падения Хрущева в 1964 году. Он был помилован по специальному указу Микояна, который за три месяца до этого был назначен Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Микоян также амнистировал своего дальнего родственника Саркисова, начальника охраны Берии, поставлявшего Берии женщин.

Сидели во Владимирской тюрьме Дарья Гусяк и Мария Дидык, нелегальные курьеры бандеровского подполья, о которых я уже говорил, захваченные в 1950 году. Сидел с нами Владимир Брик, племянник Осипа Брика, близкого друга Владимира Маяковского, арестованный КГБ при попытке бежать в Соединенные Штаты. Находился там и Максим Штейнберг, резидент-нелегал НКВД в Швейцарии в 1930-е годы. Отказавшись вернуться из-за грозившей ему опасности быть расстрелянным, он после смерти Сталина попался на удочку ложных обещаний амнистии и приехал в Москву вместе с женой Эльзой. Штейнберг получил пятнадцать, а она – десять лет

за государственную измену.

Как насмешка в приговоре Военной коллегии Верховного суда по его делу фигурировала формулировка: суд не считает необходимым применить к нему за измену Родине высшую меру наказания – смертную казнь в связи с тем, что государству не нанесен его действиями реальный ущерб, и он возвратил денежные средства, выделенные ему для оперативных целей в 1937 году.

Через три месяца после моего прибытия во Владимирскую тюрьму на свидание со мной жена привезла детей, мудро решив не показывать им до этого отца, пока он был не в лучшей физической форме. У меня задрожали руки, и я едва владел собой, когда она вошла. Начальник тюрьмы полковник Козик разрешил два дополнительных свидания с женой, кроме положенного одного в месяц. Перед своей отставкой в 1959 году он устроил мне свидание у себя в кабинете с Александром, мужем свояченицы, который ввел меня в курс того, что происходило в МВД и КГБ. Информация о том, кто находится у власти, а кого отправили в отставку, инициативы нового председателя КГБ Шелепина по расширению операций советской разведки за рубежом дали мне надежду, что я мог бы быть полезен новому руководству благодаря своему большому опыту, и поэтому меня могут амнистировать и реабилитировать, как это произошло с генералами и офицерами, выпущенными Сталиным и Берией в 1939 и 1941 годах.

Несмотря на мое ходатайство оставаться в одиночной камере, через год мне посадили сначала Брику, затем Штейнберга, а позже бургомистра Смоленска при немцах Меньшагина. Наши отношения были вежливыми, но отчужденными. Хотя все они были интересные люди, но их прежняя жизнь и поверхностное знание нашей действительности меня раздражали, поэтому мы не могли сблизиться.

После полугода пребывания во Владимирской тюрьме я начал бомбардировать Верховный суд и прокуратуру прошениями о пересмотре моего дела. От жены я знал, что она дважды обращалась к Хрущеву и в Верховный суд с просьбой допустить адвоката при рассмотрении моего дела. Но в этой просьбе ей было отказано. Она показала мне копии своих ходатайств, и я послал в Москву протест, заявляя, что мой приговор не имеет юридической силы, поскольку мне было отказано в праве на защиту, а также в ознакомлении с протоколом судебного заседания, который я так и не подписывал. Это означало, что я нахожусь в тюрьме незаконно. Я получил всего один ответ, подписанный Смирновым, заместителем председателя Верховного суда, где говорилось, что оснований для пересмотра дела нет. На следующие сорок прошений ответа я не получил. Мои сокамерники, особенно Эйтингон, смеялись над юридической аргументацией моих ходатайств. «Законы и борьба за власть, – сказал мне Эйтингон, – несовместимы».

В 1960 году меня неожиданно вызвали в кабинет начальника тюрьмы. В дверях я столкнулся с Эйтингоном. В кабинете вместо начальника я увидел высокого, статного, представительного, модно одетого мужчину за пятьдесят, представившегося следователем по особо важным делам Комитета партийного контроля Германом Климовым. Он сказал, что Центральный комитет партии поручил ему изучить мое следственное и личное дело из управления кадров КГБ. Центральный комитет интересуют данные об участии Молотова в тайных

разведывательных операциях Берии за рубежом, а также, что особенно важно, имена людей, похищение и убийство которых было организовано Берией внутри страны.

Климов предъявил мне справку для Комитета партийного контроля, подписанную заместителем Руденко Сатиным. Справка содержала перечень тайных убийств и похищений, совершенных по приказу Берии. Так, прокуратура, расследуя дело Берии, установила, что он в 1940–1941 годах отдал приказ о ликвидации бывшего советского посла в Китае Луганца и его жены, а также Симонич-Кулик, жены расстрелянного в 1950 году по приказу Сталина маршала артиллерии Кулика.

Прокуратура располагает, говорилось в справке, заслуживающими доверия сведениями о других тайных убийствах по приказу Берии как внутри страны, так и за ее пределами, однако имена жертв установить не удалось, потому что Эйтингон и я скрыли все следы. В справке также указывалось, что в течение длительного времени состояние здоровья мое и Эйтингона не позволяло прокуратуре провести полное расследование этих дел. Климов от имени ЦК партии потребован рассказать правду об операциях, в которых я принимал участие, так как в прокуратуре не было письменных документов, подтверждавших устные обвинения меня в организации убийства Михоэлса, – это, видимо, смущало Климова. Он был весьма удивлен, когда я сказал, что совершенно непричастен к убийству Михоэлса, и доказал это. Ему надо было прояснить темные страницы нашей недавней истории до начала работы очередного партийного съезда, который должен был состояться в 1961 году, но мне показалось, что он проявлял и чисто человеческий интерес и сочувственно относился к моему делу.

Мы беседовали больше двух часов, перелистывая страницу за страницей мое следственное дело. Я не отрицал своего участия в специальных акциях, но отметил, что они рассматривались правительством как совершенно секретные боевые операции против известных врагов советского государства и осуществлялись по приказу руководителей, и ныне находящихся у власти. Поэтому прокуроры отказались письменно зафиксировать обстоятельства каждого дела. Климов настойчиво пытался выяснить все детали – на него сильное впечатление произвело мое заявление, что в Министерстве госбезопасности существовала система отчетности по работе каждого сотрудника, имевшего отношение к токсикологической лаборатории.

Климов признал, что я не мог отдавать приказы Майрановскому или получать от него яды. Положение о лаборатории, утвержденное правительством и руководителями НКВД – МГБ Берией, Меркуловым, Абакумовым и Игнатьевым, запрещало подобные действия. Этот документ, сказал Климов, автоматически доказывает мою невиновность. Если бы он был в деле, мне и Эйтингону нельзя было бы предъявить такое обвинение, но он находился в недрах архивов ЦК КПСС, КГБ и в особом делопроизводстве прокуратуры.

Отчеты о ликвидации нежелательных правительству лиц в 1946–1951 годах составлялись Огольцовым как старшим должностным лицом, выезжавшим на место их проведения, и министром госбезопасности Украины Савченко. Они хранились в специальном запечатанном пакете. После каждой операции печать вскрывали, добавляли новый отчет, написанный от руки, и вновь запечатывали пакет. На пакете

стоял штамп: «Без разрешения министра не вскрывать. Огольцов».

Пока мы пили чай с бутербродами, Климов внимательно слушал меня и делал пометки в блокноте.

Климов провел во Владимирской тюрьме несколько дней. По его распоряжению мне в камеру дали пишущую машинку, чтобы я напечатал ответы на все его вопросы. Они охватывали историю разведывательных операций, подробности указаний, которые давали Берия, Абакумов, Игнатъев, Круглов, Маленков и Молотов, а также мое участие в деле проведения подпольных и диверсионных акций против немцев и сбору информации по атомной бомбе. Наконец, по предложению Климова я напечатал еще одно заявление об освобождении и реабилитации. Учитывая его совет, я не упоминал имени Хрущева, однако указал, что все приказы, отдававшиеся мне, исходили от ЦК партии. Климов уверил меня, что мое освобождение неизбежно, как и восстановление в партии. Такие же обещания он дал и Эйтингону.

Позже я узнал, что интерес к моему делу был двоякий. С одной стороны, власти таким образом хотели глубже заглянуть в подоплеку сталинских преступлений и окружавших его имя тайн. С другой – освобождение Рамона Меркадера из мексиканской тюрьмы и его приезд в Москву подстегнули Долорес Ибаррури и руководителей французской и австрийской коммунистических партии добиваться освобождения из тюрьмы Эйтингона и меня.

Поездка Климова во Владимир во многом улучшила положение жены. Недавно назначенный председатель КГБ Шелепин направил в Комитет партийного контроля справку, положительно характеризующую мою деятельность и Эйтингона; в ней отмечалось, что Комитет госбезопасности «не располагает никакими компрометирующими материалами против Судоплатова и Эйтингона, свидетельствующими о том, что они были причастны к преступлениям, совершенным группой Берии». Этот документ резко контрастировал с подготовленной в 1954 году Серовым, Сахаровским и Коротковым справкой о том, что мое подразделение якобы никакой полезной работы после войны не проводило. На эту справку до сих пор ссылаются мои недоброжелатели из числа историков советской внешней разведки.

Такого рода оценка сразу дала понять опытным людям, что наша реабилитация не за горами.

По времени это совпало с попытками КГБ вступить в контакт с одной еврейской семьей в Соединенных Штатах. Это была та самая семья, которой жена помогла уехать в Америку из Западной Украины, где они оказались после захвата немцами Варшавы в 1939 году. В 1960-м один из их родственников приехал в Москву в качестве туриста и пытался разыскать жену в «Известиях», поскольку в свое время она говорила им, что работает там. Узнав об этом, КГБ связался с ней, надеясь привлечь этого человека для работы на советскую разведку в Америке. Жену попросили прийти на Лубянку, где с ней несколько раз обсуждали возможность использования нашей квартиры для встреч с приехавшим американским туристом. Из попытки завербовать его, правда, ничего не вышло, но

квартиру начали использовать как явочную. Теперь, казалось, угроза потерять квартиру в центре над нами больше не висела.

Идеологическое управление КГБ заинтересовалось опытом работы моей жены с творческой интеллигенцией в 30-е годы. Бывшие слушатели школы НКВД, которых она обучала основам привлечения агентуры, и подполковник Рябов проконсультировались с ней, как использовать популярность, связи и знакомства Евгения Евтушенко в оперативных целях и во внешнеполитической пропаганде. Жена предложила установить с ним дружеские конфиденциальные контакты, ни в коем случае не вербовать его в качестве осведомителя, а направить в сопровождении Рябова на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Финляндию. После поездки Евтушенко стал активным сторонником «новых коммунистических идей», которые проводил в жизнь Хрущев.

Жена также помогла сыну одного из наших друзей – Борису Жутовскому, талантливому художнику-графику, который открыто критиковал политику Хрущева в области культуры. Она организовала встречу художника с сотрудниками КГБ, чтобы оградить его от преследований. Он объяснил им, что его высказывания были неправильно истолкованы, и написал покаянную записку в партийные органы и в Союз художников, что поддерживает курс коммунистической партии. Его записка попала в Идеологический отдел ЦК партии, где решили, что Жутовский должен и дальше получать поддержку опекавших его молодых офицеров с Лубянки.

Однако «флирт» жены с КГБ вскоре закончился. Прокурор Руденко всячески препятствовал моей реабилитации. Дом на улице Мархлевского, где мы жили в большой квартире, передали в ведение Министерства иностранных дел, и там разместилась польская торговая миссия. С помощью Анны Цукановой жена получила неплохую, но гораздо меньшую квартиру в районе ВДНХ, в то время на окраине Москвы. Наш переезд, однако, не помешал Меркадеру и другим деятелям зарубежных компартий поддерживать и навещать жену. К этому времени дети окончили среднюю школу, и благодаря Зое Зарубиной, декану Института иностранных языков, и ректору Варваре Пивоваровой их приняли туда на учебу.

В 1961 году жена и мои сыновья окончательно расстались с иллюзиями, что власти в конце концов признают судебную ошибку, допущенную в моем деле. После того как Климов принял жену в ЦК и заявил ей, что мы оба, Эйтингон и я, – невинные жертвы в деле Берии, и он добивается пересмотра наших приговоров на самом высшем уровне, они поняли: моя судьба находится в руках Хрущева. Дело застопорилось не в бюрократических лабиринтах – решение держать меня в тюрьме было принято на самом верху.

Хотя Климов говорил больше намеками, а не прямо, однако все же подчеркнул, что необходимо продолжать ходатайства о реабилитации. Он сказал жене:

– Вам надо ссылаться на материалы, хранящиеся в ЦК КПСС и КГБ. Вы должны настаивать на проведении изучения материалов одновременно как в основном уголовном деле, так и в «наблюдательном» производстве, потому что как раз там-то и находятся все ваши прошения, свидетельства и документы, разоблачающие фальсификацию. —

Он пояснил свою МЫСЛЬ:

– Ну вот, например, в обвинительном заключении сказано: Судоплатов создал перед войной Особую группу при наркомате внутренних дел с целью исполнения специальных поручений Берии. Одновременно он с 1942 по 1946 год возглавлял Управление по разведке и диверсиям, или 4-е управление. Но в «наблюдательном» деле имеются выдержки из соответствующих документов, показывающие, что на самом деле Особая группа и Управление по разведке и диверсиям были не двумя разными подразделениями, а одним. Понятно, что этот факт вступает в явное противоречие с утверждениями в обвинительном заключении, – подытожил он.

Во время нашего очередного свидания жена рассказала мне о встрече с Климовым. В тот момент Эйтингон как раз стал моим сокамерником, и мы проводили вместе долгие часы, размышляя над тем, как ускорить прохождение наших ходатайств. Но время шло, и жена, мыслившая реалистически, начала подталкивать меня к тому, чтобы я начал готовиться после освобождения из тюрьмы к новой работе – переводчика.

Зоя Зарубина передала мне и Эйтингону целую кипу книг на французском, немецком, польском и украинском языках. Это были романы и книги по истории. Словом, скучать нам с ним не приходилось. Мы целыми днями занимались переводами. Особую моральную поддержку в этот период нам оказал заместитель начальника тюрьмы Хачикян. Мы сохранили привязанность к нему до его смерти. Именно он переправил на волю копии наших заявлений в ЦК о реабилитации, которые ветераны разведки и партизанского движения использовали в своих обращениях к XXIII съезду партии для нашей защиты.

В 1961 году условия пребывания в тюрьме резко ухудшились: вместо четырех продуктовых передач в месяц разрешили только одну, а затем – одну в полгода. Эти ограничения явились результатом растущей в стране преступности, вызванной прежде всего ухудшением экономического положения. В сентябре 1961 года, накануне XXII съезда партии, раскрывшего новые подробности сталинских преступлений, во Владимирской тюрьме тайно судили и расстреляли десять человек – организаторов и участников голодного бунта в небольшом городе Муроме.

Свидания с родными сократили с одного в месяц до одного в полгода, но, тем не менее, каждый день я получал прошедшие цензуру письма от жены. В тюремной администрации тоже произошли изменения – вместо прежних дружески настроенных людей появились новые, совсем незнакомые нам. В 1962 году я перенес обширный инфаркт. Вскоре из-за ремонта в тюрьме нас, высокопоставленных сотрудников НКВД, поместили в одну камеру. Споры и конфликты возникали разве только за игрой в шахматы, но я никогда не принимал в них участия. Однако порой трудно было сдерживать эмоции – не выдерживали нервы. Однажды Людвигов сказал, что не может себе представить Берию таким злодеем. На это. Эйтингон саркастически заметил: «Да уж... Вы же возносили его и называли своих детей Лаврентиями». Остальные криво улыбнулись.

Обычно Эйтингон и я, не вмешиваясь, слушали их откровения о внутренних дрязгах в Политбюро при Сталине, Берии, Маленкове и Хрущеве. Мы тактично не

напоминали им, что под давлением следователей все они признали себя виновными в «неразоблачении Берии как врага народа».

Стремясь привлечь внимание к нашим ходатайствам о реабилитации, мы с Эйтингоном написали Хрущеву письмо, в котором содержались оперативные предложения по противодействию только что организованному президентом Кейнеди диверсионным соединениям особого назначения – «зеленым беретам». Наше письмо получило одобрительную оценку Шелепина, секретаря ЦК КПСС, курировавшего вопросы госбезопасности и деятельность разведки. С письмом ознакомился генерал Фадейкин, мой преемник на посту начальника службы диверсионных операций за границей в 1-м главном управлении КГБ. Он прислал майора Васильева во Владимир обсудить с нами организационные детали, и тот привез нам в подарок два килограмма сахара. Вот так наша инициатива привела к рождению в КГБ спецназа. Был создан учебно-диверсионный центр, подчиненный 1-му главному управлению. Позднее его сотрудники в составе группы «Альфа» штурмовали в 1979 году дворец Амина в Кабуле.

Вдохновленные успехом нашего письма и моральной поддержкой КГБ, мы с Эйтингоном послали новое предложение Хрущеву о возобновлении контактов с лидером курдов Барзани, чтобы использовать его против иракского диктатора генерала Касема, который начал выходить из-под советского влияния. После этого нас посетил полковник Шевченко, начальник Владимирского областного управления КГБ, и сообщил, что руководство использует наше предложение. На этот раз в виде награды мы получили право на одну продовольственную передачу не через шесть месяцев, а через три.

Шевченко разрешил нам, и это было очень важно, впервые встретиться с адвокатом Евгением Зориным, старым знакомым моей жены, с которым она работала в Одесском ГПУ в 20-х годах.

Зорин был первым адвокатом, который увидел приговоры, вынесенные Военной коллегией мне и Эйтингому. На них стоял гриф «совершенно секретно». По мнению Зорина, мое дело было безнадежным, если только его не пересмотрят на высшем уровне. Но Зорин видел некоторую возможность изменить приговор Эйтингому, потому что тот находился в тюрьме в течение полутора лет при Сталине. Кстати, Райхман пробыл в тюрьме половину срока, так как полтора года были ему засчитаны. Зорин полагал, что в случае с Эйтингоном допущена техническая ошибка по незачету этих полутора лет, – и подал ходатайство непосредственно в Военную коллегию. Он надеялся, что, поскольку председательствовавший тогда на заседании Костромин уже умер, никто не будет поставлен в неловкое положение, признав, что в свое время была допущена ошибка. Апелляция Зорина была отклонена, но тут весьма успешно вмешалась Зоя Зарубина и добилась у председателя Военной коллегии генерал-лейтенанта Борисоглебского положительного решения по делу Эйтингона.

В декабре 1963 года Военная коллегия Верховного суда определила, что срок лишения свободы Эйтингона должен включать полтора года, проведенные им в тюрьме еще до смерти Сталина. Таким образом, общий срок его заключения сократился. Незадолго до того Эйтингон чуть не умер от опухоли в кишечнике.

Используя свои связи, Зоя добилась разрешения, чтобы в тюремную больницу пустили ведущего хирурга-онколога Минца, коллегу сестры Эйтингона Сони. Он-то и спас Эйтингона, сделав ему блестящую операцию.

Перед операцией Эйтингон написал Хрущеву – это было его прощальное письмо партии. В нем он спрашивал Хрущева, как тот может допускать, что преданных членов партии, известных ему лично, чья невиновность установлена Комитетом партийного контроля, кто выполнил важнейшее для дела коммунизма задание в Мексике, продолжают держать в тюрьме. К тому времени Меркадер получил Золотую Звезду Героя Советского Союза за проведение этой операции. (Спустя тридцать лет, просматривая по моей подсказке архивы, генерал Волкогонов обнаружил это письмо Эйтингона.)

В тюрьме меня навестил полковник Иващенко, заместитель начальника следственного отдела КГБ, который приехал ввиду предполагавшейся амнистии одного из заключенных, талантливого математика Пименова. Иващенко, которого я знал по прежней работе, рассказал, что хотя шансов на пересмотр наших дел нынешним руководством и нет, но можно определенно утверждать: как только кончится срок заключения по судебному решению, нас выпустят. Сталинской практике держать важных свидетелей в тюрьме всю жизнь или уничтожать, казалось, пришел конец.

Первым подтверждением этого стало освобождение академика Шариа – его срок кончился 26 июня 1963 года.

Он был арестован в тот же день, что и Берия, десять лет назад. Мы договорились, что он, если его выпустят, свяжется с семьей Эйтингона или моей и произнесет фразу: «Я собираюсь начать новую жизнь».

В нетерпении мы ждали от него сигнала. Несмотря на все уверения, мы все же сомневались, что его выпустят и позволят вернуться домой, в Тбилиси. Через две недели от жены поступило подтверждение – профессор Шариа нанес ей короткий визит. Она помнила его еще по школе НКВД, тогда это был представительный, уверенный в себе профессор философии.

Теперь она увидела глубокого старика. Однако Шариа оставался до конца своих дней в здравом уме и твердой памяти и занимался философией в Грузинской Академии наук. Умер он в 1983 году.

В 1964-м освободили Эйтингона, и он начал работать старшим редактором в Издательстве иностранной литературы. После отставки Хрущева был освобожден Людвигов. Он устроился на работу в инспекцию Центрального статистического управления. Жена надеялась, что и меня тоже досрочно освободят, но ее просьба была немедленно отклонена.

Ко мне в камеру перевели Мамулова. До того как нас арестовали, мы жили в одном доме, и наши дети вместе играли, так что нам было о чем поговорить. Между тем Эйтингон снова становился нежелательным свидетелем – на сей раз для Брежнева, не хотевшего напоминаний о старых делах. Ему явно не понравилось, когда во время празднования 20-й годовщины Победы над Германией он получил петицию за подписью двадцати четырех ветеранов НКВД – КГБ, в том числе

Рудольфа Абея (пять из них были Героями Советского Союза) с просьбой пересмотреть мое дело и дело Эйтингона. Новые люди, окружавшие Брежнева, полагались на справку генерального прокурора Руденко по моему делу. В ней утверждалось, что, являясь начальником Особой группы НКВД, учрежденной Берией и состоявшей из наиболее верных ему людей, я организовывал террористические акции против его личных врагов. Все подписавшие петицию выразили протест, заявили, что и они были сотрудниками Особой группы, но никоим образом не принадлежали к числу доверенных лиц Берии. Они требовали, чтобы для подтверждения обвинительного заключения и приговора были приведены конкретные примеры преступлений и террористических актов. Беседа ветеранов в ЦК закончилась безрезультатно, но накануне XXIII съезда партии они подали новое заявление и прямо обвинили прокурора Руденко в фальсификации судебных дел – моего и Эйтингона. К ним присоединились бывшие коминтерновцы и зарубежные коммунисты, находившиеся в годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах.

Давление на «инстанции» всё нарастало. Бывший министр обороны Болгарии, служивший под началом Эйтингона в Китае в 20-х годах, от нашего имени обратился к Суслову, но тот пришел в неопишемую ярость.

– Эти дела решены Центральным комитетом раз и навсегда. Это целиком наше внутреннее дело, – заявил ему Суслов, отвечавший в Политбюро за внешнюю политику, а также за кадры госбезопасности и разведки.

Президиум Верховного Совета СССР подготовил проект Указа о моем досрочном освобождении после того, как я перенес уже второй инфаркт и ослеп на левый глаз, но 19 декабря 1966 года Подгорный, Председатель Президиума Верховного Совета, отклонил это представление. Я оставался в тюрьме еще полтора года.

Мой младший сын Анатолий, аспирант кафедры политической экономики, как член партии ходил в ЦК КПСС и Верховный Совет хлопотать о моем деле. Вначале мелкие чиновники отказывались принимать его всерьез, но он показал им извещение Президиума Верховного Совета СССР, подписанное начальником секретариата Подгорного, и потребовал, чтобы его принял кто-нибудь из ответственных сотрудников.

Анатолий был тверд, но разумен в своих требованиях. Он сослался на мое дело в Комитете партийного контроля и мнение теперь уже начальника секретариата этого комитета Климова, который подтвердил ему мою невиновность и разрешил на него ссылаться. Работники ЦК партии направили сына в Президиум Верховного Совета, где его принял заведующий приемной Склярлов. Анатолий объяснил этому седовласому, спокойному человеку, обладавшему большим опытом партийной работы, суть моего дела. Анатолию было всего двадцать три года, и он только что получил партийный билет.

– Как член партии, – обратился он к Склярову, – я прошу вас ясно и искренне ответить: как может высшее руководство игнорировать доказательства невиновности человека, посвятившего всю свою жизнь партии и государству? Как может

Президиум игнорировать просьбу Героев Советского Союза о реабилитации моего отца?

Больше всего смутил Складорова вопрос Анатолия, почему Верховный Совет в своем отказе сослался на прошение его матери, которая его не подавала, вместо того чтобы правильно указать, что это было ходатайство прокуратуры, КГБ и Верховного суда.

Складоров внимательно посмотрел на Анатолия и сказал:

– Я знаю, что твой отец честный человек. Я помню его по комсомольской работе в Харькове. Но решение по его делу принято «наверху». Оно окончательное. Никто не будет его пересматривать. Что касается тебя, то ты слишком много знаешь о делах, о которых тебе лучше бы вообще ничего не знать. Заверяю тебя, никто не будет вмешиваться в твою научную карьеру, если ты будешь вести себя разумно. Твой отец выйдет из тюрьмы через полтора года, по окончании срока. Подумай, как ты можешь помочь своей семье. Желаю тебе в этом успеха.

Анатолий подавил подступавший к горлу ком и глубоко вдохнул. Он понял, что ему нужно будет скрывать свои чувства, как и всей его семье, по отношению к Брежневу и его окружению. Жена, выйдя из больницы, была очень озабочена, как бы поход Анатолия по «инстанциям» не вызвал серьезных неприятностей. Поэтому она стала обучать сына элементарным приемам конспирации. Он узнал, как определить, установлена ли за ним слежка, прослушивается ли телефон, как выявить осведомителей в своем окружении, какие возможные подходы могут быть использованы для его агентурной разработки. Это оказалось для него весьма полезным, чтобы не вступать в опасные политические дискуссии и держаться в стороне от кругов, критически настроенных по отношению к режиму. Жена предупредила Анатолия, чтобы он никогда не встречался с иностранцами без свидетелей, и только в качестве официального лица.

21 августа 1968 года, в день вторжения войск Варшавского Договора в Чехословакию, я вышел на свободу. В Москву меня привез свояк. Мне выдали мои швейцарские часы-хронометр (они все еще ходили) и на 80 тысяч рублей облигаций государственного займа. В 1975 году я получил по ним деньги, сумма была солидной – 8 тысяч рублей.

Когда я вернулся из тюрьмы, наша квартира заполнилась родственниками. Мне все казалось сном. Свобода – это такая радость, но я с трудом мог спать – привык, чтобы всю ночь горел свет. Ходил по квартире и держал руки за спиной, как требовалось во время прогулок в тюремном дворе. Перейти улицу... Это уже была целая проблема, ведь после пятнадцати лет пребывания в тесной камере открывавшееся пространство казалось огромным и опасным.

Вскоре пришли поведать меня и старые друзья – Зоя Рыбкина, Раиса Соболев, ставшая известной писательницей Ириной Гуро, Эйтингон. Пришли выразить свое уважение даже люди, с которыми я не был особенно близок: Ильин, Василевский, Семенов и Фитин. Они сразу предложили мне работу переводчика с немецкого, польского и украинского. Я подписал два договора с издательством «Детская литература» на перевод повестей с немецкого и украинского. Ильин, как орг-

секретарь московского отделения Союза писателей, и Ирина Гуро помогли мне вступить в секцию переводчиков при Литфонде. После публикации моих переводов и трех книг я получил право на пенсию как литератор – 130 рублей в месяц. Это была самая высокая гражданская пенсия, но все же меньше 200 рублей в месяц, которые получала жена как подполковник госбезопасности в отставке.

После месяца свободы я перенес еще один инфаркт, но поправился, проведя два месяца в институте кардиологии. Жена возражала против новых обращений о реабилитации, считая, что не стоит привлекать к себе внимание. Она боялась, что беседы с прокурорами и партийными чиновниками могут привести к новому, фатальному инфаркту. Свои прошения я печатал тайком, когда она ходила за покупками, и направлял их Андропову, главе КГБ, и в Комитет партийного контроля. Мне позвонили из КГБ и весьма любезно посоветовали, где найти документы, чтобы ускорить рассмотрение моего дела, но само это дело было не в их компетенции. КГБ со своей стороны гарантировал, что меня не выселят из Москвы, несмотря на то, что формально я оставался опасным преступником и имел ограничение на прописку. Если бы не его помощь, я оказался бы автоматически под наблюдением милиции, меня могли выселить из Москвы. У пришедшего с проверкой участкового округлились глаза, когда я предъявил новый паспорт, выданный Главным управлением милиции МВД СССР.

После этого меня больше не тревожили.

В 70-х годах я много занимался литературной работой. Гонорары за переводы и книги (я писал под псевдонимом Анатолий Андреев в содружестве с Ириной Гуро) служили подспорьем к пенсии и позволяли жить вполне сносно. Всего я перевел, написал и отредактировал четырнадцать книг. Среди них было четыре сборника воспоминаний партизан, воевавших в годы войны под моим командованием. Время от времени я встречал своих друзей в фотостудии Гессльберга на Кузнецком мосту, недалеко от центрального здания Лубянки. Его студия была хорошо известна своими замечательными работами. Гесельберг был гостеприимным хозяином: в задней комнате его ателье нередко собирались Эйтингон, Райхман, Фитин, Абель, Молодой и другие еще служившие сотрудники, чтобы поговорить и пропустить по рюмочке. Жена резко возражала против моих походов в студию Гесельберга.

Поддерживавший меня Абель жаловался, что его используют в качестве музейного экспоната и не дают настоящей работы. То же самое говорил и Коной Молодой, известный как Гордон Лонсдейл, которого мне не приходилось встречать раньше. Эйтингон и Райхман смотрели на меня с неодобрением, когда я отмалчивался, слушая их критические выпады против Брежнева и руководства КГБ, или незаметно выскальзывал из комнаты.

Конечно, те времена сильно отличались от сталинских, но мне было трудно поверить, что полковники КГБ, все еще находившиеся на службе, могли запросто встречаться для дружеского застолья и открыто поносить брежневское руководство, нравы в КГБ.

Абель рассказал мне историю своего ареста, когда он попытался забрать тридцать тысяч долларов, спрятанных на явочной квартире в Бруклине, так как ему

надо было отчитаться за них перед Центром. Мы оба решили, что было неразумно возвращаться за деньгами: после того как его арестовало ФБР, оплата адвокатов во время процесса стоила куда больше. Но он боялся, что если не вернет деньги, то его заподозрят в том, что он их присвоил.

Лонсдейл (кодовое имя «Бен») был не меньше Абеля возмущен тем, что Центр связал его с агентом, работавшим в странах восточного блока под дипломатическим прикрытием. Это являлось нарушением элементарных правил конспирации, запрещавших нелегалу-резиденту вступать в прямой контакт с лицами, которые в силу длительного пребывания в странах Варшавского Договора автоматически находились в сфере постоянного наблюдения контрразведки своей страны. Впрочем, наши встречи и жалобы на несправедливости судьбы кончились в 1980 году, когда студия Гесельберга была снесена, и на этом месте появилось новое здание КГБ.

Литературная работа приобретала для меня все большее значение, она позволила мне адаптироваться в обществе. Роман о Косиоре «Горизонты», написанный вместе с Ириной Гуро и отредактированный женой, получил хороший отзыв в «Правде». Книга выдержала несколько изданий и принесла нам приличный доход. Более важными я считал свои публикации о годах войны. В «Правде» и других центральных газетах они также получили хорошую оценку. В одной рецензии подчеркивалось, что Особая группа НКВД сыграла огромную роль в организации партизанского движения во время войны. В 1976 году я возобновил свои ходатайства о реабилитации. Я писал, что если «Правда», как орган ЦК, признала героические действия Особой группы, то она не может быть бериевской террористической организацией, как это представлено в моем уголовном деле.

Друзья и знакомые Гесельберг, Фитин, Студников, Зарубин и Василевский ушли из жизни. В 1976 году мы с Эйтинггоном обратились к Меркадеру и Долорес Ибаррури с просьбой поддержать наше ходатайство о реабилитации перед Андроповым и Комитетом партийного контроля, указав на моральную ответственность партии за допущенную по отношению к нам несправедливость. Андропов и Пельше, который возглавлял тогда Комитет партийного контроля, дали в 1977 году заключение по нашим делам, где отметили, что доказательств нашей причастности к преступлениям Берии нет. К этому времени, через пятнадцать лет после смерти в тюрьме во время допроса, Серебрянского реабилитировали. Для этого достаточно было постановления военного прокурора. Наши дела с заключением Пельше и Андропова и справкой Климова, заместителя главного военного прокурора Батурина и начальника следственного отдела КГБ Волкова должны были докладывать на Политбюро. Однако Суслов решительно воспротивился этому, а в Комитете партийного контроля и КГБ никто не захотел из-за нас конфликтовать с ним и Руденко.

По распоряжению Пельше, ради утешения, что ли, Эйтингон и я получили право пользоваться кремлевской поликлиникой и больницей, а также госпиталем КГБ.

В августе 1977 года по поручению Пельше нас принял его первый заместитель Густов. Он сказал, что рад приветствовать героических офицеров разведки, но, к сожалению, в настоящее время наши дела не могут быть решены положительно.

Нам придется подождать, придет время и для их пересмотра.

В 1978 году на Кубе скончался Рамон Меркадер, работавший там по приглашению Фиделя Кастро советником в министерстве внутренних дел. Его тело было тайно переправлено в Москву. В тот момент я с женой находился в санатории. Эйтингона тоже не уведомили о похоронах, которые КГБ трусливо старался провести без нашего участия и лишней огласки. Однако вдова Меркадера Рокелия Мендоса подняла шум, позвонила Эйтингону, и он проводил Меркадера в последний путь.

В 1981 году, как раз после очередного съезда партии, к которому мы тоже обращались с письмом, но не получили ответа, Эйтингон скончался в кремлевской клинике от язвы желудка. Все 80-е годы, особенно перед смертью Брежнева, я продолжал бомбардировать ЦК своими заявлениями. Последние свидетели, которые к тому времени еще были живы, поддерживали мои усилия добиться реабилитации в 1984, 1985 и 1988 годах, обращаясь к Черненко, а затем к Горбачеву и Александру Яковлеву, ссылаясь на заключение Андропова и Пельше о моей невиновности. Эти прошения редактировал Скляр, все еще остававшийся заведующим приемной Верховного Совета СССР: опытный функционер, он знал, как представить материал, чтобы получить одобрение наверху. Генеральные секретари партии приходили и уходили, а Скляр по-прежнему оставался на своем месте.

В 1984 году, как сказал мне Климов, было готово положительное решение, но Черненко умер, а ответа от Горбачева или Соломенцева, председателя Комитета партийного контроля, который затем стал председателем Специальной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, все не было. Отец моей невестки, заместитель министра угольной промышленности, был в дружеских отношениях с Соломенцевым, и я попросил его добиться благоприятного решения. Соломенцев доложил о моем деле Горбачеву, но тот отказал.

Иоган Штайнер, заместитель генерального секретаря австрийской коммунистической партии и бывший нелегал Особой группы НКВД, потребовал в 1988 году, чтобы его имя, как и имена других видных коммунистов, было очищено от клеветнических обвинений, содержащихся в деле Судоплатова. Его вежливо выслушали, но ничего не сделали. В 1988 году меня пригласили в прокуратуру, где сказали, что мое дело пересматриваться не будет, и вручили официальный ответ, подписанный генеральным прокурором Рекунковым. В этом документе была допущена серьезная ошибка: в нем говорилось, что я осужден как пособник и Бери, и Абакумова, хотя в моем обвинительном заключении упоминания об Абакумове вообще не было.

В 1986 году жене исполнился семьдесят один год, и ее здоровье резко ухудшилось. Поначалу казалось, что она просто ослабла по сравнению с тем, какой была всегда, но скоро мы узнали, что у нее болезнь Паркинсона. Как ветеран, она имела право на лечение в госпитале КГБ. Первый заместитель председателя КГБ Бобков помог мне получить разрешение находиться в больничной палате вместе с женой. Два последних месяца я оставался с ней рядом, с болью замечая, как жизнь медленно покидает её. Она умерла в сентябре 1988 года, и ее прах покоится в стене кладбища Донского монастыря. Рядом покоится прах Григулевича, Эйтингона и

Абеля. Ирина Гуро – Раиса Соболев тоже умерла. Зоя Рыбкина после смерти моей жены прожила три года.

Из узкого круга друзей нас осталось только трое, переживших славные, но трагические времена, вошедшие в историю нашей страны, – Зоя Зарубина, Анна Цуканова и я. Как ветераны разведки Зоя и я получаем 9 мая приглашения на торжества по случаю Дня Победы вместе со своими детьми и внуками в клубе КГБ и на стадионе «Динамо». Анна и я стареем, все труднее становится встречаться, и мы общаемся в основном по телефону. Зоя по-прежнему занята общественной деятельностью и выступает с лекциями. Побывала в Австралии, недавно была приглашена в Потсдам и Ялту в связи с пятидесятилетием проведения там конференций руководителей антигитлеровской коалиции.

После смерти жены здоровье мое ухудшилось, и тогда сын Анатолий обратился к Крючкову, в то время первому заместителю председателя КГБ, с просьбой о моей госпитализации. Такое разрешение было дано. После госпиталя в течение двух месяцев я проходил курс лечения в санатории ЦК партии. Высшее руководство в середине 80-х годов занимало по отношению ко мне двойственную позицию. С одной стороны, считая, что мое дело, видимо, сфабриковано, меня приглашали в институт имени Ю. Андропова с лекциями по истории разведки. Я рассказывал, как мы использовали пацифистские взгляды Оппенгеймера, Ферми и симпатии к Советскому Союзу Сциларда и Бора для получения информации по атомной бомбе. Кстати, присутствовавший тогда Яцков не оспаривал мои слова. Я принимал участие в конференции КГБ по изучению истории разведывательных операций в Германии, проводившейся в Ясенева, штаб-квартире внешней разведки. В 1986 году, в канун встречи Горбачева с президентом Рейганом в Рейкьявике, я направил в КГБ памятную записку, в которой изложил наш опыт обслуживания Ялтинской конференции.

Все это так. Но, с другой стороны, я все еще не был реабилитирован.

Гласность набирала силу, и сын решил нанять адвоката, который бы занялся моим делом. Это шокировало Комитет партийного контроля и прокуратуру. Адвокат составил письмо, обвиняя прокуратуру в обмане, и сослался на фактическую ошибку в ответе прокуратуры. Он потребовал разрешения ознакомиться со всеми материалами дела, но ему было отказано.

Для нового секретаря ЦК КПСС Фалина, отвечавшего за вопросы внешней политики, я подготовил справку по истории германо-советских отношений в предвоенный период. Другая моя записка касалась проведения национальной политики, включая украинскую и еврейскую проблемы. Он поблагодарил за эти материалы, но не оказал сколько-нибудь существенной поддержки мне в реабилитационных делах.

Горбачева между тем интересовало, как готовились и передавались приказы по уничтожению людей и способы их ликвидации. Меня посетил в связи с этим генерал-майор Шадрин, отвечавший в КГБ за выполнение специальных поручений, но я отклонил его просьбу описать, как выполнялись подобные задания. Я объяснил, что полные отчеты об этом хранятся в архивах ЦК партии, и указал, что лично я

подготовил два написанных от руки отчета об операциях в Мехико и Роттердаме, за которые отвечал. Другие отчеты писались от руки высшими должностными лицами, непосредственно занимавшимися этими операциями, – Огольцовым, Савченко, Цановой и Абакумовым или Молотовым и Вышинским, когда они возглавляли Комитет информации. Для Шадрина было новостью, что военная разведка в 1930–1950 годах также ликвидировала агентов-двойников и перебежчиков, этим занималась специальная группа. Я посоветовал ему проконсультироваться по этим вопросам с КПК. Полагаю, он проинформировал о нашей встрече свое руководство.

По иронии судьбы, в то время как я подавал ходатайства о реабилитации, Горбачев получил своеобразное послание, подписанное тремя генералами, принимавшими участие в аресте Берии. Они потребовали от Горбачева в апреле 1985 года присвоения звания Героя Советского Союза, которое было им в свое время обещано за проведение секретной и рискованной операции. 19 апреля 1985 года секретарь ЦК КПСС Капитонов направил это письмо Горбачеву. Таким образом, когда председатель Комитета партийного контроля Соломенцев готовил дело о моей реабилитации, генералы требовали себе наград. Горбачев отклонил оба ходатайства – и мое, и генеральское. Генералам напомнили: 28 января 1954 года они уже получили за эту операцию по ордену Красного Знамени, и Центральный комитет не считал целесообразным возвращаться вновь к этому вопросу.

В 1990 году я узнал от высокопоставленного сотрудника КГБ: Горбачев недоволен тем, что процесс демократизации выходит из-под контроля. Осенью этого года КГБ и вооруженные силы получили приказ подготовить план о введении военного положения. В это же время вдвое увеличили жалованье всем военнослужащим.

Существенную моральную поддержку я получил от генерал-майоров КГБ Кеворкова и Губернаторова. Они воспользовались назначением бывшего начальника идеологического управления КГБ генерала Абрамова заместителем генерального прокурора СССР, чтобы у него в кабинете изучить мое дело. По их словам, четыре тома дела содержали слухи, а никак не конкретные свидетельства против меня. Что было еще важнее, они обнаружили записку Политбюро с проектом решения: принять предложение Комитета партийного контроля и КГБ о реабилитации Судоплатова и Эйтингона по вновь открывшимся обстоятельствам и ввиду отсутствия доказательств их причастности к преступлениям Берии и его группы, а также принимая во внимание вклад в победу над фашизмом и в решении атомной проблемы.

Это придало мне уверенности. Мое новое заявление о реабилитации было поддержано не только КГБ, но и высокопоставленными лицами в аппарате ЦК партии. Гласность дала мне возможность использовать прессу. Я написал письмо в комиссию Александра Яковлева по реабилитации жертв политических репрессий, в котором заявил, что сообщу прессе: правда о реальном механизме репрессий скрывается до сих пор. В другом письме – Крючкову – я просил передать в прокуратуру копии документов о моей разведработе и назвал номера приказов (их мне подсказали мои друзья в КГБ) о задачах подразделений, которыми я руководил. Это могло установить, что мое дело сфальсифицировано.

КГБ отреагировал незамедлительно. Заместитель начальника управления кадров уведомил меня, что все документы, перечисленные в моем письме, заверены в КГБ и направлены в прокуратуру с рекомендацией проанализировать и рассматривать как новые материалы в моем деле. Меня пригласили в Военную прокуратуру, где сообщили, что мое дело будет пересмотрено. Они также перепроверили дело Абакумова и его группы. Новое расследование заняло год. У меня сложилось впечатление, что оно проводилось по чьему-то негласному указанию.

И тут начали происходить странные вещи. Дело Берии было изъято из прокуратуры и передано в секретариат Горбачева. Затем некоторые документы исчезли. Вскоре после этого в газете «Московские новости» появилась статья с нападками на меня, в которой приводились цитаты из обвинительного заключения по делу Берии и утверждалось, что по моим указаниям на конспиративных квартирах в Москве и других городах организовывали тайные убийства людей с помощью ядов. Меня обвиняли как соучастника Берии, не упоминая о моей работе в разведке. Газета просила читателей присылать любую информацию, связанную с Судоплатовым, так как в деле Берии нет фактов и конкретных имен его жертв. Реакции читателей не последовало. В редакционном примечании к статье Егор Яковлев, редактор «Московских новостей», писал, что необходим закон о контроле за оперативной работой спецслужб и в особенности токсикологических лабораторий, занимающихся ядами, – как в ЦРУ, так и в КГБ.

Эти примечания были сделаны в ответ на заявление генерала Калугина о том, что подобная лаборатория все еще существует в КГБ, а ЦРУ испытывает токсичные препараты на американских гражданах.

В октябре 1990 года «Московские новости» поместили статью, в которой говорилось, что Майрановский был жертвой сталинских репрессий, и скорее всего сам оклеветал себя во время допросов. По словам автора статьи, он имел высокую репутацию среди московских ученых. Статья также содержала суровую критику того, как велось дело Берии – «в лучших сталинских традициях», без конкретных доказательств. Таким образом, хотя и косвенно, ставились под сомнение и обвинения, выдвинутые в связи с делом Берии, против меня и Эйтингона.

Я понял, что вопрос о моей реабилитации будет тянуться до бесконечности, поскольку никто из находившихся у власти не хотел обнаружения правды, которая скомпрометировала бы либеральную политику Хрущева. А реформаторы пытались использовать хрущевскую «оттепель» как модель перестройки. Уничтожение таких политических противников как Троцкий и украинские националисты по решению высших руководителей страны больше не обсуждалось в печати. Горбачев отмалчивался, он не мог себе позволить разоблачить Хрущева как пособника Сталина и организатора тайных политических убийств. Ведь тогда была бы запятнана историческая память о XX съезде партии, на котором Хрущев выступил с разоблачением сталинских преступлений. Члены ЦК партии и многие делегаты съезда знали о его и своем собственном участии в сталинских преступлениях. Поэтому, если бы мое дело всплыло на поверхность, было бы разоблачено все партийное руководство при Хрущеве, использовавшее Берию и людей, которые

работали под его началом, как козлов отпущения. Горбачевское руководство несло бы тогда ответственность за сокрытие вины своих наставников, которые привели их к власти.

Берия и его враги в руководстве страны исповедовали одну мораль. Я полностью согласен с писателем-публицистом Кириллом Столяровым, писавшим, что единственная разница между Берией и его соперниками только в количестве пролитой ими крови. Однако, несмотря на свои преступления, Берия, Сталин, Молотов сумели преобразовать отсталую аграрную страну в мощную супердержаву, имеющую ракетно-ядерное оружие. Совершая такие же чудовищные преступления, Хрущев, Булганин и Маленков, однако, в гораздо меньшей степени способствовали созданию мощного потенциала СССР как великой державы. В отличие от Сталина, они значительно ослабили государство в результате своей борьбы за власть. Горбачев и его помощники, в не меньшей степени руководствуясь собственными амбициями, привели великую державу к полному развалу. Горбачев и Александр Яковлев вели себя как типичные партийные вожди, прикрываясь демократическими лозунгами для укрепления своей власти. Как государственные деятели они оказались несостоятельны и питали иллюзии, будто могут перехитрить соперников (Ельцина, Лигачева, Рыжкова, Подозкова и других) и тем самым сохранить безраздельную власть в своих руках. Их достижения в области внутренней и внешней политики равны нулю. В 1989 году Горбачев в силу личной неприязни отстранил Эриха Хонеккера от власти в Восточной Германии, чтобы «укрепить социализм», но так же, как в 1953 году, это привело к потрясениям, только в этот раз ГДР перестала существовать. Он и Шеварднадзе оказались неспособными добиться путем переговоров экономической компенсации со стороны Запада в обмен на вывод наших войск из Восточной Европы и сокращение стратегических вооружений.

В июне 1989 года на дачу Зои Рыбкиной в Переделкине, где я тогда находился, мне позвонил генерал-полковник Дмитрий Волкогонов, который писал биографии Сталина и Троцкого. Меня предупредил генерал Кеворков, что с этим человеком следует быть осторожным в своих откровениях, но я все же решил пойти на эту встречу, так как Волкогонов имел доступ к архивам и мог представить прошлое с его жестокостями и триумфами в истинном свете. Осторожно (ведь он занимал официальное положение и был в подчинении у ЦК и военного начальства), совершая, естественно, ошибки, Волкогонов, однако, открыл новую главу в изучении нашей истории.

Он обещал поддержать мою просьбу о реабилитации. Во время нашей встречи 4 ноября 1989 года я предложил ему внести поправку в историю со Стаменовым, только что напечатанную в журнале «Октябрь». Волкогонов утверждал, что Сталин лично встречался со Стаменовым, а я знал – это неправда. Зондажем и распространением дезинформационных слухов среди дипломатов занимался я сам, чтобы выяснить степень готовности немцев пойти на мирное урегулирование отношений с нами в 1941 году. Но вот книга Волкогонова «Сталин: триумф и трагедия» вышла в свет, а этот эпизод остался без изменений. Волкогонов придерживается версии, что Сталин и Молотов планировали сепаратный мирный договор с немцами, подобный Брест-Литовскому, и в качестве источника информации ссылается на дискуссии в Политбюро.

Политбюро могло, конечно, обсуждать эту разведывательную операцию. Как я уже писал, моей задачей было запустить дезинформацию относительно возможного мира с Гитлером, используя Стаменова в качестве источника.

Я указал Волгогонову на материалы по делу Троцкого, хранившиеся в архивах КГБ и ЦК партии, – без меня он бы никогда не смог их найти. Даже имея доступ к сверхсекретным архивным папкам, найти тот или иной документ так же трудно, как иголку в стоге сена. К примеру, он не мог знать, что личный архив Троцкого, выкраденный в Париже в 1937 году, находился не там, где ему положено быть, а в Международном отделе ЦК партии, и весьма активно использовался.

После неудавшейся попытки переворота в августе 1991 года происходило практически неконтролируемое расхищение секретных архивов компартии с целью использования и продажи их для фильмов, научно-исследовательских разработок и документальной литературы. Хотя Волгогонов отмечает в предисловии к своей книге о Троцком оказанную мною помощь, упоминание моего имени и цитирование выдержек из моих и Эйтингона обращений в ЦК КПСС о реабилитации со мной не согласовывались. Вот почему там впервые раскрыты мое настоящее и кодовое имя в связи с операцией против фашистской ОУН. Кстати, на основе этой и других такого же рода публикаций украинская прокуратура в 1992 году возбудила против меня уголовное дело. Лишь в 1994 году меня оставили в покое после того, как было установлено, что фашистская террористическая ОУН Коновальца – Бандеры официально провозгласила состояние войны с Советской Россией и СССР, продолжавшееся с 1919 по 1991 год.

Упомянув меня и Эйтингона в книге о Троцком и сообщая о нашей роли в партизанской войне против фашистской Германии и в решении атомной проблемы, Волгогонов, при всех своих минусах и ошибках, пытается объективно оценить нашу работу. Многие годы мое имя было неизвестно – его нельзя найти ни в описаниях героических дел в войне с Гитлером, ни в истории нашей разведки. Именно Волгогонов заронил мысль рассказать историю моей жизни и моего поколения. Историю, которая дает мне возможность сейчас попытаться расставить все по своим местам.

В 1991 году органы военной юстиции пришли к заключению, что дело Абакумова было сфабриковано и, хотя он нес ответственность за незаконные репрессии, он не был виновен в государственной измене или преступлениях против партии. Военная прокуратура рекомендовала изменить статью обвинительного приговора, на основе которого он был осужден к расстрелу. Истинное преступление Абакумова заключалось в превышении власти и фальсификации уголовных дел, и в соответствии с законом того времени мера наказания – расстрел – полагалась та же. Это заключение означало, что те, кто стоял на верхней ступеньке власти, над Абакумовым, были виновны в названных преступлениях в не меньшей степени, чем он.

Военная прокуратура по-новому подошла к моему делу и Эйтингона. Материалы доказывали, что мы не фабриковали фальшивых дел против «врагов народа». Официальные обвинения, что мы являлись пособниками Берии в совершении государственной измены, планировании и осуществлении

террористических актов против правительства и личных врагов Берии, были опровергнуты документально.

После августовских событий 1991 года и распада СССР, незадолго до ухода в отставку, главный военный прокурор прекратил наши дела и заявил: если бы я не реабилитировал вас, архивные материалы показали бы, что я еще один соучастник сокрытия правды о тайных пружинах борьбы за власть в Кремле в 30—50-х годах. Он подвел черту в нашем деле и подписал постановление о реабилитации Эйтингона и меня.

После крушения КПСС моя реабилитация больше не являлась делом политической конъюнктуры, а стала всего лишь рядовым эпизодом в период распада Советского Союза. Военная юстиция не должна была больше испрашивать указаний высших руководителей страны, как ей вести мое дело. К власти пришло новое поколение. И хотя оно выросло при прежнем режиме, нынешние руководители не были замешаны в зверствах Сталина и Хрущева, бывших авторитарных правителей страны. Имя Хрущева, активно использовавшееся в начале перестройки, потеряло свою привлекательность. В сложной обстановке после распада СССР, порожденной отсутствием политической культуры, ненависть по отношению ко мне сохраняют только те, кто предпочел бы, чтобы люди, знающие действительные обстоятельства трагедии и героики прошлого, молча ушли из жизни. Они открыто стремятся присвоить себе монопольное право на трактовку событий нашего прошлого. Хотя большинство из них скомпрометировали себя тем, что в 1960–1990 годах сознательно преподносили обществу грубо сфальсифицированные объяснения мотивов и механизма сталинских репрессий и крупных событий в нашей внутренней и внешней политике.

Советский Союз, которому я был предан всей душой и за который был готов отдать жизнь, ради которого старался не замечать творившихся жестокостей, оправдывая их стремлением превратить страну из отсталой в передовую, во благо которого провел долгие месяцы вдали от Родины, дома, жены и детей – даже пятнадцать лет тюремного заключения не убили моей преданности, – этот Советский Союз прекратил свое существование. И лишь когда СССР, некогда гордая сверхдержава, распался, я наконец был восстановлен в своих гражданских правах, и мое имя вернулось на свое законное место в истории.

Я надеюсь, что мой рассказ поможет нынешнему поколению занять взвешенную, свободную от конъюнктуры и экстремизма позицию в оценке нашего героического и трагического прошлого.